ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№10 1992

К читателям журнала "Наш современник"!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Заканчивается подписная кампания на 1-е полугодие 1993 года. Мы надеемся, что Вы не забыли о нас и уже оформили подписку на наш журнал. В дополнение к уже публиковавшимся анонсам редакция предполагает также напечатать в первых номерах будущего года новую повесть известного писателя Юрия Власова; воспоминания о скитаниях русских людей по Европе 1945 г. основателя и главного редактора независимого русского альманаха "Вече" Олега Красовского "Жизнь прожить – не поле перейти"; малоизвестную работу Ивана Солоневича "Политические тезисы российского народно-имперского (штабс-капитанского) движения" – по существу, это программа возрождения России, выдвинутая русским историком за 40 лет до Солженицына с большей глубиной и более точным национальным русским подходом.

В первых номерах начинается также публикация книги "Болезнь невежества исцеляется знанием", в которой ученые Японии, США и России расскажут о нетрадиционных способах лечения и профилактики рака.

К сожалению, в этом году существенно осложнена подписка на наш журнал в ближнем зарубежье. Мы обращаемся ко всем нашим читателям с просьбой: пусть каждый из нас сделает подарок для знакомых и близких, живущих в Прибалтике, Молдове, Закавказье, в других республиках бывшего Союза, и оформит подписку в России и для них.

Тем же, кто имеет возможность и желание пожертвовать на наш журнал, еще раз сообщаем, что деньги можно перечислить на следующий счет: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул., коммерческий банк "Пресня Банк", р/с № 2609704, МФО 201144, МП "Русло" – для нужд журнала "Наш современник". Телефоны для справок: 200-24-24, 928-32-16.

Мы выживем, только ощутив поддержку друг друга.

Редакция журнала "Наш современник"



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
**Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции**

№ 10 1992

**ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ**
МОСКВА

Содержание

Зав. секретариатом **З. С. Гуляевская**
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.**

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 № 1222

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор); 200-23-88 (отдел прозы); 200-23-54 (отдел поэзии); 200-24-28 (отдел очерка и публицистики); 200-24-70 (отдел критики); 921-43-59 (секретариат); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 10.07.92 г. Подписано к печати 09.10.92.
Формат 70x108 1/16. Бумага типографская №2. Офсетная печать.
Уч. печ. л. 16,8. Усл. кр-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,78. Тираж 163564 экз. Зак. 1641.

ИПО писателей, 103750. Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена „Знак Почета“ типография „Красная звезда“:
123826, ГСП. Москва. Д-317. Хорошевское шоссе, 38.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Публикуемая в этом номере «Нашего современника» работа выдающегося русского мыслителя Льва Николаевича Гумилева представляет собой начало задуманного им труда об исторических ритмах Евразии. Льву Николаевичу не было суждено завершить «Ритмы Евразии», он успел продиктовать лишь первую, историко-географическую часть своего эссе.

«Ритмы Евразии» стали последней работой Л. Н. Гумилева. И это глубоко символично. Посвятив всю свою жизнь созданию правдивой картины истории евразийских народов, Л. Н. Гумилев и перед смертью вернулся к этой научной теме. Он был полон желания нарисовать широкую панораму событий евразийской истории в одном очерке, основываясь при этом на созданной им теории этногенеза. Кроме деяний хуннов и тюрок, в этом эссе должна была найти свое отражение история монголов, татар и русских, то есть всех народов, с которыми были связаны эпохи интеграции Евразийского континента.

Выполняя волю Льва Николаевича, я передаю эту работу для публикации в том виде, в каком она была им одобрена. Думается, что и не будучи завершенным, этот труд Л. Н. Гумилева представит огромный интерес для русских читателей. Лев Николаевич верил, что та эпоха распада, которую евразийская целостность переживает сейчас, сменится эпохой интеграции и созидания. Ведь исторические силы нашего народа далеко не исчерпаны.

В. МИЧУРИН

Лев ГУМИЛЕВ

РИТМЫ ЕВРАЗИИ

1

Задача районирования ойкумены в исторический период связана с определенными трудностями. Традиционное деление на континенты (Европу, Азию и т. д.) представляется нам несколько огрубленным и не соответствующим достигнутому уровню осмысления исторических сведений. Действительно, деление на континенты проводилось по физико-географическим критериям, причем основным разделительным элементом являлись моря: так, Африку от Европы отделяет Средиземное море. Однако для греко-римского мира (суперэтноса) Средиземное море было не преградой для общения, а наоборот, способствовало включению Северной Африки в орбиту античной цивилизации. Из приведенного примера видно, что этнографа не могут удовлетворять только орографические подразделения территорий. Жизнь суперэтнических образований протекает в особых месторазвитиях, выделение которых требует знания исторической географии в аспекте связи «этнос – ландшафт».

Так, огромный массив суши, включающий Азию, Европу и Африку, по сути, делится на ряд субконтинентов, то есть месторазвитий, в которых проживают отпущенный им срок те или иные суперэтносы. Естественно, эти суперэтносы с течением времени меняют свои формы, но основной принцип их связи с ландшафтом остается. Этногенез есть прежде всего процесс активной адаптации человеческих коллективов в среде – этнической и природной, причем ландшафтная среда заставляет людей вырабатывать комплексы адаптивных навыков – этнические стереотипы поведения[1]. Следовательно, неповторимое сочетание ландшафтов, в котором сложился тот или иной этнос, определяет его своеобразие – поведенческое и во многом даже культурное. Таким образом, если мы хотим составить представление об этносе, нам нужны этногеографические исследования – выделение и изучение его месторазвития.

Важно отметить, что внутренние моря как раз довольно редко отделяют месторазвития друг от друга. Чаще такую роль играют труднопроходимые области суши. Иногда граница проходит по воздуху: так, Западная Европа отделяется от евразийского пространства отрицательной изотермой января (к востоку от этой границы средняя температура

[1] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989.

января отрицательна). Юго-западная окраина Евразийского материка (в широком смысле), включающая в себя Сирию и Аравию, составляет единое месторазвитие с Северной Африкой, сходной в ландшафтном отношении. Индия – субконтинент, надежно изолированный от остальной Азии горами, пустынями и лесами. Особый восточный субконтинент Азии – это Китай, отделивший себя по климатической границе от Центральной Азии «Великой стеной».

Однако следует различать районы долин великих рек – Хуанхе и Янцзы – и приморские районы Дальнего Востока, лежащие северо-восточнее и включающие многочисленные острова. Это разные месторазвития. Своеобразный этнографический мир представляет собой Юго-Восточная Азия (южнее Китая), служащая примером не разделительной, а соединяющей роли внутренних морей. Что же касается северной Евразии, точнее, ее циркумполярной зоны, то она отделена от центральной части континента непроходимыми массивами тайги, по которым как дороги идут реки. Зимой по льду этих рек можно передвигаться на значительные расстояния.

Географические условия каждого из перечисленных ландшафтных «миров» неповторимы и оказывают всестороннее воздействие на обитателей региона. Подробнее мы остановимся на одном из месторазвитий Евразийского континента, а именно – на его внутреннем, центральном районе, или Евразии в узком смысле. Она также представляет собой этногеографическую целостность, населенную народами, адаптированными к ее ландшафту. Именно этот регион далее по тексту мы будем называть Евразией.

Евразия с юга ограничивается цепями гор (Кавказ, Копетдаг, Памир, Тянь-Шань), с севера – массивами тайги, с запада – уже упомянутой отрицательной изотермой января, на востоке граница Евразии наиболее определенна, так как она была отмечена «Великой стеной». Надо сказать, что из всей имеющейся на планете суши Евразия является самым «континентальным» регионом, гигантской территорией, в достаточной мере удаленной от всех океанов и морей (единственное море, примыкающее к Евразии, – Каспийское, если не считать ныне почти уничтоженное Аральское море).

В широтном направлении в середине Евразии лежит пустыня – на востоке Гоби, на западе Бетпак-дала. Ширина этой пустыни зависит от ее увлажнения с востока муссонами, а с запада – циклонами. При обильном увлажнении это относительно неширокая полоса суши, но стоит циклонам или муссонам переместиться на север, в район тайги, пустыня расширяется. Влажные степи превращаются в сухие, сухие степи вытесняют культурные земли. Особенно это заметно на юго-восточной границе, где Евразия соприкасается со Срединной равниной – Китаем. Максимум усыхания степи на границе с Китаем имел место в III в. н. э.

При аналогичном применяемому нами, но более удобном подходе Евразию следует разделить на три региона:

1) Высокая Азия – Монголия, Джунгария, Тува и Забайкалье. В целом в Высокой Азии климат довольно сухой, но в горах увлажнение достаточное.

2) Южный район, охватывающий территории нынешнего Казахстана и Средней Азии, простирается от Алтая до Копетдага. Этот район подвержен аридизации; жизнь там возможна при круглогодовом кочевании в долинах рек и оазисах (если, конечно, не говорить о современных системах ирригации и искусственных ландшафтах городов).

3) Западный, наиболее влажный регион включает Восточную Европу. Здесь имеется плодороднейшая полоса черноземов, а также весьма благоприятная для жизни лесостепная полоса.

Такова в самых общих чертах географическая среда, в которой протекала многотысячелетняя история взлетов и падений континентальных народов – история Евразии.

II

Долгое время бытовало мнение, что лес и степь находятся между собой в оппозиции: степняки и лесовики борются друг с другом. В этнокультурном аспекте это мнение глубоко ошибочно: как степняки нуждаются в продуктах леса, так и наоборот. В течение 2 – 3-х тысячелетий степняки кочевали на телегах, которые можно сделать только из дерева, и смазывали их дегтем – тоже лесным продуктом. Из одного этого факта видно, что народы степи и леса были связаны между собой тесными экономическими взаимоотношениями. Военно-политические контакты между ними тоже не сводились к голому противоборству. В самом тревожном XII веке на Русь было 27 набегов половцев по соглашению с теми или иными русскими князьями, 5 – по собственной инициативе половцев и 5 нападений русских на половцев. Впоследствии количество набегов несколько сократилось, так как золотоордынские ханы следили за своими подчиненными, чтобы те не слишком грабили налогоплательщиков. Подробно вопрос о якобы врожденном антагонизме леса и степи разобран в моей книге «Древняя Русь и Великая степь»[2]. А для нашей темы важно, что мы можем говорить о западной части Евразии (или Восточной Европе), как степной, так и лесной, как о едином этногеографическом и экономическом целом.

III

Население любого региона, в том числе и Евразии, в существенно большей степени лабильно, чем географические условия. Народы (этносы) возникают и исчезают, ареалы их проживания расширяются и сужаются. При этом расовый состав населения более стабилен, нежели этнический.

Восточная часть Евразии населена монголоидами (в древности – тюрками, начиная с XIII века – монголами). Южную ее часть занимают по большей части метисированные популяции: смесь монголов, тюрок и иранцев. Западная часть населена славянами и угрофиннами (последние живут в основ-

[2] Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1989.

ном в верховьях Волги и прилегающих районах).

Надо сказать, что в Среднюю Азию тюрки начали проникать еще в VI веке н. э., а название Туркестан она получила в XV веке. Тогда же, начиная с V века, тюркский народ - хунны - форсировал Волгу и Дон и расселился в южноевропейских степях, правда, ненадолго. С IX века в связи с участившимися засухами в центральной Евразии в эти же степи переправилась часть печенегов, половцев и черных клобуков (каракалпаков), тем самым заполнив экологическую нишу.

С VIII века в собственно евразийские регионы с Запада распространились славяне, которые заняли Поднепровье и бассейн Волхова.

Все перечисленные народы следует считать аборигенами Евразии, так как их переселения носили характер простых передвижений в пределах своего или сходного этноландшафтного региона, к природным условиям которого они были естественным путем приспособлены. Иноземные же вторжения на территорию Евразии происходили редко и имели незначительный успех. Так, китайцы до XIX века не смогли расселиться к северу от «Великой стены». Арабы, захватив Среднюю Азию в VIII веке, или вернулись домой, или смешались с аборигенами. Евреи, которые использовали караванные пути как экономические артерии, создали на территории Евразии только несколько колоний (крупнейшая и наиболее известная из них - Хазарский каганат). Они были элиминированы местным населением к X веку. Заметим, что мы не можем согласиться со взглядами А. Кестлера, автора теории «тринадцатого колена израилева», считавшего восточноевропейских евреев автохтонами. Этот взгляд не соответствует историческим фактам[3].

Вторжения представителей западного суперэтноса (немцев, шведов, поляков и т. д.) были эпизодическими и не увенчивались конечным успехом. В силу всего изложенного мы можем рассматривать Евразию не только в географическом аспекте, но и в этническом как единое целое, достаточно резистентное, чтобы отторгать внешние элементы. Но это не значит, что в само́й Евразии не происходило внутренних перемен - то есть процессов этногенеза. Их легко отличить по пульсу этнической истории. При пассионарном подъеме и образовании нового этноса идут процессы интеграции и экспансии новой системы в пределах Евразии. И наоборот, при спаде уровня пассионарности (энергии живого вещества биосферы) некогда великие державы рассыпаются, и образуются мелкие орды и княжества, которые несут функции государств.

IV

Евразийская древность освещена исторически слабо. Так, нам известно, что в Северном Китае с XV по XI век до н. э. существовало государство Шан или Инь - потомки «ста черноголовых семейств». Это было культурное рабовладельческое государство с очень жестким режимом и большим количеством нарастающих противоречий между аристократами и закабаляемой беднотой. В середине XI века до н. э. (предполагается 1066 г.) с этим государством вступило в резкое противоборство племенное объединение из Шэнси, отличавшееся от древних китайцев как стереотипом поведения - повышенной воинственностью, так и расовым типом: у них были каштановые волосы, за что китайцы называли их «рыжеволосыми демонами». Одержав победу над династией Шан, эти новые мутанты захватили весь северный Китай, но в VIII в. до н. э. распались. В Китае пошел совершенно самостоятельный, независимый от Евразии процесс этногенеза.

Примерно в это же время (трудно сказать, насколько синхронно) в Семиречье образовался народ, который китайцы называли «се», персы - «сак», а греки - «скифы»; к VIII в. до н. э. он распространился до северных берегов Черного моря, подчинив себе значительное число степных и земледельческих племен Восточной Европы. Греки называют пять видов скифов: царские скифы, скифы-кочевники, скифы-земледельцы, скифы-пахари и болотные скифы, жившие в устьях Дона. Такое аморфное и даже фигуральное наименование скифов показывает, что они представляли собой довольно большое племенное объединение и имели разнообразные типы адаптации к природной среде. Скифская держава в VII - V веках до н. э. была крупной и могущественной: скифам удалось разгромить персидскую агрессию царей Ксеркса и Дария, а также македонский набег полководцев Зопириона. Однако к III в. до н. э. все изменилось; новый пассионарный толчок вызвал к жизни два новых народа: хуннов в Высокой Азии и сарматов в Западной Азии. Сарматы оказались злейшими врагами скифов. Они победили их в истребительной войне и удержали у себя земли Причерно́морья и Прикаспия.

Обитавшие на востоке Великой степи хунны объединили племена восточных кочевников (дун-ху), Южную Сибирь (Туву) и Джунгарию - область усуней. Силы Хунну и Китая были несоизмеримы, но тем не менее хунны добились выгодного для себя договора «мира и родства», предусматривавшего обменную торговлю с Китаем. С 209 г. до н. э., когда состоялось объединение хуннов, по 97 г. до н. э. держава Хунну неуклонно растет и одерживает победы. Затем, однако, хунны ослабевают, а Китай, несмотря на понесенные им поражения, начинает доминировать над ними.

В I в. н. э. происходит раскол хуннов. Распавшаяся держава к тому же получила жестокий удар от восставших подданных - сяньбийцев, динлинов и усуней. В 93 г. н. э. хунны потерпели поражение и отступили через горные проходы на запад. Туда ушли только самые «неукротимые» (то есть пассионарные) хунны. Часть хуннов - «малосильные» - предпочли спрятаться в лесистых ущельях Тарбагатая. А «тихие» (лишенные пассионарности) хунны подчинились сяньбийцам и императорскому Китаю. Таким образом, политическая мощь Хунну пала, и держава развалилась на части. Но эти части были неравноценны. Наиболее пассионарная часть хуннов («неукротимые») сумела оторваться от своих противников - сяньбийцев и приобре-

[3] Там же.

сти новых союзников – манси (вогулов), которые в те времена были народом достаточно пассионарным. Кроме того, хунну, нуждаясь в женщинах, которых они могли провести с собой походным порядком, добыли себе путем набегов достаточное число жен и разместились в низовьях Волги и Яика.

V

Вместе с тем на рубеже новой эры (около 8 г. до н. э.) западную окраину Евразии задел меридиональный пассионарный толчок, вызвавший ряд событий – распространение христианства, великое переселение германских народов и падение Западной Римской империи, заселенной в результате варварами. Этот пассионарный толчок вызвал экспансию готов с южных берегов Швеции, славян в верховьях Вислы, восстания даков в современной Румынии, а также евреев в Палестине. Восстания даков и евреев были подавлены римлянами с большим трудом, но с другими следствиями толчка они справиться уже не смогли.

Западную окраину Евразии захватили остготы, которые подчинили себе пассионарных ругов и славян (антов). Но тяжелее для них была война с гуннами (название гунны принято для обозначения западной ветви народа хунну). В 370 г. н. э. гунны сломили сопротивление сарматов, «истомив их бесконечной войной» (как писал Аммиан Марцеллин), перешли через Дон и столкнулись непосредственно с готами. От готов отложились руги и анты (славяне), которые предпочли гуннскую власть своеволию готов. Испытав столь мощное давление, готы частично подчинились гуннам, а частично ушли в Западную Римскую империю (вестготы), где у них была своя, нас не интересующая судьба.

Поначалу гунны поддерживали римских рабовладельцев (во время подавления восстания багаудов). Однако такой союз явно не мог быть прочным. Настал момент, когда гунны поссорились с Римом и, подавив сопротивление федератов (римских союзников), в 451 году вторглись в Галлию. Гунны приняли бой на широкой равнине около Орлеана – на Каталаунском поле, причем некоторые германские племена сражались на стороне гуннов, а некоторые – на стороне римлян. Кровавая битва окончилась вничью, но гунны после нее отступили и перенесли удар на Северную Италию. Папе римскому Льву I удалось договориться с вождем гуннов Аттилой о том, чтобы он отвел войска. Война прекратилась, а на следующий год Аттила умер в своем шатре, в объятиях молодой жены. Аттила оставил 70 человек детей, которые вступили между собой в борьбу за престол.

Этим воспользовалось готское племя гепидов, которые нанесли гуннам поражение и заставили их очистить Паннонию. На реке Недао (Недава) произошла решительная битва, в которой погиб любимый сын Аттилы Эллак и 30 тыс. гуннов и их союзников. Последний удар гуннам в спину нанесли в 463 году болгары сарагуры, после чего гунны откатились обратно на восток и остатки их осели на Алтае.

VI

Не менее интересна история хуннов в Китае. Династия младшая Хань, выродившаяся и передоверившая власть евнухам, изымала из хуннских кочевий аристократов и учила их китайскому этикету и культуре. Но так как при дворе императоров единства не было, а партии боролись между собой, то хуннский царевич Лю Юань-хай, сын предпоследнего шаньюя (вождя), сбежал от китайского двора в свои кочевья. В кочевьях он застал мощные антикитайские настроения, потому что немногочисленные хунны устали терпеть унижения и несправедливости со стороны китайцев. Как только они обрели вождя, они решили восстановить «утраченные права». Восстание началось в 304 г. н. э., а к 317 году обе китайские столицы – Лоян (восточная) и Чан-Нань (западная) – попали в руки хуннов. Лю Юань-хай скончался, оставив своему сыну две боеспособные армии и налаженную систему управления Китаем.

Беда была в том, что китайский канцлер был патриотом Китая, ненавидящим хуннов, а наследник, царевич Лю Цань, был воспитан как хунн. Дело в том, что у китайцев многоженство существует, и все жены отца считаются матерями его детей, тогда как у хуннов при многоженстве младший брат наследует жен старшего, а старший сын – всех жен отца, кроме своей матери. Хунн обязан заботиться об овдовевшей женщине, а китаец не может поднять глаз на женщину, которую он обязан считать своей матерью. Вот потому, когда Лю Цань посещал молоденьких вдов своего отца, с точки зрения хунна он оказывал им законное внимание, а на взгляд китайца – производил неслыханный разврат. Эта психологическая разница поставила китайскому канцлеру Цзинь Чжуну задачу произвести переворот, покончить с хуннским царевичем и передать власть в руки китайцев.

Как только об этом узнали хуннские боевые генералы, они взяли столицу, покончили с бюрократами и основали два царства, немедленно схватившиеся между собой (Чжао и Младшая Чжао).

Тут надо отметить, что этнический состав самих хуннов был неоднороден. Еще во времена Ханьской империи к хуннам бежало много китайцев от ее гнета. Хунны принимали их, но не включали в свою родовую систему, а просто позволяли жить рядом, называя их «кулы». «Кулы» говорили по-хуннски и, естественно, мешались с хуннами, но сохранялись как своеобразная общность. Так вот, одна их противоборствующих армий состояла из «кулов», а другая – из хуннских родовичей. После нескольких столкновений «кулы» победили, но эта победа не пошла им на пользу. Приемный сын хуннского царя, горячий китайский патриот, провел геноцид против хуннов, истребив их по всей территории империи «Младшая Чжао». Уцелевшие хунны подняли восстание, объединились с сяньбийцами муюнами, опиравшимися на Маньчжурию. Совместные хунно-сеньбийские войска разгромили в 352 г. китайского узурпатора-убийцу и захватили его в плен. Господами северного Китая стали сяньбийцы муюны.

IV век н. э. в Северном Китае был слишком мятежен и беспокоен для того, чтобы там жить. Поэтому многие люди эмигриро-

вали в Великую степь, которая перестала усыхать и стала покрываться травой. Эти полиэтничные переселенцы создавали банды, облагая данью других, миролюбивых, кочевников и совершая набеги на Северный Китай. Разномастное скопище людей, занимавшихся в Великой степи грабежом и отчасти скотоводством, получило название орды «Жужань». Существовала она до середины VI века, когда была разгромлена своими вассалами тюрками. Создание жужаньской орды было типичным проявлением фазы надлома, наступившей в степном суперэтносе после распада хуннской державы.

В конце IV века государства муюнов (Янь), хуннов (Ся) и тибетцев (Кянь) стала захватывать орда табгачей, очень воинственного и храброго племени. Но, к сожалению, табгачское ханство превратилось в северо-китайскую империю Бэй-Вэй, в свою очередь развалившуюся на четыре части: Ци (в Ляодуне), Чжоу (в Шэнси), Лян (в центральном Китае) и Чэн (в Южном Китае).

Судьбы степного мира и Китая вновь разошлись. В VI в. степной суперэтнос стал наконец выходить из затяжной и тяжелой фазы надлома. В степи вновь появилась интегрирующая сила в лице небольшого, но очень активного и дисциплинированного этноса древних тюрок.

VII

Тюрки в 552 году объединили вокруг себя не только кузнецов, каковыми они являлись, но и кочевые племена теле. В столкновении с тюрками жужани потеряли всю свою воинскую элиту (аристократией ее не назовем), а уцелевшие либо подчинились тюркам, либо сбежали в северо-восточный Китай. После этого тюрки провели операцию по объединению всей Великой степи: на юго-восток до Китайской стены, на юго-запад до Амударьи, на запад до нижнего Дона, где им подчинились утригуры, огоры (угры) и хазары. Создание тюркского каганата и объединение им Великой степи знаменовало собой наступление новой фазы этногенеза – инерционной. При этом свое слово сказала природа: западные тюрки организовали свою державу на территориях, орошаемых атлантическими циклонами. Им нужно было каждое лето посылать молодых людей в прилегающие к Средней Азии горы на заготовку кормов, тогда как старое поколение оставалось в низинах. Восточный каганат пользовался муссонным увлажнением Тихого океана и вынужден был прибегать к круглогодовому кочеванию. Естественно, что постоянно кочующие тюрки были более организованы, чем отделявшие каждый год свою молодежь западные тюрки.

Западных тюрок называли «десятистрельными»: каждый вождь получал символ владычества – «стрелу» и руководил своим родом. Союзниками тюрок были хазары, тогда еще не соприкасавшиеся с иудаизмом. Они принимали у себя на Волге усталые караваны, снабжали караванщиков пищей и женщинами и давали им возможность отдохнуть перед новым тяжелым переходом через Кавказ в Византию.

Противниками тюркских караванщиков были персы, взимавшие с них большую пошлину. В 589 г. персидско-тюркские противоречия вызвали войну между этими народами, в которой персы победили.

Постоянное смешение тюрок и хазар, создававшее значительное перемещение пассионарного генофонда от первых к последним, дало возможность хазарам отразить арабский натиск в VII веке. Пассионарность арабов была к тому времени исключительно высока вследствие пассионарного толчка V в. н. э. (около 500 года), поднявшего их. В VIII веке арабам удалось вытеснить тюрок из оазисов Средней Азии. Армия завоевателей, мобилизованная в основном из персов, убивала всех мужчин, а женщины давали от агрессоров потомство, легшее в основу современного этноса таджиков.

VIII

В первую половину VII века Китай был объединен династией Тан. Предшествующая династия Суй (589 – 618 гг. н. э.) потеряла свою популярность вследствие исключительной свирепости правления. А так как пассионарный толчок конца V века в это время поднял население Китая, то большая часть народа восстала против неугодного правительства.

Сама династия Тан и ее сторонники происходили из северного Шэнси и Ганьсу. Это была совершенно новая общность, отделившая себя и от традиционного Китая, и от степного мира. Они завоевали сначала Китай, а затем в 630 г. и восточнотюркский каганат, а в 656 г. даже западнотюркский каганат. Но создать мировую державу основателю империи Тан Тай-цзуну Ли Ши-миню не удалось, так же, как и Александру Македонскому. Сходство этих двух деятелей в том, что оба они пытались соединить два чуждых друг другу суперэтноса: Александр – эллинов с персами, а Ли Ши-минь – Китай со степными народами. Обе попытки соединить несоединимое потерпели конечную неудачу, несмотря на выдающиеся качества обоих полководцев.

Жизнь тюрок при династии Тан была легка, но бесперспективна. Тюркские беги лишились права и возможности совершать подвиги, что они считали смыслом своей жизни. Их кормили, одевали, им платили, но лишили главного – возможности чувствовать себя героями ...



Юрий ЛОЩИЦ



УНИОН

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...около семи вечера, с наступлением темноты, под дождем без зонтика

Холодный дождь вторые сутки хлещет почти без передыху, и в такую славную погоду только русский придурок, идиот, орясина, чурка, патриот задрипанный, славянопуп и болван, только он может бегать по осеннему Белграду без зонтика над своей тупою башкой, но зато с целлофановым пакетом в руке, чтоб не промок, видите ли, его бесценный красный советский паспорт. Разве есть за что уважать такого придурка, скажи мне, Петрович? Ты совершенно прав: не за что... А за что, скажи, уважать страну, которая кинула меня в автономное плавание по белградским лужам и даже не почесалась, чтобы у меня было на что купить здесь зонтик, а заодно и новые штиблеты — вместо моих единственных, насквозь сырых, а?.. И снова ты будешь прав: такую страну уважать не за что... хотя я ее, придурок, все еще почему-то люблю. Только придурки и простофили искренне любят свою родину, — остальные получают с нее барыш. Я думаю, ты и сам неоднократно убеждался в этой мрачной истине. Но ты не захотел смириться с таким неприличным положением вещей, за что и поплатился.

Нет, нет, не перечь мне, сегодня я обязательно напьюсь. А завтра улечу домой, и ноги моей больше не будет в этом сером городишке. Хорош Белград, у пичку туристской матери! Да он весь — серый, все дома серые, насквозь пропахли угольным чадом и дешевыми дезодорантами. Дождь — и тот пахнет углем и бензинной копотью, а мне эта копоть и в Москве надоела.

ЛОЩИЦ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1938 году в селе Долинском Одесской области. Закончил филологический факультет МГУ. Автор книг „Сковорода“, „Гончаров“, „Земля — именинница“, „Дмитрий Донской“, „Слушание земли“ и сборника стихов „Столица полей“. Живет и работает в Москве.

Ты ведь знаешь, у меня такое задание: выйти на связь с настоящими славянами. Ладно, поляки подвели, какой спрос с поляков. Подвели и чехи, у пичку баварской матери. Зашатались болгары, а еще считаются православные... Но уж здесь-то, думал я, уж здесь-то настоящие славяне. Я к ним — с открытой душой, а на кой им хрен моя открытая душа, если у меня ни одного доллара в бумажнике и даже бумажника нет. И зонтика тоже нет. Хоть бы одна мимохожая белградская дама окликнула: „Эй, приятелю, молим те, иди под мой кишобран...“ Хоть ты весь вечер проторчи на площади под дождем, а ни одна не пригласит под свой зонтик.

Да я бы и сам отказался от такой услуги. Мы не сахарные, мы не растаем. Это вы меня извините, милые белградские дамы, за неприличный вид, но что поделать, если мне не на что купить зонтик, а тот, что остался в Москве, если его раскрыть полностью, то он уже ни за что не закроется... Не волнуйтесь, я вас не напугаю. Насквозь мокрый, хмурый, шмыгающий носом, с подозрительной торбицей в руке, я ни одной из вас сегодня не приснюсь, не разомкну заветный круг вашего теплого ночного блаженства. Меня для вас нет, миленькие, раз и навсегда. Я быстро прошмыгну мимо, лавируя под вашими зонтиками, шлепая по отражениям витрин в лужах...

Впрочем, под этим навесом можно и отдышаться. И осмотреться. Ну, конечно! Опять выставили напоказ „Царя Лазаря“ и „Царицу Милицу“! И „Косовская девушка“ тоже попала на винную этикетку и сюда же — на витрину. Хорошо же вы, ребятки, научились торговать сербской славой, именами своих героев! У нас бы за такие наклейки на бутылках торговцам надавали по шеям. Представляю, вино „Александр Невский“... Или водка „Козьма Минин“... У нас, слава Богу, до таких этикеток еще дело не дошло. Хотя, глядишь, скоро и у нас дойдет. Чего не сделаешь для обслуги мирового туризма! И это славяне, и это сербы? Если таковы твои сербы, то ты, Петрович, — прямой папуас. Или турок... Погляди: еще бутылочка. Называется „Монахиня“. Она и молоденькая, и красивенькая, и, судя по градусам, крепкая. Ну, какие это сербы, если они для всемирной турни готовы всю свою историю наклеить на бутылки, а?.. К кому я, спрашивается, приехал? Да это официанты какие-то, а не славяне! Нет, Петрович, что бы ты обо мне ни думал, а сегодня я обязательно напьюсь... Нука, ну-ка, это еще что за невидаль? Я ведь вроде еще не помутился рассудком. По-моему, тебе эта физиономия на этикетке должна быть неприятна. Или ты здесь уже ничему не удивляешься? Вот так штука! „Плюмбренди Карагеоргий“... Я бы на твоем месте оскорбился. Вождь сербского народного восстания, воспетый Пушкиным и Негошем, угодил на бутылочное стекло! Святые люди, Петрович, твои родимые сербы, пробы на них негде ставить. Тьфу, да и только!..

А знаешь что, я, пожалуй, как раз ее и куплю. Эту самую плюм-бренди. Гулять, так гулять. Я же обещал тебе, что непременно напьюсь. Шут с ним, с зонтиком, мне на него все равно не хватает. Когда льет снаружи, нужно высыхать изнутри. И нужно быть выше своего давления... Осторожно открываем целлофановый пакет, динары — на месте, прямо в паспорте, он ведь мне заменяет бумажник. „Находясь за границей, обязательно носите паспорт с собой. Помните, утеря паспорта — самое худшее, что может с вами случиться...“ Эту мудрую инструкцию, эту последнюю заповедь развитого социализма я выучил наизусть. Но ведь в инструкции нет ничего о том, что паспорт нельзя, при нужде, использовать в качестве бумажника. Признаться, я собирался купить тут бумажник, но кожаные изделия в Белграде очень уж дорогие...

Ладно, что-то нужно и на закуску, хотя бы грамм сто колбасы. Тут они, с помощью электрического ножа, режут ее такими тончайшими ломтиками, что впечатление, будто тебе завернули грамм двести, а не сто. Хлеб у меня остался еще со вчерашнего дня. Кстати, и немного винограду. Энд зе ботл оф ром, то бишь, плюм-бренди. Так что получится шикарный ужин, даже с десертом. Надо только поскорей сматываться из магазина, а то с меня вон как натекло. Это неприлично. Кассирша поглядывает с по-

дозрением. Я, к тому же, при входе забыл взять металлическую корзинку и запихнул покупки в свой пакет. Такие следы на полу оставляют только беспризорники. Все течет, все с меня, как сказал то ли Архимед, то ли Аристотель. Советский разведчик не имеет права оставлять после себя мокрые следы на полу магазина, — это уже говорю я. „До видженья, господжа, приятно“, — это тоже говорю я, уже вслух. Пусть она порассуждает на досуге, что это за странный акцент и откуда я: из Польши, из Чехословакии или из Воеводины. Хотя, боюсь, она успела зыркнуть в сумку и разглядеть краешек советского паспортишки.

...кажется, в начале восьмого, но, точно, за секунду до гибели

Ну вот, из-за тебя чуть под автобус не сунулся. Ты бы хоть как-то предупредил, что он выскочит невесть откуда. Просто мистика какая-то! Салон темный, ни одного пассажира, да кажется, что и без шофера. Ей-ей, когда я озирался на перекрестке, его и в помине не было. Как из-под земли выскочил, сволочь такая! Хоть бы посигналил. Тьфу, даже трясет меня всего. Ведь между мной и этим бешеным чертом оставались буквально миллиметры. Хорошенький был бы сюжет: в самом центре Белграда, напротив Народного театра, у перехода к „Беобанку“ и магазину „Фрушка гора“, кажется, в начале восьмого порожний туристский автобус „Карагеоргий“ сбивает насмерть советского разведчика. При ударе из руки незадачливого агента на тротуар отлетает целлофановый пакет, в котором полиция обнаруживает облитый сливовицей паспорт и смехотворно ничтожное денежное обеспечение потерпевшего в югославских динарах. Тут же полиция без труда находит мои следы на Косовской, в „Унионе“, номер 213. Обнаруживает там „Разыскание об отцеубийстве“ и антититовские записки Стручняка. Какой скандал! Тут же они звонят в советское посольство: это ваши ребята шарили здесь, подкапываясь под основы югославской государственности?..

А что им ответят на Делиградской? Я совсем не завидую посольским чиновникам, потому что и я, и тихий выпивоха Стручняк работали в Югославии совершенно автономно. Мы тут действовали, как советские гайдуки. Как благородные лесные разбойники из четы „Славянские братья“. И никто, конечно, не поверит, что эта банда состояла всего из двух добровольцев, без единого доллара в кармане. Из нас сочинят, с помощью Загреба и Ватикана, какую-нибудь зловредную и могущественную панславистскую организацию, хорошо законспирированный орден наподобие аписовой „Черной руки“. Разумеется, рукописи наши исчезнут, а имена будут преданы забвению. Хорошо Стручняку, он как раз сегодня утром смылся и, значит, если не сопьется, сможет восстановить по черновикам своего „Генерала Гамлета“. А я?.. Мне бы, придурку, сейчас сушить боровики в русской печи, в двухстах километрах к северу от Москвы, а вместо этого я, вернее, месиво из моих костей и мяса, будет мерзнуть в каком-нибудь сыром белградском морге, пока они там по дипломатическим каналам не решат, что делать дальше с этим фаршем.

Нет, Петрович, я вовсе не оправдываюсь. Как раз накануне, ты помнишь, я очень уж ругал сербов. Вот, похоже, Бог и пригрозил мне пальцем. Он злых не любит. А к тому же я, как и всякий русский, попер на красный свет, хотя вначале вроде бы и огляделся, и убедился, что машин не предвидится. Этот же сверкающий дьявол будто из-под земли выскочил, я едва не утерся мордой об его громадную боковую надпись „Карагеоргий“... Ты-то знаешь, я сегодня не пил. И вообще тут совсем не пью. Только слегка подбадриваюсь, если угощают. Потому что жрать-то постоянно хочется, а в сливовице, как тебе известно, калорий гораздо больше, чем во всех других плодах земли вместе взятых. Представляешь, испустить дух, даже не успев распечатать бутылку, купленную на свои кровные... Конечно, у шофера, если он там все же сидел, полное алиби: он-то ехал на зеленый, а я пер на красный. И все-таки он мог хотя бы посигналить... Я не мистик и плевать хотел на всякий мистицизм, но

этот пробензиненный дьявол, да еще с такой нахальной надписью на боку, мне подозрителен. Очень уж старательно прыгал прямо на меня...

Ну, ладно. Надо, наконец, успокоиться. Впрочем, легко сказать: успокоиться. Философическое спокойствие вернется ко мне только после стакана сливовицы. А может быть, и после двух. И тут же завалюсь спать. С утра оформлю билет, и домой. Потому что в Тополу меня все равно не выпустят, это по всему видать. И, значит, делать мне тут больше совершенно нечего. И я сюда больше не ходок. Славянский вопрос, Петрович, я снимаю с повестки дня. Скорее найдешь славян где-нибудь в Гренландии, чем здесь, на Балканах. И чехи, по мне, тоже больше не славяне. И поляки тоже. Только несчастные лужичане еще немного держатся за свое славянство, но немцы их вот-вот окончательно съедят... Когда-нибудь о нас со Стручняком скажут: это были последние славянские придурки, которые пытались найти на Балканах сердечный отклик. Но их труд был напрасен. Они заблудились во времени и пространстве. Они опоздали лет на сто двадцать. Это были последние утописты всеславянской идеи. Они перли поперек рожна, за что и поплатились. Пока они там трепыхались, славянство было продано с молотка на международном аукционе, причем продано по дешевке.

Вот и Косовская. Это святое имя тоже продано. Мы с тобой только что видели его на бутылочной этикетке: „Косовский виньяк". В четырнадцатом веке Косово поле было полито кровью сербских героев — кровью царя Лазаря и Милоша Обилича, кровью братьев Юговичей и их отца Богдана. И всех их оплакала Косовская девушка. А теперь благодарные потомки превратили те косовские кровь и слезы в напитки для всесветной турни, как же мне не злиться, Петрович?

Косовская — значит, я почти дома. Потому что наш отель — это почти дом родимый. Он вечно переполнен озадаченной русской турней. Когда новенький русский турик узнает, что ты тут торчишь уже целую неделю или даже две, он начинает смотреть на тебя озадаченно и завистливо, как на капиталиста средней руки, пусть у тебя даже нет зонтика. А у него, допустим, есть. Но я ему не завидую. Для него ведь что Белград, что Стамбул — один хрен. Уехав из Стамбула, он так и не сообразил, что побывал в Константинополе. А покинув Белград, так и не понял, что был в Сербии. Спроси у него: где находится Айя-София? Он ответит: моток парчовых ниток на стамбульском базаре стоит столько-то... Что такое? Впопыхах я проскочил мимо „Униона". Название-то у него громкое, а вид невзрачный, так что я уже несколько раз проскакивал мимо, даже среди бела дня.

Правда, почти тут же обычно и спохватываешься — напротив типографии „Борба". Само это мощное слово „Борба" мгновенно возвращает тебя в обстановку непрекращающейся классовой борьбы и бдительности. Как будто сами стекла типографского корпуса строго восклицают:

— Стой! Все ли ты сделал для победы над национализмом, великодержавным шовинизмом и великосербским гегемонизмом?

— Нет, — пристыженно мямлю я. — Еще ничего не сделал.

И понуро возвращаюсь назад, к входу в „Унион".

...минут в двадцать восьмого, в струях дразнящих ароматов

Можно догадываться, когда-то „Унион" в Белграде числился среди самых шикарных отелей, иначе откуда бы такое гордое имя. А теперь вот стал третьеразрядной ночлежкой, временным прибежищем для славянских орд, туряющих по европам.

Упрячемся под навесом. Из благоразумия не следует устремляться сразу в полуосвещенное теплое чрево рецепции. Нужно несколько минут постоять здесь, перед входом, чтобы немного стекло с одежды и ботинок. И чтобы у стойки администратора не осрамиться, как давеча в гастрономе. Нужно выжать влагу из носового платка, отереть им лицо, причесаться, а заодно и принюхаться к сквознячку, который вытягивает на улицу струйки табачного дыма, казенного дезодоранта, чьих-то про-

стеньких духов и дурманящий жар ресторанного мяса. Черт побери, мясо они зажаривают свежайшее и готовят преотлично. Никогда не догадывался, что мои железы способны выделять столько слюны.

Если сильно хочется есть, хотя бы закури. Курение — очень полезная вещь, потому что немного притупляет желудочную алчность. Шут с ним, рестораном. Мы ведь тоже не лыком шиты. Вареная белградская колбаса по калорийности, думаю, раза в три превосходит московскую вареную. Так что у меня в свертке не сто грамм, а, считай, полных триста. Это даже многовато на ужин одинокому русскому разведчику. К тому же у меня почти целая пачка сигарет.

Обидно, конечно, опять я здесь сорвался и начал дымить, как нефтевоз, подорвавшийся на душманской мине. А все женщины, Петрович, белградские милые дамы. Опасный народ, сам знаешь. Когда утром прихожу в какое-нибудь учреждение, чтобы выклянчить поездку в Тополу, они тут же кидаются с вопросами:

— Вам кофе? Сладкий? Горький? Может, хотите лозовой или сливовицы? Или виски?.. Есть водка „Горбачев".

— Спасибо, дорогие мои, но мне эта водка еще в Москве надоела. Если можно, чашечку кофе, чуть сладкого... и... немножко сливовицы.

И почти тут же на столе перед тобой появляется рюмочка, наполненная золотистой влагой, а рядом с ней — стакан минеральной воды, и минуты через три — чашка благоуханного, густого „турского" кофе, а они тем временем звонят по телефонам, печатают что-то на машинках, перешучиваются и... почти беспрерывно курят. Они беспрерывно курят, кажется, еще со времен османского ига, и клянусь, если и есть женщины на свете, которым идет курить, так это именно сербки. Курение придает сербке какое-то дополнительное очарование, а голосу ее — хрипловатые гортанные оттенки, необыкновенно приятные для русского деревенского слуха. Когда ты разговариваешь с ней, то легко догадаться, что она говорит в четверть силы своих голосовых связочек и что прабабушка ее где-нибудь в Шумадии перекликалась с горы на гору со своими подружками совершенно спокойно, без всяких мегафонов.

Скажу тебе честно, эти мои утренние благотворительницы и покровительницы очень милы, все без исключения, и каждая стоит того, чтобы в нее влюбиться. Но мне это занятие еще в Москве надоело. К тому же они строги. Да и советскому разведчику нужно держать себя строго, не допуская, чтобы кто-нибудь наследил помадой на его щеках.

И все же одна неукротимая страсть в их присутствии, после первых же глотков препеченицы и кофе, начинает буквально перекручивать мне глотку.

Проклятие! Ведь я уже три года, как бросил курить, не считая короткого срыва в Афганистане...

— Еще кофе, ракию? — спрашивают они.

— Нет, спасибо. Но если можно, одну сигарету. Не успел с утра купить, — вру я, не краснея, и самая быстрая из них уже протягивает мне распечатанную пачку „Лорда" и зажигалку.

Нет, утерпеть никак невозможно! И вот ошеломительный довод, который парализует во мне остатки воли: и не стыдно? эти милые девушки и дамы курят беспрерывно, можно сказать, со времен османского ига, а ты, позорник, трясешься над своим здоровьем, хочешь урвать у вечности два-три лишних годика. А между прочим, те, которые трясутся над своим здоровьем, они вперед и умирают. Нет, добрые мои мимолетные подружки, это будет просто позор, если после вашего угощения я не закурю в знак благодарности. Плевал я на здоровье, на долголетие! Я не позволю вам умереть раньше себя... Вы ведь меня с первого взгляда раскусили: этот русский не завтракал и вряд ли собирается обедать, значит, надо его хоть немножко подкормить, чтобы он, в конце концов, доволок ноги до своего дома, до своей жены... Да и вы сами, как я погляжу, и завтракаете, и обедаете вовсе не в ресторане „Верди", а так, перехватываете здесь, не отходя от своих телефонов и пишущих машинок: кофе — сигаретка —

кофе — сигаретка, еще сигаретка... Что такое? Меня просит к себе начальство? Может, что-нибудь все же прояснилось насчет Тополы? Признаться, в кабинете начальника я уже боюсь произносить вслух это заколдованное географическое название. И он явно не спешит его произносить.

— Кофе? Сок? Коньяк? Виски?

— Кофе? Да, не откажусь. Можно и сок. Виски? Нет, я патриот сербской сливовицы. Это лучший крепкий напиток в мире...

Вот так, старина, меня и подкармливают сердобольные сербки и сербы — до прихода лучших дней. Ты уж не обессудь, что я их накануне крепко бранил. Это под настроение нашло на меня. И плохо, что нашло. Потому что у русского разведчика не должно быть никаких настроений. У него должно быть постоянно только твердое и неколебимое состояние духа. Какие могут быть настроения, когда у тебя целое состояние?

Всё. Я немножко подсох. Пойдем домой.

...ровно семь двадцать семь, и меня уже разыскивают

Этот дежурный по рецепции, интересно, подрабатывает он немножко на здешние органы госбезопасности или нет? По крайней мере, он видит меня насквозь, даже если и не подрабатывает. В его скучающем взгляде, в том, с какой небрежностью выкладывает он ключ от номера на стойку, я читаю: что-то ты засиделся у нас, приятель, не пора ли на выход?

Ничего-ничего, браток, не волнуйся, за номер уплачено, и мне еще не пора. А когда будет пора, я сам извещу — тебя или твоего сменщика.

— Господин, — говорит он, когда я уже делаю шаг к лифту. — Вам звонили из города. Вот номер.

Я делаю равнодушную мину. Подумаешь, кто-то разыскивает меня из города! Меня все разыскивают. Из Парижа, из Рима, из Токио. Вы должны привыкнуть к тому, что я всем нужен, кроме вас, сербов. В данном случае, вижу по номеру, я нужен Алеше.

— Привет, парсуна! Я уже в „Унионе“. Елена? Ну, она была прекрасна!.. Новости? Как всегда, никаких. А у тебя? Отлично! Я так и предполагал, что под Опленцем у них урановый рудник... Как дети? Болеют? Ну, вы там держитесь. И я держусь — за стойку пивного бара. Ты ведь знаешь, нет таких крепостей, которые бы не брали большевики. И я не знаю в мире человека, который бы так счастливо смеялся, как ты, моя парсуна... Хорошо, через полтора часа я еще разок позвоню. Целую тебя! Как говорит одна старенькая московская княгиня: ц а л у ю!

— Это мой белградский резидент, — подмигиваю дежурному, и он нехотя улыбается. — Если еще не починили телефон у меня в номере, то через полтора часа я к вам спущусь. До видженья.

Лучший способ поведения разведчика — абсолютная искренность. Полная искренность — вот что всех обезоруживает и повергает в шок.

Кстати, на часах у него теперь семь двадцать девять. Можно было и не смотреть. Мой внутренний биохронометр еще никогда не ошибался. Если бы я не был находкой для шпионов, то мог бы стать находкой для психологов, изучающих биохронометрические аномалии. Свой номер я открою в половине восьмого, плюс-минус пятнадцать секунд. Пойдем, Петрович, зябко, немудрено простудиться...

Обрати внимание на этих двух девиц, что сидят в халатиках, нога на ногу, и покуривают на диванчике в гостиной моего второго этажа. Как думаешь, кто они? Русские? Увы, русского в них осталось совсем немного, в них преобладает советское. Тут у вас все путают русское с советским, что, признаться, обидно для русского слуха. А эти — типичные комсомольские активистки. Где-нибудь в Салехарде или Чите они успешно внедряли систему молодежных дискотек и видеосалонов, якобы для того, чтобы отвлечь скучающих подростков от улицы, поножовщины и наркомании. И за это внедрение комсомольское начальство наградило своих активисток турпутевками в Югославию, на Адриатику. Видишь, как они

ловко демонстрируют морской загар на своих коленках. Но мы не станем таращиться на эти маловыразительные коленки, а глянем повыше — на то, что содержится в их кудлатых головках. Бедные головки, они наполнены глухим тяжелым гулом, потому что девушки явно пережарились на солнце, злоупотребляли пивом, дешевым вином, сигаретами, ночными прогулками и почти беспрерывными торгово-арифметическими подсчетами, в результате которых они так почти ничего и не купили из того, что хотелось бы купить и увезти домой в качестве сувениров, гостинцев и просто на перепродажу... Теперь, напоследок, их привезли автобусом в Белград, втиснули в „Унион", причем комсомольский пастырь приказал всей группе никуда ни в коем случае не отлучаться без особого разрешения, а то как раз попадут в сети иностранных разведслужб, которыми кишмя кишит этот завлекательный Белград.

А что они, глупенькие, могут выдать враждебным агентам? Число и систему расположения дискотек и видеосалонов в своих районах? И приблизительный репертуар тех и других? Уверяю тебя, все эти данные уже давно хранятся в архивах ЦРУ, потому что и система расположения, и репертуар внедрялись как раз оттуда. Впрочем, тебе эти материи, догадываюсь, скучны. Сейчас я займу тебя чем-нибудь более любопытным, — вот и мой номер.

Ты видишь, какой он подозрительный? На всех соседних дверях номера изображены на металлических дощечках, а у меня — намалеван синей пастой прямо на дверном косяке. Причем цифра два почти уже стерлась. На изгибе тесного коридорчика, в полутьме ее и не разглядишь сразу, так что получается, что я живу в номере 13... Думаешь, меня это смущает? Да нисколько! Нет чисел дурных или неприличных, но зато есть приличные и неприличные номера.

Сначала я жил в приличном, на четвертом этаже, напротив Стручняка, и у меня в комнате даже были холодильник и телевизор. Правда, телевизор мне смотреть было некогда, а в холодильник нечего прятать. Потом переселили и Стручняка, и меня сюда, на второй, его в 213-й, меня — рядом. А сегодня утром, когда он уехал, мне было велено перебраться в его карцер.

Погляди сам и убедись, что это именно карцер, гостиничная гауптвахта, куда напоследок переселяют нищих странников, самых провинившихся международных бродяг, чтобы они одумались, наконец, и перестали мотаться по странам бывшего социализма в поисках дешевого тряпья или ответной славянской пламенной любви.

Наверное, у меня на лбу написано, что я нахально домогаюсь именно такой любви, — вот и впихнули в 213-й. Больше всего он напоминает узкий полутемный гроб, наполненный застоявшейся тоской. Поэтому включим сразу все лампочки — верхний свет, ночник и в санузле, над зеркалом. И окно нужно сразу открыть. Это окно расположено почти на дне каменного колодца. Внизу — только серый металлический скат крыши, и по нему беспрерывно барабанит дождь. Капли звучат нагло, как монетная мелюзга, на которую не купишь тут даже коробок спичек. Но пусть все же проветрится, пока я буду переодеваться и переобуваться. Конечно, для начала лучше бы стать минут на двадцать под горячий душ. Но горячей воды мне тут тоже не положено. Хорошо еще, они сменили после Стручняка постельное белье и вывесили чистые полотенца, так что можно как следует обтереться насухо.

Еще минутку, Петрович, и я буду готов. Вот мой спортивный костюм, вот тапочки, сейчас достану шерстяные носки. Они теплые, толстые, колючие, домашней костромской вязки. Великое дело — шерстяные крестьянские носки, ты это сам прекрасно знаешь. Что бы я делал теперь без них, без тебя и без этой увесистой фляжки, которую пора выставить на середину стола.

Ну вот, окно теперь можно притворить, чтоб не дуло в спину и не барабанило в уши. И выключу для уюта верхний свет, потому что узкий этот потолок слишком уж давит. Да полно! Нам, обитателям самой простор-

ной страны на свете, к тесноте не привыкать-стать. Внешняя теснота — чистая условность, надо, чтоб сердцу было раздольно.

Ишь ты, Европа есть Европа, даже стакан они завернули в какой-то прозрачный пакетик — для стерильности. Колбаса подана, хлеб тоже, полуобщипанная гроздь синего винограда все еще сгодилась бы для нидерландского натюрморта. Хоть я тебе и пообещал, что осушу сразу целый стакан, но то было обещано в состоянии крайнего возбуждения. Русский человек, грешным делом, любит побряцать полным стаканом, поработать на публику. Но здесь, в тесном кругу, перед кем мы будем хвастать своими фантастическими способностями? Грамм сто для сугрева, да и то в два-три глотка, — не более того. Ну, Петрович, дай-ка и в твой стаканчик налью. С Богом! Вперед! Хайдемо! Живели, что по-русски значит: будем жить!..

...А напиток хорош, хотя этикетка меня и до сих пор раздражает. Сразу видно, это сливовица двойной выгонки. Это чистый, даже чистейший продукт. В него вошли благороднейшие соки и соли земли. Особенно меня обезоруживает в сербской сливовице этот чуть кисловатый, чуть грустный аромат сливовой косточки... И на этикетке вид у вождя сербского восстания тоже слегка грустный. Я ведь знаю, этот портрет взят со знаменитой картины нашего Боровиковского, и писал он ее по поручению самого царя Александра Первого... Да, Петрович, я кое-что знаю и обещаю тебе, что мы нескучно проведем этот вечер, несмотря на отсутствие женского пола. Или же, наоборот, благодаря его отсутствию... Да, сливовица хороша. Настоящая препеченица, хоть и назвали ее по-пижонски: „Плюм-бренди“. Если первый глоток согрел мне только нёбо и гортань, то второй жарким расширяющимся облачком опустился в желудок. А третий зашептался, зашелестел в крови, как теплый ласковый ветерок в степных звонких травах.

Но, кстати, о женщинах. Тут есть поблизости одна пока что безымянная соседушка. Да вон она — в противоположном окне. Этот каменный колодец между отелем и жилым домом так тесен, что, кажется, до ее окна и рукой можно дотянуться, хотя метра четыре все же будет.

...восемь с хвостиком, сквозь две занавески и завесу дождя

В ее комнате, когда я только открыл свою входную дверь, уже горел свет, неяркий, рассеянный. И она как сидела недвижно за столом посередине комнаты, так и теперь сидит, не шелохнется, будто мумия. Может, что-нибудь кроит? Или проверяет ученические тетрадки? Или вычитывает корректуру, взятую на дом в небогатом издательстве? Сквозь две оконные занавески и завесу дождя я, кажется, различаю ее тихое спокойное, как во сне, дыхание и токи тепла, исходящие от ее спины и затылка. Нет, я не пялюсь на нее, а только искоса иногда поглядываю: как она там? А она на меня и вообще не обращает внимания, даже голову ни разу не повернула. Она, думаю, столько уже насмотрелась нашего мимоезжего брата, что ей совершенно все равно, чем мы тут дышим, пялимся на нее или нет. Я ее вчера вечером впервые разглядел, и тоже сквозь дождь, когда заглянул к несчастному мутноглазому Стручняку, который то впихивал в свой саквояж груды ношеного белья, книги, папки с бумагами, то обратно в пьяном недоумении все это извлекал наружу и раскладывал на полу и на кровати. Казалось, он искал: а где же сувениры, покупки?.. Ведь жена, он показал мне накануне клок бумаги, снабдила его целым списком покупок первой необходимости, — в расчете на его баснословный здешний гонорар, который бедняге так и не обломился... Он был теперь совершенно обескуражен необходимостью срочных сборов в дорогу и ретировки в СССР, его близорукие глаза блуждали по грудам тряпья и ворохам бумаг и все чаще задерживались на ополовиненной бутылке виньяка. Я видел, что Стручняк как разведчик рухнул, и мне вовсе не хотелось пить его отдающий дешевой парфюмерией виньяк, но он уже налил и мне, и это было почти как на поминках, и когда я, задрав голову, подно-

сил стакан ко рту, то и увидел сквозь занавески и дождь эту недвижную соседку в алой кофте, что-то работающую за столом...

Ей, наверное, лет тридцать пять, она блондинка, хотя, догадываюсь, крашеная, как и большинство блондинок-белградок. Она малоежка и кофе пьет без сахара, горькое, встает, по здешнему обычаю, очень рано, зато и домой возвращается рано, в этом преимущество. Она, судя по всему, одинока и уже давно воспитала в себе невозмутимость и тихий безропотный нрав. Она живет на скале, до которой не доплескивают мутные волны международного туризма, и если бы однажды в жаркий июльский вечер Стручняк кинул ей в раскрытое окно тяжелую темно-красную розу, она не повела бы головой.

Но согласись, как бы она ни была к нам равнодушна, ее присутствие, пограничное с отсутствием, все же скрашивает нашу вечеринку. Ты скажешь: это и есть настоящая сербка; присутствуя при наших мужских застольях, она почти и отсутствует, и никогда не полезет в мужской спор, а тем более к кому-нибудь на колени. Твое молчание я, как и прежде, считаю знаком согласия.

Опять же согласись: это застолье мы с тобой сегодня неплохо придумали. Стол, можно сказать, ломится от яств. Лепестки колбасы на свет розово-прозрачны. К тому же на полу под окном стоит громадная бутыль минеральной воды, ее завещал нам Стручняк. Но жажда пока не мучит, а если что и беспокоит меня чуть-чуть, так это твое молчание. Я не хочу сказать, что ты упорно молчишь. Нет, ты просто молчишь. Если бы ты теперь молчал упорно, это бы меня просто подавляло. Я ведь немножко знаю твои привычки: обычно ты молчишь долго и упорно лишь после сильнейших потрясений. Тогда ты вообще закрываешься ото всех на несколько дней, и тебя лучше не трогать. Ты ничего тогда не ешь, молчишь и грызешь ногти. И глядишь на мир затравленно, а этим своим неприятным грызением ногтей будто хочешь сказать, что там, внутри, твою душу изгрызает сейчас серая тощая крыса из подвалов самого сатаны.

Эй, встряхнись, старина, самые худые времена еще не наступили. Хотя Стручняк завалился, а я завис в неопределенной паузе между Белградом, Тополой и Москвой, ничего страшного пока не произошло. Мы контролируем обстановку, и меньше, чем через час, Алеша, белогвардейская косточка, снабдит меня самыми свежими данными. Давай-ка чокнемся за его здоровье. Он — сама надежность и сама безунывность.

Между прочим, я-то все пью, а ты-то все подливаешь. Я-то все болтаю, а ты все помалкиваешь. Встретились однажды болтун и молчун. Вот болтун и говорит: не на равных у нас с тобой получается разговор; пока ты молчал, я о тебе ой как много всякого разузнал, послушай теперь и ты, что я о себе наболтаю.

Это, Петрович, побасенка, но если говорить серьезно, то ты ведь обо мне, действительно, мало что знаешь. Хотя, если рассуждать с точки зрения бессмертия твоей и моей души... Нет, я зарекаюсь под пьяную лавочку рассуждать о бессмертии души. Это моя старая чесотка: как выпью немножко, так принимаюсь доказывать кому-нибудь бытие Божие. А тебя мне агитировать не надо, ты сам, своим умом давным-давно уже дошел до истины.

Зато послушай, как я пытался и все еще пытаюсь к ней прорваться, по-военному говоря.

Ты, конечно, вправе удивиться, но после того, как я перестал быть младенцем, из меня чуть было не вытесали... философа. Для пользы дела я тут опускаю некоторые скучные подробности затянувшегося младенчества, как-то: пребывание в октябрятах, в пионерах и, отчасти, в комсомоле, затем женитьбу и поступление в университет, прямиком на философский факультет.

Философия, как ты догадываешься, есть любовь к мудрости. Но, имей в виду, не вообще любовь к мудрости, а только к своей собственной. Зачем, спрашивается, нынешнему философу любить какую-то там Божью Премудрость, когда у него в головке копошится своя собственная мудро-

ватость, пусть маленькая, тощенькая, вся из себя плюгавенькая, но зато уж самая-самая... Нынче всякий философ, в сущности, предатель Премудрости Божьей, потому что он лишь свое плюгавенькое мудрование холит и лелеет. Надувается, как бычий пузырь, дабы убедить целый свет, что он-то и есть искомый сосуд Премудрости, которая все-все способна наилучшим образом объяснить и обустроить. Эту свою мудровую мудрятину он важно именует философской **системой** и, уж будьте уверены, его **система** — единственная подлинно-научная и передовая, и совершенная, только она покрывает кровавое солнце, все живое и мертвое...

Тебе, догадываюсь, уже скучно и муторно. Но потерпи, сейчас начнется самое неприличное и скандальное. Ведь всякому философу, чтобы протолкаться на люди со своей **системой**, нужно как следует обгадить все предыдущие системы, которые до него в великом избытке наплодили мудрилы прежних времен и народов. Так и получается, что философы — наиболее старательные в мире мастера по обгаживанию всего, что им предшествовало в области мудристики. Когда ты, Петрович, услышишь, как за окном пьяный серб не вполне прилично высказывается об одном нежном предмете, из которого он когда-то вылез на свет, то эта его грязная брань — детский и невинный лепет сравнительно с тем, как на каждом шагу обгаживают друг друга наши философы. То есть, если имеется в философии прогресс, поступательное движение вперед и выше, то этот прогресс состоит лишь в том, насколько изощренней стали новейшие философы в искусстве обгаживания своих предшественников.

В то время, как все нормальные люди воюют друг против друга, вооружась саблями, пистолетами, ружьями и пушками, у наших философов-мудрозвонов главное и единственное оружие — дерьмо. Уж чем-чем, а дерьмом они вооружены до самых зубов. Целые ушаты дерьма и помоев выливают они на плеши филомудристов, живых или уже мертвых, которые когда-либо посмели заикнуться о наличии своих собственных **систем.**

Нормальные люди стараются чередовать времена войн и периоды перемирий, а то и полной тишины. Философы же ни на минуту не ослабевают в своем беспрерывном натиске на полчища противника. Да и где бы они, спрашивается, взяли белый флаг для мирных переговоров, когда облеплены до ушей дерьмом, своим и чужим. Правда, если в прежние времена каждый из них в одиночку сражался против всех прочих, то нынче ребята утомились и на скорую руку скучились в две армады: одни — **материалисты**, другие — **идеалисты.** Сразу скажу тебе, что первые вооружены гораздо лучше, хотя и вторые отстреливаются не одними чистыми идеями.

Думаю, тебе, как военному специалисту, нелишне узнать, каковы исходные боевые позиции противоборствующих сторон. Для краткости я буду опускать некоторые тонкости. Итак, **материалист.** Его главный воинский девиз: „материя первична, сознание вторично". И он глотку перегрызет всякому, кто с ним не согласится. Как это первична? Какая-такая материя? — удивишься ты. Очень даже просто: материей он именует все-все, что мы видим вокруг себя. Не только, к примеру, эту мою рубашку или эти шерстяные носки, но и эту вот бутылочную этикетку, и потихоньку убывающее содержимое бутылки, и кровь, в которую проникает жаркая влага, и воздух в этой комнате, и занавеску, и табачный дым в комнате соседки, и многоэтажные ущелья Белграда, и Саву, в свете редких фонарей впадающую в Дунай, и все моря и континенты, и все звезды и туманности, и всю Вселенную, — все-все называет он материей и считает, что она существует всегда, без конца и начала в пространстве и времени, правда, вначале была только мертвая материя, а потом, при благоприятных обстоятельствах, появилась живая, а напоследок, при еще более благоприятных условиях человеческое мозговое вещество начало производить из себя некоторые идеи, которые поэтому вторичны по отношению к породившей их первичной материи... Уф-ф! у меня даже в голове застучало от этой галиматьи. Может, выпьем понемножку?.. А, кто это там?

...восемь двадцать, начинаются поиски Славика, комсомольского султанчика

— Ой, извините, а Славик разве не у вас?

— Славик? Какой Славик?.. Нет, девочки. Славик у нас тут не прописан. Тут только мы с Петровичем... А кстати, здравствуйте, хотя мы, кажется, недавно виделись. Это ведь вы покуривали там, на диванчике, напротив лифта?

Точно, это они там покуривали, по крайней мере, та, что спрашивает, чуть выставив коленку из-под полы ситцевого халатика.

— Что ж, вы такой наблюдательный? — улыбается она. — Вы нас, конечно, еще раз извините, но нам сказали, что Славик сюда вошел.

— Нет. Вас явно кто-то дез-ин-фор-мировал.

Когда язык мой начинает слегка спотыкаться на длинных иностранных словах, это значит, что наступила первая стадия опьянения.

— Мы с Петровичем желаем вам поскорее найти своего Славика.

Они закрывают дверь, не попрощавшись. Может, просто не хотят прощаться?.. Нет, не будем слишком преувеличивать свое значение. Похоже, этот Славик — руководитель их группы, и они хотят отпроситься у него на улицу — поглазеть на витрины ближайших парфюмерных и прочих магазинчиков. Поглазеть, не более того, потому что магазины уже, думаю, закрыты. Будь я на месте этого комсомольского евнуха, а скорее, султанчика, я бы им сказал: „Да ну вас, девки, что вы лезете со всякой ерундой! Идите, куда глаза глядят, если охота мокнуть под дождем...“ Но боюсь, Славик вылеплен из другого теста. Он ведь за всех за них несет **ответственность.** А вдруг какую-нибудь из них завербует английская разведка? Или они разыщут ночной магазин и нечаянно вынесут из парфюмерии лишний флакон шампуня? Или вдруг потеряют свои заграничные паспорта? Впрочем, все их паспорта он наверняка уже спрятал в своем дипломате, а дипломат засунул под подушку.

Так на чем я остановился? Ну да, с материалистом мы вроде разобрались. Перейдем теперь к **идеалисту.** Этот, в отличие от материалиста, полагает, что материя вовсе не вечна, что она не существовала всегда, но возникла однажды как плод волеизъявления вечных и бессмертных идей, которые, следовательно, первичны по отношению ко всяческой материи... Ты видишь, что в подобном суждении тоже есть момент галиматьи. Ведь нашему ограниченному человеческому уму равно невозможно вообразить как вечное, безначальное существование материи, лишенной, так сказать, идейного наполнения, так и вечное, безначальное существование идей, лишенных всякой материальной поддержки, потому что как бы это вдруг, из каких таких ресурсов идеи начали однажды плодоносить галактиками, звездами, материками и морями, ситцевыми халатиками и нежными формами озабоченных комсомолок. Выскажу более резкий упрек в адрес такого идеализма: если когда-нибудь, триллиарды веков тому назад, когда идеи еще не разродились ничем материальным, в числе этих идей уже фигурировал замысел комсомольского султанчика Славика, то мне с такими идеями, будь они хоть трижды бессмертны, совсем не по пути.

Мы ведь с тобой люди простые и на все мироустройство глядим со своей старой колокольни, которую пытались, но так и не успели взорвать советские и югославские богоборцы. Мы видим с нее, что все на свете когда-то рождается и когда-то умирает, что все имеет начало и конец. Поэтому нам гораздо удобнее считать, что материя не беспредельна и не безначальна, что она когда-то и для чего-то сотворена. С другой стороны, нам так же неуютно допустить, что до ее сотворения были в мире только бесчисленные и безымянные идеи: идея бутылки и идея Черного моря, идея колбасы и идея Славика. Нам гораздо удобнее верить в то, что безначально мог существовать только живой Бог, творец замыслов и воплощений, движитель идей и вещей... Вот видишь, я же предупреждал тебя, что, как выпью малость, меня так и тянет доказывать всем и каждому бы-

тие Господне. А ведь тебя мне агитировать совсем не нужно. Так же, как и ты, надеюсь, вовсе не собираешься меня упрекать, за то что мы на мир глядим со своей колокольни. Пусть кто-то глядит на него с высоты Вавилонской башни или египетской пирамиды, или с макушки статуи Свободы, а нам достаточно и старой сельской колокольни... То есть, мы еще не оторвались от земли, но уже пребываем в вольном полете, и, пожалуй, самая пора еще раз налить... Но постой, Петрович, что-то я очень увлекся и зафилософствовался и чуть было не забыл вот о чем... Да, это было бы совсем неприятно, если б вдруг забыл.

...в половине девятого, как и тогда

А тогда все вокруг нас вдруг, не сговариваясь, поднялись из-за стола и мы, ничего не спрашивая, тоже встали, держа свои кружки на весу. И командир заставы, его звали Сергей, тихо, так что со двора стал слышен шелест гаснущей над кишлаком ракеты, сказал:

— Третий мы, по обычаю, пьем стоя — за тех ребят, которых мы здесь потеряли.

Застава напоминала мне бедный мужской монастырь, ежедневно подвергаемый нападению бесов или, как ребята их называли, „духов".

...минутой позже, опять этот Славик

Ну, что за бесцеремонность такая! Нет, я сначала допью... Шляются тут всякие... Уверяю тебя, это всё те же комсомолки. И чего им неймется?

— К вашим услугам, девочки.

— Ой, а нам сказали, что Славик все же в этом номере.

— Ну, если вам сказали, так заходите и поищите своего Славика.

— Нет, мы серьезно.

— И я серьезно. Давайте вместе поищем пропавшего Славика. Вот перед вами я. А вот Петрович. И мы с ним сидим и мирно беседуем. И немножко согреваемся после проливного дождя. А вот, возле окна, наш боевой конь Шарац. Его нам доверил сам Стручко, он же Стручняк. Вы что-нибудь слышали об этой выдающейся личности?

— Нет, не слышали, конечно. Вы нас просто разыгрываете. Какой-то Стручняк, какой-то Петрович.

— То есть, как это какой-то? Петрович — еще более выдающаяся личность. Стыдно не знать. Если б не он, тут бы сейчас была турецкая империя, а не социалистическая федеративная Югославия. И вас бы со Славиком сюда никто не впустил. А если бы впустили, то лишь в гарем к какому-нибудь белградскому паше. И Славик был бы у вас евнухом.

Девицы хихикают.

— Нет, дяденька, вы явно поддатый. Вы, наверное, из сплитской группы.

— При чем здесь сплитская группа! Мы тут сами по себе. Мы с Петровичем не принадлежим ни к какой группе. И ни к какой партии. И ни к какой комсомольской организации. Мы — вольные люди. Прошу не путать с вольными каменщиками. Мы просто вольные славяне и находимся в автономном плавании...

Опять они хихикают.

— Оно и видно, что вольные. Вон уже сколько выпили.

— Это? Нет, девочки, в этом и ваш Славик поучаствовал. Хватанул полный стакан и сразу на пол. И закатился под кровать. Не верите? Посмотрите.

— Нет, наш Славик — стойкий товарищ. Проверенный в боях.

— Охо-хо, стойкий! Это мы с Петровичем и Шарацем проверенные в боях. А ваш Славик, небось, уже завербован вражеской агентурой и сбыл ваши паспорта за приличную мзду.

Они прыскают от смеха.

— С вами, дяденька, не соскучишься. Только у нас времени в обрез. Так что встретимся на родине.

— Ради Бога, мы вас не держим. Но если не обнаружите своего Славика, дайте знать. У нас тут с Петровичем большие связи. Если надо, мы этого изменника родины из-под земли достанем. Мало того, что он в Союзе портит молодежь с помощью дискотек и видео-порнушки, он еще и тут решил набедокурить. Но тут нравы строгие...

— Да уж, строгие, — переглядываются они игриво.

— Представьте себе. Вплоть до принудительной кастрации.

— Нин, ну пойдем же! Не видишь разве: товарищу просто поболтать хочется... Ух, я этому Славке по шее дам. Закуска вянет.

Она медлит и косится на нашу бутылку. Ждет, что я тут же предложу: „Ваша закуска — наша выпивка. Давайте объединим усилия". А может, и не ждут они ничего такого, кто их разберет.

— Так что еще раз извините, дяденьки, за вторжение. Чао!

— И всему вашему комсомольскому активу с „Константина Симонова" большое-пребольшое взаимное чао!

Ишь ты, нашли себе дяденьку, вертихвостки. Да и я, признаться, хорош: тут же начал рассыпаться мелким бисером. Но уж теперь-то они больше не придут. А если и придут, то с собственной закуской... Колбаса-то наша, гляди, быстро убывает. Давай-ка лучше закурим.

Фу, меня прямо в жар бросает от этих мелких гостиничных приключений. И перед соседкой нашей как-то неудобно, если она видела этих девиц. Вон она как раз встала из-за стола и медленно пошла к двери. Может быть, на кухню — варить кофе? Не отказался бы и я от глоточка...

Ну, а что касается этих халатиков, то я тебе так скажу: нет никого опаснее, чем наши комсомольские весталки. Тут-то больше всего мастериц по части внезапных половых связей. Они и дома-то, в пионерлагерях, резвятся напропалую, но стоит им только выкатиться за рубеж, так они будто с цепи срываются. Понятно, не все. Но многие, я сам был свидетелем: на теплоходе „Константин Симонов", в бухте Золотой Рог, в Стамбуле... Да, в том самом Стамбуле, с которым связана твоя последняя страшная слава.

Извини, конечно, что смущаю душу твою неприятным напоминанием. Но так уж получилось: в Стамбуле я оказался по совсем другим делам, с тобою никак не связанным. На ту пору я, откровенно говоря, вообще о тебе ничего не знал, не считая двух с половиной стихотворений. И нескольких старых журнальных статей.

В Стамбуле мы посещали, в основном, мечети, — на предмет использования мусульманской экзотики в одном историческом киносюжете, поскольку я тогда сидел на мели и хватался за всякую работенку.

Как-то звонят нам в стамбульский отель из нашего родимого консульства. „Тут, — говорят, — на сутки в Золотом Роге пришвартовался „Константин Симонов", а на нем совершают круиз вокруг Европы комсомольские вожаки, — так не хотите ли провести приятный вечер в кругу соотечественников и соотечественниц? Кто-нибудь из ваших расскажет о Бергмане или Антониони, а вы уж, как специалист, о творческом пути мыслителя Бердяева..."

Ну, хорошо, решили мы. Кто враг своим соотечественникам? Надо, так надо, поехали! Бердяев меня, правда, немного смущал, но раз уж бердяевщина теперь в такой моде у нашего комсомола, пожалуйста. Бердяев, доложу тебе, это был такой русский философ, который заметно склонялся в сторону идеализма, за что наши воинствующие материалисты однажды усадили его на пароход и вышвырнули из России в Европу за ненадобностью. По-настоящему опасных своих противников они не вышвыривали, а сажали в лагеря или сразу ставили к стенке. А Бердяев — что он им? Увлеченный и увлекающий фразер, всеядный верхогляд, вполне безобидная персона... Ты заметишь: не слишком ли я в него швыряю этим самым... наземом? Ведь пострадал же человек, если его разлучили с родиной. А я не знаю, страдал ли он когда-нибудь или чем-нибудь,

кроме всегдашнего любования собственным громокипящим свободомыслием. Видишь ли, он додумался сочинить **систему**, в которой бы примирились материализм с идеализмом, взял себе в учителя самых драчливых философов из того и другого лагеря, добавил в этот мудромутный коктейль немного христианства, немного буддизма, немного иудаизма, словом, поступил именно так, как обычно поступают братцы-масоны (и в твоем окружении такие водились), которые, как известно, собирают нектар со всех цветов, но, в первую очередь, с ядовитых. Леший его знает, почему этот бердяевский коктейль стал таким модным. Может быть, потому, что мы вообще живем теперь в эпоху коктейлей, во времена невероятных и противоестественных смесей всего и вся. Возьми, например, и понюхай самые модные нынче французские духи. В этом дремучем эликсире помимо всяких обычных благовоний содержится еще и что-то прямо-таки неприличное. Думаю, они добавляют туда мочу каких-то экзотических зверюшек, может быть, макак, потому что очень уж в нос шибает... А поскольку французы — главные на свете законодатели подозрительных смесей, то этот наш Бердяев, очутившись в Париже, с удовольствием продолжает составлять диковинные интеллектуальные коктейли.

Но до Бердяева на „Симонове", к счастью, не дошло. Потому что старпом теплохода, по национальности одессит, тут же усадил нас в шикарной кают-компании за этот самый... коктейль. А вокруг, за соседними столиками, гляжу, уже потягивает из своих бокалов — через розовые и голубенькие пластмассовые соломинки — весь комсомольский бомонд, заметь, исключительно девицы. И почти у каждой на личике — этакая небрежно скучающая мина: заявились, мол, какие-то, не больно надо...

Зато наш старпом весел, дальше некуда:

— Сейчас запустим музыку, танцы-обниманцы, — жужжит нам в уши. — Вы не глядите, ребята, что они такие высокомерные. Отличный, признаюсь вам, контингент. Надо только уметь открыть эти дарования. Нет такой раковины, в которой бы, ха-ха, не содержалось хоть маленькой жемчужинки... Если б был я турецкий султан, я бы плавал только на „Симонове"... Вы не подумайте, что у меня какие-то там шкурные интересы. Наши интересы исключительно, ха-ха, подкожные. Я согласен с Николаем Островским: жизнь дается только один раз, но комбинаций в ней много... Я ведь тоже немного философ: каждую форму нужно наполнить трепещущим содержанием, ха-ха, и не один раз, а как можно чаще... Друзья, предлагаю общий тост: за родной ВЛКСМ — кузницу наших нежных кадров... Ребятки, а между нами, я так скажу: попал в круиз — кадрись, кадрись. Мы не какие-нибудь бабники, мы тут — люди жертвенного подвига. Посмотрели бы вы на меня голого — я весь в синяках и царапинах, на мне сотни комсомольских автографов. Что ни день, открываешь новые кингстоны и погружаешься, ха-ха, на самое дно... Отгадайте загадку: плывет большое корыто, а в нем две тыщи тазиков. Каждые сутки меня раз пять-шесть-семь принимают в разные комсомольские ячейки. Я уже начинаю обугливаться, но надо выдержать до конца...

Старпом дышит здоровьем и пошлостью, а другое мое ухо терзает еще один голос. Это нудит по-комариному единственный, кажется, на весь зал юный вожак мужского пола. Сразу, как только он подсел, я сказал себе: осторожно! он ужасный спорщик и законченный теоретик. Такому скажешь „а", и он тут же возразит: „Нет, вы сказали „б", я хорошо расслышал, не возражайте, но я с этим вашим „б" категорически не согласен, во-первых, потому..." И так далее.

— Отчего вы не пробуете коктейль? — спрашивает он, болезненно морщась и подправляя на переносице дужку очков.

— Потому что предпочитаю чистый продукт. Например, водку.

— Не могу согласиться с вами, что водка — это чистый продукт.

— А я с вами согласен. Водка — тоже дрянь. Но коктейли — это уж полнейшая дрянь.

— Ребята, кончайте философствовать, — жарко бормочет старпом. — Я

знаю только одну истину: жизнь есть борьба противоположностей. Выберите себе по хорошенькой противоположности и вперед!..

— Не мешайте, старпом, — криво усмехается юноша. — Дайте нам доспорить... Вот вы сказали: „Я с вами согласен". Но все равно остаетесь при своем мнении. Я же считаю, что есть культурное употребление напитков, и есть варварское, примитивное. Поэтому я именно за коктейль, а не за водку.

— Да пожалуйста, — начинаю я слегка раздражаться его занудством. — Вот, выпейте еще и мой.

И пододвигаю ему бокал.

— Благодарю, — морщится он, — хотя вы истолковали мои слова слишком однолинейно...

— Вы как хотите, джентльмены, а я пойду потанцую... Вот всегда так: ради одной-единственной овечки приходится покидать, но только на время, ха-ха, все стадо.

— Извините за примитивное истолкование ваших слов, — говорю юноше. — Но давайте поговорим о другом. Сейчас закажу бармену сто пятьдесят и поведаю вам одну маленькую стамбульскую историю.

— Пожалуйста, — морщится он с таким видом, будто эту историю он слышал уже сто раз.

— Так вот, во время Севастопольской обороны, лет, значит, почти сто сорок назад, вот здесь в Стамбуле, где мы с вами беседуем, вдруг оказался старый уже Адам Мицкевич, в сопровождении своего парижского секретаря, забыл его фамилию, но что-то наподобие Леви. И что же делает здесь великий славянин, чьи первые стихотворные книжки были напечатаны в России, да еще и на польском языке? А он начинает тут вербовать местных евреев, обещая им возможность поселиться в Палестине, если они для начала отправятся воевать в Крым — на стороне союзников, против этой самой России... Вот вам и типичный коктейль.

— Не понял, — юноша опять передвигает вверх по переносице дужку очков, и в глазах его я вижу холодный блеск заготовленного опровержения.

— Типичный коктейль в том смысле, что если ты — великий славянский поэт, воспевший в своих сонетах Крым (а они, сонеты, повторяю, впервые увидели свет в России, да еще и на польском языке), то зачем же ты теперь в турецком Стамбуле приманиваешь евреев лакомым куском Палестины, чтобы они вместе с теми же турками, а также французами и англичанами отправлялись на штурм Севастополя? Ну никак, хоть убей, не пойму я этой мешанины в голове старого Мицкевича.

— Ну что вы! Никакой мешанины. Все логично и последовательно. Мицкевич, насколько я знаю его творчество, с молодых лет ненавидел царскую империю и, конечно, делал все возможное, чтобы пробить брешь в стенах российского „темного царства", чтобы уничтожить эту тюрьму народов.

— И, значит, вы на его месте поступили бы точно так же?

— Ну... — на секунду он замешкался. — А почему бы и нет?

Я развел руками:

— Поздравляю... Позвольте-ка, я выйду на свежий воздух. Очень уж тут натанцевали.

„Ах ты, тварь эдакая! — клокотал я про себя, пробираясь на выход. — Дать бы тебе по очкам за это „темное царство". Да знаешь ли ты, комсомольский кастрат, что это „темное царство" только после революции у нас и появилось? Знаешь ли ты, эмбрион сраный, что все еще ерзаешь в пузе этого ёкнутого царства? Знаешь ли, что ваша круизная посудина уже потонула в море лжи, — по пророчеству одного русского народного мыслителя?.."

На палубе было хорошо. Половина стамбульской галактики горбилась и переливалась в ночи огнями прямо передо мной, а от Босфора веял свежий ветерок. Но кто это там свесился через перила и издает характерные рулады? Ба, это бедняга из нашей компании. Его выворачивает, как

во время океанского шторма. На всякий случай цепляюсь за фалды его пиджака, из-под которого торчит белая рубашка, а то еще во время очередного приступа вывалится вниз, на пустую пристань.

Кажется, несчастный до сих пор не может сообразить, где же он находится: в Стамбуле или в Константинополе... Когда несколько дней назад мы приземлились в стамбульском аэропорту, именно он, отстегивая ремни, спросил у меня: „Ну вот, мы в Стамбуле. Одного не пойму, а где же Константинополь?“

Я едва удержался, чтобы не расхохотаться.

— Видишь ли, дело в том, что Стамбул и Константинополь, в принципе, одно и то же. Была даже после войны такая популярная песенка-фокстрот: „Эх, в Стамбуле, в Константинополе...“ Но ты тогда еще не народился и потому ее не слыхал. Просто когда-то город звался Константинополь, он же Царьград. А потом его захватили турки и дали новое имя — Стамбул. Но не переживай, Константинополь все равно будет наш, вот увидишь.

Он приободрился. И вот теперь плюет сверху на ночной Стамбул. Хорошо еще, на пирсе пусто, а то бы нас неправильно поняли.

Наконец он поворачивает ко мне облитое слезами изумленное лицо и поверяет свою маленькую неприличную тайну: „Потрясающе... Я только что был у одной комсомольской секретарши из этого... из Саратова. Только танцы начались, она шепчет: „Хочешь, убежим отсюда, я покажу тебе свою каютку“. По коридорам неслись, как сумасшедшие. „Зая, зая, догоняй“. Такая маленькая, но очень ловкая. Сама меня раздевала. Исцарапала всего... Прямо зверушка. Ну и ну... А потом еще сухого вина бутылку достала: „Остудись“. А оно теплое... Пот-ряса-юще-э-э... ээ-э!“

Тут его еще разок вывернуло. Раздеть-то она его раздела, но одеться он как следует не успел, рубаха торчит сзади как хвост.

— Эх, ты, — пристыдил я его. — Говорил же вам: мужики, не пейте этот коктейль, потому что таких коктейлей вообще не бывает. Даже в Союзе.

— Безумство какое-то, — бормотал он, постанывая. — Прямо как у Бунина — „Солнечный удар“.

— Ладно, ладно, — ворчал я. — Бунина-то зачем приплетаешь, дурашка. Уж где там „Солнечный удар“? Обычная собачатина. Смотри лучше, не ударься башкой о стамбульскую пристань. Кто тогда будет Константинополь отвоевывать, а?..

...без десяти девять, но еще успею представиться

Прости, Петрович, я сильно отвлекся. Это за мной водится при переходе ко второй стадии опьянения, когда язык развязывается, а воспоминания кидаются в разных направлениях. Но я прекрасно помню, после чего отвлекся в сторону Стамбула. После этих девиц с их непутевым Славиком... А также прекрасно помню, что не успел тебе допредставиться в качестве бывшего философа. Минут через десять мне надо будет позвонить Алеше, а пока закончу философский сюжет.

Так вот, хотя и учился я на философском факультете, но материалиста они из меня так и не успели сделать. А идеалистом, по трезвом размышлении, я и сам не захотел стать. И все из-за одного занятного преподавателя, по фамилии то ли Бернгардт, то ли Розенбах. Он и по виду был прямой немец — высокий, лицо мясистое, глаза голубые, череп лысый, а патлы почти до плеч. Бывший блондин. Веселый был парень, как у нас говорят, свой в доску. Со студентами говорил на „ты“ и очень уважал свободу мнений. „Дорогие мои ребятишки, — заявил громовым голосом в день знакомства, — запомните: самое важное для молодого философского ума — свобода, самостоятельность и храбрость мысли“.

Мы, конечно, сразу же произвели разведку: откуда он, такой горячий? Он и сам вскоре намекнул, что провел лет десять в местах не столь отдаленных именно потому, что слишком громко отстаивал в молодости свободу, самостоятельность и храбрость мысли.

— Запомните, ребятишки, — прогремел он однажды, — философия это не иконописная мастерская. Поэтому я не призываю вас рабски лобызать иконы Маркса и Энгельса. Они были веселые, здоровые люди из плоти и крови и сами всю жизнь рубили и жгли иконы с изображениями старых и новых философов-идеалистов...

Подозреваю, что во время наших вольных философских бесед он был постоянно под мухой. Из его широкого громыхающего рта до нас докатывались будоражащие спиртные испарения, и атмосфера была, как, наверное, в какой-нибудь славной немецкой пивной, где поддатые бурши готовятся к штурму одряхлевшего мира.

Мне врезались в память некоторые его остроумные суждения. „А не задумывались ли вы, ребятки, над тем, почему все великие философы — мужчины, а женская половина человечества в этом смысле совершенно бесплодна? Во-первых, потому, что философия — любовь к существу женского пола, к Софии, а баба не способна по-настоящему любить другую бабу, если не брать в счет известное лесбосское извращение... А во-вторых, и это главное, женский ум слишком конкретен, слишком заземлен. Когда вы входите в комнату, женщина мигом сделает заключение о том, какие у вас зубы, какая улыбка, какая рубашка, наглажены ли брюки, аккуратно ли повязан галстук. Она даже может восхититься вашей речью, если вы складно и непринужденно излагаете свои мысли и, к тому же, если у вас приятный тембр голоса. Но она никогда не в состоянии и даже не пытается схватить и усвоить саму суть вашей мысли, ее движение, систему доказательств, вашу диалектику. Системность мысли — свойство исключительно мужское".

„Маркс и Энгельс создали подлинно научную систему взглядов на развитие общества, — вещал он в другой раз. — Спрашивается, не скучно ли нам с вами жить после того, как нечто совершенное уже создано до нас, без нашего участия? Нет, дорогие ребятки, засучите рукава! Перед нами стоят громадные творческие задачи, посильные только титанам, подлинно свободным мыслителям. Нам с вами предстоит эту великолепную теорию претворять и дальше в жизнь, сделать ее достоянием всего человечества, а когда-нибудь и всей вселенной. Нужно окунуть косную материю универсума в живую воду материалистической диалектики..." Ну, и так далее.

Не скажу, что мы его слушали с постоянно разинутыми ртами. Даже к самым сильным громовым разрядам можно довольно быстро привыкнуть. Время на улице было вольное, многословное, как раз вскоре после разоблачения культа Сталина (об этой личности, если захочешь, я расскажу тебе немного позже), поэтому мы с нашим бурнопламенным доцентом вовсю спорили, каждый спешил блеснуть перед ним храбростью собственных мыслишек.

— А что было бы, если бы после Сократа не было никакого Платона? — подначивали мы его.

— Получилась бы че-пу-ха! — гневался он, снисходя к величию идеалиста Платона. — Прервалось бы диалектическое становление европейской философской мысли!

— А не получится ли чепуха и теперь, если после Маркса не появится какой-нибудь еще более гениальный Анти-Маркс?

— Е-рун-да!! — ревел он. — Потому что марксизм — это развивающаяся, становящаяся в веках система, которая в будущем еще поразит человечество, может быть, самыми великолепными своими ипостасями.

— В будущем? Согласны, — не унимались мы. — А как же в прошлом? По-вашему, получается, что марксизм был и до Маркса. Тогда нужен ли был и сам Маркс?

— Чта-а?! — багровел наш немец и косил взгляд на дверь. — Шалуны, шалопаи, пустобрехи! Вы еще ни одной ночи не переспали с диалектикой... Да, с обывательской, с мещанской точки зрения, Маркс смертен. Но с гносеологической, он — вечен! Только такие слепые кутята, как вы, не видят этого... И не стыдно? Зарубите, ребятки, на носу: свобода — свобо-

дой, но Маркс выше всякой свободы, и с ним я шутить не дам никому!..

Видел бы ты его в ту минуту! Своим мальчишеским ревизионизмом мы довели нашего колосса до того, что у него побагровели сократовские шишки на лбу, а жила на шее вспухла, как змея на шее у Лаокоона.

Но я, наверное, и тебя уже допек своей болтовней на непонятном тебе философском жаргоне... Давай-ка лучше немного подкрепимся, мне осталось досказать совсем немного. Я ведь и сам не больно почитаю все эти философские словеса: метафизика, диалектика, гносеология, солипсизм, агностицизм, метампсихоз, эмпириокритицизм... Все это — дерьмо верблюжье, клянусь тебе категорическим императивом Канта и диалектической спиралью Гегеля. Я бы эту спираль засунул в одно место Гегелевой матери, и тогда бы, без всех этих младогегельянцев и их папаши, нам жилось немного попроще. Леший с ними, итак — пьем! И знаешь за что? За окончательное освобождение человечества от всей философской ахинеи и от всех их философских систем. Вперед, Петрович, в общество нищих духом и немудрых мира сего. Потому что только у них правда...

Так вот, с философского факультета я выкатился, недоучившись, и именно из-за этого нашего бесстрашного свободолюбца. Он срезал меня на первом же экзамене. Мне достался билет, в котором требовалось объяснить мировоззрение Боруха Спинозы. Этот великий Спиноза жил в семнадцатом веке, кажется, в Нидерландах, что, впрочем, сейчас не имеет, как говорится, почти никакого политического значения. И конечно, он создал свою философскую систему, и система эта была довольно путаная, если иметь в виду, что Борух вроде бы и Бога признавал, а в то же время разносил в пух и прах Библию, так что его даже, задним числом, назвали одним из столпов научного атеизма. Из-за таких, как этот Спиноза, много было потом свар между материалистами и идеалистами, и те, и другие старались заполучить его в свой лагерь. Вот я и решил блеснуть самостоятельностью и храбростью мысли и, когда уселся за стол напротив экзаменатора, сразу и брякнул: „Несмотря на внутреннюю противоречивость философского наследия Спинозы, есть основания говорить о его приверженности к объективному идеализму..."

— Чта-а?! — вдруг рявкнул наш немец. Белки его страшно расширившихся глаз наполнились кровью, а темная жила перехлестнула горло подобием веревки. Громадной трясущейся рукой (может быть, валил сосны в сибирской тайге) он захлопнул зачетную книжку перед моим носом. — Два! Выйди вон!

— Но за что, Генрих Вольфович? — пролепетал я, едва не со слезами на глазах. — Ведь Спиноза действительно был...

— Я сказал: выйди вон!.. И больше не показывайся мне на глаза, — прошипел он еле слышно, как будто веревка уже пресекла его дыхание.

В коридоре я прислонился затылком к холодной стене.

— Что? что? — заволновались мои приятели.

— Он всадил мне двойку — за идеализм Спинозы. Но я же прекрасно помню, что этот Борух, точно, склонялся больше к идеализму.

— Да ты что! Ну, подпустил бы для равновесия немножко материализма. Ты же знаешь, Генрих это любит.

— Безобразие! Этого нельзя допустить! — возмутился кто-то. — У тебя же, Антонов, только что девочка родилась. И ты идешь на повышенную стипендию. Лишняя десятка на дороге не валяется. Ребята, срочно разыщите Мишку-секретаря. Пусть поговорит с Генрихом от имени комсомольского бюро. При чем здесь Спиноза, когда у тебя девочка родилась.

Мишку они разыскали удивительно быстро, и он, приосанившись, открыл дверь в аудиторию. Через минуту сам Генрих, отходчивая душа, вышел ко мне, хлопнул по плечу, как будто предлагал спуститься в немецкую пивнушку:

—Знаешь что, дуй-ка в читальный зал, возьми учебник по европейской философии, и через пятнадцать минут доложишь мне все, что ты знаешь о мировоззрении Спинозы.

Через пятнадцать минут я снова сел перед ним за экзаменационный стол. Обида распирала меня еще пуще: не нужна мне повышенная стипендия, мне истина нужна.

— Ну, что скажешь?

— А что говорить-то, Генрих Вольфович? Разве я виноват, что Спиноза слишком уж противоречивый мыслитель? Судите сами, он неоднократно говорил о существовании Бога, а что это, как не идеалистический взгляд на вещи, пусть он и сочетался у Спинозы с очень сильными элементами пантеизма. Конечно, материалистические тенденции у Спинозы налицо. Он, можно сказать, стремительно шел в сторону материализма, о чем свидетельствует его воинствующий атеизм, ставший образцом для многих мыслителей Европы, в том числе и для французских материалистов, то есть энциклопедистов...

— Вот-вот, именно это я и хотел от тебя услышать, — размякшим голосом проворчал Генрих, дохнув на меня мягким обволакивающим пивным парком. — А то рубишь, как топором: Спиноза — идеалист. Мало ли кто, отдавая дань времени, вынужден был признавать существование Бога. Но ведь ясно, что для Спинозы это не был Бог с большой буквы. Он поклонялся богу философов и ученых, а вовсе не Богу Авраама, Исаака и Иакова, не говоря уж о мифическом Христе... Словом, я хотел, чтобы ты тут продемонстрировал мне и своим товарищам диалектику, а не старорежимную метафизику... Молодец, ставлю тебе пять.

Пока он заштриховывал своей авторучкой жирную двойку и выводил рядом еще более толстую пятерку, меня так и подмывало брякнуть: „Да не нужны мне ваши подачки. Вы ведь тем самым хотите доказать лишний раз, что материя первична и что какая-то десятирублевая прибавка к стипендии для меня должна быть важнее, чем возможность говорить то, что я об этом путанике Спинозе думаю... И еще очень хочется вам покрасоваться перед нами, продемонстрировать эту диалектическую борьбу противоположностей в вашей щедрой душе — величавый переход от гнева к милости...“

— Девочку, говоришь, народил?

„Врете! Ничего я вам не говорил про девочку. И ни за что не стал бы говорить. Это Мишка сказал, которого я не уполномочивал“.

— Молодчина, — сопел он. — Но помни: философии нужны мужские, мужественные умы.

„Вот-вот, — подмывало меня надерзить. — Философии нужны изворотливые, приспособительные мужские умы, оснащенные разными там диалектическими фокусами и трюками. Способные идеалиста представить материалистом и наоборот“.

Через неделю я принес на факультет заявление с просьбой отчислить меня по собственному желанию. Когда тебе на каждом шагу подносят коктейли из материализма, идеализма, пантеизма, разумного эгоизма, альтруизма и воинствующего атеизма, тебя начинает мутить, потому что нормальное человеческое сознание изо всех сил сопротивляется, не желает впитывать противоестественные смеси.

И вот, вместо того чтобы стать высокооплачиваемым жрецом в философском Городе Солнца, я заглянул однажды в комнату к своему соседу по квартире, татарину-дворнику, и спросил:

— Послушай, а в вашей жилищной конторе для меня работы не найдется? Я учиться бросил.

— Молодец, — сказал он. — Зачем тебе учиться? Очень ты бледный. Еще умрешь, пока выучишься. На кого оставишь жену, на кого девочку? Я найду тебе хорошую работу — на свежем воздухе. Получишь лом, скребок, лопату, метлу. Будешь сам себе все покупать. Никаких забот не будешь знать. Не будут тебя мучить никакие мысли. Голова будет чистая — ни одной пылинки. Будешь любоваться, как снег идет. Будем с тобой вечером выпивать по рюмочке, беседовать, как друзья. Самая хорошая философия. А то все читаешь, читаешь, людей живых вокруг не видишь. А я тебя насквозь вижу. Ты мучаешься, в голове много мусора. Ты даже бу-

тылку водки купить не можешь... Ну, не стесняйся, выпьем по рюмочке. У меня, видишь, всегда водка есть. И всегда хорошее настроение. Народ целый день ходит, мусорит, плюется, пылит, а я утром снова все убрал, и на душе у меня спокойно. Я будто Богу поклонился. Не знаю, какая там у вас, а у меня философия такая: чтоб на моем участке все было с утра чисто. Чтобы мальчик не поцарапался об стекло, чтоб старушка не поскользнулась на льду, не сломала ножку, чтобы вы все пыль не глотали. Нравится тебе моя философия, говори?

Мне понравилась эта его философия чистоты. Но я спросил его:

— А возьмут ли они меня в дворники? Говорят, что студентов не берут.

— Знаешь, мы ведь татары — хитрые, — подмигнул он. — Я попрошу, они возьмут. Ты только старайся, не просыпай по утрам и чисто работай, не ленись махать ломом.

— Омыеши меня, и паче снега убелюся, — вспомнил я стих из Давидова псалма.

— А? Снег, говоришь, — отозвался сосед. — Я снег люблю. Даже жалко его сгребать лопатой, такой он чистый. Когда жарко станет, я отдыхаю и смотрю, как снег падает. Каждая снежинка, пока она падает, она очень много воздуха очищает. Я вижу, как она своими лапками работает, чистоту на белом свете наводит. Я думаю: какой мудрый наш Бог! У него природа сама себя чистит. Снег чистит воздух? Правильна! А дождь чистит? А как же! И мороз чистит — убивает бактерии. И огонь чистит. И ворона чистит, поедает падаль. Только человек пачкает, мусорит, бьет бутылки, харкает. Смотрел Бог, смотрел и говорит: как Я сразу не подумал — нужно завести у людей дворника, а то они по уши обросли мусором. Дам ему лом, метлу, лопату, спички, пусть сметает мусор в кучи и поджигает. А если они разведут такую грязь, что и дворник не справится, Я разрешаю, пусть он тогда подожжет весь город.

Тут он снова подмигнул и рассмеялся.

...девять вечера, а тогда, в девять утра, как раз налетел „афганец“

Давай-ка, Петрович, спустимся в рецепцию — пора Алеше позвонить. Ты видишь, я не забыл, что мы уговаривались на девять. Ну, пока сойдем вниз, на часах там будет минуты две-три десятого, готов с тобой спорить. Но лучше не спорь, все проигрывали. Я уже лет десять как обхожусь без часов, потому что мой биохронометр пока действует безупречно. Не буду хвастаться, он не подводит меня и здесь, хотя разница во времени между Москвой и Белградом — два часа...

А тогда в Афганистане, куда я тоже отправился без часов, был конец апреля, и в девять утра мы стояли возле головных машин мотоколонны, которая ждала сигнала к выходу на боевые позиции.

Почти все уже вскарабкались наверх, расселись, кто на тюфяках, кто просто на броне.

— Быстрей, быстрей! — лейтенант подгоняет тех, что застряли у водовоза и впопыхах наполняют до краев свои канистры и фляжки. Брызги, шлепаясь в густую, по щиколотки, пыль, сворачиваются в темные кругляши.

На броне рядом с открытым люком разлеглась овчарка. Она царственно неподвижна, только морганием золотистых глаз и резким зевком выдает беспокойство. Солдаты, от нечего делать, подшучивают над псом:

— Эй, Пират, куда собрался? Стерег бы лучше кухню.

— Он по дýхам соскучился.

— Он тоже медальку хочет получить.

— Эй, Пиратик, когда домой поедем, ты в какой округ запросишься — в Закавказский или в Туркестанский?

— Нет, мы его возьмем в Сухостойский.

— Гы-гы...

Овчарка вдруг вскакивает, беспокойно озирается.

— Пират, прыгай в люк! „Афганец"!

От подножия скалы мчит на людей, на машины вспухающий вал пыли. На миг кажется, будто сама колонна стремительно понеслась задним ходом в сторону помутневшей горы. Мусорной горячей тяжестью „афганец" падает на нас, обдирает щеки и губы песком, затыкает уши и ноздри. Мы прижимаемся к броне, задираем воротники, сутулимся. Воздух так темен, что не видно собственных ботинок. Невозможно больше задерживать дыхание, но и дышать нельзя. Говорят, он быстро уходит. Значит, надо еще чуть-чуть потерпеть. Лишь бы не наглотаться этой отвратительной гепатитно-тифозно-малярийной пыли, провонявшей солярочным чадом.

— Апчх-хи, мать его за ногу!

— Будь здоров — по приказу родины.

— Служу афганской революции!

— Отставить! Вольно!

Вдруг рассвело. „Афганец" куролесит уже за полотном шоссе, в кабульских жилых кварталах.

— Ишь, к своим побег.

Мы фыркаем, отплевываемся, отряхиваем друг друга от пыли.

— А вы кто такие и откуда? — вдруг властно окликает нас человек в пятнистой униформе, принесенный сюда, кажется, самим вихрем.

— Тихо, генерал... комбриг, — шепчутся солдаты на броне.

— Мы здесь по путевке Главпура.

— И что же? — еще больше ярится он. — Каких-нибудь здесь ге-ро-ев собираетесь искать?

И тут, будто прорвало его, переходит на крик:

— Вы лучше тех поищите ге-ро-ев, которые послали нас сюда. Нечего нам здесь делать! И вам тоже! Понимаете?! Нам здесь нечего де-лать!

Мы молчим, будто пойманные на шалости. Молчит вся мотоколонна, ожидавшая отеческого напутствия. Нервно зевает на броне золотоглазая овчарка.

Генерал переводит взгляд на нее, хмыкает. И обращается уже ко всем:

— Хоть с обосранными штанами, но чтобы вернулись все до единого. Ясно? И чтобы ни одного раненого, а тем более убитого. Увижу хоть одного раненого, отвинчу ему яйца. Потому что мне за него тоже отвинтят яйца. И запомните: этот самый, мать его, интернациональный долг мы уже сполна отдали. Вы здесь никому больше не должны. Да и не были должны. Вы должны только беречь друг друга. И должны вернуться живыми к своим отцам и матерям. Ясно?!

— Так точно... Ясно, — вразнобой загалдели с машин. — Есть, товарищ генерал.

— Ну, тогда с Богом!

Он сделал короткую отмашку офицеру на головном бэтээре и пошел к своему уазику...

— Алеша, ты еще не спишь?.. А деток уже уложил?.. Ну, молодец... Я-то? О, тут у нас все прекрасно. В компании Петровича я уже высох и даже немножко согрелся... Как кто такой? Да ты его знаешь, лучше меня. Его вся Сербия знает... Вовсе я тебя не интригую... Нет-нет, я закусываю. У меня еще есть в запасе рыбные консервы, которые Стручняк оставил в холодильнике ресторана... Кстати, он тут еще коня своего оставил, по имени Шарац. Да-да, самый настоящий. Только деревянный. Я завтра тебе покажу. Можешь взять своим детишкам, если, конечно, не испугаются... Хорошо, позвоню еще раз. Только ты не надрывайся. Все равно Топола когда-нибудь будет наша. Как и Константинополь. А Стамбул нам не нужен... Нет, я говорю, Стамбул. Но и Кабул тоже не нужен, ты совершенно прав. Более того, я уже начинаю сомневаться: а нужна ли мне по-настоящему и Топола... Нет-нет, я вовсе не падаю духом, просто неловко, что я тебе столько хлопот доставил... Ладно, обязательно позвоню... Нет, как же я могу заснуть, если у нас тут с Петровичем спиритический сеанс... Зачем нам тарелка, если у нас есть бутылка. Мы и тебе

оставим грамм двести. Чтобы ты еще ближе познакомился с Петровичем... Ну вот, здрасьте, опять я его интригую!.. И вовсе не разыгрываю... Какая тут обстановка? Обычная. На всех палубах разгорается веселье. Туристская молодежь стайками и поодиночке перебегает из номера в номер. Отовсюду доносятся шепоты и шорохи, звяк стаканов и простые советские тосты... Нет-нет, всё очень чинно, пристойно, на нас с Петровичем никто не покушается... Хорошо, господин резидент, прерываю сеанс связи, администраторы уже косятся. Целую!

...девять двенадцать, начало перехода от приступа мнительности к философии шпионажа

Слушай-ка, а не кажется ли тебе, что, пока я там болтал по телефону, в моем номере кто-то побывал, а? Ведь впопыхах, как и положено придурку, я дверь не запер на ключ. В воздухе будто еще висит шорох чьего-то платья. И аромат чьей-то легкой сигареты. И как бы чей-то хохоток... Но это ладно, это могло померещиться. Бутылка, Петрович,бутылка! Ей-ей, у нас было больше. Я не помню, чтобы мы выпили почти половину. Когда я наливал себе в последний раз, я четко помню это счастливое ощущение тяжести в руке. Такое ощущение бывает у человека, когда он знает, что прожита лишь меньшая часть жизни, а все наиболее значительные ощущения, переживания и события еще впереди. И вдруг оказывается, что половины уже нет. И это при том, что фактически пью я один, а ты скромно воздерживаёшься.

Кто мог сюда заглянуть? Две эти девицы? Заглянуть они, конечно, могли, это у них просто делается, но выпить — вряд ли. Хотя почему бы и нет. Одна выпивает из твоего стакана. Другая наливает в мой, порожний. А потом, выпив, они наливают снова в твой, до прежнего уровня, ставят стаканы там, где они приблизительно стояли, и, хихикая над беспечным „дяденькой“ и каким-то там Петровичем, выскальзывают в коридор.

Но оставим девиц, это наиболее примитивный вариант. Кто еще мог сюда зайти? И для чего?.. И, наконец, откуда? Вот именно, откуда. Потому что кроме открытой двери есть же еще и чуть приоткрытое окно. И если уж пытаться рассуждать профессионально, то надо заняться и окном, как наиболее неправдоподобной версией.

Елки-палки, или это все блажь, и я сам уже столько выпил?.. Спокойно, спокойно, сначала надо закурить и разобраться с окном, а потом уже с паспортом и рукописями... Окно, конечно, сразу отпадает. Кто пьян да умен, два угодья в нем, — это именно про меня сказано. Окно отпадает сразу, потому что дождь продолжает хлестать, как из ведра, если бы кто попробовал залезть через окно, то оставил бы мокрые следы на подоконнике и на полу. Да и откуда он мог попасть в окно, если там — глухой колодец, а напротив только одно окно, но она все еще сидит за столом и что-то читает или шьет. Уж из ее-то комнаты мне не может быть никакого урона. Только полный идиот может заподозрить такое сокровенное существо. Может быть, она сидит там сейчас и сочиняет стихотворение „Сербия, ты — великая тайна...“ Она там — в Сербии, а я тут — в „Унионе“. И боюсь, мы с ней не встретимся никогда. Хотя — вот еще мысль! — если я сейчас обнаружу какую-нибудь пропажу, то я выйду на улицу, разыщу ее подъезд и квартиру и спрошу у нее: „Госпожа, вы не видели, может быть, кого-то постороннего в окне, что напротив вашего, — минут десять тому назад?“

Итак, окно отпадает. Остается только дверь. Если заходил любитель наспех хватануть из чужой бутылки и тут же смыться, то я его прощаю. Пей, приятель, на здоровье, нам хватит... Ну, а если тут был гость более маститый? Мало ли что... Так, паспортишко на месте, по-прежнему валяется в пакете, и деньги там же.

Но теперь — что с бумагами? Если Стручняк узнает, что пропали его бумаги, боюсь, он тут же умрет. Мне вообще не нужно было оставлять в

номере эту папку на целый день, а таскать ее с собой или отдать на хранение Алеше...

Ну, слава тебе, Господи, она на месте. И, кажется, в полном комплекте. Леший бы тебя побрал, Стручняк, с твоей стратегической рукописью! Что ты тут наоткрывал такого, что меня аж в пот бросает? Хотелось бы и мне заглянуть в нее хоть краем глаза.

А вот и моя писанина. Ну, уж она-то точно никому не нужна, даже если бы сюда наведались ребята из белградских органов или из ЦРУ. Кого может заинтересовать история отцеубийства, совершенного в начале прошлого века? Кого кроме нас с тобой, Петрович? А они? Им она так же безразлична, как карта каналов на поверхности Марса.

Так и есть, моя писанина тоже на месте. „Ну, кому ты нужен!" — как говорит моя жена. И я очень даже рад, что она и сегодня оказалась права.

А знаешь что, Петрович, у меня в честь этого маленького психопатского приступа подозрительности есть неплохая идея. Мы ведь еще не пили за мою жену. Так что я наливаю.

А кстати, если бы сюда входил некоторый профессионал, уж этот бы не стал трогать бутылку, оставлять на ней отпечатки своих пальцев. Он не любитель пить на халявку. У него и без нашего плюм-бренди есть на что выпить и закусить. Он бы заложил папку с рукописью Стручняка за пояс и был таков. Он бы даже не стал кидать в бутыль таблетку, чтобы усыпить меня или отправить на тот свет. Потому что: „Ну, кому ты такой нужен!" — как говорит моя жена, за которую давай-ка наконец выпьем, а то что-то очень уж я протрезвел за эти несколько минут.

Вот вернусь домой, поеду в деревню и как следует отхлещу ее в бане березовым веником — по всем мягким местам, чтобы не задавала глупых вопросов. Ну, конечно, никому я, как выясняется, кроме нее не нужен. Хотя иногда обидно. Иногда хочется, чтобы кроме своего домашнего КГБ тобою заинтересовались и другие аналогичные органы.

Гляди-ка, а наша соседка все еще не ложится спать. Чем-то она очень похожа на мою жену. Может быть, этим умением создавать вокруг себя тишину и покой. Моя тоже, бывало, целый день возится с какими-то выкройками, помалкивает и делает вид, что я ей совершенно не нужен, что она еще полный век способна прожить, не обращая на меня ну никакого внимания. Нет, чтобы подошла сзади, прижалась животом к моей спине, поцеловала в затылок. Век жди — не дождешься... Так и эта — хоть бы взглянула разок. Ты тут хоть до смерти упейся, а она там все будет вылавливать мелкие опечатки в своей корректуре.

Но что такое? Как это я сразу не разглядел, а? Вот те раз! Во фляге-то — целый литр! Я когда ее покупал, то почему-то решил, что в ней 0,7 или 0,75, как в наших больших бутылках. А в ней, вишь ты, полный литрович. Святая простота!.. А градусы! Я ведь и на градусы сдуру не обратил внимания. Ну, думаю, сорок, как обычно. А в ней, оказывается, никаких не сорок, а все сорок пять. Ну, и хитра же штука! Мягкая, горло не дерет, пьется легко, прямо как-то предательски легко она в тебя внедряется, — вот я и не раскусил сразу, что в ней все сорок пять, а не сорок.

Так неужели это я сам уже половину махнул? Ну, герой! И ведь язык не заплетается, не шатает меня и все вроде бы соображаю. Прямо-таки удивительный напиток. Вождь первого сербского восстания Карагеоргий глядит с этикетки на своих земляков хмуро, укоряюще: как вам, мол, не стыдно! приклеили меня к бутылке, пустили на продажу свою старую славу.

Что, Петрович, разве ты думаешь иначе? Я уверен, ты думаешь именно так. Твоим сербам нужно опомниться. Иначе народ, который рождал героев, станет рожать одних официантов, и нация превратится в обслугу всемирного туризма. Кстати, эта участь уже постигла некоторые соседние народы, не будем называть по фамилиям... Я эту этикеточку обязательно завтра отклею и сохраню — как исторический документ эпохи разнузданного туризма. Ну, и как свидетельство своего ошеломительного успеха на поприще возлияний. Это надо же — пол-литра как не

бывало! Иногда после одного стакана голова валится, как тыква, на грудь, а тут пол-литра — и ни в одном глазу... Оно, конечно, такое со мной изредка случалось. Однажды, на целине было дело, в студенческие еще времена, так намерзся в степи, что, когда ребята привезли на тракторе водку, я тут же из горлышка, единым дыхом, без закуски высадил целую бутылку, и даже не опьянел нисколько, а только немножко согрелся.

Вот и теперь, Петрович, я чувствую, что только-только согрелся. Ну, не исключено, конечно, что Славик все же забежал сюда, раз уж девицы его у меня искали. Видит, хозяина нет, а фляжка на столе скучает. Это непорядок, рассуждает Славик, наливает себе сто пятьдесят и смачивает свою комсомольскую неуемную глотку. Нас ведь хлебом не корми, а дай дернуть из беспризорного бутылька.

Впрочем, что я на него грешу? Ведь, скорее всего, сам я и постарался. Своя глотка ближе к бутылке. А потому давай-ка еще раз, ну, совсем понемножку. И выпьем за тех, кто сюда никогда не приходил и не придет, потому что мы с тобой им совершенно не нужны. Пусть лучше они нас в чем-то подозревают, а мы их ни в чем подозревать не станем. И за Стручняка давай выпьем и за его целого-невредимого „Генерала Гамлета". Фу, с меня будто камень свалился, когда я увидел эту синюю папку — целую и невредимую.

Опасная, скажу тебе, штука — эта ёкнутая мнительность, она же подозрительность. И очень, кстати, советская штука. Очень у нас распространенная, особенно в кругу советской интеллигенции. Это своего рода интеллектуальный алкоголизм. Человек пьянеет от мнительности, переполняется чувством собственного величия, ему представляется, что его с утра до ночи прослушивают по телефону, пытаются отравить, устраивают в его квартире тайные обыски, подставляют к нему соглядатаев, задают ему провокационные вопросы... Признаюсь тебе, я в свое время тоже весьма злоупотребил мнительностью. Был у меня такой промежуток, к счастью, недолгий, когда эта мнительность меня чуть живьем не съела. А началось все как раз с моего ухода из университета.

Легко сказать: уход. Университет, доложу тебе, это такая хитромудрая организация, в которую гораздо проще войти, чем из нее выскочить на волю. Как только мое философское начальство прознало, что я подал бумагу об отчислении, стали меня таскать по разным кабинетам. Сначала, конечно, вызвал Мишка, комсомольский наш секретарь, мой, можно сказать, благодетель.

— Ты что, рехнулся, что ли? — вопил он с таким видом, будто я теперь ему обязан до гробовой доски. — Комсомол отстоял тебя перед Генрихом, будешь получать повышенную стипендию... Кончай дурака валять! На, сейчас же сжуй и проглоти свое позорное заявление, а завтра явись на лекции как ни в чем не бывало.

— Нет, — говорю, — Миша, заявление ты отдашь по инстанции. И кончай попрекать меня этой повышенной стипендией. Ее, сам знаешь, а не знаешь, так поинтересуйся, даже на детское питание не хватает. Так что извини, мне теперь работать надо, а не учиться.

— Ну и махай на здоровье своей березовой метлой, юродина, Диоген московский, — рассвирепел Мишка. — Я тебя после этого знать не знаю.

С партийным секретарем факультета разговор вышел более тяжелый, потому что он и сам, даже на вид, был личность увесистая, мрачнолобая. Студенты про себя звали его Вагонеткой, поскольку гулял слух, что он в молодости работал на шахте и его там под землей однажды пристукнуло бревном, после чего в нем раскрылись недюжинные способности в преподавании как исторического, так и диалектического материализмов.

— Ты что это удумал? — боднул он меня антрацитными зрачками из-под нахлобученного на переносицу лба. — С жиру решил побеситься, молодой человек? Ты знаешь ли, как нашему поколению давалась наука? Мы к ней карабкались с окровавленными ногтями. А вы?! Сидите на всем готовеньком и еще выкидываете всякие фортеля.

— Вот и я хочу, как ваше поколение, — не сидеть на всем готовом, а сперва поработать.

— Вот ты и работай! Но здесь, здесь. И этим вот! — он слегка треснул себя тылом ладони по лбу. — Мало того, что опозоришь нас на весь Союз, ты еще и себе приговор подписываешь — на целую жизнь. Да после такой выходки тебя никто и никогда не возьмет на приличную работу. Тебя и из дворников выпрут за милую душу. Потому что так, как ты собрался сделать, так у нас не делается. И никому не будет позволено так делать. Ишь ты, в достоевщину ударился! В подполье собрался! По своей глупой воле захотел пожить... Между тем, государство уже потратило на тебя громадные деньги. Ты теперь можешь подметать улицы хоть триста лет сряду и все равно останешься в долгу у родины. И у тебя на лбу будет несмываемое клеймо: „Безответственный. Аполитичный. Неблагодарный“... Но ты же наш советский парень, или нет? Вон, вижу, и глазки у тебя смышленые, и на целине прошлым летом ты, говорят, неплохо потрудился. Словом, кончай бузить. Ступай домой и хорошенько покумекай. А завтра явишься к декану и извинишься за свой взбрык жеребячий.

Ко встрече с деканом я решил все же немного подготовиться. Потому что он не такой псих, как Миша, и не такой солдафон, как наш парторг Вагонетка. Про декана говорят, что он по вечерам дома играет Шопена. Я думаю, во всем Союзе не сыскать второго такого декана, который бы дома играл Шопена. Он и по внешности тихий, мягкий, музыкальный и бархатный.

— Что с вами, молодой человек? — запел он каким-то почти плачущим тоном, когда я пристроился на краешек стула в его кабинете. При этом он то и дело поглядывал на свои длинные и бледные, с синими жилами, пальцы, безвольно лежащие на столе. — Ну, скажите же, что с вами? Вы ведь так неплохо начинали. Я даже слышал лестные слова о вашей курсовой работе: материалистическое мировоззрение, э-э-э...

— Белинского, — подсказал я.

— Ну да, конечно, — нагнул он голову к рукам, будто разглядывал, чисто ли под ногтями. — Так что же произошло?

— С Белинского все и началось, — тут и я выложил на стол свои руки, успевшие уже покраснеть и зашершаветь от работы на холоде и на ветру. Под моими ногтями не так чисто, как у декана, подумал я при этом с некоторым пролетарским злорадством. — Видите ли, меня вдруг очень заинтересовало, что Белинский, этот наш вечно неистовый и неуемный Виссарион, незадолго до смерти, ни с того ни с сего, безо всяких видимых причин, решительно меняет в очередной раз — уже который по счету! — свой символ веры и страшно увлекается Максом Штирнером, его скандально известной книгой „Единственный и его достояние“. Естественно, что мне тут же захотелось почитать самого Штирнера.

— Ну да, ну да, — поет декан. — Типичный субъективный идеалист, экстравагантная, мальчишеская форма соллипсизма. Но к чести Белинского, хотя он порой чересчур бурно влюблялся в новых философских кумиров, неистовый Виссарион сравнительно легко переболел этой детской корью штирнерианства... А что, кстати, разве в нашей факультетской библиотеке все еще держат книжку этого э-э-э Штирнера?

— Нет. Конечно, не держат. Но я достал, так сказать, на стороне. У одного букиниста.

— Вот как? — поиграл он перламутром ногтей. — И что же?

— А случилось так, что подобно Белинскому я не устоял перед доводами и логикой Штирнера.

— Ну, какие там доводы, молодой человек, какая там логика? — его пальцы обидчиво поползли по столу и вобрались в ладони. — Читал же и я когда-то Штирнера. Существую только я единственный, а все, что я вижу, слышу, ем, осязаю и воспринимаю — все это лишь продукты моего воображения, следовательно в натуре они не существуют. Вот вам и весь мальчишка Штирнер. Ну, и какие же тут до-во-ды?

— Не знаю. Но меня они совершенно и бесповоротно убедили.

Костяшки его кулачков чуть порозовели.

— Как в таких случаях говорится, — вкрадчиво пролепетал он, — уж позвольте вам не поверить.

— Ну, это уж ваше дело, — собрал и я на столе пальцы в кулаки, — а, верней, мое. Да-да, это мое дело: позволить вам поверить во что-нибудь или не позволить вам поверить во что-нибудь; позволить вам что-либо делать и говорить или не позволять вовсе. А все потому, что вы и ваш кабинет, и башни Кремля в трехстах метрах отсюда, и краешек стула, на котором я так скромно и даже робко сижу, — все это существует лишь в моем воображении, и если мне вдруг надоест подобная игра **моего**, подчеркиваю, воображения, то и вас, и всех этих предметов, и даже — страшно произнести вслух, не правда ли? — звезд над башнями Кремля тут же не станет, а станет, по моей прихоти, что-нибудь совсем другое: девятнадцатый век, дворники на улицах в белых фартуках, масоны в ложах в черных передниках, увлекающийся Талмудом философ Владимир Соловьев и озаренный евангельской истиной Федор Достоевский, а над всеми ними — двуглавые орлы над башнями Кремля... Но вы не бойтесь, я не буду. Потому как вы, несмотря на свои странные приставания и претензии, мне все еще не вполне надоели.

При этих моих последних словах с неожиданной стремительностью декан нажал пальцем на клавишу пульта справа от стола. В дверях тут же возникла его встревоженная секретарша.

— Мы очень хорошо поговорили и даже кое до чего договорились с молодым человеком, — кивнул он, не глядя, в мою сторону. — Считаю, что пожелание молодого человека нужно немедленно удовлетворить... пока мы ему не вполне надоели.

Встал из-за стола и плавным мягким жестом руки показал мне на выход.

В ту ночь, вернувшись в нашу полуподвальную комнатенку, я не сомкнул глаз. Меня колотил дикий животный страх. Что я наделал, что наболтал! Ведь он, конечно, сразу догадался: этот молодой человек издевается над ним, нахально симулирует душевную болезнь. И ему теперь ничего не стоит нажать на какую-нибудь другую кнопку, чтобы меня тут же отвезли на Канатчикову дачу, а уж там дюжие ребятки-санитары так обработают меня по ребрам и по затылку, что я мигом забуду шалопая Штирнера со всей его бредовиной.

Утром, еще до рассвета, я, как обычно, отправился сколачивать лед с тротуаров. Махал своим ломиком с тупым остервенением, надеясь, что страх выйдет из меня вместе с потом, вместе с паром изо рта. Но страх проник слишком глубоко, до мозга костей. Он давил на затылок, тряс мне колени и кисти рук. Я то и дело глотал слюну, мне не хватало воздуха, я озирался с недоверием на каждого прохожего. Какая-то приблудная собачонка назойливо вертелась поблизости, и я, озлясь, со всего маху поддал ей метлой под зад.

Потом отправился в пивную и выпил залпом три кружки. Знакомые ребята поднесли стакан водки и тарелку с полугнилыми вареными креветками. От этих креветок разило йодом и тухлятиной, но я, преодолевая брезгливость, жевал их, надеясь, что меня вырвет, и вместе с этой дрянью я изблюю из себя страх. Но желудок оцепенело принимал в себя пищу, отказываясь сопротивляться. Я беспрерывно переминался с ноги на ногу, месил ботинками толстый слой опилок, которыми был засыпан пол в этой пивнушке, наверное, самой грязной во всей Москве.

Жена с девочкой на руках под вечер разыскала меня и увела домой. У нас, как всегда в зимнее время в полуподвалах, было влажно и душно. Кислый запах сырых кирпичных стен, запотевших от радиаторного тепла, — вот что я оставлю своему семейству после того, как за мной приедут... Ночью я то и дело пробуждался, с колотящимся сердцем прислушивался к каждому автомобилю, который останавливался перед нашим подъездом. К каждому хлопку входной двери. Я за свои студенческие годы прочитал достаточно самиздатской подпольщины, чтобы знать,

как это бывает. Машина останавливается над моим окном. Подкованные сапоги звучат вниз по лестнице. Звонок...

Утром я боялся открыть дверь в подсобку ЖЭКа. Вот войду, а они скажут: „Твой лом и совок отдали другому. А ты? Ты с сегодняшнего утра уволен. Вот, видишь, из университета прислали на тебя справку. У тебя, оказывается, высшее образование, хотя и не законченное. А мы не имеем права принимать на работу людей с высшим образованием. Слишком большая роскошь — махать метлой, когда у тебя высшее образование. Ты нас, выходит, обманул. Мы таких не держим".

Я, наконец, вошел и поздоровался. Они что-то пробурчали в ответ. И пока я забирал орудия своего труда, подозрительно помалкивали.

Дома, после работы, я принялся рвать на мелкие кусочки все свои тетрадки: прежде всего искромсал конспект книги идиота Штирнера, потом равнодушно уничтожил выписки из „Выбранных мест..." Гоголя и из „Дневника писателя" Достоевского. Тогда же располосовал целую тетрадку, озаглавленную „Бердяев", о чем, кстати, и теперь нисколько не жалею. У меня в тот час было такое ощущение, что жизнь моя кончилась, иссякла до капли, но что помимо моей воли остальная жизнь, вопреки Штирнеру, продолжает на мне отпечатывать свои грубые, безжалостные, неподвижные следы, всякий раз приговаривая: запомни, тебя никогда здесь не было, а была только я — душная, прокисшая, безжалостная реальность, бессмысленно шевелящая ручками и ножками твоей, — нет, вовсе не твоей девочки.

В полутемной комнате жена сидела с ногами на кровати, что-то читала. Я не выдержал, решил признаться ей в своем страхе. Лег, не раздеваясь, между настенным ковриком и ее спиной и протянул руки по швам.

— Я не знаю, что со мной творится... Вы мне совсем чужие, все чужое. Все напрасно, ничего уже не изменить... Это просто невыносимо. Какой-то невидимый ужас копошится по углам комнаты. Меня куда-то уносит от вас. Со мной все кончено, — шептал я и чувствовал, что коченею, погружаюсь в серую пустоту.

Жена медленно отложила книгу в сторону, медленно повернулась ко мне.

— А ты положи мне голову сюда, — и показала на теплый угол между бедрами и животом. Она помогла мне пододвинуться и утопила мой затылок в это пульсирующее теплотой гнездо. Потом расстегнула верхние пуговицы на моей рубашке. Ее шершавая загрубевшая ладонь жаркой щекотной струйкой потекла от моей шеи по груди. Она наклонила голову над моим ухом, и я почувствовал, как ее шепчущие губы расплываются в грустной улыбке.

— Дурачок, ну кому ты нужен-то?

Она грела, грела ладошкой мое сердце, кружила над ним, пальцы скользили вверх, к горлу, к шее и загривку, потом снова мозолики будоражили кожу на левой стороне груди, ладонь уплывала вниз, к пупку, и пальцы робко наведывались еще ниже, а потом, будто в испуге, стремительно возвращались к сердцу. Она кружила над ним, обводила пальчиком сосок. Ладонь замирала, снова вращалась, и я замечал, что страх начинает отпускать меня, предметы в углах комнаты успокаиваются.

Жена никогда еще так меня не ласкала с тех пор, как мы узнали друг друга. В порыве благодарности я уткнулся лицом в низ ее живота, поцеловал его сквозь ткань. И услышал, как она расстегивает змейку юбки на своем бедре...

Потом, когда она оделась, я попросил, чтобы она снова положила мою голову к себе на лоно. Так я здесь у нее и заснул, впервые в жизни.

И с тех пор, с того дня я знаю, Петрович: самые мудрые на свете слова — самые простые, в которых, кажется, почти и нет никакого смысла. Такие, какие шепнула мне она тогда на ухо: „Дурачок, ну кому ты нужен-то?"

А ведь я, действительно, никому из них оказался не нужен — никому из тех, кто еще несколько дней назад ни за что не хотел отпускать меня из

цитадели марксистской науки. И это она поняла даже без всяких моих объяснений. Это уже потом, когда совсем отпустило, я пытался логически истолковать, почему они махнули на меня рукой, хотя вроде был у них отличный повод отомстить мне посадкой в какой-нибудь дурдом. Наверное, они решили, что это будет еще больший скандал для философского факультета. „Чему вы там учите своих студентов, — мог их кто-то окрикнуть сверху, — что они у вас с ума свихиваются?!" Может, они именно такой вот огласки побоялись и потому решили спустить всё на тормозах?

Но что бы там ни было у них на уме, жена моя оказалась мудрей меня. „Дурачок, ну кому ты нужен?" Я, право слово, им не только что не был нужен, я для них, по сути, никогда и не существовал. Я был только игрой их воображения. Все мы, студенты, солдаты, колхозники, пролетарии, лагерники, вся эта несчастная страна, — все мы от начала до конца были лишь игрой их воображения, и они, чем дальше, тем играли нами все самоувереннен и все реже учитывали возможность хоть какого-то сбоя, противодействия. Это же поразительно, но по сути именно они, хваленые и самохвальные наши материалисты, как раз и не верили ни в какую реальность, а только в игру своего воображения, в свои примитивные, лубочные фантазии всемирного будущего счастья. Они-то и оказались подлинными наследниками наглеца Штирнера, они — Единственные, а все мы — их достояние. Они — богоизбранная элита, а мы — тени, призраки, недочеловеки, сосуды страха и покорности, фишки и пешки наших Единственно существующих. Они заменили своими фантастическими схемами и узорами подлинную суровую историю и подлинное суровое будущее. Они настолько уверились в своем магическом даре внушать нам картинки и образы будущего всеобщего счастья, что под конец совсем уже махнули на нас рукой: а, пусть пасутся как хотят, куда они денутся. Мы все им оказались не нужны.

Конечно, за иными из нас приезжали по ночам и теперь, отвозили в дурдома, в зоны. Но, опять же, лишь потому, что такие им были особенно не нужны, особенно не вписывались в игру их воображения. А чтобы остальные в эту игру вписывались, они и разыграли громадную мифологию всеобщей слежки, всеобщего страха быть подслушанным, подсмотренным, пойманным на чем-то предосудительном и антисоветском. И мы слабодушно поддались этой мифологии, боясь по телефону, на улице, в магазине, в вагоне сказать лишнее слово. Но особенно — по телефону. Они заразили нас мнительностью и подозрительностью, потому что сами, от своего древнего корня Единственных были сосудами мнительности и подозрительности. Страх за содеянные в веках преступления, за все бесчисленные подлоги, кровопускания, финансовые фокусы, — этот истерический страх мерзко плескался в скользких сосудах и, выплескиваясь, заражал чумными испарениями тысячи и миллионы душ. Такое большинство и не нужно сажать ни в какие дурдома, оно и так уже влипло, заразилось манией преследования, спозналось с бесом подозрительности.

Вот и из меня эта зараза еще окончательно вся не вышла: беспокоюсь из-за паспортишки; кошусь на бутылку — не светлеют ли на дне кристаллики подсыпанной медленнодействующей отравы? Тьфу!.. А рукописи эти? Они тоже, оказывается, никому не нужны и не интересны. (Но Стручняка я все же припрячу куда-нибудь.)

Ну, баста, хватит с этим! Вот ты мне, Петрович, нужен. И я тебе, может быть, пригожусь. И ближним своим мы нужны, своему роду-племени. А этим, Единственным, зачем мы им сдались? Но и они нам не нужны, хотя мы не отказываем им в праве на существование.

Уж ты прости, что навел на тебя такую тощищу. Меня и самого от воспоминаний о том подвале начинает озноб пробирать. А это значит что, Петрович, а? Это значит, что самое нам время малость согреться и развеселиться.

И знаешь ли, чем я тебя, пожалуй, развеселю? А мы сейчас с тобой, забавы ради, за каких-нибудь десять минут сочиним целую философскую **систему**, не хуже марксизма или какого-нибудь фрейдизма. И докажем, что **система** эта если и не отменяет, если и не уничтожает все предыдущие философские теории, то, по крайней мере, не уступает им в стройности, а в изяществе и остроумности доказательств даже превосходит. Так что давай заранее выпьем за эту систему, которую мы для скромности назовем очень даже просто: **философия шпионажа.**

Но для начала, Петрович, маленькое историческое отступление.

Начнем с того, что один раздражающий, как заноза, повод для мнительности у меня все же остается. Скажи, ну почему они, твои соотечественники, не выпускают меня в Тополу, а? Уже третий раз приезжаю в Белград и выпрашиваю, как нищий подаяния: друзья, Христа ради, пустите в Тополу, мне непременно нужно побывать на родине Карагеоргия, без этого никак не могу закончить одно свое историческое расследование.

Ну, конечно, тут нет проблем, — всякий раз улыбаются они, — поездка будет обязательно обеспечена.

Но при этом поглядывают на меня как на хитроумно законспирированного военного разведчика: ври, мол, ври, тебе вовсе не Топола нужна, но ты, наверное, хочешь пронюхать, нет ли там урановых разработок по соседству с Тополой, к примеру, в Руднике. То есть, мне кажется, они ни за что не хотят поверить, что в России есть некий чудак, который Карагеоргием интересуется просто так, без всякой связи с залежами стратегического сырья в рудничном срезе. И потому упорно не выпускают. В первый раз сослались на то, что под конец года обесценились деньги и не оказалось нужных средств на дорогу и на проживание на месте... А в прошлый раз мы уже было и поехали в Шумадию, и проскочили ее всю насквозь, добрались до самого Ниша, и там, в Нише, мне было клятвенно обещано, что на обратном пути обязательно заглянем, хоть для начала на пару часов, в Тополу и навестим музей и мавзолей. „Да ладно музей, — говорю им. — Я этих музеев посетил в жизни три тыщи, не меньше, и все они совершенно одинаковые. Мне бы спуститься в заветный подвал под домом вождя, присесть на бочку и выпить одну-единственную чашечку ракии в память о начале первого восстания против дахии... Ну, и поговорить прямо на улице с дюжиной, с другой топольских граждан, задать им, опять же, один-единственный вопрос“.

Они тогда оживленно переглянулись: вот, мол, заливает парень, думает, на простаков напал. „Давай, — говорят, — для разгону обследуем один подвал тут, в Нише“. Я, по наивности, согласился, и мы достаточно подробно обследовали это заведение, выпили там отнюдь не по одной чашечке ракии, а потом еще принесли нам несколько бутылок замечательного холодного черно-красного вина, от которого тоже грех было отказаться.

А потом, на обратном пути, был еще один подвальчик, и там я тоже не устоял от соблазна, но в итоге обогатил советскую военную разведку исчерпывающими сведениями об одном могучем стратегическом продукте — шумадийском чае. Ведь к вечеру стало холодать, а шумадийский чай — доведенная почти до кипения и чуть подслащенная жженным сахаром сливовица — прогревает до кончиков ногтей. Твои сербы, надо отдать им должное, великие мастера, когда требуется русского брата довести до полной растроганности. Этим своим шумадийским чаем они так меня растрогали, что улыбка до ушей уже не сползала с моего лица, я смеялся над их анекдотами, пробовал подпевать, когда они зычными голосами кричали свои песни, и, наконец, задремал на заднем сиденье машины.

Когда же перед нами вдруг, на спуске с какой-то горы, забрезжило электрическое зарево над ночным Белградом, я чуть не заплакал:

— Ребята, а как же Топола?

— Ах, да, Топола! — спохватились теплые ребята. — Слушай, но мы уже давно проехали тот поворот, а теперь, если возвращаться, нам не хватит бензина, а ты знаешь, как у нас теперь тяжело с бензином. Все заправочные станции на этом отрезке пути, ты же сам видел, закрыты.

— Хорошо, — говорю, — давайте я куплю в какой-нибудь придорожной кафане десяток бутылок черногорской лозовой, и нам хватит этого горючего еще на сто километров. Ведь ракия у вас не намного дороже, чем бензин.

— Это неплохая идея! — хохочут ребята. — Но все равно в Тополе музей и мавзолей уже закрыты.

— Да при чем тут музей! Я и не хотел в музей. И в мавзолей не хочу. Мне неприятно стоять возле саркофага, где лежит обезглавленный Георгий Черный. Думаю, и вам, сербам, не очень приятно вспоминать, что Карагеоргию отсек голову ночью исподтишка серб, подосланный сербом же, кумом вашего вождя Милошем Обреновичем... Я бы хотел просто побыть в подвале Карагеоргия да поговорить на улицах с его земляками, задать им всего один вопрос.

— Извини, но мы забыли тебе сказать: подвал того старого дома, где Караджордже жил до восстания, давно засыпали камнями и песком. И дом тот не существует. На том месте — памятник. Но, говорят, есть проект реставрации подвала. Так что, будем надеяться, когда-нибудь и ты в нем обязательно побываешь.

— Эх, вы! — обиделся я. — А еще называетесь славяне! А еще православные... Обманули русского дурака, и довольны. Нет, чтобы сразу сказать: не поедем туда, и всё. Лгуны вы, ребята.

Тут они опять захохотали, а потом с жаром принялись доказывать, что это как раз Россия несколько раз за последние два века оставляла в беде маленькую Сербию.

— Ну да, конечно! Особенно в девятьсот четырнадцатом году, — разозлился я. И замолчал до самого Белграда.

...Так вот, Петрович, считай, что философию шпионажа мы почти уже обосновали. И смысл ее состоит в том, что каждый на свете человек, — я, ты, любой из окружающих, в сущности, шпион. Даже если он об этом не догадывается. И цель нашего существования — исключительно шпионаж, разведка. Более того, шпионаж, разведка — основной импульс жизнедеятельности всей одушевленной твари, не только людей.

Ты можешь не значиться в штатном расписании ЦРУ, Скотленд Ярда или Лубянки, но все равно ты, по сути своей, прирожденный разведчик, соглядатай, лазутчик, сыщик и шпион.

И потому совершенно правы были, по-своему, конечно, правы, эти ребята, охмурившие меня по дороге. Они четко знали: я в Тополу прорываюсь именно как разведчик. Что-то мне там такое нужно узнать, чего они не знают или на что не обращают должного внимания. Может быть, соображают они, я располагаю какими-нибудь старыми схемами и записями откровенных бесед из архива русского военного разведчика полковника Липранди. Может, я, благодаря этим схемам и записям, хочу в Тополе найти место, где вождь восставших сербов зарыл когда-то свои фамильные сокровища. Кто знает, прикидывают про себя эти ребята, что на уме у настырного русского профессионала, притворяющегося дураком и пьянчужкой. Кто знает, думаю я, что на уме у этих хлебосольных сербов-контрразведчиков, стерегущих Тополу от моих покушений?

Ну, ладно, я невелика птица. Будь я настоящим профессионалом, то в Тополу проник бы с первого же захода, так что никто бы из здешних стражей не успел и рта раскрыть. Но возьми ты Стручняка — о, это настоящий мастер своего дела! Я им просто любуюсь. Этот проныра Стручко позавчера, расслабившись немного, признался мне, что для своего „Генерала“ раздобыл в Москве бумаги не только из военно-исторического архива, не только из архива МИДа, но и из „Детского мира“ (так он для конспирации или в шутку называет Лубянку). Стручняк, если ему кто-нибудь не проло-

мит голову замотанной в полотенце железякой, далеко пойдет! Это будет наш гений добровольной и бескорыстной (ему ведь никто еще ни копейки не заплатил, ни динарчика) военно-исторической разведки, один из основополагающих столпов нашей философии шпионажа.

Как ты думаешь, Петрович, отчего слепое и немое дитятко, еще пребывая в материнском лоне, стучит оттуда ручками и ножками, подавая нам какие-то знаки? А это он уже начинает разведывать действительность, пытается выйти на оперативный простор. И когда наконец находит выход, то уже самые его первые попытки разглядеть окружающий мир, самые первые пробы ползания и ступания по земле — есть не что иное, как целеустремленная деятельность отважного разведчика...

Наш всемирно известный старик Павлов, академик-психолог, не зря утверждал, что у человека, помимо врожденных инстинктов насыщения, самосохранения и продолжения рода, есть еще и столь же древний инстинкт разведки, инстинкт любопытства и исследования, инстинкт поиска и добывания сведений. Можно догадываться, самыми изощренными разведчиками были древние охотники, путешественники, купцы, все эти следопыты героических эпох. Тогда и купец был воин, а не спекулянт, и путешественник вовсе не походил на пустоголового верхогляда-турика. И охотник рыскал по лесам, а не сидел на вышке, дожидаясь, когда ему подадут на блюдечке кабана.

Заметь, каждая из философских систем, нынче модных, цепляется за какой-то один из древнейших инстинктов человека. Марксизм сосредоточился на инстинкте насыщения и пляшет только вокруг него. Но и дураку ясно, что все мы любим пожрать и выпить, причем с наименьшими затратами. Разводить такую могучую философию вокруг жевательного и глотательного инстинкта, это то же самое, что использовать духовой оркестр на мушиной свадьбе. Чтоб тебе было еще понятнее, марксизм — это подстрекательство ко всемирной драке, которая должна обеспечить справедливое и подлинно научное распределение жратвы между всеми ртами. После хорошего кровопускания марксизм обещает оставшимся в живых хорошее выделение желудочного сока. Марксизм, скажу тебе, самая нечленораздельная из всех философских систем, от него постоянно исходит урчание, как из кишечника, наполненного соленой капустой. Наконец, этот марксизм настолько бесстыж, что врет прямо в глаза о возможности и достижимости всеобщего счастья и блаженства на земле, причем в обозримом будущем, как будто он там уже побывал и заткнул кляпами кратеры всех вулканов земли.

Есть еще одна системка, которая также решила прокатиться на одном из основных инстинктов словесной и бессловесной твари. Ее запустил в оборот ловкий врачишко из Вены Фрейд. Он, видишь ли, однажды обнаружил, что раз уж люди и звери совокупляются, то это широкораспространенное занятие и есть основной предмет философского рассмотрения. И что, значит, самая передовая и прогрессивная философия должна вращаться исключительно вокруг детородных органов. Бедняга Фрейд, по-моему, прямо-таки помешался на этих органах, но очень хотел, чтобы и мы все помешались. Например, приходит к нему на прием милая дама и жалуется на нервную возбудимость. „А что вы видели вчера во сне?" — допытывается доктор. „Зонтик", — невинно признается дама. Всё, она попалась! Ага, — рассуждает Фрейд, — если дама видела зонтик, значит, у нее есть неудовлетворенное, но тщательно скрываемое от всех сексуальное влечение, потому что зонтик, по его мудрованиям, это не что иное, как это самое, на три русских буквы, которое мы, мужики, всю жизнь носим между ногами... Но это же, согласись, явный обман. Если женщине очень уж захочется увидеть во сне это самое, то она его и увидит в натуральном виде, а не какие-нибудь там дурацкие зонтики, болтики, огурчики, бананчики или барабанные палочки. Так же и у нас, мужиков. Если, к примеру, мне очень уж приспичит, то я и увижу во сне жену или, допустим, эту вот соседушку, которая, бедняжечка, никак не уляжется спать, но ни за что не увижу какую-нибудь там дурацкую шляпку или морскую

раковину, или мочалку, или еще какую-либо финтиклюшку из венского модного магазина. Все эти Фрейдовы мудрозвонкие рыдания, скажу тебе, предназначены не для здоровых мужиков и баб, которые во сне видят то, что положено видеть, а для всяких там торговцев, банкиров, спикеров, спонсоров, брокеров, менеджеров, киссинджеров, маклеров и клерков, которые во сне, видите ли, стесняются видеть всем известные штуки, а вместо них предпочитают любоваться всякими там зонтиками, шляпками и прочими галантерейными побрякушками.

Наша же философия разведки или шпионажа, хотя тоже отталкивается от древнейшего природного инстинкта, она не опускает человека до уровня жевательно-глотательной машины или сексуального маньяка. Нет, наша философия исследования и поиска — очень даже неплохая лестница, по которой человек способен подниматься вверх. Возьми охотника-следопыта. Разве для него главное — кусок мяса, который он дотащит домой и разделит всем по их способностям или потребностям? Нет, для него главное — сам поиск, увлекательная, волнующая игра, возможность показать себя молодцом, настоящим владыкой природы, метким, быстрым, выносливым, сметливым, счастливым, наконец. Наш человек и в любви не промах, не то что какой-нибудь фрейдист-доходяга. Любовь для нашего разведчика — это тоже радость, свободный волнующий поиск совершенного существа, исследование таинственных и сокровенных глубин страсти. А кому, кроме разведчика, доступно подлинное религиозное вдохновение? Бог открывается только ищущим, только испытывающим его пути... Впрочем, здесь я умолкаю, а то ты еще подумаешь, что я тут нешуточно засучил рукава для создания какой-то непогрешимой философской системы. Где уж нам, да и зачем? Не дай Бог, какая-нибудь научная мафия примет всерьез эту мою философию разведки, заставит детишек изучать ее в школах, понаставит мне памятников на главных площадях больших городов, рассортирует всех людей на подлинных, истинных и правоверных разведчиков и, с другой стороны, на шпионов никудышных, бездарных, фальшивых и устроят лет на пять гражданскую войну между первыми и вторыми.

Так что лучше, Петрович, мы с нашей философией не будем шибко высовываться. Повеселились немного и хватит. Мы не станем заниматься саморекламой. Настоящие разведчики действуют тихо и совершенно бескорыстно.

...в конце апреля, возле Кандагара, во взводе разминирования

Когда наша БМПшка вырулила из ворот заставы на край кишлака и понеслась в свистящем солнечном ветре в сторону Гундигана, этот опальный старлей, весело скалясь, что-то звонко крича, цепляясь левой рукой за горячий поручень, а в правой держа на весу автомат, дал для острастки несколько очередей по арыкам. Зеленая зона — здесь ее зовут небрежно „зеленкой“ — ответила эхом и молчанием.

Опальный офицер объявился на заставе полчаса назад. Мне показалось, что в его взгляде было что-то заискивающее, когда он подходил к здешним офицерам и здоровался за руку. Ладонь у него была тонкая, худая и безвольная.

Наш сопровождающий из штаба бригады отвел меня чуть в сторону и раздражающим шепотом армейского сплетника объяснил, что старший лейтенант командует взводом разминирования, награжден „Красной звездой“, был представлен еще к одному ордену, но, конечно, не получит, потому что недавно проявил трусость, отказался ползти в арык, в „зеленку“, где лежал наш раненый боец.

— Вообще-то он храбрый парень и в тот день с утра уже ходил один раз „на боевые“. А тут не выдержали нервы.

— Значит, это не трусость?

— Ну, как сказать. Мог бы взять себя в руки, не показывать всем дурной пример.

— А раненого вытащили?

— Вытащили другие.

На следующее утро я мог понаблюдать в бинокль, как взвод опального старлея производит осмотр пустого шоссе перед заставой, где мы ночевали. Вчера движение на шоссе было перекрыто, как и обычно, еще до наступления сумерек. По ночам заставы не имеют средств контролировать дорогу. В ночное время дорога становится собственностью душманов. Духи выползают из арыков на шоссе с грузом итальянских и самодельных мин, и потому нашим саперам каждое утро приходится начинать все сначала... Видно, как два солдата соскочили с бронемашины на асфальт, один — с миноискателем, другой — с овчаркой на поводу. Офицер и еще один боец остались на броне. Короткие дула автоматов, нацеленных на „зеленку“, поблескивают в неярких еще лучах утреннего солнца. Если добавить к этому пение птиц в абрикосовых деревьях, добродушный перебрех собак в жилом кишлаке по ту сторону шоссе, розовые отсветы на зубцах гор, то картинка получается почти идиллическая. К тому же саперы движутся по полотну дороги медленно, будто в задумчивой отрешенности. Когда они отрываются от машины на полсотню метров, БМП трогается с места, плавно подходит к ним поближе, снова замирает. Вторая броня с саперами движется по дороге в противоположном направлении. И тоже изображает вид неспешной утренней прогулки.

В бинокль видно, что само асфальтовое покрытие мало занимает людей из взвода разминирования. Но присыпанные щебнем и песком дыры от старых и недавних взрывов и особенно обочины, грунтовое неровное покрытие обочин, — вот куда тянет собаку, обученную различать запах розового тротила; и вот где принимается гулять, как маятник, штанга миноискателя.

Сегодняшний профилактический осмотр дороги обошелся без находок и происшествий. Через полчаса обе брони на щегольской скорости, будто на параде, помчали друг другу навстречу, съехались у поворота к заставе и здесь дали отмашку соседям с других застав, где сеанс или обряд утреннего разминирования также был на исходе.

А еще через четверть часа дорога была неузнаваема. Над бетонкой пластался угрюмый гуд. В синей копоти отработанной солярки шли колонны нефтевозов, мчали местные аляповато разукрашенные автобусы и грузовики, мелко семенили копытами ослики с грузом хвороста...

Второй раз я увидел опального старлея двумя днями позже, уже в бригаде. Он привез тетрадку своих стихотворений, переписанных от руки.

— Вот, возьмите. На всякий случай.

Я при нем развернул тетрадку и прочитал первые строки:

Вновь щуп рисует по бетонке
Зигзаг крутой.
И поводок натянут тонкий
Собаки минно-розыскной.
Судьба сапера однозначна.
Она всегда на волоске.
О, если б ты была прозрачна,
Дорога, рваная везде.

Так я узнал, о чем думает сапер, когда медленно, будто во сне, движется с миноискателем вдоль обочины: он молится о том, чтобы дорога сделалась прозрачной. Это признание профессионального следопыта показалось мне настолько ценным, а в просьбе-мольбе кровоточила такая обреченность и оставленность, что я постыдился указывать ему на слабую рифму „волоске — везде“.

— Тут обо мне говорят всякое. Может, слышали, — начал было он, но вяло махнул рукой и поднялся, чтобы попрощаться.

...а сейчас начнем еще одно разминирование, время уточнять не обязательно

Мне потом знакомые ребята говорили, что тот старший лейтенант благополучно вернулся из Афганистана и попал в Закавказский округ, где служил и до войны. Где он теперь, не знаю. Из пластмассовых футляров итальянских мин, которые саперы доставляли на заставы после своих профилактик, местные умельцы наловчились делать абажуры, и таких абажуров я видел в Афганистане многие десятки.

Но у нас тут, именно в моем 213-м номере, полеживает мина посерьезней, чем эти итальянские штуки. И ты, Петрович, думаю, уже догадываешься, что я имею в виду. Я ведь и так и сяк хожу вокруг нее, и страшно чешутся руки пощупать, что там за взрывчатое вещество упаковано и помалкивает до поры до времени в синей папке. Коли уж Стручняк доверил мне пристроить на ксерокс это свое сочинение, то, значит, он тем самым сделал меня своим доверенным лицом. А какое же я доверенное лицо, если не знаю, что именно понесу перепечатывать? Лишь одно я и знаю — с его собственной подачи: сочинение антититовское. Ишь, он и в подзаголовке на это сразу упирает: „Гражданская война в Югославии. 1941—1946".

Наш „простой советский человек", какой-нибудь комсомольский султанчик Славик, прочитав такой подзаголовок, надуется: позвольте, мол, какая еще „гражданская"? В Югославии была, как всем хорошо известно, партизанская война. И она, кстати, закончилась в 45-м, а вовсе не в 46-м году, так что тут автор явно что-то путает...

Нет уж, мой Стручняк ничего не путает. Я привык верить каждому его слову и каждой его цифре. И знаешь, Петрович, я уже почему-то немного волнуюсь в преддверии этого чтения, какой-то даже легкий озноб... Поэтому я лучше прилягу, вот только подушку подвину повыше. И, пожалуй, налью себе немножко. И поставлю пепельницу на пол возле кровати. И закурю. И конечно, зашторю, окно, чтобы то, соседнее, меня не отвлекало. Итак

ГЕНЕРАЛ ГАМЛЕТ

Гражданская война в Югославии. 1941—1946.

Портрет. *Будущий историк южных славян, который посвятит себя изучению восьмидесятых годов XX века, конечно, никак не сможет обойти вниманием одну трагическую судьбу, которая, ближе к концу десятилетия, вдруг стремительно — после сорока лет мертвой тишины — взошла из небытия над Сербией. Речь пойдет о генерале Драголюбе Михайловиче. Во время второй мировой войны его предали такие разные люди, как Сталин, Черчилль, Рузвельт и король Югославии Петр II Карагеоргиевич, а в 1946-м после открытого судебного процесса вождь Равногорского четнического движения был приговорен к расстрелу, и тело его трусливо, без лишних свидетелей, упрятано в землю на одном из дунайских островов в окрестностях Белграда. Так самозваный маршал и работоспособнейший коминтерновский стукач Тито осуществил, наконец, свое давнишнее намерение, которое он вынашивал еще с осени 1941 года.*

Но вернемся к концу восьмидесятых. На белградских улицах появились в это время молодые люди, продающие самодельные или, как бы мы в России сказали, **самиздатские** *кассеты с „Четническими песнями". Вот названия нескольких из тех песен: „Жив е Дража умро ние", „Дража и Никола", „У бой са Дражом", „Живео чича Дража"... Как и у русских, у сербов в семейном и приятельском обиходе широко распространены сокращенные, свойские формы личных имен, — отсюда, в случае с Драголюбом, замена на доверительно-дружеское Дража. К тому же, сербские четники в своих воинских песнях обращались к генералу Михайловичу как к доброму, всеми почитаемому, старшему по возрасту члену семьи, дяде, дядюшке („чича", „чика").*

Иные из этих магнитофонных кассет, которые поначалу продавались

из-под полы, с оглядкой на полицию, были снабжены старым фотографическим изображением Драголюба Михайловича в форме полковника югославской королевской гвардии. На этом снимке он выглядит моложаво, хотя ему уже много за сорок. Черные густые, слегка курчавящиеся волосы коротко подстрижены. Волевой рот с заметно выпирающими губами русскому человеку, возможно, чем-то удивительно напомнит лепку пушкинской обиженной гримасы с его посмертной маски. Но особое внимание привлекут выразительные глаза этого элегантного офицера. Сквозь стекла очков они глядят с твердостью, но, одновременно, с грустью, которая, можно догадываться, так впечатляла женщин на дипломатических раутах в Софии, а позже в Праге, когда югославский военный атташе Михайлович появлялся в разношерстной галдящей толпе гостей своего посольства.

...Ты молодчина, Стручняк, я горжусь тобой! Ишь как лихо приплел сюда — чуть не на первой же странице — женскую братию! Я-то думал: Стручняк — педант, кропотливый вынюхиватель следов и собиратель мелких исторических справок, а он у нас — прямой поэт!

Знаешь ли, Петрович, я давно заметил: чем меньше привлекателен по своей наружности автор, тем внимательнее он к облику своих персонажей, — возьми наших Гоголя или Толстого. Жалко, ты не видел моего Стручняка. Это, скажу тебе, та еще парсуна! На него, думаю, весь Белград пялился. Потому что Стручняк малый хоть куда: плешивый, сутулый, рост ниже среднего, брюшко выпирает как-то набок, будто он тыкву целиком проглотил, глазки маленькие, а вместо белков какие-то желтки — от непрестанного чтения, курения и выпивания. Бороденка у него тоже достопримечательная и, догадываюсь, давно уже зафиксирована парнями из ЦРУ: растет она вкривь и вкось, какими-то черными, рыжими и седыми клоками. Лобик у него небольшой, но вечно нахмуренный, даже когда улыбается. Но улыбается он, впрочем, очень мило, сразу при этом становится похож на русского доброго медвежонка.

Ну-ну, что он тут еще крамольного заготовил?

Вообще фотографических изображений Михайловича сохранилось не так уж много (я насчитываю около пятидесяти, большинство из которых любительские, плохой сохранности). Дальнейшие поиски могут дать прибавку, — за счет четнических эмигрантских архивов, а также американских и английских военно-разведывательных досье, — но прибавку вряд ли обильную. Маршал Тито оставил после себя фотопортретов в сотни раз больше, чем его несчастный соперник в борьбе за свободную Югославию.

Скудную наличность иконографии Драголюба Михайловича можно разделить на три части: довоенные фотографии (их совсем мало); снимки времен войны (их больше всего); наконец, то, что зафиксировали официальные репортеры в следственной камере, в зале суда и на месте расстрела.

Сравнительное обилие снимков военной поры объясняется просто. До 43-го года при штабе Михайловича, как военного министра эмигрантского королевского правительства, почти постоянно пребывали союзники — английские советники и разведчики-диверсанты, американские летчики. Они очень любили фотографироваться сами: верхом на сербских лошадях, на фоне сербских гор и сербских крестьянских домов, даже в сербской национальной одежде и обувке. А также обожали фотографироваться с бородатым генералом в черной овечьей шапке и круглых очках сельского учителя.

Бороду Михайлович отпустил вскоре после прихода на Равну гору. Во-первых, считаться надо было с тем, что принялась отращивать бороды вся офицерская четническая молодежь из его окружения. Тем самым исполнялось древнее воинское правило: не бриться до самой победы (тут можно вспомнить и многих наших партизан, того же Ковпака). Во-вторых, есть свидетельство современника, который приводит доводы интимного свойства.

Михайлович был невысокого роста и довольно тщедушной комплекции. Как-то офицеры, то ли в шутку, то ли всерьез, посоветовали ему распрощаться с бритвой: борода-де придаст его облику более дородный, патриархальный вид. Может быть, принято было во внимание, что сербские крестьяне без особого доверия поглядывали теперь на голощеких офицеров-бродяг, в считанные дни проигравших войну Гитлеру.

Тут вообще надо заметить, что внешность боевого вождя — во все времена — это не только его личное дело. Так и предводителю равногорцев приходилось считаться с тем, что для них он теперь не столько офицер королевской гвардии Драголюб Михайлович, сколько глава воинской семьи, опытный, бывалый и степенный дядя — „чича Дража". Именно такой образ народного заступника вскоре определился в четнических походных песнях, которые уже в 41-м году зазвучали на каменистых тропах Сувобора.

Эти четнические песни, при всей кажущейся простоватости их текстов и мелодий, дотошный исследователь обязан бы рассматривать как неоценимый документ эпохи. Сербы вообще на протяжении веков (и до сего дня) заявляют о себе как о самом, пожалуй, песнелюбивом и песенном народе во всем славянстве (имеется в виду неколебимая верность именно народным музыкальным источникам). Сербская воинская песня, в том числе и четническая, есть документ исторический хотя бы уже потому, что сообщает очень точные географические привязки событий, никогда не ошибается в воинских званиях. Четник-певец, обращаясь к черногорскому воеводе, сподвижнику Михайловича, Павлу Джуришичу, называет его „млад майоре", а офицера-равногорца Дерока поминает как „младог капетана". В этих песнях „чичу Дражу" часто сменяет „генерал Дража", певцы как бы корректируют свое отношение к предводителю, не позволяя себе панибратский тон, хотя теплота чувства все равно сохраняется. Ведь согласимся, что для русского уха это не очень понятно, когда песня называет генерала по имени, а фамилию опускает.

О своем повышении в звании полковник Драголюб Михайлович узнал в конце 1941 года. 7 декабря пребывающее в Лондоне правительство королевской Югославии присвоило ему чин бригадного генерала. Указом от 11 декабря того же года предводитель равногорцев назначен военным министром этого правительства, а 19 января 1942 года произведен в дивизионные генералы.

На фотоснимках военных лет мы, однако, не обнаружим во внешности Михайловича ничего сугубо генеральского. Чаще всего на нем военный френч, но без погон. В зимнее время носит крестьянскую меховую шапку-шубару, летом — офицерскую пилотку довоенного покроя, а то и вообще ходит без головного убора. На ногах, поверх брюк — высокие, до колен, вязанные носки из грубой шерсти и тяжелые горные ботинки на толстой подошве. В руках часто держит трубку. Не очень длинная, но густая курчавая борода придает его внешности мягкость и теплоту, а в прищуре близоруких глаз различима уже привычная нам грусть, иногда чуть насмешливая. Видно также, что любители фотографировать и фотографироваться часто досаждали Михайловичу, прося его занять соответствующее место в той или иной группе. И он его, со смиренной благожелательностью и покорностью общей воле, занимал. Тут нет ни одного парадного портрета. То он сидит на земле по-турецки, то держится за седло, чтобы вспрыгнуть на лошадь, то, отвернувшись от аппарата, беседует с бойцами. Отсутствуют „постановочные" снимки. Отсутствует поза. Нет генерала и министра, есть „чича Дража".

Не просто датировать эти снимки по годам войны. Она, похоже, не успела сильно состарить генерала Михайловича. Правда, нужно иметь в виду, что фотографии в основном относятся к периоду между 1942-м и концом 1944 года, когда кочующую по горам Сербии, Черногории и Боснии Верховную команду чаще всего фиксировали на своих пленках английские и американские офицеры. Из военных сроков выпадает 1945-й и зима — начало весны 1946 года (самое малоосвещенное время в биографии Михайловича).

22 апреля 1946 года соратник Тито А. Ранкович сообщил корреспонденту американского агентства Ассошиейтед пресс, что с мая 1945-го Михайлович прятался в горах, в землянке, и обнаружен на границе Боснии и Санджака, южнее Вышеграда. Месяцем ранее тот же Ранкович выступил с заявлением, что „предатель Дража Михайлович с 13 марта находится в руках народной власти". Судебный процесс в Белграде начался 10 июня, а до этого почти три месяца предводитель равногорцев находился под следствием.

Из снимков, запечатлевших его в год гибели, остановлюсь всего на одном, самом, на мой взгляд, красноречивом. Здесь арестованный снят в наручниках, он сидит с чуть наклоненным вперед туловищем, с локтями, опертыми на колени. На нем все тот же старый, изношенный военный френч без знаков различия, а на голове — пилотка с армейской кокардой.

Судя по обстановке помещения (фоном служит пустая слабоосвещенная стена), снимок сделан в тюремной камере. Генерал сидит на своей койке, застеленной жестким казенным одеялом. Он сфотографирован в полуанфас, свет из окна падает на изможденное лицо, Михайлович безучастно смотрит мимо объектива куда-то вниз, в дальний угол помещения. На лице отсутствуют следы алкогольной одутловатости. Эту подробность важно подчеркнуть, поскольку до сих пор бытует предание о человечности тюремных властей, которые якобы не отказывали узнику в его маленьких слабостях, в том числе регулярно снабжали ракией, и он выпивал до литра в день. Эта сомнительного свойства легенда, скорее всего, понадобилась следствию для того, чтобы представить подсудимого не только в качестве политического преступника, но и морально опустившегося пьяницы. Обычно в качестве веского доказательства приводится фотоснимок, на котором Михайлович в нижней рубашке, как бы полулежа на койке, пьет прямо из горлышка помятой воинской фляжки. Чтобы закончить с этой щекотливой темой, достаточно обратиться к свидетельствам людей, которые близко знали своего предводителя в годы войны. Единодушно отмечая его завидную самодисциплину, всегдашнюю воздержанность в еде и питье, граничащую с аскетизмом, авторы воспоминаний согласны и в другом: Михайлович никогда не подчеркивал в быту свою исключительность, в его поведении за общей трапезой не было и тени высокомерия или ханжества; он просто знал свою меру и всегда держал ее.

Так что легенда о генерале-пьянице больше смахивает на инсценировку следствия. Впрочем, можно предположить что на каком-то этапе допросов измученного узника, действительно, подпитывали или даже накачивали крепким спиртным. Так сказать, переводили его временно на „щадящий режим“.

Все эти подробности вряд ли доступны проверке. О последних месяцах жизни Драголюба Михайловича больше всех мог бы рассказать знаменитый титовский палач Слободан Пенезич-Крцун, лично допрашивавший и пытавший равногорского вождя. Но самого Крцуна давно нет в живых (погиб в автомобильной катастрофе).

В сербской прессе последних лет открыто обсуждается вопрос о том, испытывалось ли на заключенном (после пыток, во время открытого процесса) действие затормаживающих препаратов, по аналогии с тем, как это делалось во время советских политических процессов в конце тридцатых годов. Рассматриваемая нами фотография молчит и на этот счет: на лице отсутствуют следы физического страдания.

Но скорбный потухший взгляд этого человека буквально кричит о страданиях надломленного духа. (Именно эта фотография и натолкнула впервые автора на мысль о гамлетовской сути всей судьбы Драголюба Михайловича.) В его глазах читаются великая обида и боль, оставленность и сожаление, что многое в жизни сделал не так, как намеревался, а так, как вынужден был делать. Перед нами человек, переживший их семейную трагедию: старший сын и дочь отказались от него, предали, перешли к партизанам; год назад он схоронил в горах Боснии младшего сына Воислава, Вою, смертельно раненного во время стычки с партизанской засадой; теперь, быть может, он раскаивается, что не послушался американских летчиков, когда они, при последнем своем приземлении, предложили взять Вою на самолет, а он ответил полковнику Макдоулу: „Если не могу теперь спасти чужих сыновей, то как позволю своему покинуть эту землю... к тому же, он и сам мне сказал, что не хочет меня оставить“; а тогда, во время погребения сына, под обстрелом, он наспех составил план этого места в надежде, что удастся потом найти и перезахоронить родные останки в Белграде; но вот он сам в Белграде, а та надежда мертва, хотя во время единственного тю-

ремного свидания с женой Еленой (тоже из-за него насиделась в камерах) он успел передать ей клок бумаги с планом могилы, и она пообещала исполнить его просьбу-завещание (охранники тут же, в тюрьме, и отняли у нее драгоценный чертежик).

Да, Петрович, тут ничего не скажешь. После всего этого только выпить хочется. Такую злосчастную судьбу не придумаешь, такое только в жизни бывает... Но мне и Стручняка жалко. Не напрасно ли он взялся за такой сюжет? С таким сюжетом очень даже просто свернуть себе шею. Или дождаться, что кто-нибудь тебе ее свернет. То-то он, бедолага, так тут вчера вздыхал и охал, пока мы выпивали и пока он рылся в этих своих бумагах. То-то он так сокрушался из-за дочери своего генерала. Вот же, говорит, незадача! Ведь я уже почти договорился с ней, что она меня примет... она чудом осталась жива, дважды сидела из-за отца, сначала при немцах, во время оккупации, как заложница, а потом и при Тито сидела, даже на страшном Голом острове побывала, хотя еще в сорок четвертом на каком-то комсомольском съезде отреклась от отца во имя „самого большого нашего друга маршала Тито“... и теперь она никого не принимает, ни журналистов, ни кого другого, ни своих, ни иностранных. Говорит, не имею права рассказывать об отце, потому что отказалась от него — в самое для него тяжелое время... И все-таки я почти уже упросил ее — через одну свою знакомую журналистку, которой никто не отказывает. Слушай-ка, я дам тебе ее телефон, зовут ее Душица, Душечка, Душенька, и ты ей вручишь этого коня, Шараца, и соврешь что-нибудь, скажешь, что мне не продлили визу, но что скоро я обязательно приеду, кровь из носу, а приеду, специально ради этой встречи... Я бы и сам позвонил, но видишь, я совсем теперь не в форме, и никогда в таком виде не звоню милым дамам... а ты ей слегка, как будто почти ничего не знаешь, напомни про эту встречу. Ты ей вот как скажи: „Мой приятель хочет поцеловать руку несчастной дочери несчастного отца“.

Да, кстати, этот телефон, что он мне тогда дал, где эта бумажка? Я ведь, кажется, сунул ее в наружный карман пиджака, и, значит, она сейчас должна быть насквозь мокрой, и цифры телефона, конечно, расплылись, а как я без телефона разыщу эту журналистку Душечку в Белграде, если он даже не сказал, где она работает?

Уф, цифры, слава Богу, не совсем расплылись, сейчас я их перепишу, для прочности, на внутреннюю стенку одного из мозговых полушарий, а то ведь я человек обязательный, у нас необязательных на службу не берут; если уж пообещал ему, что вручу Шараца по назначению и передам устную просьбу, надо исполнить.

Ей-ей, Петрович, это чтение уже понемножку берет меня за живое. Ну, что там дальше? Сейчас, только один глоточек — за здоровье нашего Стручняка, его сейчас, наверное, уже шмонают в Чопе таможенники, а он гол как сокол и на все купе благоухает перегаром. Значит, за него! И за эту его прыткую лошадку. Гляжу, он на ней заскакал в самое мрачное ущелье новейшей югославской истории.

Воинский быт. Первые переговоры. *„Дом, в котором нас принял Дража, был обычным крестьянским жильем. Называли его „Дом у пяти сосен“, потому что поблизости действительно стояли пять хвойных деревьев. И внутри — обычная сельская обстановка“, — так незадолго до своей смерти вспоминал Никола Йованович, бывший четнический офицер-разведчик, пришедший на Равногорское плато весной 1941 года. Дом, о котором идет речь, находился в сувоборском селе Струганик и принадлежал семье знаменитого сербского воеводы времен первой мировой войны Живоина Мишича. Соблюдая строгую конспирацию, Йованович выехал из оккупированного Белграда поездом, сошел на маленькой станции Кадина Лука (между Лигом и Горним Милановцем) и отсюда, неоднократно проверяемый четническими патрулями, добрался пешком до Струганика.*

В другом месте своих воспоминаний тот же Никола Йованович приводит живописные подробности, которые позволят нам ближе познакомиться с воинским бытом штаба равногорцев.

„Это было в Погорелице возле Чачка, накануне предпразднования Рождества Богородицы (19 сентября 1941 года). Как сейчас помню, была пятница. Уверен, что дело было именно в тот день, потому что Дража по пятницам всегда постился. Мы находились в одном сельском доме. Посередине большой комнаты стоял длинный деревянный стол с лавками по сторонам. Во главе стола сидел Дража, справа от него майор Палошевич, слева подполковник Пантелич, за ним капетан Йоца Дероко, а дальше располагались, по чинам, все мы остальные. (Обратим внимание на этот традиционный для сербского мужского застолья порядок размещения людей за трапезой. Именно так, по старейшинству и достоинству, рассаживали гостей еще в эпические времена Стефана Немани и князя Лазаря.) На одних была офицерская униформа, другие носили отчасти военную, отчасти сельскую одежду, а иные сидели во всем крестьянском. Кто что имел. Пока сноха хозяина дома носила вдоль стола полный горшок постной фасоли и каждому накладывала половником в тарелку, до меня от противоположного края стола доносились обрывки разговора. Речь шла о сотрудничестве с партизанами. Потом Дража поднялся. Встали и мы. Дража перекрестился, и мы вслед за ним, после чего он обратился к одному из нас:

— Читай.

Тот прочитал „Отче наш", и все мы еще раз перекрестились. И потом, когда сели за стол, я услышал, как Йоца Дероко говорит:

— Господин полковник, а я бы с этими обезьянами и не разговаривал. Я бы их всех пострелял!

Не успел Йоца завершить, как Дража вдруг грохнул кулаками по столу, так что подпрыгнули наши тарелки.

— Послушай-ка, Йоцо, и вы все, дети мои, — сказал Дража строго, — здесь будет все так, как я скажу, а я говорю, что приму к себе всякого, кто хочет бороться. Запомните, будет так, или с плеч полетят головы!

Отрывок, кажется, неплохо вводит нас в курс событий той тревожной осени: к сентябрю 1941 года гражданская братоубийственная распря между верными королю Петру II Карагеоргиевичу четниками и партизанами Тито еще не началась. В штабе Михайловича еще обсуждается вопрос о возможном сотрудничестве. Но страсти исподволь уже закипают, и не только в стане равногорцев. Пройдет несколько недель, и капитан Дероко, любимец четнической молодежи, будет предательски убит партизанами во время совместной акции по освобождению от немцев города Кралева. И эта гибель запечатлеется в равногорской песне: „А Дерока, младог капетана, мучки уби банда партизана".

Но пока что Драголюб Михайлович остается твердым сторонником использования всех патриотических сил, независимо от их политической окраски, в борьбе против оккупационного режима. И это свое мнение он, как видим, отстаивает, даже прибегая к одергиванию слишком горячей молодежи. Так что было бы наивно составлять представление о его темпераменте только на основе любительских фотографий или мемуарных отрывков, авторы которых изображают своего вождя этаким благодушным и невозмутимым дядюшкой. „Чича Дража" мог быть и жестким, неумолимым командиром, ждущим от подчиненных беспрекословного повиновения. К тому же характер отношений с партизанами требовал, именно в эти сентябрьские дни первого года войны, особой выдержки и хладнокровия со стороны четнического руководства.

Как ни полагался мемуарист Йованович на свою память, она ему в приведенном выше эпизоде все же изменила. 19 сентября 1941 года Дража никак не мог обедать со своими офицерами в Погорелице возле Чачка, потому что в этот самый день в нескольких десятках километрах к северу от Чачка, в уже известном нам сувоборском селе Струганик, в „Доме у пяти сосен" Михайлович принимал одну важную персону, прибывшую накануне из Белграда. Персону настолько важную, что дата встречи давно вошла в хроники войны.

Небольшое отступление: существуют данные (их опубликовал сербский исследователь Илия Павлович, живущий в США), что сразу после прихода на Равну Гору, еще до нападения немцев на СССР, Драголюб Михайлович че-

рез своих офицеров подполковника Бранислава Пантича и майора Велимира Пилетича начал искать связи с коммунистическими нелегалами в Белграде. Теперь, к 19 сентября, переговоры были, наконец, подготовлены.

Накануне Михайловича уведомили: с ним желает встретиться некий влиятельный коминтерновец-подпольщик. Якобы именно в его подчинении находится вся недавно созданная в сельских местностях Сербии сеть коммунистического вооруженного отпора нацистам. Этот господин, а точнее, „товарищ", передают, очень эффектно, почти как на сцене, разыграл вчера свое отбытие из Белграда. Со щегольством конспиратора высокого ранга он появился на столичном вокзале, одетый в шикарный костюм, в сопровождении двух изящных дам и священника. Говорят, одна из этих дам — его секретарша, а другая — жена, впрочем, вовсе не первая по счету... Впрочем, кому какое дело, сколько жен у этого коммунистического паши. Важно понять, с чем прибыл сюда господин, точнее же, „товарищ", носящий странную фамилию, похожую скорей на партийную кличку: Тито.

Браво, Стручняк, это ты неплохо закрутил, это впечатляет! Это будет почище иного детектива. Ура, русские наступают! Я не про Тито, конечно, я про Стручняка... Вперед, и еще по маленькой. Огонь! — как восклицал один мой знакомый летчик всякий раз, когда мы с ним чокались.

Придется разочаровать тех, для кого чтение исторических хроник является лишь поводом для удовлетворения всеядного любопытства. Время не сохранило исходных документов, раскрывающих последовательность и содержание первой (и предпоследней) беседы, состоявшейся между двумя будущими смертельными врагами. Возможно, они, по взаимному согласию, и не вели протокол или стенограмму разговора. Вместе с тем свидетели встречи, и с той и с другой стороны, подтверждают, что в ее итоге была выработана договоренность о совместных военных действиях против общего врага. И о недопустимости инцидентов между партизанами и четниками, подобных тем, что уже, к сожалению, имели место.

Звонимир Вучкович, мемуарист-равногорец, который в первый год войны был одним из приближенных к Михайловичу офицеров, рассказывает о том, как в конце лета он, Вучкович, разоружил и доставил в Верховную команду отряд из двадцати партизан, которые силой вымогали у крестьян припрятанное оружие буквально в часе ходьбы от хижины, где находился „чича Дража". Однако в тот же день Михайлович, побеседовав с пленными, отпустил их на волю со следующим напутствием: „Ступайте по домам и делайте все, чтобы гражданская война осталась неисполненным желанием наших неприятелей. Наибольшее зло, что может случиться с народом, это междоусобие среди его сыновей. Пока оккупант на нашей земле, давайте бороться согласованно и умно, чтобы его вышвырнуть, а когда он окажется вне наших границ, суверенный народ, который сегодня в муках отстаивает эту землю, скажет свое слово. И его решению мы все обязаны будем подчиниться".

О необходимости проведения после победы всенародного референдума, на котором бы народ самоопределился, какую власть он себе желает — королевскую, республиканскую или пролетарскую, коммунистическую, — не раз высказывался во время войны и Тито. На эту тему обязательно должен был вестись разговор и 19 сентября в Струганике, и тут вряд ли могли обозначиться какие-либо разногласия. Все представлялось само собой разумеющимся: какое может быть выяснение политических и мировоззренческих разногласий, когда враг угрожает самой жизни народной! Только совместными действиями можно его одолеть.

Что до Михайловича, то для него и его соратников политический вопрос, а следовательно, и вопрос о власти не мог стоять на первом месте. Офицерский корпус королевской армии был воспитан на строгом правиле: не участвовать ни в каких партиях, не вмешиваться ни в какие политические споры. Военные профессионалы должны заниматься войной. Честное, не жалея крови и самой жизни, служение отечеству — вот для них высшая политика. Поэтому и теперь, на переговорах, Михайлович не видел никакого подвоха и умысла в нежелании собеседников, пока идет война, отвлекаться

на вопрос о будущем гражданском устройстве Югославии. На сегодня их положение сходно: есть общий враг и есть общие союзники, и первый из союзников, конечно, Россия, Союз. Пусть развеялась надежда, что русские сразу же после нападения на них Гитлера перехватят стратегическую инициативу и уже через неделю красные танки войдут в Белград и Загреб. Пусть Красная армия все еще отступает, но не есть ли это хитрый маневр Сталина, классическое заманивание врага, как во времена Кутузова? Не используют ли русские свою старую „скифскую тактику"? Словом, в отношении к воюющим Советам у Михайловича и его энергичного гостя сразу определилась общая симпатия, пусть и основанная на двух не вполне совпадающих образах России.

Сохранились и некоторые более конкретные сведения о встрече в Струганике. Известен состав собеседников. Равногорцев здесь, кроме Михайловича, представляли сын воеводы Живоина Мишича майор королевской армии Александр Мишич и Драгиша Васич, которому мы и обязаны этими подробностями.

К сожалению, имя последнего пока ничего не говорит русскому слуху, хотя речь идет о высокоталантливом писателе и незаурядном общественном деятеле межвоенной Югославии, которому в равногорском движении поначалу принадлежала роль идеолога и ближайшего соратника Драголюба Михайловича. Роман „Красные туманы", рассказы, опубликованные вскоре после первой мировой войны и посвященные „потерянному поколению" в Югославии, поставили имя Васича в один ряд с плеядой балканских классиков XX века, таких, как Иво Андрич, Милош Црнянский, Мирослав Крлежа. Для нашего сюжета немаловажно, что в 1927 году Драгиша Васич посетил Советскую Россию и свои впечатления о новом мире, отчасти восторженные, отчасти не очень, изложил затем в отдельном томе путевых записок „Русские впечатления". В 30-е годы просоветские симпатии Васича сошли на нет, заменившись стойким скептицизмом по отношению к теории и практике коммунистического строительства. Но репутация левого деятеля, „красного" за ним еще сохранялась. Так же, как на всю жизнь сохранялась в душе у Васича глубинная любовь к России, к ее великой литературе и истории. Вторая жена его была из русской эмигрантской семьи (так же, как и жену Михайловича, немцы держали ее за решеткой в качестве заложницы).

Находясь с лета 1941 года в штабе на Равногорском плато, Драгиша Васич вел хронику событий, которая со временем разрослась до размеров рукописной книги. Эта его „История Равной Горы", к сожалению, исчезла и, видимо, уже безвозвратно. Сам Васич в 1945 году казнен хорватскими усташами в лагере Ясеновац.

Об отдельных эпизодах знаменательной встречи в „Доме у пяти сосен" сохранились записки Бранко Лазича, которому Драгиша Васич давал на прочтение свою „Историю Равной Горы". В частности, Лазич воспроизводит по памяти следующий выразительный момент собеседования. Когда разговор зашел о совместных боевых акциях против немцев, Михайлович спросил у Тито: „А как быть с организацией обороны в случае нападения немцев на освобожденную территорию?" Тито ответил: нужно перекапывать дороги, выставлять на них заграждения, и так далее. Но когда он попробовал показать на карте пути возможного немецкого наступления, выяснилось, что военную карту читать он совершенно не умеет. Тогда Дража взял у него карту, расстелил ее перед собой и в течение часа преподал целый урок из стратегии партизанской борьбы, благо эту науку он преподавал еще в военной академии.

Вечером хозяева предложили Тито и двум ассистентам отужинать. Во время трапезы майор Мишич вдруг спросил у Тито: „Теперь, когда мы остались в самом узком кругу, можете ли вы нам назвать свое настоящее имя?" — „Услышите!" — ответил Тито, наклонился к Васичу, сидевшему рядом, и прошептал ему что-то невнятное.

После того, как гости уехали, оставшиеся продолжали оживленно обсуждать персону коминтерновского вожака. Особенно всех занимал его странный акцент. Возникло даже предположение, что у них сейчас побы-

вал, не иначе, русский. Драгиша Васич заметил, что, да, акцент у гостя типично русский, но, скорее всего, они имеют дело с хорватом, который долго жил в России. Может быть, он даже намеренно подчеркивает этот свой русский акцент, чтобы скрыть хорватское происхождение, поскольку догадывается, что сербы теперь с подозрением поглядывают в сторону каждого хорвата. (Запоздалой справкой к этому давнишнему обсуждению национальной принадлежности Иосипа Броза Тито могут стать сенсационные разыскания писателя Момчило Йокича, доказывающего с помощью архивных документов, что настоящее имя югославского маршала — Иосип Амброз и что происходит он из богатой семьи венгерских евреев.)

Вторые переговоры. *Небольшое село Браичи прилепилось к южному откосу Равногорского плато. В центре села — старое каменное здание школы. Недалеко от нее на скалистой площадке примостилась маленькая кафана. Из ее полутемного теплого чрева слышен среди дня негромкий, будто из осеннего улья, гомон. Война — не война, а крестьяне всегда выкроят час, чтобы посидеть в старой корчме, накуриться до рези в глазах, обсудить новости. Если с этой площадки от кафаны смотреть вниз, то видно, как дорога, петляя между домами, уходит в сторону Такова и Горнего Милановца. А если подниматься отсюда вверх к перевалу, то через время перед пешеходом откроется торжественно-диковатая панорама заповедного Равногорья. Покатая темно-синяя спина Сувобора подпирает на северо-западе небо, грозящее очередной переменой погоды. Подует вдруг ветер, зашевелится выцветшая травная шерсть на ближних склонах, почернеют лесистые склоны вдали, нехотя раскачаются серые гладкие буковые стволы. Глухой стон спустится в долину, к ручью, отзовется эхом в пещере, из которой вытекает ледяная вода. Ручей прыгает по темно-красным камням, уходит к подножию Бабиной Главы. Тут можно перебежать с берега на берег по валунам, подняться по малозаметной тенистой тропе вверх, тяжело дыша, слыша звон крови в ушах, удары расходившегося сердца. Заросшая буковым лесом Бабина Глава — надежное укрытие для Горного штаба № 1. Равногорская Верховная команда размещается в простецкой колибе — каменной пастушьей хижине. В таких колибах пастухи живут в летнее время, когда пригоняют сюда, на планину, своих коров и овец из окрестных сел...*

Нет, не могу, меня тут прямо зависть берет! Ведь всю эту рекогносцировку, весь этот пейзаж Стручняк, ясное дело, не мог высосать из пальца или сдуть у какого-нибудь мемуариста. Когда же это он ухитрился даже на Равной Горе побывать, а? Я вот тут копчу небо и до сих пор не знаю, где она, та гора, находится, я тут изныванию от полной неопределенности, а этот хитрюга, пьяненький пузан, тем временем на вольном воздухе скачет по камням, как козлик, залазит в какие-то романтические пещеры, подкрепляется в сельских кафанах, перехватывает там рюмочку, другую, третью... Ишь, устроил себе оздоровительный сезон! И ведь до последней минуты темнил мне тут, врал, что он-де ни единого дня в жизни не провел в деревне, сугубо, видишь ли, городской продукт... Но я ему все прощаю, потому что, ты сам видишь, Петрович, перед нами пройдоха высшей пробы. Этот полуслепой крот, догадываюсь, уже подо всей Югославией нарыл ходов. Это непризнанный ас русской народной разведки, лебединая песня нашей философии шпионажа... Ну, ну?

К осени 1941 года равногорскому штабу стало уже тесно в Струганике и на склоне Бабиной Главы, поэтому одна его часть была расквартирована в селе Браичи, за перевалом. К созданию дополнительных подразделений и опорных точек побуждал быстрый рост равногорского движения по всей Шумадии — сердцевинной области Сербии. Если в мае, когда полковник Михайлович привел из Боснии на Сувобор остатки своего поредевшего в стычках с немцами Быстрого отряда, с ним было всего 27 человек, то теперь во вновь созданные отряды вошли уже десятки тысяч бойцов.

В начале октября Тито в радиотелеграмме, отправленной в Москву, сообщил: „Партизанская армия в Югославии насчитывает около 100 тысяч человек и около 30 тысяч четников, которые являются нашими союзниками". Эта справка важна во многих отношениях. Во-первых, она обесцени-

вает до сих пор употребляемое в советской исторической литературе пропагандистское клише, согласно которому Михайлович якобы с первых же дней войны ступил на путь сотрудничества с оккупационным режимом. Во-вторых, телеграмма показывает, что наши лжеученые напрасно стараются представить встречу в Струганике этаким пустоцветом, не давшим совершенно никаких плодов. А кроме того, документ любопытен и тем, что Тито здесь, кажется, впервые с начала войны прибегает к цифровым манипуляциям.

Последнее, кстати, не осталось незамеченным в Москве. Вскоре в советской прессе появилась информация о Югославии, в которой фигурировала более скромная цифра: „Число партизан, ведущих с оружием в руках борьбу против немецких и итальянских оккупантов и их клевретов, достигло 80 тысяч человек".

При этом нужно иметь в виду, что в Москве в это время понятие „партизаны" использовалось еще как общее и для сторонников Тито, и для четников. В ноябре 1941 года по московскому радио прошло знаменательное сообщение: вождем всех сил народного отпора в Сербии является Михайлович.

Надо полагать, такое важное и ответственное сообщение не могло появиться случайно, ему должна была предшествовать тщательная обработка информации, поступающей не только от Тито, от союзников, от югославского королевского правительства в Лондоне, но и по другим, более специфическим каналам. Так, известно, например, что в СССР в это время находился полковник Жарко Попович, которого война застала в должности югославского военного атташе в Москве. Полковник Попович был большим другом полковника Михайловича и мог дать ему хорошую аттестацию в беседах с советскими дипломатами или военными специалистами.

Мало того, советская военная разведка еще до войны обязана была завести соответствующее досье на югославского офицера Драголюба Михайловича, активного участника двух Балканских и 1-й мировой войны, проявившего героизм на Солунском фронте, кавалера двух орденов Белого орла и звезды Карагеоргия, помощника начальника и начальника штаба Королевской гвардии (1927—1935), военного атташе в Болгарии (с июня 1935 по апрель 1936), затем военного же атташе в Чехословакии (до мая 1937), а с марта по ноябрь 1940 года — начальника отдела разведки Главного генералштаба.

Опытный аналитик, изучая воинскую карьеру этого офицера, мог без труда, однако, разглядеть, что перед ним не прямая восходящая линия, а некая драматическая зигзагообразная пульсация (к примеру, войну с Гитлером Михайлович начал в качестве помощника начальника штаба Второй армии). Обращали на себя внимание слишком короткие сроки пребывания югославского военного атташе в Софии и Праге. Из Болгарии по соответствующим каналам вовсе не трудно было получить сведения о том, что югославский военный дипломат Михайлович в Софии пришелся не ко двору, поскольку быстро проявил себя как активный панславист, романтический сторонник геополитического объединения южных славян, чем сразу настроил против себя германофильское окружение болгарского царя Бориса III. В частности, Михайловичу ставились в вину его приятельские отношения с такой одиозной в Болгарии личностью, как Дамьян Велчев. Полковник в отставке, активный член влиятельной „Военной лиги", соавтор двух государственных переворотов, в 1923-м и 1934-м годах, республиканец, интеллектуал, искуснейший конспиратор и теневой политик, Велчев в октябре 1935-го был арестован по обвинению в очередном антиправительственном заговоре, в концепции которого якобы просматривалась сильная просербская тенденция. Вместе с Дамьяном Велчевым за решетку попало несколько влиятельных военных, в том числе симпатизировавший Советскому Союзу генерал Владимир Заимов. В феврале 1936 года военный суд приговорил Велчева и еще трех заговорщиков к смертной казни, но месяцем позже царь Борис вынес решение о помиловании. Перипетии раскрытия заговора, судебного процесса и царская милость — все это широко обсуждалось в правительственных кругах Европы. В частности, райхсмаршал Геринг в беседе с

болгарским посланником в Берлине посетовал на неосмотрительное великодушие, проявленное „Его Величеством“ именно в отношении к Велчеву.

Знала ли советская военная разведка персону полковника Драголюба Михайловича в несколько большем или меньшем объеме, в данном случае не суть важно. Она не могла не заинтересоваться этим человеком еще до войны. Без ее аналитических рекомендаций московское радио не решилось бы в ноябре 1941 года представить своим слушателям Михайловича в качестве вождя всенародного отпора оккупантам в Сербии.

У Михайловича, в отличие от Тито, не было прямой радиошифрованной связи с Москвой. Но имеются свидетельства, что на связь с советским военным руководством он стремился выйти хотя бы опосредованно, через своих старых приятелей в Софии, в том числе с помощью Дамьяна Велчева. В октябре на Равной Горе заработала самодельная радиостанция, собранная из старых аппаратов, были получены первые депеши от эмигрантского правительства в Лондоне и от британской команды на Среднем Востоке — из Каира. Горный штаб отправил шифрограммы о первых боевых акциях против немцев.

22 сентября полковник Кесерович с четырьмя сотнями бойцов (в том числе и партизан) напал на Крушевац и несколько дней удерживал этот город в руках.

28 сентября объединенный отряд партизан и четников освободил от немцев город Горний Милановац. Равногорской группой руководил во время штурма комендант Таковского четнического отряда Звонимир Вучкович, он же вел переговоры с немецкими офицерами о сдаче окруженного гарнизона в плен.

2 октября совместными действиями четники и партизаны принудили немцев оставить город Чачак, где располагался оккупационный гарнизон в составе пехотного батальона, артиллерийской батареи и моторизованного отряда из десяти бронемашин и танков.

4 октября равногорский отряд под командой Славко Цветича напал в ночное время на гитлеровский гарнизон в селе Страгаре и взял в плен около сорока солдат и офицеров.

Упорные бои в октябре силы народного отпора вели за освобождение Кралева, где героически действовал капитан Йован Дероко. По мнению Драголюба Михайловича, успех совместной с партизанами операции в Кралеве мог обеспечить освобождение всей Шумадии, всей Западной Сербии.

Испытывая недостаток в живой силе, немцы были вынуждены покинуть города Ужицу и Ужичку Пожегу. В Ужице в начале октября обосновался штаб Тито. Пожегу заняли „дражиновцы“.

В эти недели Михайлович старался не придавать слишком большого значения многочисленным донесениям с мест о раздорах между его бойцами и партизанами. Надеялся, что сама война умудрит тех и других, покажет бессмысленность политического соперничества перед лицом общей гибели.

Сводки с Восточного фронта поступали одна другой неутешительней. Повсеместное отступление русских все меньше напоминало хитроумное заманивание врага, поедание его живой силы и техники бездной азиатского пространства.

Страшное, парализующее волю известие вдруг пришло из Крагуевца. 21 октября фашисты на лесной окраине этого города расстреляли около семи тысяч его мирных жителей, в том числе школьников и учителей. Накануне гитлеровский карательный отряд побуйствовал в Горнем Милановце, мстя за недавнее пленение своего здешнего гарнизона: в руины превратили весь центр городка, сотни его жителей погнали в Крагуевац. И вот теперь оттуда слышно, что не пощажены и заложники, прибывшие из Горнего Милановца. Так немцы начинают исполнять зловещее обещание: за каждого убитого в Сербии своего солдата расстрелу будут подвергать сто заложников, за каждого раненого — пятьдесят. И, как показывает Крагуевац, это вовсе не пропагандистское запугивание. Немецкий Орднунг клацает железными зубами, в щелях между которыми уже торчат клочья кровавого людского

мяса. Вот как они оценивают славян: за одного германца — сто православных сербов. Цинизм, подпитанный идеей биологического или религиозного превосходства, заразительней всякой чумы. Недавно в Верховной команде появились фотографии из Хорватии. Палачи Анте Павелича спешат перещеголять в жестокости своих немецких учителей. Отлавливают, сажают в лагеря, убивают цыган, евреев. А ненависть усташей в отношении к сербам — что-то исключительное, леденящее душу. Кровавые расправы над „схизматиками" устраиваются прямо в церквях, беременным женщинам вспарывают животы, проламывают молотками черепа своих жертв, обматывают проволокой тела убитых и целые связки трупов сталкивают в реку. Похоже, затрещала земная кора, и выкарабкались на поверхность гнусные чавкающие чудовища с прожекторами-щупальцами на месте глаз... Такой бесстыдной войны еще не ведала земля. Не главная ли теперь задача: сохранить род свой от бесчеловечного подсчета „один — к ста", сохранить в людях людское.

Можно догадываться, с таким или подобным настроением Драголюб Михайлович, через неделю после трагедии в Крагуевце, вторично встретился с Тито. Свидание было назначено в селе Браичи, в здании местной школы, и состоялось, по одним источникам, 26-го, а по другим — в ночь с 26-го на 27-е октября. Содержание встречи известно и в партизанской, и в четнической интерпретации, каждая из которых сводится, в основном, к упрекам и обвинениям в адрес противоположной стороны — в связи с накопившимися случаями взаимных стычек и даже кровавых расправ.

Так, Тито потребовал, чтобы Михайлович сместил трех своих комендантов, замешанных в уничтожении одного партизанского штаба. Но из разбирательства выяснилось, что речь идет об акции отмщения — за убийство титовцами нескольких равногорцев. Поэтому Дража отказался исполнять требование гостя.

Часть встречи они провели с глазу на глаз. Позднее Тито вспоминал, что он настаивал на активизации военных действий против немцев. Михайлович, наоборот, советовал не форсировать события, ссылался на недавние карательные меры оккупантов, которые, конечно, не остановятся и перед новыми массовыми репрессиями. Он предпочитал тактику выжидания, сохранения и скапливания сил, для того чтобы в решающий момент борьбы использовать их с наибольшим военным эффектом.

Звонимир Вучкович вспоминает, что во время разговора Михайловича неожиданно позвали в другое помещение к телефону. Ему звонил из Пожеги как раз один из комендантов, смещения которого требовал Тито, капитан Игнятович. Этот Игнятович просил: пусть господин полковник разрешит ему выставить на дороге пулеметную засаду, когда партизанские вожди будут на своих автомобилях возвращаться в Ужицу.

„Чича Дража" пришел в ярость. „Знаете ли вы, господин капитан, — прокричал он в трубку, — что я сам лично гарантировал их безопасность! Мне очень жаль, что вы до сих пор не выучили, что такое слово офицера".
И бросил трубку.

После казни генерала Михайловича в 1946 году свидетели браичского инцидента говорили: будь Тито благороднее, он мог бы помиловать свою жертву. Хотя бы за то, что в 1941-м Михайлович спас Тито от верной гибели. Ведь если бы тогда капитан Игнятович исполнил свое намерение, вполне возможно, не началась бы и гражданская война между „дражиновцами" и партизанами.

Но тут мы уже вступаем в область истории предположений и вероятий. Гражданская война началась — в том же 1941 году, всего несколько дней спустя после встречи в селе Браичи. Горькая это отрава — гражданская война: между теми, кто верит в Бога, Царя или Короля, и теми, кто верит в грядущее неминуемое счастье народов всей земли. Такая война не приносит счастья ни тем, ни другим. Правду говорит Добрица Чосич, бывший красный партизан, устами своего героя в романе „Грешник": „Самые страшные люди те, что хотят всех осчастливить".

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...счастливые часов не наблюдают, а Стручняк – именно счастливчик

Интересно, как долго я все это читал? Наверное, не меньше часа. Но, вполне возможно, всего каких-нибудь полчаса, потому что меня сразу захватило и буквально понесло. В принципе, дальше уже можно и не читать. Ведь совершенно ясно, как Стручняк поступит со своими героями, точнее с героем и антигероем: Михайлович и дальше будет у него хороший, а Тито и дальше плохой. В таких случаях я доверяюсь своей интуиции и прерываю чтение.

Теперь мне ясно и другое: Стручняк допускает большую промашку. Он непростительно наивен, если надеется, что здесь кто-то сразу возьмется его публиковать. Потому что, как ни поносит здешняя правая пресса все титовское и коммунистическое, я догадываюсь, этот покойный псевдомаршал для многих своих сограждан все еще не так плох, как Стручняку кажется. А равногорцев эти сограждане все еще ненавидят и по-прежнему убеждены, что Михайлович сотрудничал с немцами, был коллаборационистом, изменником и тому подобное. Эти сограждане собираются по вечерам в своих обширных квартирах и сокрушенно вздыхают: а при Тито было куда лучше, чем теперь; хотя сам друг Тито, конечно, любил пожить в свое удовольствие, хотя чересчур много понастроил себе дворцов, вилл, дач и охотничьих викендиц, но зато он и людям давал жить в собственное удовольствие, при нем был порядок, никто не смел раздирать Югославию на куски, все вдоволь ели и пили, не было и в помине никаких инфляций, никаких склок между десятками невесть откуда явившихся партий, никакого национализма и великосербского гегемонизма, зато был социализм, какого и русским не снилось, а теперь тут всякие Стручняки приезжают и учат нас нашей собственной истории...

Конечно, именно так Стручняку никто не заявит, потому что сербы – люди вежливые. Но все же за их уклончивой вежливостью будет неизменно присутствовать один невыговариваемый вслух совет: пиши-ка ты, приятель, лучше о своем маршале Сталине и о своем генерале Власове, а мы тут сами будем писать о своем маршале Тито и генерале Михайловиче, обходясь без твоих высокопарных сравнений последнего с несчастным принцем Гамлетом. Вы сначала разберитесь там у себя, в России, что вы натворили, а в своем мы и сами разберемся.

Так что, боюсь, югославский семафор для Стручняка закрыт. К тому же по его карандашным пометкам на полях рукописи я вижу, что он в основном пользуется документами, которые сербы у себя тут уже опубликовали. Ничего нового и сенсационного он им пока не предложил, хотя и намекал мне на свои прогулки по архивам «Детского мира». Может, где-нибудь он еще и щегольнет – на последующих страницах, но, кажется мне, его писание рассчитано не на здешних просвещенных читателей, а на наших советских невежд. Ведь что касается Михайловича, то мы все – полнейшие невежды. Мы и про покойного маршала Тито мало что знаем, а уж про Михайловича – и подавно. В Москве на разных этажах достаточно имеется граждан, которые бы хотели, чтобы мы и дальше так же мало знали – и про того, и особенно про другого... Так что, боюсь, для невезучего Стручняка плотно закрыт не только югославский, но и родной советский семафор.

И все-таки он – счастливый человек. Таких счастливчиков в СССР теперь считанные единицы. Знаешь ли ты, Петрович, почему наш Стручняк – счастливчик? Очень просто: потому что он нашел **своего героя.** Он нашел себе в жизни героя и полюбил его – что еще нужно для счастья? Пусть он сам вовсе не герой, куда уж там, но он разыскал для себя на свете героя и посвятил ему свои невезучие дни... Даже того, что я тут сейчас успел прочитать, достаточно, чтобы рявкнуть кое-кому: эй, вы, господа и товарищи, подите-ка вы прочь от Драголюба Михайловича! Ведь

сколько вы ни пытались обгадить его имя, а ничего не получилось, не так ли? И впредь ничего не получится. Потому что все вы выползли наружу из вонючего моря лжи, из его грязной пены. Ваша ложь мутила воду полвека, но все же всплыла кверху пузом, как дохлая рыбина. Вы надеялись заткнуть нам уши своей вонючей дрисней, а в итоге лишь сами обгадились, наложили полные штаны.

Ложь сама себя наказывает. Вот эта синяя папочка – в ней кроется ваша погибель. Со Стручняком вы уже опоздали, и с Михайловичем – тоже. Михайлович – уже герой, а Стручняк – уже счастливый человек, потому что нашел себе героя на всю жизнь. Если бы вы даже выкрали отсюда эту его синюю папочку, вы бы все равно опоздали. Дело уже сделано, Стручняк уже счастлив!

Удивительное дело, Петрович, не правда ли: человеку тошно, муторно, весь свет ему не мил, но на самом деле он, не догадываясь об этом, совершенно даже не подозревая, – ошеломительно, бездонно и полнейшим образом счастлив. Вот он сейчас мается в нетрезвом полусне где-то между Чопом и Мукачевом, в его ушах звенят слезные упреки, с которыми встретит его жена... да-да, она заказывала ему купить на гонорар модные зимние сапожки, туфли, дубленку, джинсы и кроссовки детям, теплый халат теще, ну, и, разумеется, всяких там мелочей... чулки, колготки, шампуни, ну, и, конечно, пусть и себе выберет полдюжину рубашек и зимние крепкие ботинки и легкие штиблеты, и всяких там маечек, трусиков и носков, а то совсем он у нее пообносился, словом, пусть он там не зевает, в этом югославском раю, пусть, наконец, и костюм себе приличный купит, и джемпер, и черный японский зонтик, потому что, говорят, все это у них там еще страшно дешево – и посуда, и белье, и тени, и лак для ногтей, и всякие там кухонные безделушки – щеточки, миксеры, леечки, ситечки, салфеточки, ну, и хорошо бы детям каких-то гостинчиков – всякого там печенья, конфеток, шоколадок, маечек, трусиков, носочков, они ведь тоже пообносились... и еще лекарства, там был целый отдельный списочек лекарств – для нее, для тещи, для него самого, и еще набор итальянских сосок и бутылочек для народившейся племянницы, и присыпки от потницы, и какую-нибудь мазь от диатеза... но пусть он, конечно, не надрывается, что сможет, то и сможет, только пусть не покупает одни лишь книги, как в первый раз, потому что книги и так уже вытесняют их из комнаты, они уже и спят на книгах, и книгами накрываются... и вот она, бледная, почти испуганная, открывает ему дверь, впускает в прихожую это толстое, запыхавшееся, пропахшее кислым вагонным духом существо, которое почему-то зовется ее мужем, помогает ему втащить баул, в котором нет ничего, ну, совершенно ничего – ни для нее, ни для детей, ни для тещи, а только гора мятого несвежего белья, и он стоит перед ней, как двоечник перед директором школы, взопревший, краснолицый, с мутными глазами, еще благоухающий виньячными испарениями, что-то бормочет и растирает рукою свой наморщенный шишкастый лоб.

Ну, да ладно, Бог с ним, со Стручняком и с его женой, пускай она сама там решает, выгнать его из дому, вытолкать вон вместе с его бельишком или в очередной раз помиловать. Ему уже ничто не повредит, потому что он уже своего добился, он уже счастлив.

Счастливые же, как известно, часов не наблюдают, они не трясутся над каждой ускользнувшей минуткой. Они одной ногой уже стоят на плацдарме, отвоеванном у вечности. А вот у нас тут обстановка еще совсем не ясная. Когда ты что-нибудь толковое читаешь или что-нибудь хорошее при этом выпиваешь, то время скачет, как бешеный жеребец. Сейчас, думаю, уже не меньше половины двенадцатого, и надо снова спускаться в рецепцию, пока Алеша спать не улегся.

...одиннадцать сорок три – дата рождения краснорожей философии

Но уж теперь я никак не забуду закрыть все это хозяйство на ключ... Вот сейчас только сполосну свою личность, потому что она у меня по-

чему-то вся горит. Впрочем, это не она горит, это пышет сквозь нее солнечная энергия, впитанная за лето сливовым деревом, что растет себе где-нибудь по середине Шумадии... Ого! Рожа, что называется, просит кирпича. Как будто об меня вытирал свои губки целый «Мулен Руж». Или это я так разволновался в результате близкого знакомства с идеологической миной, заложенной Стручняком?.. Ей-ей, такую рожу в пору показывать детям в цирке. Но предварительно оградив меня сеткой, чтобы дети не испугались.

Петрович, ты следишь за моим поведением. В бутылке-то, гляди, уже меньше половины. Оттого-то мне и раскваснло рожу, будто свеклой натерся... В принципе, ничего страшного еще нет: покраснение личности – только четвертая степень опьянения. Нужно ополоснуться холодной водой. Я весь как раскаленная болванка в кузне – вода шипит и испаряется. Петрович, ты не веришь? Посмотри и убедись... Ах, нет, это, оказывается, пустили наконец горячую воду, которая мне теперь совершенно не нужна. А холодную, наоборот, отключили. Но, надеюсь, я никого в рецепции не напугаю до смерти своим видом. Мы тут все свои. Все русские – народ краснолицый, так что никто не осудит. Да и администратор к нам таким уже привык. Он, думаю, видывал тут и более красных красавчиков... Шарац, приятель, мы тебя закрываем на ключ. Если кто-то полезет в окно, бей его копытами по лбу. А ты, Петрович, последи, чтобы Шарац не обожрался тут овсом, завтра у нас может быть с ним дальняя дорога. Извини, Петрович, что я и тебя закрываю на ключ. Вдруг опять заявятся эти девицы, – а ты ведь комсомольского языка не знаешь, и выйдет конфуз, так что лучше поскучай минут пять.

...Эге, я немного задержался прошу прощения. От Алеши – никаких веселых новостей. С Тополой совсем глухо, как будто она отодвинулась от нас, как планета Юпитер, и продолжает стремительно удаляться ... Огорчил и я немного Алешу. «Этот конь Шарац, – говорю ему, – если ты еще не рассказывал про него детишкам, то и не рассказывай. Потому что я тут спьяну совсем забыл, что, оказывается, Стручняк уже пообещал его подарить какой-то даме-журналистке, и мне с утра придется ей звонить...» Алеша, остряк-самоучка, сказал, что даме по поводу коня лучше звонить с вечера. На что я ему заметил, что не понимаю этого слишком тонкого белогвардейского юмора... И вообще, замечу тебе, Петрович, Алеша меня разочаровывает. Я думал, он тут всесилен и коли уж пообещал, то поможет...

Но, кстати, на обратном пути был и веселый момент, и я за несколько минут набросал, крупными мазками, целую философскую систему. То есть, на нашем этаже, в холле, будто по заказу встречаю двух этих девиц в халатиках. Сидят себе на том самом диванчике и щебечут, а посередине, догадываюсь, Славик. Нет, вру, одна щебечет, а другая немного заплаканная, будто Славик только что отказался на ней жениться или будто она только что призналась ему, что потеряла свой заграничный паспорт. «Ну, девочки, – говорю им, – поздравляю: нашлась ваша пропажа. А еще грешили на нас с Петровичем, что мы его где-нибудь от вас прячем». «Никого мы, – говорит эта расстроенная, – не искали и вашего Петровича знать не знаем». «Ну как же, – тут я слегка обижаюсь. – Вы ведь дважды ко мне нечаянно заходили. И халатики ваши я отлично запомнил». «А вот мы вас совершенно не помним, – говорит та, которая щебечет. – Нам таких краснолицых соотечественников за границей еще не попадалось». «Это у меня, – говорю, – краска от стыда за вас, потому что вы заходили, а теперь отказываетесь. Вы ведь еще заглядывали под мою кровать, нет ли там Славика. И еще огорчались, что у вас там закуска вянет. Вот мне почему-то только такие врунишки-соотечественницы за границей и попадаются. Вы не с теплохода ли „Константин Симонов“?» «Нет, мы сухопутные, и не мешайте нам разговаривать». – «Сейчас уйду, Петрович ждет. Вот только отгадайте напоследок загадку: чем роза отличается от рожи?» Смеются: «Оно и видно, чем». – «А вот и неправильно. Потому что роза и рожа – это совершенно одно и тоже. Хотите за две ми-

нуты докажу». – «Давайте, только за одну». – «Хорошо. Вот вам одноминутная, самая научная в мире, самая неопровержимая и всепобеждающая краснорожая философская система. Или Апология Славянства. Засекайте, пожалуйста, время: одиннадцать сорок три – дата историческая! Итак, пили ли вы украинское, которое называется «рожэвэ»? А знаете ли, что на здешнем, сербском языке «роза» произносится так: «ружа»? А знаете ли, что у самого маленького славянского народа, у лужичан, которые живут в Германии, «роза» звучит так: «рóжа»? И не знаете, что древние греки и древние римляне славян за их цвет лица называли краснолицыми? Тоже не знаете! Так знайте же и постарайтесь запомнить: рожа – ружа – роза – рудый – рыжий – рус – росс – рас – раш – рашен – раска – рашка – ряшка – все это фактически одно и то же и означает, что мы, славяне, в отличие от всех других, – краснолицые, румянолицые, розоволицые люди...» Но тут как раз этот их Славик, кстати, очень бледно-зеленый, будто его мутит, вмешивается и эдак надменно вопрошает: «Ну, и какая же в вашем «открытии» содержится фи-ло-софия?» «А философия, – говорю ему, – совершенно очевидная. Раз мы такие краснорожие, то классики марксизма-ленинизма и постарались навесить именно на нас свою красную идеологию. Других таких дураков, кроме нас, выходит и не нашлось». Тут девочки делают вид, что зевают от скуки. Но Славик не унимается: «Говорите, говорите, очень у вас складно выходит. Смотрите, гражданин качается, но говорит все еще складно». А я ему так: «Когда я качаюсь, то это всего лишь пятая степень опьянения, но в данном случае она еще не наступила. Просто в море лжи, где мы с вами сейчас находимся, поднимается шторм, и вы уже слегка позеленели, как бывает у всех лгунишек, которые разучились краснеть от стыда...» «Вы тут, наверное, насмотрелись фильмов катастроф», – язвит в ответ зелененький, как доллар, дискотечный и видеушный всезнайка Славик. «Нет, – говорю ему, – я в ваши комсомольские видеосалончики не ходок. Я просто кожей чувствую, что море лжи сильно взбаламутилось, и грядет девятый вал бесстыжей и подлой брехни, так что давайте лучше разойдемся по своим каютам и займем горизонтальное положение. К нашему общему несчастью, старик скульптор был прав...»

Про скульптора они, конечно, ничего не поняли, а тебе, Петрович, я сейчас все объясню. Ты ведь тоже замечаешь: наш «Унион» уже подрагивает мелкой дрожью. За окном льет как из ведра. Свет в соседкином окне слоится и зыбится. Боюсь, этот спасительный маяк вот-вот погаснет. Что делают в такую погоду опытные моряки, чтобы не впасть в панику или в уныние? Они забираются в кубрик, наливают по стаканчику и начинают травить невероятные истории из пережитого. Послушай же и ты одну совершенно правдивую быль наших красных дней.

...без семи полночь, накануне потопления

Как ты думаешь, старина, легко ли, прожив полжизни, а может быть, и почти уже полную жизнь, вдруг обнаружить, что ты все время был идиотом или, по-русски говоря, придурком? Согласись, дураку хорошо исправляться, когда у него еще молочные зубы не выпали. Даже годам к тридцати можно исправиться, но только если Бог поможет, тряханет тебя хорошенько – так, что на время ослепнешь или лишишься дара речи с испугу. Но если тебе уже, к примеру, за восемьдесят и ты все еще придурок, то тут уж податься совершенно некуда кроме как на презентацию к червям. И все-таки исключения, пусть редчайшие, но бывают. Никогда, оказывается, не поздно постучаться в храмину, где люди готовятся к светлому празднику.

Жил да был у нас один знаменитый старикан, скульптор – по дереву, камню, гипсу и железобетону. Много он всякого за свою долгую жизнь навырезал, налепил, наваял и налудил. Сперва неплохие у него получались болваны из дерева, даже лихие... Много раз он был поощряем род-

ным правительством и потому на радостях все больше глупел вместе со своими болванами. И вот под старость, когда приятели-ваятели стали за глаза титуловать его полным придурком, угораздило этого четырежды лауреата участвовать в одном грандиозном конкурсе. Идея была богатая: на Воробьевых горах – есть такие горки над Москвой-рекой – поставить памятник самому великому из всех людей, то есть вождю мирового пролетариата. То есть Ленину. Думаю, тебе это имя мало что говорит. Объяснять можно лет сто без перерыва, но если попытаться объяснить совсем кратко и грубо, то ты, сам будучи вождем, быстро меня поймешь. Всякий вождь, коли он собирается повести за собой хотя бы наиболее решительную часть народа, обязан что-то из ныне отсутствующего пообещать: землю, к примеру, или свободу от иноземных угнетателей, или более гуманные законы, или резкое сокращение налогового бремени. Ленин пообещал матушке-России то, чего не решился бы пообещать ей даже во сне ни один из царей. Он пообещал, что если рабочие и крестьяне скинут помещиков и капиталистов, то в итоге сначала в России, а вскорости и на всей земле, в том числе и у вас тут, на Балканах, установится земной рай... Вот-вот, Петрович, не качай головой, ты не ослышался: ни много ни мало земной рай. Ты скажешь: что за ерунда! Да кто бы мог поверить вождю, который обещает рай на земле? Ведь если что-то людям обещаешь, то нужно посулить им что-то достаточно исполнимое. Ведь и сам Господь нигде и никогда не обещает людям рая на земле, поскольку второго тут, после Адама и Евы, быть уже не может. Но в том-то и дело, милый мой Петрович, что Ленин вполне сознательно пообещал то, чего не обещает нам даже Бог. Тут у Ленина был страшный риск: или пан, или пропал; или он сам теперь бог, или об землю хлоп. И тут всю Россию закрутило в такую дьявольскую воронку, захлестнуло такой кровавой мутью, что и до сих пор, – а уже почти целый людской век минул, – всю землю от нас знобит...

Что хмуришься-то? Э-э-э, не веришь. Думаешь, басню вру? Я и сам теперь не смогу тебе толком объяснить, как это русский человек вдруг в земной рай уверовал. И никто еще толком не объяснил, сколько мудрецов ни пыталось. Сказкой даже глупого дитятю обмануть не всегда удается, но как взрослого мужика облапошить, вдоволь пожившего и всякого горя хлебнувшего? Уж он-то, кажется, знает: блаженство не приживается на земле, не дается надолго ни богатому, ни бедному; у всякого под ложечкой своя боль, своя кровоточина; никто еще свой земной путь не проходил, ни разу не споткнувшись, не набив себе шишку на лбу.

А вот поверили же! На одну всего секунду поверили – и обманул! Он все прекрасно рассчитал: пусть только на секунду поверят, пусть расслабятся и рявкнут в одну глотку: «Уря!» И тут же он их этим секундным свидетельством скрутит. Теперь вы у меня только пикните! Не вы ли мне всем скопом «Уря!» проорали? Ну, кто против земного счастья для всех бедных и угнетенных, кто против всемирного блаженства, выходи! На каждого изменника и врага человеческого счастья хватит у нас пули ... Вы что же, думали, земной рай тут же и наступит мигом, как только проорете свое глупое «Уря!»? Ну нет, для рая земного надо потрудиться, поскрипеть зубами, окропить всю землю кровушкой, опалить ее адским огнем; до-о-олго, ой, как долго будем идти в светлое будущее, а кто заупрямится, по его костям пройдем.

Но как именно, спрашиваешь ты, он все же обманул? Ну, тут опять же много припас он приманок, чтобы всех хоть на секунду облапошить. Все брал он в расчет: и что оголодал на ту пору русский человек, и обескровел от войны с немцем, и остался без царя в своем отечестве и без царя в голове. Но я назову тут одну уловку, о которой тебе никто другой, наверное, не скажет. Тот, кто обманом решил взять власть, обязан сыграть на всех людских слабостях. Ленин довольно пообтерся меж людей и знал не понаслышке: русский человек простодушен и доверчив, привык верить на слово, мнительностью и подозрительностью особо не страдает. И еще он одну слабину знал и очень даже на нее рассчитал, – как раз о ней моя

речь. Видишь ли, русского человека хлебом не корми, но дай ему похвастать. Ты и сам, думаю, этот наш грешок не раз наблюдал, в том числе и сегодня.

Вот – разве не вещественное доказательство? – в бутылке все меньше и меньше. И отчего бы это? Оттого ли, что мне непременно надо напиться до умопомрачения? Нет, и ты, Петрович, тому свидетель – вовсе не оттого. Голова пока что еще ясная. Но вот это уже и есть наше родимое хвастовство. Русскому человеку непременно нужно доказать, что он в мире самый великий выпивоха и что его никакой хмель не свалит с ног и не лишит рассудка. Как только он окажется где-нибудь в Марселе или Сингапуре, то в первом же портовом кабаке обязан засадить единым махом три стакана виски за воротник и после этого перейти площадь ровненько, как по ленточке, в направлении к следующему кабаку, ловя ухом восхищенный шепот зевак: «Невероятно... чудовищно... как эти русские столько могут выпить и идти совсем не качаясь». Русский человек живет от хвастовства до хвастовства, а в промежутках он не живет, а прозябает. Для него и пьянство – не самоцель, а возможность лишний раз похвастать. Недаром в наших древнейших песнях поется: собрались богатыри русские на великом пированье у князя Владимира, понапилися и порасхвастались: кто хвастает молодой женой, кто золотой казной, кто силушкой богатырской, кто вороным конем... и так далее, и тем более.

Вот тут-то, на нашем хвастовстве, Ленин нас и укараулил. А что, мол, ребята, скажете насчет земного рая? Слабо нам его построить и осчастливить все человечество или не слабо? Почесал русский человек в голове: а отчего слабо? Чай, земля у нас на свете самая большая, чай, добра в ней всякого немеряно, чай, силушки нашей считать не пересчитать. Вон, и самого Наполеошку вытурили, и японца чуть шапками не закидали, и железку самую большую на свете выложили – аж до Тихого океана, и дюжину мостов на той дороге отгрохали через самые великие реки, – так отчего бы и с земным раем не попробовать; счастья нам не жалко, отчего бы и не осчастливить все человечество, пусть себе блаженствует на здоровье! Уря!

Вот этой секунды Ленин как раз и ждал. Эта секунда его вдруг и вознесла под самый небесный купол, превратила в красного Мессию. И до чего же грамотно рассчитал: построят они там когда-нибудь этот земной рай или не построят, это дело десятое, но уж его-то теперь в любом случае увековечат, потому что ни до него никогда не было, ни после него никогда уже в истории не будет человека, который бы такую ораву людскую поднял на небывалое, немыслимое и несусветное дело.

Еще одна немаловажная подробность в моем сюжете: этот старикан скульптор, о котором я, кстати, вовсе не забыл (вот опять маленько хвастаюсь ясностью своей памяти), так вот этот дед-ваятель когда-то в молодости видел живого Ленина. Где-нибудь на митинге, издалека, но видел. Этих ветеранов-очевидцев у нас потом на руках носили, и через них нам от Ленина должна была передаваться благодать. Впрочем, я и сам Ленина видел – под стеклянным колпаком, в гробнице, но разве посмею я сказать, что видел его **мертвого**? Ни за что! Ведь он у нас **живее всех живых**, как и положено земному богу, заменившему собой Бога небесного. Это скорей про каждого из нас можно сказать, что мы мертвые, а про него – ни-ни! Он бессмертен, он и нас с тобой сейчас, может быть, насквозь видит и уже пишет в наш адрес коммунистическую анафему...

Сейчас, погоди-ка, налью себе грамм пятьдесят, а то что-то вдруг аж озяб. Живели, Петрович! За всех живых, а с бессмертными немного позже разберемся.

М-да, так вот старикан-ваятель, видевший живого Ленина, мог, пользуясь этим своим преимуществом, изваять великого вождя в натуральную величину, в полном соответствии с его земными габаритами, то есть маленьким, плешивеньким, с козлиной бородкой-эспаньолкой. Но нет, старик тоже был коренной русак, а следовательно, тоже любитель прихвастнуть. Уж ваять так ваять, решил он, дай-ка я предложу им на конкурс

сверхвеликого Ильича. Тут надо заметить, что наши скульпторы ваять Ленина вообще очень охочи, потому что за Ленина государство им денег не жалело. Поставил ты, к примеру, гранитного или бронзового Ленина в каком-нибудь городе на центральной площади, и тебе за это так заплатят, что можешь всю оставшуюся жизнь дуть вместо воды армянский коньяк. Поэтому они и прожженные циники, эти скульпторы, и между собой как подопьют хорошенько, начинают хвастаться и небрежно называть Ильича Лукичом: «Поздравь, старик, мне Лукича отлить заказали».

Итак, наш дед решил перехвастать творческую молодежь, а в конкурсе том участвовало, чтоб не соврать, душ сто соискателей великой мзды.

И вот устраивается выставка проектов, да не где-нибудь, а в самом Манеже, рядом с Кремлем. Манеж, как ты сам догадываешься, - это место, где кавалеристы выезжают своих лошадок. Но при нашей райской власти Манеж переделали под выставочный зал, отдали его художникам и скульпторам. Кто-то из этих циников даже пошутил по этому случаю: при царях, мол, тут навоза меньше было, чем при нас. Ну, ладно, свезли они свой конкурсный навоз в Манеж. Вся творческая Москва идет глазеть. Не отстала и студенческая молодежь. Я тогда, напомню тебе, еще в студентиках бегал, от нас, от философов, было рукой подать до Манежа. Дай, думаю, сбегаю на часок, проветрюсь, напитаюсь благодатью.

Проект деда обнаружил без труда, и немудрено: он над всеми другими возвышался, очень уж был многофигурный. Представь себе, Петрович, Лестницу - от самой реки, от береговой кромки до верха горы. Там, на самом верху, как ты уже догадываешься, сам Бессмертный глыбится, бетонным облаком нависает над кромкой обрыва. Задумчиво поглядывает со своей верхотуры на речку: кто это там, мол, ко мне в гости поднимается?

Ну, а по Лестнице, по замыслу ваятеля, подниматься будут от набережной строители земного рая. Подниматься будут двояко: и в физическом смысле, и, главное, в своем стремлении дорасти до бессмертного, до осознания всей гениальности его завета и предначертания. И чтобы им, беднягам, не скучно было так долго подниматься и расти, дед решил по бокам центральной пешеходной Лестницы соорудить еще две, с более крупными ступенями. И разместил на тех ступенях, что бы ты думал? Нет, ни за что не догадаешься. Он разместил на них все эволюционное развитие материи.

Знаешь ли, в чем исток нашего поголовного идиотизма? Я тебе уже говорил про материализм и идеализм. Так вот, материализм есть высшая и окончательная форма торжествующего идиотизма. В чем ты сейчас сам легко убедишься. Напомню, для неистового и воинствующего материалиста невероятно даже помыслить о существовании какого-то там Бога, сотворившего все живое и неживое. При чем тут, обижается он, Бог, если материя существовала всегда, никем не сотворенная, безначальная и бесконечная. Правда, он признает, что материя эта попервости была штукой весьма тупой и безмозглой и напоминала собой чудовищную свалку всяческого дерьма, мусора, носящейся туда-сюда пыли, бесхозного праха, смрада и чада. Так проходит сто, тысячу, миллиард - словом, невесть сколько лет и даже эр, но вот под воздействием *законов развития материи* весь этот первобытный хлам начинает собираться в какие-то сочетания, формы, сгустки, утолщения, пласты и слои, которые закручиваются в спирали, в рулоны, чтобы наконец предстать в виде звезд, планет, созвездий и целых галактик...

Погоди, Петрович, не перебивай! Я ведь вижу, что как и всякий здравомыслящий человек, ты хочешь спросить: а откуда же взялись эти самые *законы развития материи*, если сама материя была такой дурацкой? Ведь не пылинки же и соринки придумали для себя такие недурные законы? Ведь законы - это, попросту говоря, некоторые мысли, более или менее умные, а никакого ума, как утверждают материалисты, в те поры еще не водилось... Знаешь ли что, по этим вопросам ты к материалистам

и обращайся. Может, тебе они что и объяснят. Мне же, сколько к ним ни обращался, ни разу ни слова не сказали о родословной своих *законов*. Могу, впрочем, об заклад биться, что и тебе не скажут. Поскольку законы эти они слямзили прямиком у идеалиста Платона, но признаться в воровстве, да еще у своего супостата, главного идеалиста, стыдно.

Но послушай, как они сводят концы с концами дальше. Так вот, материя потихоньку-полегоньку продвигалась вверх по ступенькам эволюционного развития – от низших форм к высшим: на планетах взялась откуда-то (не будем уточнять, откуда) вода, вспухли над ней облака, заколыхались туманы, зашлепали по камням и по воде дожди. То есть все почти как у нас, с той лишь разницей, что жизни на земле все еще не было. И вот тут нам предстоит проглотить еще одну великую закавыку материализма, которую, Петрович, и не пытайся раскусить. Ты-то небось, полагаясь на Библию, считаешь, что жизнь в наших краях появилась тогда, когда захотел того Господь Бог, Творец всяческих жизней, Жизнедатель и Виновник всего сущего. Ан не тут-то было! – прервут тебя товарищи материалисты. Жизнь появилась потому, что из неживой материи, опять же по законам развития этой самой материи, в один прекрасный день должна была, просто никак не могла не появиться материя живая – в виде всяких там невидимых глазу бактерий, из которых в свою очередь развились разные моллюски, амебы, личинки и куколки, жучки и паучки.

«Да пошли они подальше, эти хитроумные законы!» – возмутишься ты, и я с тобой полностью буду согласен. Ведь если мы эту вот препеченицу оставим надолго в бутылке с открытым горлышком, то она когда-нибудь выдохнется и станет водой. Но из бутылки воды, той, что стоит вон там под окном, – из нее ни за что не сделаешь даже стаканчик сливовицы, пусть бы даже сам дьявол сунулся сюда со своими мудрозвонскими законами развития материи. С такими хитропупыми законами даже фокусником в цыганский цирк не устроишься, нам с ними совсем не по пути... А потому давай-ка выпьем за то, чтобы эти ссаные законы не мутили нам чистую воду... Ишь чего хотят! Они хотят, чтобы просто так, из глинки, сделалось золото, а из дистиллированной воды – розовое масло, а из неживого мусора, из всякого вонючего дерьма просто так родилась жизнь. Вот пусть они туда и отправляются – в это свое неживое дерьмо и подумают хорошенько о своем собственном поведении. Пусть они там убедятся воочию, что из неживого дерьма никогда, ни в начале, ни в середине, ни в конце, ни через миллиарды лет, никогда, слышишь, никогда и ни за что, без Божьей на то воли, не может появиться ни единой капельки живой жизни. Единственное, что может появиться из неживого дерьма, – это материализм со всеми его пердячими законами ...

Но знаешь ли, почему они свою беспросветную галиматью назвали законами? Ну, конечно, для того, чтобы мы и пикнуть против не могли. Кто же против закона попрет? А попрет, то как раз и угодит в какой-нибудь каменный мешок – на обед к слепым крысам. С материализмом этим у нас и до сих пор шутить не велено, в этом я еще на примере Спинозы, как ты помнишь, убедился. Коли уж тебя поставили на Лестницу развития, пыхти вперед и вверх и не оглядывайся, не думай скакнуть вбок или назад рвануть... Вот так, Петрович, до сих пор обстояли дела в образцовой нашей краснознаменной империи лжи.

...время темное, но ребятам очень весело

В раскаленном от солнца модуле было пусто. Антонов зашел в одну комнату, в другую – никого. Он обиделся: могли бы и предупредить. Струйки пота текли под мышками, неприятно загустевая на майке и превращаясь в соль. Он вытер ладонью сырой лоб. В модуле было сухо и жарко, как в сауне, но вдобавок пыльно. Он прошел на звук веселого разговора и увидел, что в холле включен телевизор – значит кто-то ушел недавно. А может, и давно.

Показывала Москва. Он узнал вздернутый клоунский нос и откляченную губу советского поэта, всю жизнь строящего воздушные мосты между Союзом и Америкой. Поэт стоял в толпе хохочущих американцев, они трепали его по пухлым щечкам, и он был счастлив и застенчив, как лет тридцать назад, во дни розовой поросячей молодости. В его маленьких глазках под свиными ресницами журчал жидкий сахар.

Антонов отвел глаза и опять увидел за окном черный столб дыма на фоне заснеженных гор. На окраине Баграма горел наш нефтевоз, подбитый утром «духами» из гранатомета. Дым восходил нехотя, будто упираясь, тяжелыми плотными завитками, и Антонову почудилось, что он слышит треск обгорающей цистерны. Обернувшись на звук, он увидел в дверном проеме прапорщика. Тот, казалось, разглядывает Антонова с удивлением и решает про себя: форма на тебе без знаков различия и плохо пригнана, явно с чужого плеча – значит, ты не наш, не военный.

– Не видели никого?

– Нет. Нас тут разместили, в этом модуле, – объяснил Антонов. – Жду своих, чтобы ехать на заставу.

– А у нас ЧП. Солдатик пропал. Так бывает: начнет скучать по дому, забьется в какую-нибудь щелку, ну, к примеру, на чердак модуля, и несколько дней его разыскиваем.

На экране какой-то парень с серьгой в ухе и ярко накрашенными губами пел под гитару о том, что кто-то ему изменил, но и он не остается в долгу.

Антонов ткнул пальцем в экран:

– И этих педеров вам показывает Москва? Суки рваные! Я думал, для афганцев они показывают специальную программу. С учетом того, что вы тут, как-никак, воюете, а не кайф ловите.

Прапорщик небрежно махнул рукой.

– Ну что вы! Я поначалу думал: про 40-ю армию и на Союз идет специальная программа – про то, что тут все-таки стреляют и убивают. А получается, мы тут находимся для того, чтобы к нам прилетали петь свои песни Кобзон, Розенбаум и «Девчата». Ну хорошо, полезу все же на чердак – на всякий случай, для очистки совести.

«Неужели этот бедняга додумался прятаться на чердаке? – удивился Антонов. – Там же пекло. За день у него вся кровь выкипит».

С экрана, обливаясь потом, пел слепой негр.

«Вот единственный, кто способен нам посочувствовать, – растрогался Антонов. – Вишь, ему тоже жарко».

Черный столб все так же недвижно торчал в утреннем небе. Антонов вдруг с ужасом представил себе, что если даже подует сильный ветер, он не в состоянии будет повалить этот столб. Жизнь остановилась, и ничего изменить уже нельзя.

...за полночь, эволюция выкарабкивается из мировой пучины

И все же, Петрович, и все же: как ни муторно тебе слушать эту историю про старого идиота и его чудовищную Лестницу, но если ты хочешь в нас хоть что-нибудь понять, дослушай! Не помню уже, объяснял я тебе или нет, что по бокам пешеходной лестницы, справа и слева от нее, расположены еще ступени, побольше, в виде этаких площадок или пьедесталов. Теперь, прежде чем начнем полукилометровый подъем к Лукичу, давай оглянемся с набережной на воду. Ведь именно в воде – по уже известной нам мудрозвонной теории – мертвая материя соизволила однажды разродиться живой. То есть вдруг закопошились в воде какие-то странные штучки, эдакие плевочки, сопливчики, живчики, крохотные такие головастики и зубастики, которые, будучи убежденными материалистами, сразу же заявили о своем желании чего-нибудь пожрать. В соответствии с законом своего совершенствования они тут же принялись гоняться друг за дружкой, щелкать зубками, пожирать тех, кто помельче и

послабже, и такое пищеварение длилось лет примерно миллион или миллиард, пока не вывелись более видные из себя особи, которые для скорости передвижения и внезапного нападения обзавелись хвостами, плавниками, крепкими челюстями и стальными нервами.

Вижу, ты опять готов возмутиться, обвинить меня во лжи: разве, мол, может из плюгавого тритона даже через триллион лет вылупиться, допустим, форель, наподобие тех, каких ты лавливал в холодных и прозрачных притоках Западной Моравы. И я снова соглашусь с тобой: не может, ну, никак не может. Но то, что невозможно для тритона, то вполне допустимо для материалиста, – на то у него под рукой и законы развития.

...Так вот, когда вода взбаламутилась и забурлила прожорливыми носителями материалистического мировоззрения, многие из которых были покрупней слона, да еще с крыльями, то стало воде тесно и тошно от изобилия этих обжор, и стала она их из своих недр понемногу выпирать на пустующую пока сушу. Идем мы, значит, не спеша по Лестнице, за спиной у нас осталась Москва-река, вся в жирных бензиновых разводах, – этакая мировая пучина, скопище живой материи, а справа и слева от нас по своим ступеням выкарабкивается наверх эта самая живая прорва эволюции, но уже, разумеется, не в натуральном своем безобразии, а в виде гипсовых фигур: и амебы, и тритоны, и рыбины, и летающие акулы, и левиафаны, и птерозавры с птеродактилями, и носороги с бегемотами ... А чтоб им не было скучно ползать и летать, появляются на земле, то бишь на ступенях, кусты и деревья, тоже гипсовые. Глянь, какая-то кикимора от нечего делать встала на одни задние лапы, подпрыгнула, уцепилась за ветку, вскарабкалась еще повыше и – через миллиард лет развилась... в обезьяну.

Ты опять не согласен! Ну что мне делать с тобой, с таким придирой? Как будто я сам не вижу, что крокодил, к примеру, никогда не выкакает из себя обезьяну. Но законы, законы! Материалисты приказали, он поднатужился и выкакал. К тому же я тороплюсь, вместе с дедом скульптором перескакиваю через целые эпохи, когда, как они доказали, между тритоном и макакой были тысячи всяких промежуточных разновидностей ненасытных тварей. Словом, вся эта бессчетная орава неплохо в итоге поработала на наших материалистов, но сама так поизносилась от совокуплений и размножений, что исчезла неведомо куда, и следа не оставив от своих когтей...

А теперь мужайся, Петрович, ибо мы приблизились к самому щекотливому моменту.

Как бы тебе помягче объяснить? Ну согласись, не все люди одинаково красивы – как мужчины, так и женщины. Ты вон, слава Богу, видный из себя муж: и ростом взял, и шириною плеч, и голова твоя вылеплена крепко, и нос и подбородок – с тебя можно писать Гектора или Георгия Победоносца. Но ведь приходится встречать и людей довольно смешной наружности: тот, глядишь, весь оброс жиром и щетиной, как кабан, а тот смахивает на хомяка или на жирафа. А тот – на обезьяну. Так вот, хочешь – стисни зубы и стерпи, а хочешь – ударь меня бутылкой по голове, но в соответствии с законами развития живой материи на Лестнице эволюции следующим после обезьяны стоит... человек. Вот так распорядились с «венцом творения», с человеком, товарищи материалисты и точно так же, по их заказу, распорядился с ним дед ваятель.

Спасибо тебе, друже... Я надеялся на тебя, уповал на то, что эту их галиматью ты воспримешь с холодным и презрительным спокойствием. Я знал, что тебя не смутить такой пошлой, скабрезной басенкой, и что ты, и я с тобой, мы останемся неколебимо при первой главе Библии, где совсем иначе сказано о том, на Кого мы своим обликом и сутью похожи и обязаны походить: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествует человек над рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотами, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. *И сотво-*

рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его...» Аминь.

Но потерпи еще малость. Мы почти уже и при конце этой позорной обезьяньей Лестницы. На подступах к своему Лукичу хитрый дедок разместил самых знаменитых обезьянопоклонников и мудрозвонов, под чьими черепами и вызревала в разные века муторная идея восхождения живого вещества от амебы к Бессмертному. Это, так сказать, его пророки и предтечи, гипсовый пантеон его предшественников, полубогов-полуобезьян, это их он в первую очередь и поджидает, а не нас, простых оболдуев, упревших от долгой ходьбы и чрезмерных зрелищ...

Ну, скажу тебе, и наделал же шуму наш дедок! То есть по всем прочим залам люди слонялись, будто повинность отбывали, – позевывая, с постными лицами, потому как остальные Лукичи мало чем друг от друга и отличались-то: почти у каждого – вытянутая вперед путеуказующая рука, а в другой руке – скомканная кепка, как свидетельство того, что Бессмертный больше всех любил на свете фабричных рабочих, которые кепки носят, а не тех богатеев, что щеголяют в шляпах, цилиндрах, котелках, королевских и царских коронах. Но зато к Лестнице народ валом валил, хоть милицейский заслон выставляй. И – удивительное дело! – нет чтобы толпа восхищалась грандиозностью проекта, юношеской отвагой дедова воображения, нет чтобы кричала «ура!» и «браво!» (ведь все мы со школьных лет обязаны были гордиться своей обезьяньей родословной); в толпе заваривалось совсем другое поветрие: зрители как-то перемигивались, нарочито перешептывались, поводили бровями, покачивали головами; на лицах скользили улыбки, иной прыскал в кулак, будто чихал, иной вдруг даже всхохатывал, впрочем, тут же строго начинал озираться, будто это не он издал звук, а кто-то поблизости от него, или же озабоченно объяснял соседям: «Тьфу ты, какая-то смешинка в глотку попала, извините...»

Словом, обстановка складывалась сомнительная, даже двусмысленная, даже ерническая. Говорят, на третий день завсегдатаи выставки, уже не стесняясь никого, хохотали вслух, подводя своих приятелей-новичков к Лестнице. А те в свою очередь даже ржали, как будто Манеж снова предоставлен жеребцам.

И понять их не составляет труда: то, что все мы в школах зазубривали как величественный закон развития материи, тут у них на глазах, в гипсовом слепке, в натуральном варианте, выглядело не столько наглядным подтверждением закона, сколько залихватской карикатурой на закон, его принародным осмеянием.

Молва о странных настроениях, бурлящих вокруг Лестницы, дошла и до верхов. Коллективный разум партии, пусть и задним числом, пришел к единогласному мнению: впавшего в детство старика вряд ли можно заподозрить в идеологической диверсии, но в своем материалистическом рвении он, святая простота, явно перестарался, слишком спрямил идею, метод социалистического реализма подменил примитивным натурализмом и в итоге добился противоположного, прямо-таки зубоскальского и скандального эффекта.

Я уже не помню, как и куда они эту злосчастную Лестницу припрятали, а вместе с ней и всех остальных конкурсных Лукичей. Дело об установке грандиознейшего памятника всех времен и народов было замято, как будто никогда ничего такого и не намечалось. Старику, чтоб не ворчал, присудили еще одну премию – но не за Лестницу, конечно, а за совокупность всех его предыдущих болванов.

Что творилось в душе у этого патриарха советской скульптурной школы после провала его гипсовой фантасмагории? Был ли он оскорблен, или сконфужен, или озадачен? А может, втайне ото всех радовался, что этакую выкинул штуку – подложил мину под всю обезьянью эволюцию? Кто знает. На людях он держался величаво, хотя и капризно. Мир так и не узнал бы о переживаниях, которые он уже собрался было унести с

собой в могилу, если бы не одна любопытная телевизионная комсомолка.

Как-то привезли деда на побывку – то ли на его родину, то ли в соседний областной город. Ну, конечно, местное телевидение дерзнуло воспользоваться уникальной возможностью и уговорить всесветную знаменитость хотя бы на пятиминутную беседу перед экраном. Полных пяти минут в итоге не вышло. То ли оттого, что пришлось им старика слишком долго уламывать, то ли чересчур его раздражали своей глуповатостью вопросы девицы ведущей, – отвечал он, говорят, будто неприятную исполнял повинность, и чем в больший она входила комсомольский энтузиазм, тем пуще он хмурился и косноязычил.

Передача явно не складывалась, и девица, чтобы как-то подбодрить старика, малость его встряхнуть, подкинула очередную порцию лести: вы, мол, прожили такую великолепную творческую жизнь, полную свершений и взлетов, озарений и экстазов, и чем же сегодня, с высоты своего громадного опыта, хотели бы вы напутствовать нашу славную советскую молодежь, с каким, так сказать, обратиться к ней мудрым завещанием, каким вам видится ее, молодежи, будущее, что предстоит ей свершить и что ее, так сказать, ждет завтра.

– Что ее ожидает завтра? – сурово переспросил дед.

– Да-да, завтра, в ее светлом будущем, – возликовала девица, предвкушая триумфальное разрешение всего сюжета.

Старик засопел, скорбно сдвинул лохматые брови к переносью, встряхнул громадной своей, до пояса, сивой бородищей и вредным голосом громко, членораздельно пробасил:

– Советскую молодежь ожидает потопление...

– Что-что? – глупо заулыбалась девица. – Повторите, пожалуйста. Я не очень расслышала...

– Я сказал, – старик сурово уставился прямо на камеру. – Советскую молодежь ожидает, к великому несчастью, потопление. По-то-пле-ние в море лжи!

На экранах мигом вспыхнуло белое жужжащее поле. Беседа больше не возобновлялась.

Вот почему, Петрович, я и говорю: надо быть начеку. Это потопление, о котором всех нас таким необычным образом предупредил большой мастер лжи, вдруг чудесным образом прозревший и даже преобразившийся перед самой смертью, – это потопление в море лжи, ты слышишь, уже длится... но самый его критический миг может наступить всякого дня и даже сегодня ночью.

...ночные бесплатные уроки сербского – только у нас, в «Унионе»

– Слушай, приятелю, мени треба у... холодильник, у камеру, где е мраз, не разумеш?.. Да, да, у хладнячу. Мой друг оставило у овой хладнячи неку храну, неко ело за мене, консерве... Я сам гладан, мало гладан... Шта говориш, затворено? Жао ми, жаль! А када буде отворено? Сутра ујтро? Э-э, штета!.. Слушай, а може, ты нешто имаш у свом буфету? Може, имаш неку колбасицу или месо? Имаш месо? Добро, одлично!.. Колико стои овай кусок, овай комадич меса?.. Триста динара?! Ужасно, невероватно! То е фантастика... За триста динара я могу купити три флаше сливовице или едну одличну книгу... Не треба ми такво скупо месо. Дай ми неку киселу воду, минералку... Ха, опет «Милош Обренович»! Не треба мени «Обреновича». Я веч имам «Обреновича» у своей соби, в своем номере. Али не хочу пити «Обреновича», зато што не любим, не волим Обреновича. Я сам волим Караджоржа. Он е правый юнак, истый герой Србии. И он е мой истый приятель. Не вериш? Мислиш, я пьян? Тако е, я мало пьян, али пьян и паметан. Да ли ты знаш, да я имам од Караджоржа пуну флашу плюм-бренди, лютой сливовице? Али, разумеш, за люто пиче треба добро ело, месо, хлеб... Откуд я сам? А како ты мислиш?.. Молодец! Истина е, я сам из Русии. Я знам, шта ты мислиш. Ты мислиш: ако

человек е мало пьян, гладан па не има динаре, он е правый рус. Ха-ха! Добро-добро, ты волишь Русию, я люблю Србию... Э-э-э, перестройка? Шта е теби ова ружна, прлява перестройка? Шта теби е Гекуба, а?.. Нека ова луда перестройка иде у пичку матери! Горбачев? Шта е теби овай Горбачев? Да ли он е твой приятель? Или твой кум? Или твой брат? Он е кум председника Буша и брат миллиардера Хаммера. И приятель ватиканског господара Войтылы... Гласност? Па, бре, где ты видиш ову гласност? Я имам гласност само у ватерклозету. Нека иде ова гласност у пичку матери турецког султана!.. Не разумем, шта ты питаш? А-а-а, Ельцин? Држи ли Ельцин Горбачева за яйя? Тако е, држи, истина е. Али и Горбачев држи Ельцина за яйя. Они држу едан другог за яйя и при этом целуются, разумеш?.. Ха-ха,теби е смешно? И мени е смешно... Али я сам врло гладан, то ние смешно... Шта говориш, не разумем? Шта то значи: не треба динаре за ово месо? Зашто не треба, приятелю? Я имам динаре. Я имам доста динаре, да купим цео овай «Унион» са ресторацием и буфетом. Не вериш? Лошо, шта не вериш. Ты мислиш, да я сам неки рус-сиромашин, последний човек? Ты йош не знаш руског човека. Да рецим теби некий секрет, неку истину: у Русии свакий последний човек е први човек, найвиши човек. То е правда: у Русии я не имам ништа – не имам свою кафану или свою ресторацию, или свою землю. У Русии я сам гол као сокол, али у Русии я имам све! У Русии я имам слободу од свега и свачега. Руский човек е найслободний човек у свету. Американци?.. Нека иду сви американци у пичку статуи Слободе! Американци не имаю слободе од доллара. Американци сви пороблени долларом... Имаш ли едан доллар? Имаш, добро, дай, я ти нешто покажем. О, погледай на ову пирамиду – сви американци су под овой пирамидой. Погледай на овий шестиугол, на овий Моген Довид, израилску звезду. Американац мисли да он живи у найслободной држави света, а он живи у провинции Израиля... Не бринисе, друже, мени не треба овай доллар. Погледай, колико я имам динара – сто тисяч, сто хиляда. Ако я захочу, могу купити целу статую Слободе. Али нашто она мени? Нашто она теби? Ты и я – ми смо найслободнии люди у целом свету, тако е? Истина!.. Виски? Я не волим виски. Водку «Горбачев»? Нека ову водку пие Ельцин... Я волим само шливовицу «Караджордже». Не имаш? Я имам – у моей соби, у моей кельи. Хайдемо у мою собу па выпьем мало препеченице. Шливовица е найлепше пиче у свету, я сам патриот србске шливовице. Не имаш време? Жао ми, жаль!.. Хвала теби за месо и хлеб. То е за мене добра трапеза. Узми мою адресу у Москви. Када будеш мой гост, я чу тебе одвезти куда хочеш. Ови ваши чиновници, београдски бирократи, не даю мени дозволу да путуем у Тополу. Када будеш мой гост, я покажем ти све шта хочеш. Ми будем путовати у Сибир, на Байкал, на юг, на север, на Дон, на Волгу. Я одвезу тебе у мое село, у мою сеоску избу, у бревнару. Тамо я имам свои креставци, свой купус, кромпир, белы и црни лук, ябука, ягоде у шуми – в лесу, печурке – грибы... Тамо я сам найслободний човек у свету!.. Добро говорим србски? То ние правда, я, на жалост йош врло лошо говорим србски... очень плохо. Када будеш мой гост, ми тебе обучим да говориш руски... Мы чемо сотворити Србско-Руский Савез. То че бити найслободняя држава у свету. Православна држава. Где буде наша престоница, наша столица? Мислим, наша престоница буде у Црногории, на Цетинье. Я видим, да ты си црногорац... Сви црногорци су джиновског раста, као ваш Петар Ньегош. Геройский, юначки народ!.. И мы, руси, смо юначки народ, найслободний у целом свету. Мы не имамо проблеме са месом, са водком, са кобасицама. Знаш ли, зашто? Ха-ха, зато, што мы не имамо меса, кобасице, водке. Све, што мы имамо, то е закон слободе от меса, кобасице, водке... Опрости ми, приятелю, я сам немного, мало пьян. А кад я мало пьян, я сам много говорим. То е лошо, плохо. Кад я сам пьян, я много хвастаю, как сказать, много се хвалим. Опрости ме, молим... До виджењя. Приятно... Лаку ноч.

– Ребята, внимание, опять приближается этот краснолицый из тринадцатого номера.

– Ну, точно, сейчас еще что-нибудь обнародует, какое-нибудь философское открытие... Ой, я не могу.

– А вы, девочки, не разговаривайте с ним, он и отстанет.

– Как же, отстанет он.

– О, кого я вижу! Мои юные друзья еще бодрствуют... но, кажется, меня уже не узнают. Как будто мы ни разу не встречались... М-да, ответом ему было гробовое молчание. А это не совсем вежливо, не так ли?

– А это, по-вашему, вежливо, когда вы тут весь вечер ходите и постоянно к нам цепляетесь?

– Славик, но я же не комсомольский значок, чтобы к вам цепляться. И не банный лист, чтобы прилипать к девочкам.

– Еще не хватало, чтобы вы к нам клеились.

– Клеились? Ого! И где вы слова-то такие берете? Когда я платил комсомольские взносы, мы таких слов и слыхом не слыхивали. Кле-еились. Это небось из жаргона молодежного туризма. А туризм, да будет вам известно, страшнее спида и атомной войны.

– Сейчас товарищ изложит нам свое новое философское открытие.

– Нет, Славик, это открытие старое, и я его сделал, когда Центральный Комитет родимого комсомола оккупировал кремль в городе Ростове Великом Ярославской области и устроил в митрополичьих покоях туристский центр. И эти бодрые ребята в летнюю пору прямо в монастырских окнах вывешивали на просушку свои шорты и лифчики, свои джинсы и трусики...

– А вам что, завидно? Ходили и поглядывали?

– Нет, я просто приехал поглядеть на архитектуру. А увидел туристскую оккупацию... Туристская оккупация, ребятки, хуже гитлеровской.

– Видите, товарищ любит парадоксы. И сильные сравнения. Тут тебе и атомная война, и фашизм...

– Вот именно. И даже турецкое иго. Хотите, докажу вам, что туристское иго хуже турецкого?

– Ну, валяйте, только поскорей.

– Итак, вы в Стамбуле не были? Нет? Ну ладно, хотя я вас там, кажется, уже встречал – на теплоходе «Константин Симонов»... Так вот, в Стамбуле, то есть в бывшем Константинополе, он же Царьград, есть всемирно известная Айя-София...

– Софийский собор, что ли?

– Прекрасно, ребята! Я горжусь вами. Теперь уже мало кто из наших соотечественников знает и помнит, что в Стамбуле, несмотря на пятьсот лет турецкого ига, сохранился Софийский собор – самый большой в мире православный храм.

– Ой, прямо целая лекция. Только у нас уже динаров не осталось, чтобы вам за лекцию заплатить.

– Ничего, я бесплатно... Так вот, захожу я однажды с приятелями в Айя-Софию, которую, это вы тоже наверное знаете, цивилизованные турки в двадцатом веке из мечети превратили в музей...

– Так вы же говорили, что это христианская церковь.

– Говорил. Но христианской София была до 1453 года, а когда турки захватили Константинополь, они в ней устроили мечеть. Кстати, Константинополь турки взяли ровно за пятьсот лет до смерти Сталина.

– О, наш лектор еще и сталинист. Это, кажется, товарищ Сталин пообещал: Константинополь будет наш!

– Славик напрасно хихикает. Константинополь действительно будет наш, но не при жизни Славика, а лет так еще через пятьсот. И вообще, Славик, прошу тебя не перебивать старших по возрасту. Да и по званию тоже... Итак, заходим мы, значит, в Айя-Софию и видим: посреди храма, прямо под куполом, извивается довольно приличная очередь, а

это, как вы сами понимаете, никак для Европы не характерно. Да и для Турции тоже. Причем очередь, что еще более любопытно, вовсе не восточнославянского происхождения. Чисто американская публика. Пожилые, почтенного вида старики и старушки. Вы их сразу везде отличите. Все в беленьком, седенькие, розовенькие, аккуратненькие, еле передвигаются, но страшно всеядны. Тут мы, по нашему обычаю, пристраиваемся в хвост: «Леди и джентльмены, за чем очередь, по многу ли дают и кто крайний?» «Стоим, – показывают, – вон к той колонне. В ней есть такая дырочка, в нее нужно просунуть указательный палец и повертеть туда-сюда, и когда вынете из нее палец и он окажется слегка влажным, то, значит, у вас в жизни будет все о'кей». Мы усомнились, что и на нас, русских, достанется американского «о'кея», но на всякий случай очередь не бросаем. Туристы ползут едва-едва, но с большим достоинством, как будто идут к причастию. Между тем потихоньку разглядываю колонну, к которой шествуют искатели счастья. Она мраморная, громадная и для большей, видимо, прочности обернута понизу этаким бронзовым бандажем, и в нем, на уровне груди, действительно темнеет в металле отверстие, будто пробитое осколком. Вот я и говорю, ребята: туристское иго много хуже турецкого. Пусть они и нехристи, эти турки, но Софию они не разрушили и даже укрепили металлом колонны, чтоб не трескались. А наша туристская орда?.. Это что ж такое: во всей очереди не оказалось ни одного человека, ни одного-единственного, кто бы не поковырял в колонне своим пальцем. Тьфу!

– Ну, а вы?

– Что – я?

– А вы-то поковыряли?

– В том-то и дело, что и мы тоже поковыряли. Стыдно признаться, но и я тоже... Когда вы попадаете в туристское цивилизованное стадо, вы тут же лишаетесь воли, рассудка, представления о том, что хорошо, а что плохо. Вы уже не человек, а пучеглазая сельдь, несетесь, куда и все. Вот почему я вам твержу одно и то же: туризм – чума, самое страшное моровое поветрие двадцатого века. В конце концов именно туристы уничтожат эту цивилизацию. Истопчут в труху все поля великих битв, издырявят все колонны и стены знаменитых храмов... Я вижу, Славик со мной категорически не согласен.

– Конечно, нет. Вас послушать, так надо вернуться ко временам железного занавеса. Или крепостного права, когда ни у кого не было паспортов. Законопатимся наглухо в своей избе и будем всю жизнь сосать свой русский квас.

– Я так и знал, что Славик обвинит меня и в квасном патриотизме. Славик, наверное, регулярно читает газетку «Московский комсомолец» и потому всегда начеку. Но я все равно скажу вам, ребятки: блаженны народы, которым не скучно у себя дома. Знаете ли, кто есть мамаша туризма? Великая матерь-скука. Она туристов порождает, она же их и пожирает...

– Ой, ну вас! Просто вы выпили и вам хочется поспорить. Это же счастье – поездить по свету, полюбоваться чужой природой, памятниками культуры.

– Э-э, девочки, милые! Сами знаете, чем вы тут больше любовались: парфюмерными магазинами, всякими витринами. А памятники? Вам их показывали на таких скоростях, что все это, увы, уже улетучилось из ваших милых головок... Памятники! Вы были в этих югославских монастырях? Они пустые. В них нет богомольцев. А почему? Потому что богомольца вытеснил всемирный турист. Вы понимаете, что это национальная катастрофа, когда в страну за один год приезжает больше туристов, чем население этой страны. И вот целая нация может превратиться в обслугу туристских орд. В Европе уже появились нации-официанты. Народы – «чего изволите?» Вот вам и новое завоевание – под видом цивилизованного туризма.

– Ну, напустили тоски. После ваших откровений спать не будешь.

– А вы теперь все равно спать не будете. Я же знаю. Теперь весь «Унион» не заснет до утра. На всех этажах мучительно соображают: что бы купить завтра, до поезда, на оставшуюся мелочишку: бутылку вина? или колготки любимой девушке? или зажигалку второму секретарю райкома комсомола? или эротический журнальчик? И как его упаковать, чтобы на таможне не отняли? Или еще один флакон шампуня?.. Эх, милая моя нищета советская, до слез мне вас всех жалко.

– В жалости вашей мы не нуждаемся. Вы лучше о себе позаботьтесь.

– А я, Славик, о себе уже позаботился. Могу и тебя угостить. У нас с Петровичем еще осталось. Как ты насчет ста граммов самой лучшей сербской сливовицы? Могу и этих твоих дружков угостить, которые к нам приближаются – с такими недовольными взорами...

– Девочки, у товарища какие-нибудь проблемы?

– Нет, парнишки, девочки и Славик подтвердят, что я вовсе к девочкам не клеюсь, выражаясь туристским языком.

– Вы из профсоюзной группы?

– Нет. Я не из профсоюзной группы. И не из комсомольской. И даже не из партийной. Я из группы Стручняка. Из русской народной разведки.

– А что, есть и такая? Что-то не слышали.

– Значит, еще услышите.

– Небось из «Памяти»?

– Нет, не бойтесь. Совсем даже не из «Памяти». Мы вполне автономная единица.

– И даже от Лубянки автономная?

– И даже от Лубянки. В отличие от вас.

– Что вы имеете в виду?

– А то, что вы очень любопытны.

– А вы очень болтливы, не так ли?

– Я вам еще ровно ничего не выболтал. Да и с какой стати?

– Девочки, вы еще не устали от этого ночного разведчика? А то мы его можем попросить.

– Как это вы меня можете по-про-сить?

– Очень даже просто: взять под белы руки и попросить.

– На вышибал вы вроде не похожи.

– Давай поосторожнее в выражениях!

– Нет, это я вам, ребята, пожелаю быть поосторожнее. Что значит по-про-сить? А?.. Меня и в Афгане никто не пробовал по-про-сить.

– О, это что-то новенькое! Товарищ и в Афгане успел побывать... Ну, и как там, в Афгане? Как наши доблестные? Говорят, много мирных кишлаков разутюжили?

– Ты наших доблестных не трожь. А то сейчас дам по рогам.

– Що-о-о? Что ты сказал?

– А ну, отцепи руки! Сопля комсомольская...

– Ребята, не связывайтесь с ним!.. Не видите разве, он поддатый... Славка, ты чего молчишь? Ре-бя-та!!.. Кому сказано!

– Ну давай, подходи по одному... комсомольцы... беспокойные сердца... кому врезать между глаз?

– Иди, иди, пьянь, отсыпайся. А то быстро выясним, чей ты разведчик... И ты в эту Югославию больше не приедешь, понял?

– А ты, сопля, из этой Югославии даже не уедешь.

– Ре-бя-та! Ну, отцепитесь вы от него, умоляю. Нашли место, где скандалить... Тихо! Идите все в мой номер... А вам не стыдно? Вы же взрослый человек, а связываетесь с пацанами... Я о вас лучше думала ... Поднимите свой сверток.

...час мертвой тишины, и у соседки уже темно

Ишь, Петрович, она обо мне лучше думала... Я и сам о себе лучше думал. Правда, только изредка. Так сказать, по большим революционным праздникам... Вот, и мясо уронил. Даже есть расхотелось из-за этих наха-

ленков. Они меня, видите ли, попросят. Можно подумать, я без билета пролез в видеосалон, в их комсомольское блудилище, где они под сурдинку крутят какую-нибудь «Эмануэль» и в темноте онанируют. Они везде привыкли распоряжаться, как у себя в райкоме. Просто этим комсомольским вундеркиндам никто еще не давал как следует по рогам. А надо бы. По мне, что комсомольцы, что космополиты, что хунвейбины – одно и то же... И чего я ввязался? Право, стыдно. И даже пакостно. Нашел перед кем бисер метать. И про туризм, и про Афган... Совершенно напрасно, глаза-то у них бесстыжие... Ишь ты, еще пьянью назвали. Да они пьяней меня. Я еще не дошел до последней стадии опьянения, а они дошли. А я, даст Бог, и не дойду... Знаешь ли, Петрович, что такое последняя стадия опьянения? Это когда люди пьяны собственной ложью. Или внушенной ложью. Или той и другой вместе. Самый страшный коктейль... Эти наши комсомольчики, для них истина в последней инстанции -- «Голос Америки». Или радиостанция «Свобода». Наслушались они по «голосам», что, мол, русские в Афганистане воюют против безоружных женщин, детей и стариков. И повторяют этот слух, как попки лупоглазые. Вот почему я бы с удовольствием засветил каждому из них между глаз. Не лги, значок, если не знаешь. А то вы в служебное время поете про «интернациональный долг» Советской армии в Афганистане, а по ночам поете с «Голоса Америки». Что-то я вас в Афгане не встречал, вы бы там с полными штанами ходили.

Ты прав, Петрович, зря я на них трачусь. Это надо было им все в глаза сказать. Только я, как всегда бывает, не успел. Да и бесполезно им говорить, глаза-то бесстыжие...

Эх, вон и соседка уже спать легла. То-то я, как зашел, вижу, что-то не то в комнате, чего-то не хватает. А это не хватает света в ее окне. Даже как-то обидно: как будто, пока свет у нее горел, это означало, что хоть чуть-чуть, хоть капельку она существовала и для меня. И вот ей надоело существовать для меня, она теперь – только сама по себе. Может, она уже уснула. Но может, только-только легла – за секунду до того, как я вошел. И может, свет в моем окне ей мешает, лежит мутной полосой поперек кровати. А возможно, он не раздражает ее, но, наоборот, помогает успокоиться. Она умыла лицо перед сном, вынула заколки из своих золотисто-рыжих волос, сняла через голову красный джемпер, расстегнула молнию на юбке и вынула из нее сначала одну, потом другую ногу...

Нет, не так. Она, как всегда перед сном, встала под душ и потом большим ворсистым белым полотенцем промакнула насухо тело, порозовевшее, покрытое бисеринками влаги и мурашками, и с грустью – в который раз – подумала: она никому уже не нужна, и уже ничья мужская рука не огладит ее круглый живот, не дотронется в шутку указательным пальцем до пупка, не соскользнет к напрягшемуся, чуть дрожащему бедру, не приподымет ладонью, как на чаше весов, слегка отвислую грудь, и тут же вторую, с их расплывшимися, потерявшими упругость сосками; и никогда уже жадные десна ребенка не стиснут ей сосок, требуя молока, и она не вздрогнет от сладкой боли, и слезы не зажурчат невольно в сухих глазах.

Но почему так, почему? Неужели она так нечувствительна, так затворена в своем одиночестве, что не догадывается: именно в эту ночь есть кто-то, кто следил за каждым ее шагом, за каждым даже поворотом головы, следил с волнением застенчивого мальчишки, придерживая дыхание, но при этом не воображая себе никакого возможного приключения? Впрочем, тут я спьяну уже и привираю. Экий ангел-хранитель! Ведь ожидал же, ожидал! Хоть какого-то ожидал от нее знака, пусть едва уловимого знака внимания. Но теперь уже не дождешься. Она не включит свет. Все. Ее уже нет для тебя. Ее как и не бывало. Ее смыл дождь. Ее выкрала ночь. Ты ей никогда не будешь нужен, со всеми своими пьяными мечтаниями. Она выключила свет, как будто сказала тебе: вытри-ка сопли, приятель, и кончай с этой дурной привычкой подглядывать в чужие окна. Перестань шпионить, это неприлично. Угомонись, и отправляйся спать.

Моя жена была совершенно права, Петрович, когда говорила: «Ну кому ты, дурачина, нужен?» Чем дальше, тем я больше убеждаюсь в ее правоте. Но просто мы не желаем смиряться с женскими доводами и упорно гнем свою линию. Я и сегодняшний вечер потратил только на то, чтобы еще раз понять: никому я тут не нужен... Алеша? Уж Алексею-то я больше всех надоел. Наверняка он думает, что Топола – мой пьяный каприз. Да и потом, кто он тут? Министр культуры, что ли? Обычный профессор, каких в университете сотни. К тому же он – из русской эмигрантской семьи, его дед был белогвардеец. Это при короле Александре Карагеоргиевиче к здешним русским беженцам хорошо относились, а при Тито – не очень-то. Алеша очень добр ко мне, как встретимся, сразу ведет меня в свой недорогой ресторанчик – подкормить, но он же не брат братьям Каричам, он сам живет от зарплаты до зарплаты... В принципе, настоящий советский разведчик обязан жить на широкую ногу, и для него вовсе не проблема съездить в какую-то маленькую Тополу, пожить там в свое удовольствие недельку, другую. Но мы – не то. Наша русская народная разведка не подпитывается долларами из государственного кармана. Она не нужна родимой советской власти. Она ей даже вредна, потому что мешает спокойному пищеварению империи лжи. Появляется какой-то Стручняк и утверждает, что в Югославии, оказывается, была гражданская война между своими красными и белыми, между партизанами и четниками. А это простому советскому человеку знать не треба. Ему треба знать только то, что партизаны воевали против немцев и помогали Красной Армии. Поэтому пускай Стручняк напишет о чем-нибудь более приятном для империи лжи, например, о красоте пляжей на Адриатическом побережье Югославии. И тогда он будет нужен простым советским людям с их новым мышлением и общечеловеческими ценностями. Тогда и он, Стручняк, будет подпущен к этим ценностям и получит свою долю в долларах.

То же самое нужно сказать и об Антонове. Что это ему неймется в Тополу попасть, в усыпальницу королей Карагеоргиевичей? Его промонархическая настроенность давно смущает простых советских людей. Его зацикленность на личности Карагеоргия не есть ли свидетельство сдвига по фазе? В России после Пушкина никто и не вспоминал о Карагеоргии, а в Союзе – тем более. Да и Пушкин представил этого Георгия Черного отцеубийцей. Нужно ли нам засорять воображение подрастающих поколений такими вот жестокими персонами? Не пора ли намекнуть этому Антонову, что он и так уже засиделся в Югославии? И потом, что он делал в Стамбуле? И в Кабуле?.. Пора бы расковырять структуру этой «русской народной разведки», как-нибудь связать ее напрямую с великодержавным шовинизмом, национализмом, фашизмом, антисемитизмом, тем более что связь с монархизмом и белогвардейщиной уже налицо...

Вот так, Петрович, они о нас примерно думают, поэтому мы тут со Стручняком и сидели на мели. Уж не знаю, в таких ли точно выражениях, но думают они примерно так. Допускаю, что выражения у них менее литературные, а более матерные. Все мы грешные люди.

Да, кстати, совсем забыл сказать тебе: я ведь тут, после стычки с этими комсомольскими султанчиками, умудрился выполнить одно поручение Стручняка. Я дозвонился его приятельнице-журналистке, этой самой Душечке. Только не смотри ты на меня с укоризной. Будто я сам не понимаю, что звонить домой незнакомой даме среди ночи ужасно неприлично. Но так уж вышло. Русская народная разведка тем и отличается, что действует без всякой системы, наобум, вопреки всем правилам шпионского искусства.

Она сразу взяла трубку – значит, думаю, не разбудил ее, уже хорошо. Чтобы не извиняться долго и нудно, сказал сразу, что звонит ей самый невежливый человек на свете, один русский, который чем больше пьет, тем больше трезвеет. Тут она рассмеялась, у нее, доложу тебе, приятный смех, легкий такой, порхающий, и сказала, что я пригожусь ей для коллекции уникальных мужчин, которую она как журналистка всю жизнь со-

бирает. И вообще, мол, ничего страшного. Она только четверть часа, как вернулась из Канады, и потому спать ей совсем не хочется. На это я сказал, что звоню из «Униона», и у нас тут вообще никто никогда не спит, боясь проспать ожидаемое светлое будущее. Ну, ладно, шутки в сторону. Я сказал ей, что Стручняк срочно отбыл домой, чтобы немного отоспаться, но очень просил перед отъездом, чтобы она не забыла его просьбу насчет одного важного для него визита. «Да, – сказала она, – я не забыла. Передайте ему, что все будет в порядке, когда он вернется». Тут я вспомнил насчет лошадки. «Стручняк, – говорю, – поручил мне передать вам русский сувенир, но довольно большой. Деревянного коня». Опять смеется: «Вы хотите приехать на нем сейчас?» – «Нет, сейчас он спит. Его зовут Шарац. Он любит выпить ведро вина на ночь и потом крепко спит». – «Стручняк оставил вас в «Унионе» поить и пасти его коня?» – «Да, это почти единственное, чем я тут занимаюсь». – «А еще чем, если не секрет?» – «Ну, какие секреты! Я просто русский шпион и очень хочу попасть в Тополу, на родину Карагеоргия, но меня кто-то туда упорно не выпускает». – «О, вы еще и шпион! – опять она смеется. – Вы обязательно будете в моей коллекции. Но как это вы не можете из Белграда попасть в Тополу? Что может быть проще! Когда бы вы хотели туда ехать?» – «Да хоть сейчас!» – «Ну, сейчас поздно, вернее, рано. А завтра утром?» Тут я уточняю: «То есть сегодня утром?» – «Нет, завтра утром. Сутра уютро». – «Но завтра уже сегодня, верней, сегодня уже завтра... Сутра веч данас». И опять она смеется, и снова свое твердит: «Сутра уютро. В восемь часов ... Лаку ноч». – И положила трубку.

Хорошо ей было говорить: «Лаку ноч». Уж какая тут может быть легкая ночь, если я так ничего и не понял: сегодня утром или завтра утром? И что будет утром-то? Где мне надо быть в восемь утра? Просто-напросто ей хотелось поскорей закончить этот бестолковый разговор, и она сказала первое, что пришло в голову, чтобы только я отвязался. Все мы, славяне, любим наобещать друг другу с три короба. И тут же забыть. Да и кто я ей такой? Пьяный русский болтун, который через три минуты выпадет в осадок. Да она даже имя мое, кажется, не спросила. И в каком номере живу. Так что этого ее «сутра уютро» можно ждать целый год. Она вернулась из Канады, она, наверное, постоянно летает туда-сюда, и, конечно, ей смешон придурок, который не умеет из Белграда добраться до Тополы и при этом называет себя шпионом. Нужен я ей, как же! Держи карман шире!

...ночной ужин и выяснение отношений с Петровичем

И точно, спать совсем не хочется. Но зато страшно хочется есть. Гляди-ка, этот добрый парень из буфета завернул мне в бумагу целый фунт мяса. И хлеба тоже дал. Мясо, правда, вывалилось на пол, когда я сцепился с комсомольскими блюстителями порядка. Хорошо еще девица меня догнала, я бы не заметил пропажу... Мясо как мясо, вполне приличный вид, даже не запылилось. Значит, можно начинать все сначала, тем более что у меня ни в одном глазу. И немудрено: ведь пил-то я вчера, а сегодня еще не притрагивался. Русская народная разведка всегда найдет повод, чтобы немного выпить. Тем более что я почти протрезвел – под натиском своих дурных поступков. Не смотри, Петрович, на меня с таким укором, а то я подумаю, что и тебе я совсем не нужен... Впрочем, я смирюсь и с этим. Так оно, по сути, и есть. Я тебе ни к чему. Зачем я тебе сдался, а? Вот то-то и оно, что ни зачем... Но зато ты мне очень даже необходим. Что бы я тут без тебя делал? Просто пил сливовицу? Я и в Москве могу чего-нибудь выпить. А тут, в «Унионе», я бы без тебя сразу, еще с вечера, быстро напился и спать отправился.

Ты ведь видишь, я не какой-нибудь дешевый спирит, чтобы вертеть на столе тарелки (да у меня и нет ни одной) и вызывать тени великих – Наполеона там или Меттерниха, или, не приведи Господь, Нессельроде. Я за все их тени не дам ни одного титовского динара. И за твою тоже. За-

чем она мне сдалась, твоя тень, когда я с тобой по душам хочу поговорить?

Эти глупые девчонки давеча тут хихикали: «Какой еще Петрович? Тут нет никакого Петровича...» И с точки зрения здравого смысла они совершенно правы. Нет тебя в этой коморке, не было и не будет. От тебя тут только плохонькая репродукция с картины Боровиковского на бутылочной этикетке. Разве это вождь сербского народа Карагеоргий? Разве это суровый Георгий Петрович Черный, воспетый Пушкиным? Это какой-то смазливый гусарский офицерик, обрамленный венком из больших развесистых слив. Это какой-то австро-венгерский паркетный шаркун и дамский угодник, а не гроза турецких пашей. Ты освободил свою Сербию от турецкого ига, но не мог предвидеть, что ей будет грозить еще более страшное - туристское иго. Ты сжигал дворцы султанских чиновников, а знаешь ли, что теперь тут дворцов понастроено в сто раз больше, и гуляет в них всемирная турня?

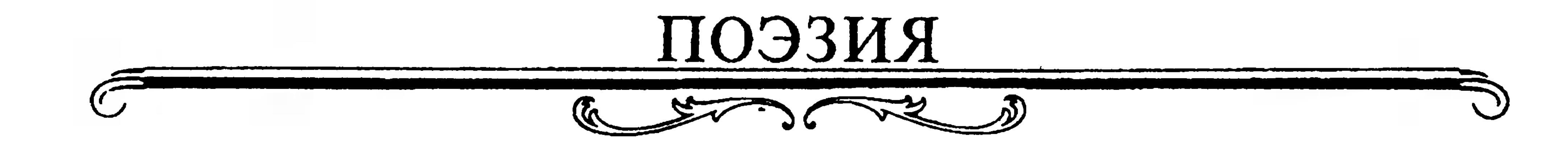
Они знать не хотят, каким ты был на самом деле, и никогда не узнают. Их вполне устраивает томный красавчик на бутылочной наклейке. У меня так и чешутся руки содрать пошлую этикетку. А «Милош Обренович»? Стручняк его купил, да так и не откупорил, небось засомневался. Додуматься только, минеральная вода носит имя верховного правителя, твоего, Петрович, кума, соратника, а под конец и смертного врага! Впрочем, Обреновичу такое применение вполне по заслугам. Пожалуй, тут даже заключена ирония истории - в том, что твоим именем сербы назвали крепкий, благородный напиток, а коварный Обренович, приказавший отсечь твою голову и послать ее в дар турецкому султану, сгодился только для минеральной воды.

Как ни хочется мне теперь выпить залпом стакан воды, я к этому «Обреновичу» и не притронусь. Лучше сырой воды напьюсь из-под крана, чем смешивать «Карагеоргия» с «Обреновичем». Да и вообще, что он тут торчит? Надо его немедленно вылить в канализацию... Плыви, плыви, старый интриган!..

Сам знаешь, Петрович, тебе не очень повезло с ближайшими соратниками, с твоими знаменитыми воеводами. Воевать они, ничего не скажешь, умели, но и тебе много крови попортили - и в военное, и в мирное время, кто по недоразумению, а кто и намеренно. На кого почти ни погляди, все горячие, самоуправные ребята, как необъезженные кони. Каждый второй представлял себя главной персоной всего восстания. Мне иногда кажется, тебе проще было с турками воевать, чем держать в узде своих слабо разумеющих дисциплину, заносчивых и тщеславных комендантов. Особенно когда в их среду попадал со стороны искусный интриган наподобие русского посланника при твоем Правительствующем совете Родофиникина... Помнишь, ты еще его за глаза прозывал Родофиником?..

Но что за глупость, право, - рассказывать тебе твою же биографию! Моя история, Петрович, не про тебя писана...

Окончание следует



Владимир ГНЕУШЕВ

БЫЛО ПРАЗДНИЧНО ВНАЧАЛЕ...

НАШИМ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ

Было празднично вначале:
после выборной тоски
так и этак примеряли
депутатские значки.

От гостиничного входа,
съев подсохший бутерброд,
шли избранники народа
пострадать за свой народ.

Ах, какие мы герои!
На руках — Указов том.
„Светлый дом страны построим
и реформы проведем!..“

Но в Кремле, где было свято,
а теперь стыда ничуть,
быстро поняли ребята
власти выгодность и суть.

И уже не заседанья,
не страна идут на ум,
а совсем иные зданья —
Елисеевский да ГУМ.

Тут любому не до лени,
если пышки задарма.
И кричал Борис Олейник:
„Братцы! Кворума нема!..“

И построили успешно
светом полные дома.
Но не нам, худым да грешным, —
а светильникам ума.

И пока, кренясь, мужчины
прут в подъезды в масле сыр,
стынут личные машины
вдоль улучшенных квартир.

Что ж теперь дадите миру,
если в Кремль, как в певчий клуб,
прете вы, рыгая сыром,
отирая масло с губ?

Руки вверх кидая верно,
словно шашки из ножон,
вы не только нас отвергли,
побросали даже жен.

В битве правых, верхних, левых,
взгляды к небу устремя,
мы стоим не на коленях,
а лежим уже плашмя.

Власть захапав свыше нормы,
от людских забот вдали,
провели вы не реформы,
а народы провели.

ВЫБОР

Я молчу, наблюдая утраты,
под неистовый грохот страстей,
в ожидании горькой расплаты,
неизбежной для русских людей.

Я молчу, не расплакаться чтобы
над проклятием нашей тоски,
ах вы, милые мне недотепы,
дорогие мои дураки.

За доверчивость в злую эпоху,
на карачках вползая из тьмы,
примем мы издевательский хохот
тех, кому доверяемся мы.

Обещаний ублюдочность чуя,
не владеющий дракой у-шу,
над властями побед не хочу я
и защиты властей не прошу.

Не хочу быть ни глупым, ни мудрым.
Съем яишницу.
Выпью вино.
И однажды задымленным утром
ненароком открою окно.

И увижу:
сбиваючи ноги,
проклиная нерадостный труд,
не по русской гонимы дороге,
тупо русские люди бредут.

Этот стыд, этот грех нестираем,
и одна мне картинка видна:
перед западным якобы раем
разлеглась, словно шлюха, страна.

Я в стране этой не проживаю,
только трачу свое бытиё.

И не пью, а глаза заливаю,
чтоб не видеть позора ее.

И кричу ей словами, как мины:
„Ты — добрячка. Народ твой — простак.
Оттого мы и нищие в мире.
Что ж ты, Родина-мать...
Твою так?..“

В КРЫМУ, КРАЮ СЧАСТЛИВОМ

В Крыму, в краю счастливом,
сквозь узкое окно
мне подавала пиво
дочь Нестора Махно.

Не спутаешь обличье,
дика и странна речь.
Склон головы по-бычьи
и волосы до плеч.

Уже крива зевота
и подбородок срыт.
Но бешеное что-то
в глазах ее горит.

И кажется — все ближе,
для всех
и для меня,
тот день, когда увижу
буланого коня.

Он хрустнет удилами,
поймав сапог толчки.
И в человечьей лаве
зачмокают клинки.

И я шучу: „Откуда
в тебе такая страсть:
уйдя от пересуда,
в тупую сплетню впасть.

Мол, сберегая клады,
она пивком журчит...“
Но Нестеровна Клавдя
загадочно молчит.

И вдруг сронила:
„Будя
словесну гаять слизь.
А коль в Париже будешь,
то батьке поклонись...“

А я ведь был в Париже,
в компании и без.
И днем осенним, рыжим,
ходил на Пер-ла-Шез.

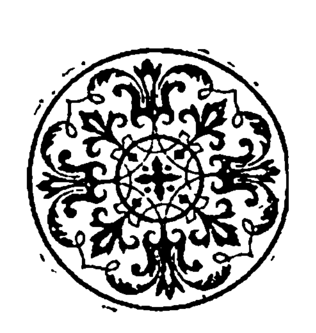
На том горючем месте,
уже почти что стар,
узнал о том, что Нестор —
советский коммунар.

Так вот где смерти сдался,
закончив бытиё,
посол войны гражданской
и мученик ее...

Опять в стране алеет
гражданская война
и нас не пожалеет,
не обойдет она.

Уже вовсю палачат
домашние враги,
и горько вдовы плачут,
и просят:
— Помоги!..

А я, глухой, как бочка,
в счастливейшем краю,
стою у пивларечка
и гнусно пиво пью.





Аркадий САВЕЛИЧЕВ



ПОТОП

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Памяти 220 тысяч русских крестьян, смытых волной Рыбинского моря с лица земли.

Часть первая

НАРКОМОВСКИЙ ПАРОХОД

I

В Рыбинске ждали Наркома Пахомова. Ах, как ждали! Веселый, по-матросски скатистый, крикливый, своей капитанской фуражкой затмевавший блеск любого покрашенного борта, в том числе и личного „Плеса“, — он и при небольшом своем росте был виден сразу на всех двадцати причалах, на всех разбросанных по Волге и Шексне пристанях, а уж на верхотуре у чумазых бетонщиков — и подавно. Они-то, черти поднебесные, к Наркомводу не имевшие никакого отношения, и породили это многоверстное матросское эхо:

— По... по... лу-ундра!.. По... по... хо-омов... омов... омов!..

С высоты бетонной плотины не только Нарком — ларек питейный на крутом берегу, в Переборах, просматривался с такой ясностью, что открытие его, презирающего всякие рабочие графики, бетонщики оповещали раньше, чем падал неслышимый, конечно, отсюда кованый засов еще дореволюционной монопольки. Они никогда не ошибались, потому что сильно прозябали на ветру.

Аркадий САВЕЛИЧЕВ известен романами „Забереги“, „Сельга“, „Переборы“ (последний был опубликован в „Нашем современнике“, №№ 11, 12 за 1989 год). Все они в той или иной степени посвящены судьбам людей, согнанных со своих исконных земель при создании печально знаменитого Рыбинского моря. В силу различных житейских обстоятельств герои его романов попадают и в Карелию, и в Белоруссию (не случайно „Забереги“ впервые вышли в Минске), и в другие края, но прижиться по-настоящему уже нигде не могут. Российские люди — люди без малой родины! Даже могилы их разметало по разным углам. Как признается сам писатель, „...бабка упокоилась возле Череповца, дед — в Тихвине, отец — на берегу Ладожь-озера, мать — в Минске, о дядьях и прочих родичах и поминать нечего — зимние листья по всей земле, истинно под метелочку...“
В новом романе „Потоп“ А. Савеличев напрямую обращается к истокам „изгнания“, „беженства“ внутри своей страны. В большом многоплановом произведении речь идет о предвоенном проекте, в угоду Сталину осуществленном ведомством НКВД, — о затоплении акватории нынешнего Рыбинского моря, о строительстве плотин, которые перегородили сразу три реки: Волгу, Шексну и Мологу. Роман посвящен памяти почти четверти миллиона русских крестьян, „смытых волной Рыбинского моря с лица земли“. Как теперь выясняется, пострадали не только крестьяне. Многие тысячи жертв Волголага

Им на слово верили. Вот и понесло столь яростно по берегу:

— ...о-омов!.. о-омов!..

Верхний ветер подхватили нижние подголоски — землекопы, раки береговые, и пошло, и пошло по-над Волгой и по-над Шексной плескать, как в плицах пароходных:

— ...Нарком... о-омов!..

Право, волны заходили по обеим рекам, переплескиваясь из одной в другую, будто наркомовский пароход уже взрезал белоснежным носом волжско-шекснинский плес и с матушки заворачивал к сестрице; они тут, сойдясь наконец, весело, по-родственному кутили. В предвкушении первого весеннего парохода, — а „Плес" всегда приходил первым, — народ на все четыре берега выскакивал, кому где сподручнее; Наркому все равно не миновать шекснинского устья, которое он полюбил с молодых лет и разлюбить даже в Москве не может.

— Столы-ы накрывай! — прорвалось уже нетерпеливое.

Столы — это на добрую сотню метров на Старом Ерше на стрелке. Но долго ли при такой большой стройке? Каменщики вскачь понесли свои козлы, штукатуры доски с лесов поволокли, шкипера пристанские скамейки под шнурок тянули, а уж капитаны, капитаны-то, со всех волжских и шекснинских судов, ждущих навигации,общим чохом скатерть-самобранку выстлали. Традиция! Ее чтили и на Волге, и на Шексне. Своего капитана, ставшего Наркомводом, встречали по самому высокому, неписаному уставу, одна из заповедей которого — на этот день шабаш все, от земли до воды, от первейшего речника до последнего землекопа. Наркомвод чинов не любил; Наркомвод был мужик свойский. Значит, вали к столам весь народ, и речной, и земной, и строительный, и крестьянский, и вольный, и ссыльный, и голоштанный, и подкулачный, и даже зэковский; этим-то уж сидеть бы да посапывать в тряпочку под чифирёк, коль конвоиры, не имеющие права сходить с места, от нетерпения загодя захмелели, а они туда же — капелюхами махать, как размахалось над ними, голгоча, серое воронье. Уж им-то с какой стати сдался Нарком Пахомов, у которого и фуражка-то не красная, а белая? Так нет же, махали из-за дощатых заборов, явно предвидя, что и у них по неписаному закону баланда будет погуще и радио грянет даже над ихним грешным котлованом. А уж если Нарком, посидев для всеобщего уважения за столом, швырнет оземь капитанскую фуражку и пойдет в пляс по Старому Ершу!.. Ах, красота! В обнимку с такими же капитанами и не-капитанами, даже с обляпанными цементом прорабами, даже со всеми встречными-поперечными! Тут уж можно не сомневаться: подтают и промерзлые души конвоиров, тоже этому Наркому не подчиненные. Но такова была власть Пахомова: подчинялись воды, берега и забережья.

О речниках и говорить нечего: за такую добрую весть нахлестали в ведро из-под бензина протирушки-спиртушки и с уважением воткнули в бетонный бункер, приготовленный к подъему. И уж тогда запылили — знай клешни посверкивали! Бункер с ведром разливанным еще не дополз до верху, а уж речники по-настоящему сыграли аврал — так и залились колокола по всем палубам, и чистым, и грязным, и вашим, и нашим; даже баржа с новоприбывшими заключенными, не разобрав, из-за чего сыр-бор, какой-то дребезжащей склянкой прозвенела, и тоже вроде как радостно, утробно вздохнула:

— Нарко... омов!..

Ничего удивительного, Наркома Пахомова любили и на Волге, и на Шексне, и на дальнем Беломорканале, откуда, по всей видимости, и подбрасывали бедолаг — для укрепления рыбинского Волголага. Долго плывут баржи по рекам, шлюзам и каналам, так долго, что всякий Нарком бородой обрастает, а уж речной — так прямо капитанской бородищей. Молва впереди барж плыла: там легче, там же Пахо-омов!.. Прознай он, как рисуют ему бороду, наверняка бы и отрастил, хоть сивенькую, хоть рыженькую, а заодно и смоляные, портретные усы. Но знать не знал Нарком Пахомов о такой любви народной, если никакой бороденкой не обзавелся. Гладко-сытый голосище, гладко-ражая рожа да гладенькая, как утренний плес, капитанская привычная фуражка — вот и все приметы гостя долгожданного. И роста так себе, окатистый, больше вширь, чем ввысь. После, когда наорутся, про себя почти все вспомнят стыдливо: любить-то любят, знать-то знают, но в глаза Наркома не видывали. Столько верст исполосованного стройкой забережья, столько народищу — напасешься на всех Наркомов. Больше сотни тыщ серо-зэковских людишек, да немало и вольных. Будет и того, как с лесов или с дамбы, с плотины или с баржи, да хоть и с отвала котлована, глянуть на завихрения белых, красных, черных и опять белых, и всяких других фуражек, и снова — белых, белых, в которых вольно узнавать и наркомовскую голову. Музыка-то все равно будет греметь, столы тесовые будут ломиться от заздравного грохота, плясать непременно пойдут — и начнут, и начнут же бросать вверх фуражки, белые и всякие, даже и красные, а потом и кепки, а потом и лохматые капелюхи зэковские, а для них несказанная отрада — чужого Наркома поприветствовать.

Еще бетонщики, честно заработавшие свое ведро, — потому как загодя предупредили

сложили свои бренные кости в плотины и дамбы Рыбинского моря, ибо строили-то недавние „кулаки", „военспецы", „уклонисты", изгои „ленинградского дела" и многих других „дел". На их долю выпало ломать, жечь, взрывать не только крестьянские дома восемнадцати районов, четырех областей, но и знаменитые усадьбы графов Мусиных-Пушкиных — Иловну, Борисоглебское, богатейшие и ценнейшие монастыри — Афанасьевский, Югский, Леушинский, в том числе и старинный прекрасный город Мологу — он, как град Китеж, тоже ушел под воду... Жертвы и палачи, „гидростроители" в форме НКВД и переселенцы-изгнанники, Мусины-Пушкины и предвоенные наркомы, старые революционеры вроде шлиссельбуржца Морозова и нувориши местной охлократии вроде Юрия Андропова, несчастные и осчастливленные народной бедой, — все они сошлись на страницах романа. Как было и в самой жизни той неправдоподобной, кошмарной поры.

Роман построен на прямом обращении к историческим фактам и документам, собранным автором по пепелищам и затопленным берегам.

Остается добавить, что и сам он — изгнанник, беженец из тех же волнами заполосканных мест. И ему вековые корни обрубила жестокая эпоха.

речников, — еще там, на верхотуре плотины, не все и выпить успели за здоровье Наркома, а уж здесь-то, у Старого Ерша!.. Наркомовский „Плес“, забирая из Волги к Шексне и круто огибая стрелку, как белый лебедь, причалит прямо в людскую гущу, прямо в радостный ор, и десятки рук, ревниво отталкивая друг дружку, вознесут на борт парадный трап, и он, Нарком Пахомов, будто картинка, встанет наверху и нарочно подзадержится — увидят даже те, кому из траншей и котлованов и солнце-то не видать. В том смертно будут уверять друг дружку — попробуй оспорь! Тем более что голос-то все-таки услышат — прямо в капитанский матюгальник и прокричит на весь берег:

— Здоро-ово, молодцы... ы-ы!..

Старой выправки Нарком, немного и даже царской, потому двадцать лет и прилаживается к народу, да что там говорить — давно уже приладился. С прошлой навигации еще помнят, как он влетел на верхотуру к бетонщикам — тогда, правда, пониже было — и грозно так вопросил: „Кто там у вас полундра?!“ У бетонщиков не то что моряка — и речника-то нету, начали со страху друг дружку вперед выпихивать, ну и выпихнули пропойцу-черепанина, который еще не успел протрезветь со вчерашнего, а потому и сам раззявил матюгальник не хуже наркомовского: „Чаво орешь? Шла овчя от Рыбинчя до Череповчя! Наливай! Пока я добрый и полундру твою не почистил“. Кулак уже ткнул к самому наркомовскому носу... но тут такой отрубон получил — чокаться с Наркомом пришлось левой рукой. Да, что было то было: Наркомвод отходчив, как водица родимой Шексны. Саданув, тут же и мировую у черепанина запросил. Обнимались уже на равных.

Может, немного и не так было, да кто теперь вспомнит? Черепанин тот с отплытием Наркома тоже вниз по Волге куда-то сплыл — уж без такого следочка, что и полюбовнице зареванной ничего объяснить не могли. Где он, родимый? Ясно, не он в этом году полундру поднял, какой-то другой черепанин. А может, и шехонь: многие с Пошехонья бетон топтали. И глотки у всех луженые, а глаза даровые. Гляди да гляди! Раз лед прошел — жди Наркомвода. Рыбинск — его первая и главная швартовка. Стройка речная и, говорили, даже морская; и задумано-то все было, чтобы Нарком на своем „Плесе“ с реки Москвы и Волги-реки по Шексне и дальше до Беломорканала, и до Мурмана мог подняться... Знатоки тут были, стратеги, глубокомысленно палец — и сейчас же к губам: т-с-с! Секрет.

Страсть, как здесь любили секреты, а потому и наркомовский „Плес“, никого даже гудками не предупреждая, столь внезапно и таинственно появлялся с верховий Волги...

Но что это?! Не только ухлёпистые бетонщики — и более зоркие речники протирали глаза: „Плес“, всем давно знакомый „Плес“, не доходя с полкилометра до места уготованной встречи, еще на Волге ткнулся к пустынному и болотистому левому берегу. Там раньше у зэков какой-то особый барак стоял, но объявилась зараза, и барак зимой сожгли, кто уж знает — пустой или непустой. Только бревна обгорелые валялись, еще с мокроты и непросохшие. Жуткое было место, нелюдимое.

Думали, беда какая с „Плесом“, речники — народ быстрый, стали хватать лодки с междуречья Шексны и Волги, чтобы плыть на выручку Наркому, но с того берега явились какие-то краснофуражечные военные и что-то сказали — что-то такое, что лодки повернуло вспять и разметало на стороны в смешном страхе. В самом деле, какой у речников страх! А вот закружило, закружило поодаль, к наркомовскому пароходу не прибивая. Что за оказия? Ни у кого ничего не могли доспроситься. Словно языки поотнимались у капитанов — тех самых, что еще в гражданскую колесили с трижды деревянной и трижды жженной Волжской флотилией. Готовые хоть в брод по весенней воде, еще пошугивающей льдинами, готовые нести Наркома Пахомова от Волги до Шексны на руках, — они вдруг скисли, как с похмелья, и лихо задранными было лакированными козырьками теперь носы закрывали — не только что глаза. Вдруг и шорох еще не сошедших льдин услышался, и дальний скрип бетонного подъемника, и всхлип одного вконец отрезвевшего рыбинского шкипера, и даже тихий, в себя до нутра ушедший вопрос слишком уж прозорливого землекопа:

— Да ведь там никак ежи?!

И уж совсем тихое в ответ:

— Бают, не ежи теперь, а какие-то берийки...

Вот поди ж ты: в тишине и услышалось. Землекопов, одного и другого, поманили из толпы пальцем — только пальчиком легонько, — и они пошли за этим пальчиком как миленькие, даже головками кудлатыми, примазанными глиняной слизью, помахивали от умиления, вроде уж и плакались: „Да мы чего, мы только рóссказни...“ У зачуханных землекопов рóссказни невелики, а честь большая: в катерок начальника Волгостроя посадили и к пароходу повезли, через светлый плес, через устье родимой Шексны. Известно, землекопов Шексна и поставляла — своя родовая река. Крещеные, нет ли — видно было,что на нее и молились, пока за Старым Ершом не скрылись из виду. Какое-то время спустя их уже на трапе пароходном видели — вроде как ручками махали, прощались, чудаки. Не на луну же поднимались — на борт всем знакомого наркомовского „Плеса“!

Но как ни шутковали, теперь уж не вслух, а про себя, — землекопы с парохода не возвращались. И капитанская парадная толпа, еще недавно готовая двумя шпалерами встать навстречу своему Наркому, стала разбредаться. Вот так — по одному, по одному, словно бы случайно раскалываясь на белые камушки. Выступали заметнее кепки и зимние шапки землекопов, плотников и вообще всякой пришлой шантрапы. И что удивительно: белые, так старательно настиранные фуражки тоже начали исчезать — капитаны сдирали с буйных голов парадные чехлы, чтоб поскорее затеряться в серой толпе. Слух пошел: начальника порта тем же катером, что и землекопов, на одинокий пароход повезли. Ученые тут были люди, догадались: плохо, если не начальник везет гостей, а гости везут начальника, почему-то и фуражку снявшего с лысой, беззащитной головы...

Опять час прошел, и другой прошел, но и этот не возвращался. На берегу уже никого не оставалось, все расползлись по пристаням, по стоявшим под погрузкой пароходам,

по котлованам и ремонтным баракам, и берег, с утра торжественно нерабочий, к полудню утробно, из глубин своих завыл и заухал моторами и лебедками. Стало не то что говорить — и слушать больно. Копры лупили по сваям, закрепляя всё нараставшие причалы, лебедки несмазанно и визгливо причитали на всем побережье от Переборов до Рыбинска и от Мологи до Шексны, гужегоны громыхали со своими груженными камнем телегами, тачкогоны на шатких досках шуму производили еще больше, но все перекрывали, конечно, арматурщики, вернее, не они сами, а те, кто резал арматуру. Резали ее за проволокой, в зоне, число резок было строго занаряжено, резаки и пилки были тупые, а резчики, все-таки не привязанные к своим станкам, вместе с конвоирами проглазели на „Наркома Пахомова“ и вот теперь, наверстывая пустой сглаз, торопились до вечерней пайки покончить урок. Сотни ножовок, зубил и огромных резаков грызли прочнейшее арматурное железо, понятия не имея, куда оно пойдет, а только зная, что им-то дальше этой проволоки идти некуда. Как испуганно крестил их блажной попик, поистине со святыми упокой! Конвоиры-штрафники, за какие-то провинности списанные с лесоповала, — по теплу распускали ушанки, а летом носили самодельные наушники, потому как тоже люди: постой-ка день-деньской возле сотни-другой тупых пил, и на свету выжигающих искры! Это тебе не в лесу — там она, ягода, там он, гриб, — а здесь?.. Тьфу, железо магнитогорское! Не имея ничего, что можно бы положить на зуб, от адской муки лютовали конвоиры-штрафники и музыку свою разводили до полуночи — пока все, по круговой поруке, не кончали урок. Конвоиры-то, наверно, и знали побольше других, даже и прорабов, потому что раньше очнулись от наркомовского восторга. Даже через проволоку на волю донесло:

— Это вам не слюнтяй Пахомов... в душу вас и в железо!.. Это Сталинский Нарком Ежов... Ура, ура, ура!

И вся зона вслед за арматурщиками грянула растяжно, голодно, истошно:

— Ур-ра-а-а!..

Словно протащили по весенним болотинам от Шексны до Волги многоверстный каток, который в блин раскатал и бараки, и рабочие сараи, и даже вышки сторожевые, — чисть да гладь после того пошла. Там знали, как жить. Слюнтяя Пахомова, скомкав и истоптав портрет у ворот, в телегу к золотарям бросили, а к воротам вынесли новый, большой, масляный, сделанный художником, который еще Ягоду рисовал, — за что и дорисовался до рыбинской проволоки; теперь он три года уже малюет жен и любовниц охранников — себя они, ученые жизнью, выставлять не спешили. Всё приглядывались да прислушивались, но слух из Москвы долго шел, а взглядом не всякий и достигал. Потому и с портретом даже своего Наркома вышла у них целая катавасия: не знали — снимать или заново вешать. Вдруг всеми любимый Сталинский Нарком товарищ Ежов стал вроде и не Наркомом, портрет его потащили было с глаз долой в каптерку, но не успели одеялами забросать, как и газеты грянули: он, железный, все так же по правую руку вождя, все так же стройно и весело тянется возле всемогущего плеча. Зона теперь, пожалуй, и не в его ежовых рукавицах... но кто ближе к плечу?.. Чтобы не попасть впросак, портрет велели подновить и выставить на прежнее место. А пока подновляли и выставляли — опять что-то произошло с газетами, на снимках вроде как оттерли прежнего любимца в сторону... Вывезла счастливая мысль: „Подновить... э-э, не спеша!“ Что и нужно художнику, писавшему на свою голову и Кирова, и Ягоду: впереди у него целая лагерная жизнь. Ах, как славно писалось ему все эти зимние месяцы! То снимали портрет, то вешали — и все из страха и полной неясности. Художник-то знал: в случае чего, на нем же и отыграются, как отыгрались за Ягоду. Но что поделаешь? Из арматурного цеха высвободили, и то ладно. Подновлял он лагерного Наркома, как бы отставленного от дел, но опять у плеча вождя, — и песенки попевал. Растворитель-разбавитель, потребный для обновления красок, хоть и грязный, но спиртово-крепкий, сквозь себя фильтровал — почему бы и не попеть? „Катюша“ уже и к ним залетела, не возбранялось. Запертый в железной каптерке со своими песнями, бывало, грозил: „Погоди-и, и тебя, как Ягоду!..“ Но гроза была тихая и потайная: за три года научился. Не жизнь — малина у него началась: раз пять за зиму снимали-подновляли портрет, поистине не зная, как быть дальше. Прежний Нарком вновь и вновь объявлялся у всемогущего плеча, а новый был вроде и не Наркомом, если и мелькал где, так на самых последних задворках — только по блеску пенсне и можно было разглядеть. Такое житье наступило — не знай, кем завтра проснешься. Уж, видно, сильно допекло, если начальник зоны однажды самолично с коньяком в каптерку пожаловал и похвалил:

— Ты рисуй, рисуй, Артемий.

— Я как приказано, гражданин начальник!

— А ты без приказа. Ты рисуй, рисуй, Артемий. А чтоб лучше рисовать, мы возьмем да и выпьем — грузинского, лучшего на свете коньяку. Чего тебе спиртовыми ополосками пробавляться?

— Я, гражданин начальник!..

Художник опять попробовал вскочить, но был усажен на топчан дружеской и вроде как заискивающей рукой.

— Ай, Артемий, Артемий. Я тебя умным человеком считаю. По приказу только вышка, а выпивка пока бесприказная. Под балычок-то? Давно не едал балычка? Вот то-то. Никогда не угадаешь — кого писать, кого не писать... — Начальник прислушался, хотя за железными дверями стояла тишина. — Кого маслом, а кого с маслицем! Как угадать? Вот то-то, друг Артемий. Вся надежда на тебя. Ведь портрет — он требует художественных совершенств. Он вроде есть, а вроде его и нету, если совершенствуется, да еще таким мастером, который и Сергея Мироновича увековечивал. Ну, вышла осечка с врагом Ягодой — с кем не бывает. Нам бы новую осечку не допустить! — пригнулся он к самому уху небритого художника. — Нам надо... и вешать, и не вешать! Моя судьба, но, может, и твоя судьба, Артемий! Ты вот что: на каждое исправление портрета пиши докладную. Как там у вас?.. Краски пожухли? Левкас отслаивается? Выпадение красителя? Не удивляйся, Артемий, — мокрыми губами уткнулся он опять в его ухо, — я за эти зимние месяцы художественную академию окончил,

даже Грабаря вашего читал. Вот то-то, Артемий! Слушай, жить ведь хочется...

Портрет Наркома Ежова был как раз в очередном ремонте, художник был пьян-пьянехонек, потому что накануне написал докладную: „На фуражке у Сталинского Наркома расслоились краски, для чего нужно...“ И дальше шел перечень – что нужно, чтобы исправить фуражку: ведь целый масляный пирог получался, в пять слоев уже, наверно. Художник уж как просил: „Может, заново нарисовать?..“ Но заново рисовать никак нельзя было, начальник доверительно и строго отчитал за глупость и в утешение прибавил в списке растворителей-разбавителей, отчего художник и оказался в таком отчаянном положении, когда к нему прибежали со словами:

– Наркома Ежова! Быстро на место!

Остолопы – что хуже всего. Начальник – тот в искусстве толк понимал, а эти – знай гремят прикладами:

– Сказано – в одну минуту!

А голова трещит, а фуражка у Сталинского Наркома начисто содрана – сколько он вчера скоблил и отмачивал! Вот беда... Руки дрожали, фуражка никак не надевалась на непросохшую наркомовскую голову, хотя художника подталкивали прикладами. Хорошо, кто-то догадался начальнику донести: так, мол, и так, симулянт. Начальник как прибежал – сразу понял, что надо делать с симулянтом. Мигнул только – принесли стакан и огурец: уж тут не до балыка, когда „Плес“ подходит к берегу, дай бог – руки чтоб не тряслись. Доверие – оно окрыляет. Начальник одно и сказал, выгоняя всех за дверь:

– Ну, Артемий, выручай... вражий сын! Стучи, когда оденешь фуражку.

При таком доверии, да умеючи, да с прояснившейся головой – чего там возиться с фуражкой! Через десять минут и загрохал в дверь, а там и понесли сырой еще портрет к выходу, где уже новую виселицу сооружали, повыше прежней, – сам художник и лазил по стремянкам, прибивал, а потом и подчищал, где краску смазали, пока начальник не согнал:

– Да свой-то, свой портрет убирай! Пристает уже „Плес“!

Художник убрал себя как раз вовремя, за пять минут до швартовки.

Начальник все суетился.

– Будет ли видно с парохода?..

Художник прищурился, походил около, в сопровождении двух надоедливых прикладов, так и этак оглядел и ответил:

– Должно смотреться. Но лучше, если б мне самому от парохода глянуть, на таком расстоянии краски могут расплываться...

– Ишь чего захотел! – даже развеселился начальник. – Я сам посмотрю. Говорю же: Грабаря читал!

Это стало его роковой ошибкой. Он дошел, конечно, до парохода, и даже по трапу свойским шагом поднялся, и даже, вспоминая Грабаря, прищурился, вглядываясь в виселицу с портретом, но расплывались ли краски – неизвестно, потому что обратно тоже не вернулся, как не вернулись ни землекопы, ни начальник порта, ни сумасшедший попик, крестивший пароход и бормотавший: „Со святыми упокой...“ Уж назавтра прояснилось: нетуньки! На утреннюю поверку вышел заместитель и встал на место начальника, оборвав шепот в конвое единым словом:

– Р-разговорчики!

Что стало с художником Артемием – тоже никто не видел, но зато портрет воочию увидели ближние, уже вольные, землекопы и понесли по всей многоверстной стройке:

– О-он, Ежо-ов!..

Землекопов ссылать дальше некуда – и так уж на двадцать метров в сырой земле, – а весть эта шепотом, шепотом, но расползалась по стройке, будоражила самых ретивых, крутилась ночной пылью... и заткнула слишком уж расхлебенистые рты. Хоть и заткнула – отделы-то кадров есть, со списками и поминальниками бабушек и дедушек. Отцы, они могли воевать и за Советскую власть, а деды?.. Матери, они могли и бойцов маршала Ворошилова перевязывать, а бабки несознательные?.. Вот то-то, в институтах благородных девиц! Землекопы и бетонщики еще куда ни шло – укрывались за своим рабоче-крестьянским происхождением, а инженеры и прорабы укрываться не могли, потому как не опровергнешь: учились в гимназиях и даже пребывали в юнкерах и кадетах. Для них и открылась прямая дорожка на наркомовский пароход...

Запертый и всеми забытый художник, несколько дней уже без еды, на одних растворителях-разбавителях, от которых его вдобавок и пронесло, пересилил страх и начал лупить подрамником по запертой двери. Долго не открывалась, а как открылась – было удивленное:

– А ты разве жив, курилка?

– Ага, покурить бы, гражданин...

– ...начальник, твой теперь начальник. Что, жалко прежнего?

– Ничего не жалко, он враг народа.

– Да ты-то откуда знаешь, Артемий? – приятно так вопросил заместитель, вдруг ставший начальником.

– Раз не вернулся с парохода, так понятно, гражданин...

– ...начальник, начальник, – подбодрил его.

Но художник от слабости ни с того ни с сего заплакал:

– Гражданин, гражданин...

– ...начальник, начальник.

Художник и после этой подсказки не мог ничего добавить. А потому и случилось, видно, чудо: появилась еда мясная и всякая другая, прямо на служебном подносе. Когда художник наелся – походкой прежнего начальника опять вошел новый и, словно связь не обрывалась, тоже велел:

– Ты рисуй, рисуй. Портреты, они любят, чтоб их рисовали.

– Ага, снять тот и подновить?.. – наевшись, стал более сообразительным художник.

– Тот хорош и без подновления, – усмехнулся новый начальник. – Пожалуй, на его жизнь хватит...

Опять сообразительность изменила художнику, и он уставился на новое начальство с прежней голодной тупостью:

– Так что же рисовать, гражданин?..

– ...начальник, начальник... – (Его не то казнили, не то ласкали взглядом.) – Рисовать надо вот это... – (Подали ему увеличенный фотографический портрет, сделанный явно с газеты каким-то неумелым доходягой.)

– А цвета, цвета, гражданин?..

— ...начальник, начальник... — (Нет, все-таки поощряли его к раздумью.) — Цветные портреты нам еще не прислали. Раскрашивай на собственное уважение, а я, чтобы не дать маху, Грабаря почитаю...

В иное время, в иные годы, не отягощенные трехлетней лагерной тупостью, художник мог бы и подметить странную раздвоенность нового начальника. Ну, с чего бы ему продолжать прежнюю игру, когда взгляда достаточно, чтоб от человека осталось мокрое место? Еще бы он, как в достославные времена Сергея Мироновича, непременно подметил, что новый умнее, гораздо умнее прежнего. У того одно было: карать, а если миловал, как самого художника, так лишь из-за портретов. Правда, и этот с портрета начинал, но чем кончит — запертый в глухую каптерку художник не знал. Ему давали пока есть, и ладно. Читать по лицам Книгу Жизни он разучился, а ведь, бывало, листая за своим столом гербовые бумаги, Сергей Миронович ежился под его взглядом: „Ну, Артемий, трудно тебе позировать. Просто страшно, Артемий. Ты что, насквозь меня видишь, со всем моим дерьмом? Вот революцию сделали, все вверх дном перевернули, а души остались прежними. Грязные души, жестокие, завистливые..." Было это за месяц до его убийства, и рука в каком-то предчувствии торопилась — зрячая была рука? Чего же она сейчас ослепла, водя кистью в воздухе и не находя ничего приметного в жиденькой фотографии, кроме холодных, каких-то докторских стеклышек? Будь он на три года моложе, непременно уловил бы интерес и нового начальника к этим ледяным стеклышкам и тогда бы понял, что вовсе не для любви, как при старом начальнике, берегут его кисть, — есть расчеты поважнее. Может, даже и догадался бы — почему, заслоняясь от наркомовского парохода прежним портретом, втайне готовят новый, еще не разосланный по градам и весям, тем более — по таким вот вшивым лагерям? Нет, художник явно поглупел, и новый начальник это прекрасно знал, как знал и то, что кисть-то у художника еще не испортилась. Зачем ему ум? Была бы кисть, а что рисовать — ему подскажут. И даже цвета, цвета подберут! Для тех же дужек пенсне, для тех же пуговок на кителе и уж, само собой, для загадочных сов; они вроде на что-то и намекали, вроде и подражали тому, у плеча которого еще пребывал прежний Нарком, хотя и упустил из своей власти все тюрьмы и лагеря, все Лефортовки и Лубянки, и оставил за собой — пока, только пока! — реки и озера, катера и пароходы, в том числе и пахомовский „Плес", таинственной тенью застывший у самого болотистого берега. Вот это — „пока!" — и отличало прозорливого нового начальника от замученного и уже внутренне ослепшего художника. В своем прошлом величии художник видывал Наркомов, но ничего не понимал; начальник лагеря по своей молодости до Наркомов не доходил — зато доходил до смысла наркомовских перемен. И то, что прежний все еще терся у всемогущего плеча, а новый не спешил выставлять свой портрет, было верным знаком: сила за ним. А где сила — там и власть. Спешить не следовало, но и медлить не приходилось, а так чтобы серединка на половинку. И затурханный художник, потерявший всякое соображение, как нельзя лучше подходил для этого. Рисуй, Артемий, рисуй человека в докторском пенсне... пока на воротах лагеря, как бы в насмешку висит портрет веселого Сталинского Наркома — в лихой красной фуражке... и с красными по локти руками!..

Не только художнику, но и начальнику, конечно, не докладывали, есть ли сам Нарком на наркомовском пароходе. А если есть — так реками ли он интересуется, будоража старую память, когда по берегам сплошные, им же самим и устроенные лагеря?.. Может, побаловаться захотелось, может, и власть свою подтвердить. В конце концов, здешние лагеря все равно под властью двух Наркомов: внутреннего и водного. Не беда, что у водного теперь только воды и остались; народто свой, законный, им же и сбереженный, спущенный с „вышки" на землю, пускай и болотистую, пускай и гнилую. Все равно должны помнить, должны знать: его рабсила. Выходит, для себя и готовил!

Так, или почти так, думал за опального, но все еще грозного „Сталинского Наркома" маленький лагерный нарком: предвидя новые перемены и заранее готовясь к ним. Он не побежит, как несчастный предшественник, на пароход, он тоже выждет — как его новый, по всему видать умный, Нарком. А потому — дай бог и ему ума!..

— Ты понял, Артемий?

— Понял, гражданин...

— ...начальник, начальник. Не надо заикаться от страха. Разве я страшный?

— Вы добрый, вы великодушный, гражданин...

— ...начальник, начальник. Рисуй серьезно, торжественно, величественно... но не спеши, пока не спеши. И я, Артемий, спешить не буду, я лучше Грабаря твоего почитаю... от прежнего начальника остался... А ты тем временем внимательно изучи фотографию, внима-ательно!..

Ласковый взгляд, добродушный взмах руки, прощальный, извинительный вздох... но замок на железной двери щелкнул волчьим капканом.

Художник вздрогнул и осмотрелся. А чего осматриваться? Давно знакомая каптерка, довольно просторная, хорошо освещенная и для сохранности имущества изнутри сплошь обитая железом...

Хотя почему же — сплошь?.. Во всю торцевую стену деревянные стеллажи, закиданные старыми тюфяками и одеялами. Три зеленые табуретки и три топчана, застланные клеенкой; два вдоль стен, а один почему-то посредине, на который его в первый раз усадили, на котором он и спал все время, не решаясь поверх клеенки бросить один из тюфяков. Ему об этом никто не говорил, а лагерная жизнь приучила ничего не делать без разрешения. Но сейчас какой-то бес подзуживал подложить под бок тюфяк; он осторожно снял со стеллажа самый крайний, самый плохонький и, задрав клеенку на срединном топчане, хотел подсунуть уже матрас... как на досках заметил полустершиеся надписи, этакого сургучного цвета... Зрение ему еще не изменило, он острым взглядом сразу определил: писано густой, запекшейся кровью! Крохотным ощепком от доски, который был аккуратно прилажен на старое место. *„Друг мой неведомый,* — доверительно потянулись к нему кровавые строчки,

— что бы с тобой ни делали эти заплечные мастеришки — люби нашу светлую будущность. За нее умираю, за Революцию. Мало мы вырубили контры, мстит она нам подло и тайно. Если останешься жив, расскажи благородному Рыцарю Революции — Сталинскому Наркому Ежову о вероломном предательстве и покажи ему эту надпись. От меня добивались признаний, что Нарком Ежов поручал мне отравить вождя товарища Сталина. Я ничего не признал, верь мне, друг! Умирая, я повторяю: „Да здравствует товарищ Сталин, да здравствует доблестный Сталинский Нарком! Кремлевский инженер-сантехник...“ Послание на этом обрывалось, словно не хватило жутких чернил. А может, и жизни...

Художник натянул обратно клеенку на топчан и улегся на другой, предварительно и его осмотрев. Нет, на нем посланий не было, а ватный тюфяк совершенно обессилил его своей нежностью: он упал ничком и проспал до утра под ярчайшей лампой, даже и во сне разговаривая с неизвестным посланцем.

Утром вскочил с совершенно определенной мыслью: надо рассказать обо всем новому начальнику! А тот уже входил со словами:

— Ну как, начитался посланий с того света?

— Гражданин, гражданин... — совершенно потерялся от такой прозорливости и заплакал художник.

— Ничего, поплачь, Артемий. Лучше рисовать будешь. Я ведь знаю, что ты хотел мне обо всем рассказать.

— Гражданин, гражданин...

— ...начальник, начальник. Я все вижу и все слышу, должность такая. Ты выпей и успокойся. Дрянь этот сантехник и дрянью умер. Ты-то ведь не такой? Вот-вот, умница. Пора приниматься за работу. Выпей, выпей.

Зубы у художника стучали о край фляжки, но он и в самом деле немного успокоился.

— Вот и хорошо. Рисуй, Артемий, рисуй. Я подскажу тебе цвета...

Но как ни всматривался художник в расплывчатую, жидкую фотографию — ничего не мог понять. Что рисовать?.. На фотографии, выхваченной с какого-то группового портрета и обрезанной вместе с чужими локтями, дымящейся трубкой, даже полой развевающейся шинели, было упитанное, гладкое, с маленькими усиками лицо, на котором если что и выступало — так это стеклышки пенсне, поблескивающие старомодно и загадочно. Но стеклышки — еще не человек, чтобы оживить их, надо знать хотя бы имя; что ни говори, имя все-таки согласуется с характером. Одно дело — Иосиф, другое — Клим, третье — Лазарь... Вячеслав, Семен — больше художник подходящих имен не вспомнил, даже Сергея Мироновича в этой железной клетке стал забывать. Он о том и хотел спросить, об имени, — уже спустя еще три дня, — но каким-то чутьем догадался, что спрашивать не следует. И промолчал. И заслужил похвалу:

— Молодец, Артемий. Твое дело — рисовать. Какие цвета, какие имена...

— Гражданин, гражданин...

— ...начальник, начальник. Что делать — телепатия. Брось с именами. Важнее пока — цвета, а какие — я буду по мере узнавания подсказывать. Пока одно: дужки пенсне золотые. Есть золотая краска?

— Гражданин, гражданин... бронзовая...

— Золотая!

И все, и опять захлопнулась железная дверь, за которой остались и виселица с прежним портретом, и Волга с Шексной, и таинственный пароход с таинственным катером, который сновал да сновал от берега к берегу, — в одну сторону груженый, в другую — всегда пустой. Веселенький такой катерок, шустрый, взятый явно у начальника строительства. Как не порадеть для гостей?

Для художника, как ни худо, жизнь продолжалась, хоть и за глухими дверями, в каптерке без окон, а с жизнью в самих Переборах, где был штаб стройки, творилось что-то непонятное. Теперь уже и вовсе никто не знал, что ждет его завтра, через час... да хоть и сию, сию вот минуту!

К начальнику Волгостроя Рапопорту прибежал белее мела друг его закадычный, инженер с котельной, и запел на манер жмеринской молитвы:

— О, ты не пустишь, ты не пустишь их, друг мой Ягоба, ты спрячешь, ты спрячешь меня в этом шкафу, а ключ положишь себе в карман, а Сарра, моя ненаглядная Сарра с благоговением омоет твои благородные ноги и собственными руками нафарширует тебе щуку, лучшую в мире щуку, а Рудик, мой добрый Рудик будет целовать следы твоих благодетельных подошв!.. — и не допев молитву, а только глянув в окно, инженер в полнейшем безумии, свернувшись калачиком, забился в раскрытый как бы для него железный шкаф с секретными документами.

Начальник Волгостроя, майор НКВД, не спавший уже три ночи, тоже посмотрел в окно, потом в раскрывшийся на беду и так внезапно захлопнувшийся шкаф, потом снова метнул взгляд к подъезду, куда спорым шагом подходили люди в такой же, как у него, военной форме... и бессильно опустился в кресло.

— Ой, мама ро́дная!.. Правду ты говорила: не вари козленка в молоке матери его! Он лишился рассудка, он меня погубит. Меня, меня — за что?! Я не Ягоба, и уж тем более не Ягода, — Яков, Яша я! Это ты пустил по свету глупое пустословие?! — вскочил и загрохал он кулаком по железному шкафу. — Какой Ягоба? Я просто Рапопорт. Товарищ Рапопорт!

Железный грохот собственного кулака отрезвил его. Что за малодушие! Он встал и одернул гимнастерку. Трое военных были уже на ступеньках штаба Волгостроя. Трое незнакомых, совершенно незнакомых...

Видя, как хмуро они поглядывают на окна, Рапопорт колебался недолго — ну, минуту, не более. В следующую он уже выхватил из кобуры пистолет и выскочил на крыльцо:

— Товарищ капитан, вот кстати! У меня не было другого выхода, он сопротивлялся. Я запер его на ключ. Он теперь в ваших руках. В сейфе.

— Что? Кто?.. — затоптались в дверях военные, сбитые с решительного шага.

— Он, диверсант. Вот ключи, — протянул Рапопорт всю свою служебную связку.

— Товарищ майор, мы и шли как раз проверить — надежно ли хранятся документы и чертежи, — улыбнулся встреченный в дверях капитан. — Вот уж не думали! Диверсант? В сейфе? Чаще всего чекушки да ошкурки колбасные попадались. Тоже безобразие, но чтоб уж диверсанты...

Веселые такие, хорошие ребята входили в кабинет. Прямо славные ребятки! Они смотрели на раскрывшийся под рукой капитана сейф, как на чудо: там, в нижнем просторном отделении, сидел, скрючившись, насмерть перепуганный кудрявый человек, так себе, неприметной наружности, и бормотал:

— Серпа не заноси на жатву ближнего твоего... о, несчастный!

— Кто? Кто?.. — Не спешили его вытаскивать, посмеивались.

— Он, Моисей, говорит... не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю...

— Кто? кто?..

— Она, Сарра, теперь говорит... весь народ услышит и убоится, и не будет впредь поступать так... Несчастный Ягоба! — заворочался он, оборачивая лицо к Рапопорту... — Верно сказано: рассеет нас Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будем мы служить чужим богам...

— Что? Что ты мелешь? — Уже тревожно запереглядывались незваные проверяющие, встретив такое необычное нарушение.

— Я говорю о каре нам, евреям, пожирающим друг друга... А, и вы несчастные! — вылез он наконец из шкафа, измятый и заранее истерзанный. — И вы ничего не знаете! Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?!

Рапопорт ушел в дальний угол и стал названивать на стройку:

— Алло, алло? Бетон идет? Опалубку поднимают? Симулянтов много?..

Всякая мысль о стройке его успокаивала. Он не обращал больше внимания на возню у шкафа. Это дело проверяющих, это дело отворяющих... врата железные!

Но как ни крепился, холодом прожгло от этой мысли.

— Что, поведете его?.. — обернулся как бы невзначай в сторону капитана, который подписывал акт проверки. — Укажите... чтоб не попусту проверка: обнаружено три бутылки коньяку... по горлышку на брата! — Он знал, как себя вести с этими славными ребятами.

Капитан кивнул и подсунул под руки акт; там, действительно, значилось: *„Нарушений инструкции хранения документов не обнаружено, кроме трех бутылок неизвестной жидкости, которая отправлена на экспертизу“*.

— Молодец ты, капитан! — искренне поблагодарил его Рапопорт.

— А что делать с этим?

— Вести... — пожал плечами капитан. — Встать! — дернул он за рукав сидевшего на полу инженера. — За результатами экспертизы придет тут один из нас... этак часов в восемь, не раньше. Много работы.

Он отдал Рапопорту честь, как старшему, и все трое, подталкивая в спину инженера, пошли из кабинета. Последнее, что слышал Рапопорт, было бормотание в дверях:

— И дал я повеление судьям вашим, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом...

„Как же! — схватил себя за волосы Рапопорт. — Демагогия! Кто вбил ему в голову библейский дурман?..“

После всего этого ему пришлось самому взять тряпку, чтобы не привлекать излишнего внимания. В шкафу было мокрым-мокро и дурно пахло...

Наведя порядок, он вызвал ординарца и велел ему припасти к вечеру... шесть бутылок коньяку, ну и закуски соответствующей. Скупиться он не любил. Ординарец не стал задавать лишних вопросов — взял деньги, козырнул и был таков. Это дело ясное, житейское.

Не было ясности в душе — вот что плохо. Растерялся он так, по-мальчишески, впервые в жизни. Казалось, эка невидаль: капитан той же краснонаркомовской формы, что и он! Но пароход-то, „Плес“-то, безмолвный, все еще торчал на дальнем, болотистом берегу, и жмеринского инженера повели явно туда. Причина для плохого настроения?.. Причина для дураков! Не для него, начальника всего Волгостроя и его вшивого детища — Волголага. За те годы, пока он дошел до двух шпал на петлицах, приводили-уводили столько, что и теней не осталось — не только имен. Перед приездом Всесоюзного старосты было: шмон великий! На всей многоверстной стройке, и особенно в Волголаге. Никто, конечно, не думал, что начнут стрелять в товарища Калинина, а все равно была нужна подготовка. Немного, на треть всего, но почистили руководящие кадры; остальных одели в новенькие комбинезоны, приказав, правда, потереться на стройке — пусть пыльцой припорошит! В такие же комбинезоны и лагерную рвань засунули: стройка есть стройка, без людей не бывает. Всесоюзный староста должен видеть, с каким энтузиазмом работают добровольцы на ударной Сталинской гидростанции. Он прибыл все на том же наркомовском „Плесе“, веселый, добрый и улыбчивый, и увидел то, что хотел увидеть, — несметные рабочие бригады на берегах Волги, Шексны и Мологи, здоровый рабочий румянец на щеках, издали еще уловил запах мясных щей и жирной гречневой каши, услышал зычные крики со всех берегов: „Да здравствует великий вождь товарищ Сталин!“, „Да здравствует любимый Всесоюзный староста!“ Это было замечательное зрелище. Сходя время от времени на берег, седенький, простенький старичок шествовал меж рядов своих счастливых сыновей и внуков и не мог нарадоваться, говоря: „Вот что делает с людьми свободный труд!“ Только один раз и вышла заминка: какой-то чмырь недобитый, позабыв про свой новый комбинезон, вдруг протиснулся сквозь ряды одетых в такие же комбинезоны охранников и выкрикнул лагерным голосищем: „Гражданин Калинин, когда будет амнистия?..“ Всесоюзный добрый староста никак не мог понять, чего от него хотят, а пока раздумывал, крикуна оттеснили за спины, и точно такой же комбинезон из первых рядов уточнил: „Да, все мы, товарищ Калинин, ждем амнистий жертв гитлеровского фашизма“. Надо было видеть трогательное умиление Всесоюзного старосты, когда он, утирая платком глаза, отвечал: „Страшно подумать, что делается в этих проклятых фашистских кон-

цлагерях...“ Он разволновался тогда, и его увели от печальных раздумий в рабочую столовую, где те же комбинезоны, те же усталые после работы лица — но чистые полотенца, салфетки, цветы, мясные щи, гречневая каша с маслом, абрикосовые компоты и веселая музыка в репродукторах. Свой радиоузел, музыка по заказу, а лучше всего — бодрая. Всесоюзный староста остался доволен и не уставал повторять: „Да, что делает с людьми свободный труд!..“ Рапопорт сам, конечно, водил его по стройке, сам с указкой стоял у схем и диаграмм, долженствующих убедить Всесоюзного старосту: денег на такую стройку жалеть не стоит. Он, Рапопорт, так вошел в роль отца-командира, что тоже обнимался со всеми встречными комбинезонами, конечно, профессионально думая: „Пять или десять тебе лет?..“ Не думать он не мог: жизнь заставляла. Пятилетние, ежегодные и всякие прочие планы поставляла Москва, а рабсилу поставлял Волголаг, и от длительности срока напрямую зависела длительность строительства — то есть его ускорение. В отличие от сроков рабсилы, сроки строительства могли изменяться только в одном направлении — на уменьшение. Всесоюзный староста это понимал и всячески подчеркивал; одно его беспокоило при взгляде на яркие, героические схемы: „Хватит ли у вас, товарищи строители, рабочей силы, чтобы двинуть к сталинским высотам такое громадное строительство?“ И он, Рапопорт, не выпуская из левой руки папиросу, а правой водя по схеме, авторитетно заверил: „Рабсилы — хватит, товарищ Калинин“. Он знал, что говорил: в Волголаге, со всеми потрохами приданном Волгострою, было сто двадцать тысяч человек. Ну, доходяг тысяч двадцать, а остальные?.. Остальным следовало работать на благо коммунизма. Как там, на лагерных лозунгах?.. „Каждому — по труду!“

Именно после того и появилась на его петлицах вторая шпала. Но начальник Волгостроя мог бы претендовать не только на третью и четвертую, но и... Мечты, мечты, когда-то сбудутся?!

Конечно, не от этих размышлений сегодняшнее смятение души. „Плес“, безмолвный „Плес“ все еще маячил на противоположном берегу, а там, где-то в его трюмах, нес библейскую околесицу дурной жмеринский инженер...

Как и предполагал Рапопорт, глубоким вечером, когда коньяк уже унесли веселые проверяющие, к нему в кабинет, через всех помощников и ординарцев, прорвалась неукротимая Сарра. Молодая, красивая Сарра. Мечта всех волголаговских лейтенантов. Заноза в глазу у собственного мужа. Причина зависти даже его, Рапопорта... Он с ней тоже очень охотно танцевал на день 8 марта в комсоставском клубе Волгостроя, говорил что-то такое-этакое...

Сейчас она показалась еще прелестнее. Она влетела, как огонь, как буря, остановилась перед ним разъяренным пламенем, плюнула вначале чуть ли не в лицо, а потом... а потом сверху донизу разорвала платье, бросив ему на стыд еще не знавшее страданий тело... а минуту спустя и на колени бухнулась, прямо в ноги, в начищенные до блеска сапоги... Она целовала их, она молила:

— Возьми, милый Яша, все возьми, истопчи меня в грязь, пожалей только!..

Начальник строительства жалеть не имел права, даже и ради красавицы Сарры, а потому и велел торчавшему под дверью заместителю:

— Убери, убери ее... как жену врага!..

Пока тащили Сарру к дверям, подоспел трехлетний мальчонка и стал совсем неприлично вопить:

— Дя-адя Яша, дя-адечка!..

Куда его убрали — тоже никто не знал, но начальник строительства целую ночь у себя в кабинете пил валерьянку, как воду, а под утро надулся коньяку и неожиданно для всех заснул на служебном диване. Заместителя тем временем увели на одинокий пароход, и потому никто не мешал выспаться — впервые с того дня, как к плесу чуть повыше Рыбинска пристал пахомовский „Плес“, оказавшийся вовсе и не пахомовским, а бог знает каким...

II

Смена наркомвода Николая Ивановича Пахомова Наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, бывшим четыре года, до февраля тридцать восьмого, Наркомом Внутренних Дел, кого угодно могла ввести в замешательство, не только начальника Волгостроя, напрямую подчинявшегося НКВД. Одно совпадение имен чего значило! Словно патрон вынимали из обоймы и заменяли другим. А прежний?.. Нарком Пахомов, еще на январской сессии Верховного Совета поднимавший красный, казалось, несокрушимый мандат, куда-то бесследно исчез, а вместо него приплыл безмандатный „Плес“, так и не показавший истинного хозяина, ни старого, ни нового. Слухи слухами, но в Рыбинске, действительно, ждали „своего Пахомыча“. Во-первых, и навигация подгоняла, а во-вторых, подгоняла и стройка. Оставалось два года до той поры, когда Волга и Шексна, одновременно взятые в бетонные удила, должны были встать на дыбы и повернуть вспять, как укрощенные и теперь уже рабочие, смирные лошадки. Дел было невпроворот. Кроме двух, причастных к Рыбинску Наркоматов, — водный поставлял воды, берега и транспортные суда, а внутренний так необходимую рабсилу, — кроме них был еще третий, формально даже главный: Наркомат электростанций. Из трех таких великих сосен не выбраться было не только начальнику строительства, но и самому господу богу; все наркоматы враждовали и негласно оспаривали первенство. Лишь такому зубастому волжскому волку, как Пахомов, и удавалось до поры до времени смирять непримиримые страсти. Если у энергетиков были наипервейшие инженеры, у водников наизнатнейшие гидрологи, то у НКВД — неисчислимые запасы рабсилы. Как говорилось, кадры решали всё. С посторонними наркоматами не церемонились и кадры ихние тасовали по своему образу и подобию. Пахомов — нет, Пахомов пощелкивал еще зубами — даже на обложные краснонаркомовские флажки. Все чаще ему приходилось заниматься не столько водами и берегами, плотинами и строителями, сколько примирением непримиримого. Но вот и он исчез, как туман над

Шексной... Гидроэлектростанцию ставили на Шексне, недалеко от устья, но плотиной-то одновременно запирали и Волгу со всеми верховыми притоками, так что общее водохранилище, загодя еще названное Рыбинским морем, — это море разливанное должно было захватить и третью реку, Мологу, к черту разметать не только семьсот тридцать сел и деревень, но и многие районные города: Мологу, Брейтово, Никольское, например, да многие по крайней мере подтопить: Весьёгонск, Пошехонье, даже Кимры и волжский Углич, даже северный Череповец. На планах и проектах вода разметалась, как при Великом Потопе: безоглядно и безостановочно. Проектировщики ликовали: пять Ильменей разольется на грешной земле!

Пароходам, следовавшим с Волги в Мариинку, нечего было и заходить в Рыбинск — шпарь напрямую в Череповец! „Сто сорок два километра сокращаем вам, пошехонцы!“ — любил говорить Рапопорт в тяжкие для стройки дни и мечтательно смотрел на Север, хотя родился на юге, как и его запропавший друг-инженер. Но много ли стоит дружба, если и наркомы упали в цене? Кровь жмеринских предков, сквалыжничавших над каждым грошом, давала себя знать и в эти черные дни, когда один за другим исчезали на пароходе заместители, прорабы, инженеры и только он, Рапопорт, еще богу молился, — да, видит его тайный бог, при каждом новом аресте он про себя творил молитву, поскольку он один и оставался, кажется, вне подозрений. Прямой провод связывал его с Москвой, Ленинградом, Ярославлем, ну и, само собой, с Рыбинском; провод этот не обманывал: ему верят, от него ждут плотин на Шексне и на Волге через два года, и не позже. Так что каждый человек, даже трижды злосчастный, был на счету. Как не радоваться раскинувшимся в болотистой пойме лагерям, если они ежедневно высылали на стройку целые полчища так необходимой рабсилы и норму давали железно, не то что вольные пошехонцы!

Вольных пошехонцев Рапопорт не любил, а любил по своей профессии этих, которых держали в „ежовых рукавицах“... впрочем, сейчас уже черт знает в каких! Всякие смены-перемены не сулили ничего хорошего — одно утешение: рабсилы не убывало. Волголаг работал исправно. И переполох, вызванный сменой наркомов, мало-помалу утихал. „Закончить стройку... а там хоть в Жмеринку!“ — добавлял Рапопорт с тревогой, видя, как прежние други-приятели валятся, что кусты на шекснинской пойме. Положим, пойму и следовало очищать, но человеческая чистка... Будучи осторожным, Рапопорт никогда и ничего до конца не договаривал. Он знал, что заместители легко становятся начальниками, а вахтеры — доверенными людьми, и потому самые строгие приказы начинал со слов: „Следуя мудрым предначертаниям товарища Сталина и руководствуясь разъяснением насчет рабсилы Сталинского Наркома товарища Ежова, я, начальник Волгостроя, приказываю...“ Приказывал он сам, но жил по этой верной указке, и потому стройка, хотя и скрипя и шатаясь, тоже верно шла к своему пятилетнему концу. Орденов он не ждал, а ждал одного: „В Жмеринку... хоть в Жмеринку!“ Строго говоря, он и не был гидростроителем, не был даже инженером, — но зато слыл хорошим организатором, и слыл по праву. А организация начиналась с бараков, которые с его легкой руки поднялись по всей обширной пойме и выплеснули на дно будущего моря целую армию даровой рабсилы — частью из Москвы, частью из Ленинграда, а больше всего с освобождавшегося Беломорканала. Само собой выходило, что грозные начальники лагерей, наводившие в своих бараках ужас апокалипсический, под его же руку и попадали — потому что он пользовался доверием и потому что был приказ товарища Ежова о подчинении всего Волголага начальнику строительства. Как иначе? Иначе и быть не могло. Он, Рапопорт, подписывал рапорта — вот каламбур-то! — о выполненных работах, а рапорта с подписью Рапопорта шли в Москву и, конечно, читались товарищем Ежовым, который до всего доходил. Начальника Волгостроя могли любить или не любить, но ослушаться не смели. Не дураки были и грозные самодержатели лагерей.

Теперь этот строго заведенный порядок вроде как дал трещину, именно в тот момент, когда в шкаф с секретными документами вспрыгнул потерявший разум жмеринский приятель...

„Мама ро́дная!“ — наедине с самим собой воздевал Рапопорт к небесам руки, и будь где-нибудь под рукой пепел, посыпал бы им дурную голову. Это же надо: целую ночь хлестать валерьянку, а под утро нахлестаться коньяку! И в такое время, в такое время!..

„Никаких больше приятелей. Нету! Не было! Не будет!“ — пришел он уже к более спокойному рассуждению и потребовал из отдела кадров полный список инженерно-технических работников. Землекопы и бетонщики, арматурщики и плотники его, разумеется, не интересовали. Слишком малы, чтобы попортить кровь. Кровь портили други-приятели.

„Ах, доброта моя, доброта!“ — еще через три дня посетовал на судьбу, и тоже по праву: человеком он был добрейшим. Кто только ни пользовался его безотказностью! Особенно жмеринские и одесские знакомые, и в глаза-то его раньше не видевшие, слетевшиеся лишь на звук местечковой фамилии. Привечал всех, всех устраивал и пристраивал. А теперь они... они и поползли, как муравьи по проторенной дорожке! Прямиком на таинственный, не подававший никаких признаков жизни пароход. „И что они там говорят, что говорят про меня!..“ — резонно ужасался Рапопорт, по мере чтения списков все-таки немного успокаиваясь. „Вайцель, Берман, Нейман, Жидович... — красным карандашом вычеркивал он и всплескивал руками. — Вот Жидовичей нам только и не хватало!“ Этого Иосифа Жидовича, который и родом-то вовсе не из Жмеринки, а из белорусских Жидковичей, он знал даже лучше других, потому что был тот инженер-гидротехник каких поискать — ой, мама!.. Не беда, что гимназий не кончал, из нового, рабоче-крестьянского коленца; это так, для личного дела, а для доверительности — так сын своего цадика, в угоду рабоче-крестьянской славе переименовавшегося в слесаря паровозных мастерских, — мастерских, которых в Жидковичах сроду и не было. Ой, мама, какой он дурак, что пригрел этого Иоську! Все, все на себя валил теперь Рапопорт, хотя Ио-

сифа Жидовича, как лучшего выпускника, ему по распределению из Ленинграда прислали, и родословную его он выведал, да и то год спустя, после удачной закладки фундаментов, от молчальника-инженера лишь наполовину, до отцовского колена. А надо было до дедовского, до прадедовского! В запоздалом праведном гневе начальник Волгостроя забывал задать себе такой простой вопрос: так кто бы тогда столь блестяще заложил фундаменты под будущую электростанцию и сделал такой коварный, такой привередливый понур? Он, понур, еще даст о себе знать, когда воды Шексны упрутся в плотину и, не в силах протаранить ее, будут искать выхода под ней, как кроты, как черви земляные, будут рыть подкопы, тысячи, миллионы дыр, чтобы потом подмыть, обрушить всю плотину. Понур, подводящий воды к плотине, потом не переделаешь, не заменишь, как гнилое бревно, он врос в дно и берега под плотиной. Вот что такое понур, выстланный Иосифом Жидовичем на пути к плотине! Начальник строительства знал, что никаких хлопот с этим понуром не будет, — ну знал, ну чувствовал прямо-таки невозможную честность сына жидковичского цадика. И потому красный карандаш с первого раза промахнулся, завис над фамилией какого-то Борзова. Ну их к черту, и Борзовых этих, не одних же цадиков рубить! Но протянув кровавый след по Борзову, он и сына цадика, конечно, по тому же следу пустил. Не было! Нету! И знать не знаем!

Так после половодья и начала навигации миновала неделя, показавшаяся годом, и вместе с последними льдинами и весенним мусором унесла таинственный пароход — вроде наркомовский „Плес", а вроде теперь и не „Плес" вовсе, а наказание божие. Вот стоял, стоял пароход, засовывал в себя инженеров, прорабов и не успевших разбежаться по Волге и Шексне капитанов... и вдруг пропал в одночасье, так же тихо и незаметно, как и появился. Еще вечером сновал и сновал к его трапу услужливый катерок, еще возил и возил зазевавшихся цадиков, поповичей, министерских отпрысков, разных недобитых юнкеров и вообще всякий нетрудящийся люд, а к утру сплыл в неизвестном направлении. Вот сплыл — да и все! Ни у кого не спросясь, ни перед кем не отчитываясь и огней сигнальных не зажигая. Потому и не знали — двинулся вверх или вниз по Волге, а может, и по Шексне, чтобы заодно вот так же, пройдя всю царскую Мариинку, и Беломорканал почистить — за эти годы тоже мог сорным людьём заилиться. Про себя гадали всякое, а вслух не выражались, словно „Плес" все еще стоял у здешних берегов. И уж меньше всего выражался сам начальник строительства; он к тому времени еще не покончил со списками и нервно торопился. Жизнь учила его не обольщаться временным спокойствием, и он не обольщался — в который уж раз прочищал списки от всех знакомых и приятелей.

„Клейн, Корзун, Ципис, Шмейлис..." Красный карандаш высекал их радостно и облегченно. „Яхья, Мойсин, Беззаботнов..." На такой безопасной фамилии взял и споткнулся карандаш! Начальник Волгостроя прекрасно помнил, что этот Беззаботнов никакого отношения не имел ни к Жмеринке, ни к Жидковичам, ни к Одессе, а между тем что же?.. Без заботы жить невозможно, а этот неизвестно откуда взявшийся сродник-сводник жил поистине беззаботно, к чему и начальника строительства — ну, положим, тогда еще молодого лейтенанта — непостижимым образом приучил. Был Беззаботнов врачом, но не мужским, а женским, вот что печально, ведь лейтенантский скудный паек не позволяет жениться. В гневе великом начальник строительства вопрошал вот уже много лет преследующую его фамилию, к тени ее простирал руки: „За что?!" Может, другой какой Беззаботнов объявился на стройке, но тут это не имело значения. Память, черная память! Столько лет, столько зим!.. За это время у иных пациентов того давнего врача повырастали сыновья и дочки, а у него — только бесплодное воспоминание... да нечаянная смерть при нечаянных родах уже забывшейся комиссарской жены. Мало ли смертей проходит через руки таких беззаботных докторов! Он-то при чем?! Вопрос этот было лучше не задавать... Чтобы раз и навсегда отвязаться от назойливого воспоминания, он и здешнего повара, как и того врача — однофамильца, оказавшего ему тогда медвежью услугу, — он и эту давнюю тень полоснул красным резаком. Вот так, последняя хирургенция!

— Найдите, пожалуйста, возможность тихо и без шуму уволить этих людей, — сказал он вызванному вновь кадровику и, вспомнив, что кадровик служит сразу двум наркоматам, посчитал не лишним пояснить: — Следуя мудрым предначертаниям товарища Сталина и руководствуясь разъяснением насчет рабсилы Сталинского Наркома товарища...

Он, кажется, прозорливо споткнулся и вовремя остановился, потому что кадровик чуть заметно улыбнулся уголками тонких, выхолощенных губ и кивнул, что означало полное согласие с начальником.

Покончив с огнеопасными списками, а заодно и убедившись, что таинственный „Плес" больше не возвращается, ни под своим, ни под чужим именем, он вовремя вспомнил о строительстве. Неделя коту под хвост! Кроме нервной горячки ничего не заработал для своей биографии за эту неделю...

— Главный инженер! Где главный?.. — вспомнил он своего незаменимого помощника.

Прибежавший на зов порученец не мог сказать ничего определенного. Вроде был где-то главный, вроде пропал несколько дней назад...

Продолжать расспросы было бесполезно. Главный инженер — не иголка, не может запропасть ни с того ни с сего. Ему знали цену в наркомовской Москве и в проектном Ленинграде; все нити, все проекты, все связи были в его руках. Без него стройка попросту остановилась бы. Не всё, далеко не всё могли сделать начальники лагерей и разные разжиревшие надсмотрщики; сотни, тысячи рук не в силах были заменить одну голову. Главный инженер в политику не вмешивался — он строил; он и держал в своей голове всю эту многоверстную гидру... электростанцию...

Говорили, уехал в Москву?...

Говорили, уехал в Ленинград?..

Но когда это он уезжал, не сказав ничего начальнику строительства? Новость была из самых паршивых. А между тем не подавать виду — надо было жить, надо тянуть волго-

строевский воз. Рапопорт решительно надел походный кожаный реглан. Как-то он поживает, брошенный без руля и без ветрил Волгострой?..

Но, оказывается, стройка жила и без него, и даже без десятка инженеров и прорабов, запропавших вместе с таинственным „Плесом". Все шло, как должно идти, по дневному кругу. А круг этот начинается рано — в пять часов, в лагерях — били в тяжелые стальные листы, оставшиеся на берегах от славной Волжской флотилии; часом позже и в бараках землекопов, бетонщиков и арматурщиков, поставленных на другом берегу Шексны, трезвонили в рельсы и во всякое другое железо, подвешенное на столбах. Окрестности всех трех рек, даже и более дальней Мологи, шевелились, и утробно тянулось: „У-ух!.." Пахло перловой, гречневой, овсяной и еще какой-то кашей — прямо вселенская обжираловка началась. Вагонами и баржами привозили в Рыбинск эту крупу, а все жаловались на голодуху. „Как бурсаки не полопаются!" — с довольным видом посмеивался начальник Волгостроя, тоже поевший с утра гречневой каши с салом, чтоб покрепче погонять прорабов.

Надо было торопиться: над Волгой и дальше, над Шексной, вставало удивительное апрельское солнце. Он встречал его уже четвертый год подряд, отлучаясь разве что в Ярославль да изредка в Москву — на большие и малые ковры. Тогда солнце провожало его ранней дрожью и ранней дрожью встречало; поезда так ходили, не пугалось же солнце, как он, всходя по ступенькам вагона... Просто необъятное забережье, где почти впритык к Волге сходились Шексна и Молога, гнало вверх пойменные испарения, и они зависали на миллиардах тончайших ниточек; эта хрустальная кисея волновалась даже при слабом движении ветра, а ветры здесь никогда и не ослабевали, — затягивались по Шексне, как по проходной трубе. Не зря же у пошехонцев так сладко зрели огурцы, черт бы их побрал, — огурцы, конечно. Пошехонцы, после заключенных, были второй рабсилой, а рабсилу он любил, иначе кому строить? Все, что произрастало на этой земле, обязано служить стройке, следовательно, и начальнику Волгостроя. Тут не могло быть сомнений, как с местными огурцами, которых упорно не принимал его южный желудок, — слава богу, до огурцов еще далеко, бабки пока еще под стеклом парят семечки. Но как высадят их, чертовых поросят, на гряды, как выпрут они на всей пойме от Рыбинска до Череповца — так в зубы никому не гляди. Хрустят у землекопов, стонут у грабарей, покряхтывают у гужегонов и тачкогонов, каменеют за щеками у каменщиков и бетонщиков, и даже прорабы заявляются на планерки с огурчищами в кулаках. Те еще прорабы!

После недельного перепуга он никак не мог настроить себя на серьезный лад — нервный смех пробирал до нутра. А настраивать приходилось: ждал служебный катер. И только уже взойдя по шаткой сходне, он еще раз вздрогнул: катер был тот самый, что возил на „Плес" прорабов и капитанов, и вообще всякий подозрительный люд, в том числе и приятеля-котельщика. „И Сарру, Сарру, наверно!" — некстати припомнилось. Право, он сиганул бы обратно на берег, не рвани так рьяно рулевой, он же и капитан, он же и свидетель позорища. А ведь убей бог, не помнил, когда отдал катер в черное услужение!

— Ты устал, Миша, за эту неделю? — спросил со всей возможной осторожностью.

Но дубоголовый Миша его тонкостей не понимал, ответил без обиняков:

— Как не устать, сколько врагов перетаскал!

— А-а, враги... — заозирался Рапопорт в новой панике.

Миша и тут со знанием дела все разъяснил:

— Да вы не бойтесь, не возвращаются оттуда!

И так это „оттуда" резануло, что Рапопорт руку от двери каюты отдернул. Хорошо, был занят Миша разворотом — умел, стервец, крутить меж плотов и барж кренделя! — очередной дрожи не заметил. Да и кому было там прятаться, где? Катер начальника сделан из обыкновенного буксира, только вся задняя часть обшита вагонкой и внутри оклеена обоями — получалась каюта человек на двадцать, если локти за столом не расставлять. Тут, конечно, и не нарасставишься, тут стружку дерут, с кого деревянную, с кого железную, а с кого и бетонную. Служебный кабинет в Переборах послужил лишь для добровольного недельного заключения, а так все больше здесь, в рабоче-строительных массах. И это сознание своей власти и своей необходимости окончательно выветрило черный пришлый дух — распахнув обычное двустворчатое окошко, он заглушил свой стыд на первой же остановке:

— Куда прешь, пошехонь?!

Дамбу насыпали до шестисот гужегонов, — а всего на стройке было до шести тысяч лошадей, — и, понятно, схлестывались оглоблями и даже кнутами. Сейчас была та же картина — лотузили друг дружку, не желая уступать дорогу, хотя на рабочих графиках были строго расчерчены спуски и подъемы, пустые и груженые ездки, так, чтобы потоки лошадей нигде не пересекались. А они вот, как водится, пересеклись, и потому в дело пошли кнуты. А сзади напирали все новые и новые морды, и лошадиные, и человечьи, — не приведи, господи, какие!

— Где прораб? Почему анархия? — воззвал Рапопорт через окно и тут же его захлопнул: „Ясно где! Оттуда не возвращаются!"

Веселое бешенство накатило, прямо-таки начальственное!

— Миша, давай помпу.

У Миши уже и шланг в руках, с медным, блестящим наконечником — пожары кругом полыхали, приходилось отстреливаться. Теперь вот и не от огня — от морд запойных. Миша знал свое дело — так и засвистело прямой наводкой! Вздыбило-шарахнуло на стороны лошадей, еще круче шарахнулись возчики, и кнуты побросав. Даже сквозь закрытое окно взревело:

— О-он, че-орный!..

А катер голубенький, веселый, только что к навигации покрашенный. Вот дурачье!

— Миша, ведь от меня теперь все разбегутся?..

— Как не бежать, страшидло! — ухмыльнулся Миша, выключив помпу и взяв опять рулевое колесо.

У бетонщиков повторилось то же самое, хоть близко было не подойти, — прянули от катера, как от зачумленного. Пришлось вы-

тащить матюгальник и выйти на палубу.

— Прорабов — ко мне!

Его, конечно, услышали, да и увидеть увидели, — стали помаленьку собираться. Тут не дамба, тут сама плотина, десяток прорабов, каждый со своей ордой, крутятся день и ночь. Но заявились только четверо, и можно было не спрашивать — где остальные, да и эта четверка топталась на берегу, на катер идти не хотела, хоть оборви весь голос. Рапопорт самолично сошел вниз, чего никогда не делал, уважая дисциплину.

— Так, поредели вы... — начал он совсем не с того, с чего начинал летучие планерки в своем походном кабинете.

— Поредели, — был ответ.

— Поседели...

Что за чертовщина! Тридцатилетний прораб, краса и гордость всей плотины, и в самом деле тряс седеющей головой...

— У него жена проектировщица, — опять неслужебным тоном сообщили начальнику строительства, которому в иное время не было, естественно, никаких дел до прорабских жен.

Чтоб не вспылить, он старательно уткнулся в подсунутые ему под нос чертежи. Опять яснее ясного... Раз проектировщица, так с документами, поди, и секретными. Он некстати вспомнил свой железный шкаф, инженера-котельщика и его безумно красивую Сарру, раздиравшую платье, — пришлось оглушить криком не только прорабов, но и себя:

— А вы трепитесь больше! Вы сопли развешивайте! Разве не ясно? Сдвоить участки и прежним темпом продолжать работу. Мало ли кто за каким отсутствием... — все-таки сбился он с голоса. — Мало ли! Бывает! Не стоять же стройке из-за этого! Берите себе соседние участки... и не разводите антимонии! Более конкретно заместитель разберется...

— Не разберется уже... — каким-то женским голосом пропищал седенький прораб и заплакал.

Это было ни на что не похоже — плачущий прораб, которому к сотне вольных пошехонцев придавали еще сотни две-три заключенных. Конвоиров боялись, а на прорабах отыгрывались. Недели не проходило, чтобы ведро с раствором на голову не вздели или в бункер с бетоном „нечаянно" не столкнули; тут и конвоиры вроде как подыгрывали, в самых горячих случаях оказывались где-то в стороне. Да ведь и то сказать: на каждого по штыку не поставишь. Собственными кулаками отбивайся; народ отпетый, кулаки уважали. Если уж назвался здешним прорабом, так какие слезы! Рапопорт зло и пренебрежительно цыкнул сквозь зубы:

— Чистоплюи!

Но заместителя-то, как и главного инженера, он и в самом деле сегодня не видел...

— Ночью увезли, на последнем катере. На закуску, — попробовал развеселить своего начальника вездесущий Миша.

Но нарвался на тот же окрик:

— Ну ты, ладно! Давай!

Мишу не стоило учить: уже закручивал крендель и отлетал на стрежень.

Рапопорт плюхнулся на диван — единственная роскошь в плавучем кабинете. Без дивана пропадешь от бессонницы. Но сейчас какой сон? Добро, на пять минут отрешиться от плачущих прорабов и запропавших заместителей...

Нет, глаза не закрывались. На столе кто-то старательно разложил газеты и целые куски отчеркнул красным карандашом — как магнитом притягивало...

„Техника без политики мертва. Инженер, чуждающийся политики, даже овладевший техникой, не будет иметь авторитета у рабочих и не сможет мобилизовать коллектив на борьбу за новые победы. Таких аполитичных людей..." Ясно, что делать с такими людьми! **„Органами НКВД шпионская банда была ликвидирована..."** Вот славные ребята!

„За грубейшие политические ошибки, связанные с право-троцкистским уклоном, Пленум Ярославского обкома ВКП(б) освободил секретаря Зимина от занимаемой должности. В работе Пленума принимал участие зав. Отделом руководящих парторганов ЦК ВКП(б) т. Маленков". Вот и сюда докатилось!

„Трудящиеся Рыбинска заявляют: „Фашистские наймиты и презренные диверсанты будут уничтожены!"

„Рыбинский горком комсомола исключил ответработника Сморчкова за связь с врагами народа..." Совсем, совсем уж рядом, за рекой.

„В Рыбинске саботируют торговлю. Портвейн, кагор и некоторые другие наиболее ходкие сорта вин в продаже отсутствуют. С перебоями поступает трудящимся водка, хотя в стране она есть. Вредители делают все, чтобы сорвать снабжение трудящихся. Выбить их под корень!" Верно: под корень, под корень их...

Постановление „О работе водного транспорта" на этот счет сомнений не оставляло: **„Наркомвод обязан, разоблачая и выкорчевывая остатки вредительских элементов на водном транспорте, смело выдвигать новые кадры работников".**

Все ясно и понятно... вот только к какому Наркому, старому или новому, обращены эти слова? Наркомовский „Плес", которого все ждали с таким нетерпением, пришел безымянным и ушел неопознанным. На пристанях и причалах все позалезали в щели, как крысы — попробуй выкури! Баржи с цементом, пришедшие с низовий Волги, стояли неразгруженные, крепежный лес на воде, гравия осталось не больше, чем на день, за металлом хоть в сельские кузни беги... Портовые краны уныло свесили головы в Волгу, а шекснинские и вовсе неделю не разгибались. Тишина стояла над обеими реками, необычная тишина.

Газеты с левой руки полетели в сторону, а правой, испуганной, опять сложились в аккуратную стопку. „Порядок чтоб..." — оправдал себя начальник Волгостроя и усидеть за глухими стенами не мог.

— Миша, чего стоим?.. — выбежал он к рулевому.

— Землесос раскорячился, товарищ Рапопорт, — вроде как и обрадовался Миша остановке.

На землесосе, тарахтевшем возле дамб, переставляли плети трубопроводов и что-то там не учли — трубы сорвало с якорей и на поплавках разворачивало поперек Шексны. На той стороне уже собрались пароходы, дудели, но что толку! Дамбу намывали и так в час по чайной ложке — заключенные тачками больше насыпали, — а тут вдобавок и трубы растеряли по реке, жди, когда переползут на новое место и все в прежнюю плеть соберутся...

Но больше всего возмутила обстановка на самом землесосе: там шла постирушка, на веревках поразвешивали все свое добро, штаны и рубахи позакрывали даже лозунг, — край только суриком отсвечивал: „...Сталинскому Наркому товарищу Ежову!“

— Почему штаны?! — без мегафона рявкнул Рапопорт.

— Так грязные, — услышали его, но ответили без особой радости.

— Трубы! Трубы почему распустили по реке?..

— Начальника участка нету, некому руководствовать...

— Утопили, что ли, по пьянке?

— И по трезвости тонут...

Торчать здесь — только авторитет свой терять. Уж если трех капитанских матюгальников, объединенным хором славших проклятия на всю Шексну, не слышат эти постиранные души, так один голос, пусть и начальственный, все равно не проймет. Дело ясное... что делать нечего! Пульпопроводы перетаскивает на новое место береговая команда, подчиненная начальнику участка, а где он, начальник?.. Лучше уж себя и не спрашивать!

— В Переборы, Миша.

Как ни вышколен этот Миша, а удивился:

— В Перебо-оры?..

Рабочий день только начинался, и рассиживаться начальнику строительства в береговом кабинете не приходилось. В конце концов, есть диспетчерская. Диспетчера дежурят круглосуточно — связаны со всеми участками телефонами и селекторами. У диспетчера несколько помощников — в любую минуту должен знать, как укладывается бетон на плотине и шлюзе, сколько прибывает вагонов и барж с гравием и песком, лесом и металлом. Начальник Волгостроя — не стрелочник, чтоб сидеть на берегу и туда-сюда передвигать скрипучие строительные рельсы. Случись какой аврал, к катеру панически подлетит моторка — глотки до ушей, во! Сейчас на берегах и Волги, и Шексны тихо; но в том-то и дело, что тишина эта хуже авральной матерщины...

Катер застрекотал обратно. С точки зрения рулевого Миши — начальник встал не с той ноги. Мало шуму, много уговоров. С начальником творилось что-то непонятное.

— Совещание у меня, Миша, — соврал он самое подходящее.

И хоть провести Мишу было трудно, тот ответил покладисто:

— Оно, конечно...

Катер вынесся в устье Шексны, повернул направо, потом налево — и вот они, Переборы, ставшие штабом стройки, а точнее сказать — табором, ибо это старинное волжское село — уже и не село, а истинно цыганское пристанище. Сельские приземистые дома заставлены, загорожены вагончиками, списанными баржами, бараками, едва выглядывающими из берега полуземлянками... и двухэтажными, вполне хорошими домами, даже крашеными, один из которых и был этим самым штабом Волгостроя.

Там ждала его приятная весть, — вот уж о чем и не подумал бы, — вернее, сам вестник, с чемоданчиком у ног и направлением в руках.

— Инженер? Строитель? — едва взяв бумаги, понял он.

— Пока что дипломник-практикант, — скромно потупился держатель бумаг.

Хорошо, что и на него нагнали страху. Как оказалось, и страху-то похвального: не „Плес“ наркомовский, а начальник Волгостроя в струнку вытянул. Практикант только что прибыл, знать не знал здешней катавасии, робел по студенческой привычке.

— Фамилия? — не стал и смотреть бумаги. Все заранее решил.

— Свищев, — был скромный и спорый ответ.

— Имя?

— Гурьян Иванович.

И это хорошо, что с отчеством, инженеру без того нельзя. „И отчество хорошее“, — вспомнил он список, собственноручно почерканный и переданный кадровику, и задумался, поскольку у самого с отчеством было не все в порядке...

Но какие у майоров отцы! Его иначе и не называли, как „товарищ Рапопорт“; тут и отчество, тут и должность, и немалая. А рядовому техрабу нельзя без рядового отчества, это уж понятно.

— Значит, инженер?

— Практикант, товарищ Рапопорт.

Вот, сразу понял обращение! Таких надо ценить.

— Не практикант, а инженер. Заруби это себе на носу, Свищев. Будет практика — будет и диплом. Сдашь заочно.

— Но я, товарищ Рапопорт...

— Да, а ты пока только Свищев. Дипломную работу приму я, диплом тебе сюда вышлют. Некогда взад-вперед разъезжать, мне инженеры нужны.

— Так практикант я, товарищ...

— Да, я товарищ Рапопорт, а ты — Свищев. Просто Свищев. Слушай, что говорят. Теперь — не практикант! Теперь — инженер! Даже... даже заместитель начальника! Приказ! — крикнул он тем, решительным, голосом, когда секретарша пулей влетала.

Признаться, и для него решение вышло слишком скоропалительное. Но выбирать не приходилось: не было вестей от главного инженера, а от заместителя и ждать не приходилось... Соседний кабинет, поменьше, пустовал. И Рапопорт теперь уже знал, что этому кабинету не наполниться прежним хозяином: толстяком, обжорой и бабником к тому же — потому и нагнетал всякую враждебину, понимая, что только так и можно отвязаться от тени добрейшего и умнейшего инженера, не из-за сердцеедства же своего увезенного на злосчастный „Плес“, хоть и не без того был покойничек... „Чур, чур меня, мама!“ — вскричал Рапопорт, дойдя в своих рассуждениях до этой чудовищной мысли о человеке, которого видел еще вчера, между питьем валерьянки и питьем коньяка, — правда, уже без лица и без брюха, и даже без платочка интеллигентского в нагрудном кармашке, что само по себе пророчило кончину петербургскому снобу; он и на этой лагерной Шексне всем говорил „пожалуйста“ да „спасибо“. Он и вчера с того начал: „Не беспокойтесь, пожалуйста, все обойдется. Мы инженеры, наше дело строить, а не политикой заниматься...“ Представьте, не себя успокаивал, а начальника Волгостроя, хотя и собственное-то лицо уже потерял. Ах, чудак, ах, милый чудак! Заходил он, пожалуй, уже после коньяка, потому что все смазалось в памяти, как на плохом чертеже. А разве терпел

заместитель плохие чертежи? „Хлеб может быть подгорелым или сырым, а чертеж сырым быть не может“, — говаривал он в наивной запальчивости, отсылая обратно проектировщикам их скоропалительную мазню. Без чертежей простаивали объекты, а он требовал дотошной точности, — не раз и не два росчерком своего пера срывал планы. „Вот за что, вот за что поплатился!“ — уже и не оправдывал его, как прежде, Рапопорт, а только немного жалел. Но и при виде молодого, пышущего жаром практиканта жалость паром исходила. Знал уже, этим молокососом Свищевым „спасибчика“ не заменить. И чтобы уж совсем отделаться от жалости, опять завалил ее вопросами:

— Родом откуда?

— А отсюда, с Шексны, товарищ...

— ...Рапопорт, да! Но причем тут Шексна?

— Так я на ней родился. Там, повыше, возле Мяксы, только на другом, на правом берегу.

— Ну, дела, ну, дожили, ой, мама! Даже в Мяксе, как грибы, растут инженеры!

— Не в Мяксе, а на другом, говорю, берегу, возле Ольховской пристани...

— Во-во, и в Ольховке грибы!

— Недолго им расти, Ольховку ведь тоже затопят...

— Вот и хорошо, меньше комаров будет.

— Да уж комаров у нас хвата-ает!..

— Вот я и говорю: топить комаров надо. Не жалко?

— Жалко, да что делать, товарищ Рапопорт?..

— Да, что делать... — опять не о комарах, а о прежнем заместителе подумалось. — Дело! Работу! — заглушил Рапопорт тоску все тем же криком, от которого и лягушки, вылезшие поглазеть на стройку, обратно в воду слетели.

Практикант выдержал крик, последний уже в нынешнее утро. На душе у Рапопорта при виде этой пушистой, белобрысой физиономии отлегло и успокоилось.

— Я давно завтракал, а ты, конечно, и без ужина... Да знаю, что не ужинал! — отмахнулся от возражений. — Пелагея, есть!

Кто уж этой вальяжной секретарше — вернее, старшей над тремя другими машинистками — дал растяжное имечко, но дал к месту и к смыслу: хозяйственна была главная секретарша. Поднос — как по заказу, с пыхтящим фарфоровым чайником, со всеми чайными причиндалами и даже с горшком огнедышащей каши.

— Я на этих стройках уже пожег желудок, с каши гречневой начинаю да с молочка, а ты, Свищев, налегай на колбасу. У заместителя ноги должны быть крепкие. Налегай, говорю!

Вот и позавтракали — где под окрик, где под насмешечку. Пусть заместитель привыкает. У них бывает и не такое — бывает, что и лягушки из Волги в Шексну сигают...

Но все-таки хорошо, что этот белобрысый пошехонец еще непуганый!

III

Непуганость и в самом деле служила Гурьяну Свищеву добрую службу. Он не знал, что такое страх, что такое оглядка. Жил себе да и жил, как бог на душу положит; проще сказать, молодые годы тешил. Время стояло весеннее, теплое. В одну сторону пойдешь — слева играет Шексна, справа Волга попевает; в другую — слева капитанским колоколом кричит Волга, а справа Шексна плотогоном откликается: э-ге-гей!.. С той и другой реки, как льдины в половодье, по утреннему туману стекали белые пароходы; туманы стояли густые, сочные, и пароходы выходили как из покраски. Ничего удивительного, навигация только начиналась, еще не обшарпались; вот пройдет месячишко-другой, тогда заскрежещут ободранными боками, застонут свежими заплатами — капитаны схлестывались на узкой реке, особенно на Шексне, как нахрапистые гужегоны. А сейчас пока пароходы красовались в парадной весенней форме. Наркомов не было, но что им наркомы! Само по себе приятно — плыть по светлой реке хоть пароходу, хоть человеку. Палуба железно поскрипывает, а у пассажира самые майские мысли. Гурьян из Москвы пароходом спускался, не забыл, как и у него весенними льдинами позванивала оттаявшая студенческая душа. Даже мели и перекаты, на которых впустую бил плицами старенький пароход, еще дореволюционной компании „Самолет“, не могли сбить восторженного ожидания. За каждой излучиной, за каждым поворотом екало сердце: вот-вот, оно!.. А что там такое — и сам себе не мог объяснить. Несли его из Москвы вниз по Волге к Рыбинску неполные двадцать три года да двадцать потрепанных рублей, заработанных в Московском порту на погрузке баржи с цементом, идущей, кстати, тоже в Рыбинск. Всю дорогу, все два дня так и казалось: сзади на связке тащится и кособокая баржа — студенты бузовали бочки с цементом, как шальные арбузы, покатом и поедом, под сухую корочку, и потому больше перепало на причальный борт; заметило начальство, когда уж денежки захрустели в карманах, денежки, перед погрузкой брошенные истинно на бочку, последнюю счастливую и особенно легкую бочку. Ничего, с наклоном и подклоном — доплывает баржа! Напрасно было кричать капитану, чтоб выровняли борта, — студенты уже подравнивали белыми сайками свои собственные, отощавшие бока. За время беспечальной речной дороги они еще нагулялись, и на перекатах такие, как Гурьян, спрыгивали в воду и, облепив борта, толкали пыхтящий пароход. Воды было по брюхо, в иных местах и по колено. То-то радости! Девицы тоже сигали в воду и, подтянув платьица, визжа на всю Волгу, лутошились у кормы; что верно, то верно: приятно вспоминать... Межень еще не наступил, а вода уже скатилась; мелела Волга, завихрялась на перекатах. Да и капитан был лутошного девьего пола, хоть в мужской фуражке: кричал не меньше своих московских помощниц, тоже ехавших на практику, только в Горький. Другие пароходы, и даже груженые баржи, ничего, проходили — все-таки ведь не летняя вода, повыше, — а у них сплошные перекаты. После-то догадались: практикантка вела пароход, а капитан-наставник отлеживался в каюте, и только когда уж совсем становилось невмоготу, вылезал и толстым брюхом ворчал: „Ничего, здесь и потонуть-то нельзя, практикуйся пока до Нижнего“. Имелось в виду, что там уже Волга будет глубже и покончит его

беспробудное спанье. А по мнению очнувшегося от студенческой дури Гурьяна — и месяц, и два можно было бы вот так практиковаться... Во все уши похохатывал в рубке капитан конопатой девьей породы, раз за разом сажая пароход на мели, во все подольчики плахтались в воду веселые помощницы, истинно веря, что только их усилиями и ползет пароход, во все свои парадные штаны пузырились услужливые кавалеры, толкаясь под ручками нижегородских практикантш, которые обиженно визжали: „Мы не Нижние, мы Горькие!“ Ах, как голосисто откликалась на их содом солнечная Волга!

Но и Шексна оказалась не хуже. Гурьян жил уже в Рыбинске которую неделю, а все еще шлепал студенческими плицами по быстрине и перекатам. Вроде и дело находилось — со стройкой знакомиться, вроде и безделье еще не надоело. Он уходил вверх по реке, где было не так разворочено, и думал: „Надо же, заместитель начальника, да еще и военного!“ Это свалилось, как летняя грозовая туча: бухнулось, пролилось, ошлепало грязью... и только радости прибавило. Реальная жизнь, если и встречалась на пути, как-то не воспринималась. Поигрывала на плесах Шексна, гудели пароходы, все надсаднее и труднее поднимаясь вверх, — лето и мелководье брали свои права, — а у него в голове сплошной утренний туман. Конечно, начал уже знакомиться с проектами, конечно, и строительные несуразности стучались в душу, но это не больше, чем на студенческих лекциях; жизнь манила, Рыбинск звал, и Шексна завораживала. Все здесь было свое, знакомое. После десятилетки, с таким трудом оконченной в Череповце, — в отрыве от дома, в интернате, — он сразу же тогда укатил в Рыбинск и целый год ошалело вертелся на здешних берегах, не зная, куда себя деть от телячьего восторга. С десятью классами его рвали нарасхват, но он пристал тогда к диспетчерской порта и все смотрел, смотрел на отплывающие пароходы. Московский канал еще не действовал, билеты продавали железнодорожные; долго не доходило, чего он после диспетчерской смены с таким интересом рассматривает, как разные беспечные люди покупают на вокзале единое слово: „Москва“. Билеты были не дешевы, верно, но не это же останавливало у кассы. Страх неизбежных перемен... В конце концов он понял: заштатный Рыбинск не для него! Так началось первое путешествие в Москву, оно же и единственное: на каникулы Гурьян не ездил, все летние месяцы прирабатывал на московских пристанях. Дело здоровое, веселое и полезное: жить хотелось, а какая жизнь на сухой стипендии?..

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду денежки, друзья.
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.

Между погрузками-разгрузками и к гитаре пристрастился, попевал. Милое это дело — после тяжелых мешков, бунтов, ящиков посидеть где-нибудь в портовом закутке за пивом и побренчать, словно и сам бог не брат. Его не огорчало, что в отличники никак не выбивался; серединка на половинку, а жизнь-то светлая. Не озадачивали и письма из дома, слезливые, как здешние сыры. Череповец, Шексна, а тем более уж районная Мякса, отвалились куда-то по другую сторону жизни, на самое ее заштатное дно; он считал себя вполне столичным жителем, и если еще не приженился где-то на Воздвиженке — так выбирал, все невест московских перебирал, он такой, он не падкий на дармовщинку. Невеста — она должна лечь на плечи, как генеральское звание! Понаслушался, понасмотрелся — всерьез на свой будущий диплом смотрел; уж если строить, так строить не бараки где-нибудь на Беломорканале, а столичные дворцы. Даже направление в Рыбинск, на преддипломную практику, которое можно было истолковать и насмешкой, он воспринял с беспечальным спокойствием. Три месяца откантуется, а там хоть на Воздвиженку, хоть и в Сокольники. С приветиком и дипломчиком! Встреча с полусумасшедшим (так он без обиняков и подумал) начальником Волгостроя и внезапная должность заместителя — кого угодно могли сбить с толку, но только не Гурьяна Свищева. Десять минут растерянности, пять минут раздумий, а там и готовое решение: „Вот, паря, удача!“ Сама в руки шла. Как можно было упускать?

На удивление, все так крепко и счастливо связывалось: и работа, и должностные денежки, и дипломный проект. Он бурчал, когда институтские тюфяки, как бы за его пристрастие к портовым погрузо-разгрузкам, всучили эту гнилую тему: „Перенос и расселение малых городов“. Тема была пустая, отвлеченная и одинаково годилась, — лучше уж сказать, совсем не годилась — и архитекторам, и инженерам. Но побесившись ночь в порту, за мешками с крупчаткой, он нашел и несомненную выгоду: тут не требовалось глубокой разработки, тут можно было удовольствоваться общими соображениями, крупными планами и схематическими чертежами. Страсть, как не любил чертежи! Все эти кульманы, ватманы, рейсфедеры! С ума сойдешь от скуки. Занятие для старых дев, а не для молодых, здоровых мужиков. Мужикам нужно что-нибудь этакое масштабное, весомое, понятное... вроде мешка с таранью! Именно на мешке с таранью, уже во втором часу ночи, он и решил все с той же беспечальностью: „Ей-бог, не буду отказываться! Не практика, а речная прогулочка!“

Так оно и выходило: достался ему в наследство от прежнего заместителя катерок, даже с маленькой двухместной каютой. Собственно, большая волжская лодка, снабженная мотором и укрытая по корме вагонкой. И хоть в каюте было не свободнее, чем в железнодорожном купе, вдобавок еще и ниже, не разогнешься, но был столик для чертежей и была крыша над головой. Чего же лучше? С мотором он сам быстро разобрался — прежнего моториста замели вместе с хозяином — и теперь летал взад и вперед по Шексне; на Волгу пока выходить боялся, там большое движение, подомнут. Шексна тоже тесна для всех этих пароходищ, барж, и особенно плотогонных связок, но все-таки не так суетлива. Можно было и осмотреться.

Вот он и осматривался, лихо бороздя шекснинские плесы. Его не слишком беспокоили. На стройке, оказывается, было много опытных, дельных инженеров; как их ни чистили, они, будто трава-рогоза речная, вырастали вновь и вновь. Поначалу он удивлялся, а потом и удивляться перестал. С окончанием

Днепрогэса, Магнитки и Беломорканала Рыбинский гидроузел — так он именовался в документах — становился чуть ли не главной стройкой пятилетки. Кроме лампочек, за этим крылось что-то такое, что не Свищевым же решать. В баламутных студенческих общежитиях он и не задумывался о сути происходящего на берегах его Шексны перемен — если не в порту, так таскался на девишники к соседним библиотекаршам да со скукой зубрил сопромат; теперь и подумать не мешало, и даже послушать, о чем под тремя одеялами шепчутся тертые инженеры. Выходило, электростанция хоть и не малая, да ведь не бог весть что после Днепрогэса-то, — всего триста тридцать тысяч киловатт; больше из его родимой Шексны выжать не удавалось. Стройка на электростанции не кончалась, а только начиналась и простиралась по Волге до Углича и по Шексне до самого Череповца, даже его шлюзы, шлюзы старой Мариинки, волной захватывая. Глубоководный путь с Волги на Балтику и на Муром — вот что прежде всего интересовало тихих и неразговорчивых военспецов. Иногда они носили форму, иногда и пиджаками пошоркивали, но их указующий перст был неизменно нацелен на Север, вдоль забитой людьми, как льдинами в половодье, совершенно распотрошенной Шексны. При такой малой мощности станции общий объем работ Волгостроя превосходил Днепрогэс и Беломорканал вместе взятые. Значит, все сводилось к водным дорогам? Этот-то счет — даешь крейсерскую глубину Волгобалта! — и был мерилом всего сущего. Гурьяна не учили ни речному, ни тем более морскому делу, учили на прочные фундаменты ставить прочные стены, только и всего, но он по щенячьему любопытству на одном совещании у Рапопорта, когда обсуждали вопросы очистки поймы, возьми да и спроси:

— У парохода осадка не больше метра, а у крейсера, интересно, сколько?.. На восемнадцать метров поднимается вода! Говорят, и подводная лодка пройдет?

Надо было видеть лица инженеров, и особенно каких-то военных начальников, — на этот раз их было трое, и все в форме, — надо слышать было утробный стон Рапопорта и оценить его выдержку: никто не стал отвечать на глупый вопрос, и совещание понеслось еще быстрее, совсем уж вскачь. Собственно, технические вопросы оказались простыми: вырубить в пойме четыре с половиной миллиона кубометров леса, поднять и вывезти столько же примерно торфа, чтоб он после не всплывал, ну и выселить с берега 220 тысяч пошехонцев, в том числе и отца с матерью Свищева, чтоб они тоже движению пароходов не мешали. Что еще? Снести полностью город Мологу и многие райцентры, а остальные города — Углич, Весьёгонск, Пошехонье, Калязин, Кимры, Череповец, Мышкин — частью переселить на коренные нагорные берега, частью обваловать дамбами. Мосты, конечно, поднять до нового уровня воды, и не только на Волге — у Череповца, даже на приточной Суде, поскольку глубоководный путь следовало прочертить неукоснительно. Споров тут не было, да и быть не могло. Вопрос упирался только в одно: где взять людей, чтобы снести восемь районов Ярославской области, по четыре отхватить у Вологодской и Калининской, да и в Московской целый районишко притопить? Ради этого и сидели тихие военные: у них были люди, а если убавлялись в числе, сейчас же присылали новых. Инженерам оставалось только планы начертить да участки правильно разбить, чтоб сутолоки не происходило. Командовали, конечно, военные, а инженеры поддакивали, потому что с вольными пошехонцами им и за сто лет было не вычислить дно будущего моря, — ведь оно расплещется на целое государство! Вот и решали, по многолюдности в береговом кабинете Рапопорта, — кому какой лагерь обеспечивать; техническое руководство, само собой, — баландой занимались другие люди. И рассуждать тут о глубоководном пути из варяг в греки не приходилось, тем более уж о крейсерах и подводных лодках. Рапопорт прогнал совещание прямо по кочкам, а после повертел пальцем у своего крученого виска и сказал:

— Ну, Свищев? Хорошо, если ты в рубашке родился...

Размышлять насчет этих иносказаний Гурьяну пришлось не больше десяти минут — пока прощались-разъезжались, многие под Череповец и Пошехонье, — а там, не успел он усесться в своем кабинете, и вошел к нему один из таких, навечно опечаленных.

— Пока побеседуем в вашем кабинете, Свищев. Может, и ничего, может, и обойдется, — без обиняков высказал он свое пожелание.

Лицо у него было бледное, нездоровое, видно, что несладко жилось человеку, и Гурьян, по молодости совершенно не думая о себе, пожалел его:

— Да вы не изводитесь уж так. Если я чего с глупости ляпнул, так не нарочно же.

— Верно, что не нарочно, потому и зашел я к вам. Но все же?..Каки-ие крейсера, каки-ие подлодки? От кого вы это узнали, Свищев?

— Да так, свои доморощенные предположения...

— Думаете, без вас некому предположить — что делать и для чего делать?

— Да нет, что вы! Позаболтался, уж верно... Я еще и месяца не работаю, откуда мне знать? Вы подскажите, а уж я со всем моим спасибочком!.. — по-школьному привскочил Гурьян, начисто позабыв, что он в кабинете заместителя начальника.

— Хорошие слова, — похвалили его, как замаливающего свои грехи ученика. — Значит, так и договоримся, Свищев: лишних вопросов не задавать, а если что непонятно...

— Да, да! — радостно подхватил Гурьян. — Я с вами буду советоваться.

— Это само собой, — вроде как улыбнулись синеватые губы. — Но не помешает и подписка о неразглашении тайны.

Гурьян взял отпечатанный на машинке — вот оперативность, за десять-то минут! — синеватый, под цвет лица, листок бумаги и прочитал:

„Я, Свищев Гурьян Иванович, имеющий доступ ко всей проектной и технической документации Рыбинского гидроузла, обязуюсь хранить доверенные мне документы в строжайшей тайне и не выдавать служебных секретов ни своим подчиненным, ни своим начальникам. Подпись..."

Гурьян с облегчением расписался.

— А можно последний вопрос?

— Если последний, то можно, — теперь уж

по-настоящему улыбнулись синеватые, как и сам листок, негнущиеся губы.
— Все такую подписку дают?
— Не следовало бы поощрять любопытство, да уж ладно, скажу: все, от кого требуется.
Вот так хорошо и расстались. И тогда-то он пообещал уже сам себе: „Ты, Гурьян, из грязи да в князи, ты держись за свое место под солнцем. Тебе надеяться не на кого". И оба свои обещания, и служебное, и личное, держал столь хорошо, что прозорливый Рапопорт даже подивился:
— Если так, ты далеко, Свищев, пойдешь.
Повод для этого был простой: поступили поправки к проекту шлюзовых камер, и он, проставив в рабочих чертежах новые размеры, начальнику строительства ничего не сказал, поскольку было еще не поздно исправить, а тот, обнаружив своевольство, накричал на прораба, а прораб показал подпись заместителя под словами: „Исправленному верить". Поправкам начальник строительства тоже, конечно, поверил, но тогда же и высказал удивление:
— Вот как! Уже и от меня секреты?..
Поправка невелика, всего-то семнадцать сантиметров, но если из-за этих сантиметров в шлюзовую камеру, а следовательно, и в само море не сможет войти какой-нибудь особый корабль?.. Вот то-то! Гурьян почувствовал тяжесть собственных подошв.
А между тем ему приходилось быть легким на ногу: лето требовало разъездов по всей растянувшейся трассе. О том же и начальник строительства, побурчав на эти семнадцать сантиметров, сказал:
— Проветриться тебе надо, Свищев. Послушать, какие песенки поют...
Его правда: заместитель должен знать, что делается на участках, в том числе и на самых дальних. При случае и песенку подтянуть, как распевала прямо с палубы разъездная агитбригада...

Были сборы недолги,
От Шексны и до Волги
Мы шехонь собирали в поход.

Он так и не понял до сих пор — кого называли шехонью: своих ли пошехонцев, приезжих ли лагерников, а может, и рыбку эту, вяленую... но на всякий случай весело поддакнул:
— Будут сборы недолги!
— Вот-вот, — неопределенно похмыкал Рапопорт, предоставляя ему полную свободу.
Гурьян в полной мере воспользовался этой свободой и собирался как истый студент: сунул в чемодан только пару белья, зубную щетку, без зубного порошка, разумеется, и подзавалявшийся дипломный проект; это была все та же тощенькая папка, с тощенькой, пока еще черновой надписью: „Перенос и расселение малых городов". Собственно, эта-то мятая папка и привела его на строительство рыбинского гидроузла, а вовсе не происки факультетского начальства; тему подбросили, может, и с лукавой подначки, но уж решать-то ее в Москве не было никакой возможности. Так что не стоило бы и роптать; тема оказалась настолько нова, что отличники попросту не решились рисковать. А ему, прибежавшему на распределение дипломных проектов прямо с разгрузочной пристани, чего было терять? Ему приходилось соглашаться. Ветром индустриализации малые города, не говоря уже о поселках и деревнях, переносились и сносились и во многих других местах, но тут уж все очень густо сошлось: семнадцать районов выселялось! Руководитель проекта, старикан прямо-таки архисовременный, и настоял на таком решении, и вразумил молодого переносчика городов, чтобы он лынды понапрасну не бил. А переносчик что?.. Не получив еще и диплома, в заместители начальника выслужился! „Вот так-то, мои хорошие", — мысленно беседовал Гурьян со своими однокурсниками, оказавшимися, поди, на побегушках у десятников. Здесь десятники бегали у него на поводках, да что десятники — прорабы взапуски кричали: „Гурьян Иванович, Гурьян Иванович!.." Таинственный наркомовский пароход, перегрузивший в свои трюмы добрую половину ихнего сословия, страху нагнал до потной спины. Все начальство, кроме Рапопорта, считай, поменялось. Прорабы бегали, как ошпаренные, и не замечали подозрительной молодости заместителя. Одно просительно трубили: „Гурьян Иванович, Гурьян Иванович?.." До рубленой, безотказной фамилии, как у Рапопорта, он, конечно, не дотягивал, но имя-отчество — пожалуйте!
Ах, как имечко звучало на родной Шексне! Так эхом и разносилось, так и летело вслед за катером! Катер был, само собой, поменьше и похуже, чем у Рапопорта, но все-таки самоходный, а не весла-разлетайки. И рулевого ему дали, из новых, конечно, но парень, видать, ушлый. Интересно, сколько дней тащился бы на веслах из Рыбинска до Череповца? Жутко даже и подумать! А катерок ничего, скрипит; в первый же день и доскрипел до намеченной остановки, и это встречь течению, до левобережного Пошехонья, которое значилось теперь с прибавкой: „Володарск". И это тоже урок: никогда не называть старинный городишко без прибавки, поскольку товарищ Володарский отдал жизнь за Советскую власть. Гурьян даже шкипера на пристани, подбоченясь, сполна спросил:
— Это и есть Пошехонь-Володарский?
На что шкипер, почесывая разутую ногу, ответствовал:
— Пошехонье, но без всяких-яких Володарских.
— Что-о?.. — вспрыгнул на причал Гурьян и взял разутого шкипера за грудки.
Не стоило гадать, что бы с ним сделал стоеросовый шкипер, даже и разутый, не подскочи рулевой да не скажи:
— Это товарищ Свищев, из особого отдела.
Рулевой попался туповатый, — прежнего забрали вместе с заместителем, — и должность своего нынешнего начальника плохо представлял, но знал, что самое главное — особый отдел. Шкипер сразу на обе ноги обулся и вскочил:
— Я это, товарищ Свищев, ноги в обутке спарил. Должность, товарищ Свищев, такая — торчи на пристани, хочь есть, хочь нет пароходы. Вдруг кто нагрянет, товарищ Свищев?!
И такое почтение было к этому „вдруг", что Гурьян и сам в росте подскочил и уже не попросил, а приказал:
— Ладно, веди меня к начальнику здешнего строительства.
— К Базалишке-то? Он с Тонькой по кустам началит, вишь, время-то сейчас...

Ну, тут уж Гурьян, одергивая гневно гимнастерку, — а надо сказать, что для поездки он разжился у военных очень даже неплохой гимнастеркой, — тут уж и осадил слишком разговорчивого шкипера:

— Время? По кустам? С Тонькой? А почему не с Манькой?!

— Так Манька-то была, да сбежала, вот он какой, Базалишка-то.

Дела начинались прямо-таки неважнецкие. А Гурьян, вместо того чтобы дождаться этого Базалишки, не нашел ничего лучшего, как пуститься вслед за услужливым шкипером... ну и налетел, не в таких и далеких кустах, на красивом таком плесике, на этого самого Базалишку. Мать родная, сколько волосья у одного человека! И ни одной путной одежки, чтобы перед начальством быстро встать в струну. Вдобавок и дуреха эта от суматохи в воду бросилась, а плавать, видно, не умела, и, прежде чем отчитывать Базалишку, пришлось девку за волосья вытаскивать и тоже замочиться маленько. Не служебный, а прямо неясный разговор выходил, потому что Базалишка, приодевшись на парах и очухавшись, полез с объятиями:

— Кажется, свой степушник? Из нынешних дипломников?.. Дай фамилию твою припомнить!..

— Свищев. Гурьян Иванович.

— Вот-вот, вспомнил: Гурьяша! Какими судьбами?

— Всякими, товарищ Базалишка.

— Вот-вот, шутник, я знаю. Это не ты ль на танцульках у библиотекарш, в позапрошлом году, в юбке выплясывал?..

— Я не плясал в юбках, Базалишка.

— Вот-вот, неисправимый фокусник! Ты же, кажется, в артисты собирался?..

— Я собирался в начальники, Базалишка! — начал терять терпение Гурьян, поскольку шкипер похмыкивал, его собственный рулевой таращил глаза на Тоньку, а Тонька прямо на теле выкручивала платье и сама так и сяк выкручивалась.

Надо было сразу сказать — кто он и зачем сюда приехал, но Базалишка не давал и рта раскрыть:

— Попомни мое слово: тоже задипломишься! Я ведь и не поехал защищаться... вот здесь моя защита! — хлопнул он по заду подвернувшуюся Тоньку. — Хороша? Но скажу тебе: в прошлом году была лучше...

— Ах, в прошлом, все в прошлом? — и Тонька встряла и уж коготки на своего любимого навострила.

Видя, что ему не пробиться через этот любвеобильный скандал, Гурьян сел на чемодан, прихваченный для начальственной вальяжности, достал заготовленный для поездки блокнот, вынул из кармана гимнастерки служебную ручку и стал писать:

„Товарищ Рапопорт!

Докладываю: я отстраняю прораба Базалишку, который на дамбах в Пошехонье-Володарском, от дальнейшего исполнения должности — по причине аморального поведения и срыва пусковых графиков. Направляю его в Ваше распоряжение для принятия необходимых мер, а сам следую дальше, к Череповцу".

Он хотел попросту расписаться, но, подумав, с особым удовольствием приписал: „Зам. начальника Волгостроя Свищев".

Неуместная в такой обстановке писанина разожгла и любопытство ссорящихся полюбовников, и они с двух сторон приткнулись к чемодану, но Базалишка первым вырвал листок:

— Ну-ка, ну-ка, не стихи ли моей даме сочиняешь, артист?..

— Стихи. Читай, авось и протрезвеешь. Дамбу я осмотрю и без тебя, Базалишка.

Гурьян помнил проектное расположение водозащитной дамбы, прямиком туда и направился. Но и сотни шагов не сделал, как его нагнал весь взмыленный Базалишка:

— Свищев... товарищ Свищев... я же не знал... я просто выкупался в рабочее время... на дамбе все равно никого нету, потому что ассигнования кончились, а лагерь мне не дают, я докладывал...

— Вот сам и станешь основателем лагеря, — прошел Гурьян по сырой, не утрамбованной, уже разваливающейся дамбе. — С таким прорабом без лагеря никак нельзя.

— Товарищ... товарищ... — что-то хотел возразить Базалишка, но у него в горле стыд, гнев и слезы перемешались, и гнев, наконец, переборол. — Ну, и отваливай, сучий стукач! И стучи дальше! А я, пока суд да дело, с Тонькой помилуюсь. То-оня!.. — протрубил он, как раненный в схватке лось.

Гурьян уходил к катеру, за ним следом рулевой тащил его чемодан, а сбоку бежал шкипер и услужливо поддакивал:

— Да, да, как вы его приструнили! Деньги шалопуту идут, а дела нету. Нетуньки!

Уже на катере, проплывая вдоль дамбы, призванной защитить это Пошехонье вместе с Володарским, Гурьян пытался оправдать себя: „В самом деле, как я его приструнил! О, мнет бока!.."

На плесе, до которого еще не дошла дамба, беспечальный прораб опять обнимал беспечальную пошехонку... и нагонял злую, молодую тоску на заместителя начальника Волгостроя.

Он ушел в каюту, наказав:

— Останови, где лес рубят.

В душной, тесной каюте укачивало, как в детской зыбке, — не забылось еще, помнилось маленько... Плетеная зыбка, бывало, на очепе подскакивала до потолка, если мать была не в духе: как ни реви, как ни бесись, а не устоишь против такой качки, заснешь. Рулевой почище матери вертел, дергал и драл самодельный катеришко, в темной зыбке которого укачивался незадачливый заместитель; рулевой был явно не в духе — не довелось вместе с шалопутным Базалишкой поваляться на пошехонском песочке! Вечерело на реке, огни бакенов зажигались, а он все гнал катерок. Видно, уж после приткнул где-то к бережку, чтоб заночевать. Гурьян этого не слышал, без ужина завалился — душой тоже зареванной, как и в детстве бывало...

Приснился ему странный сон, будто отец с матерью тащат бревно, но мать тянет за комель в одну сторону, а отец за вершину — в другую. И ни туда, ни сюда. Одно время поволокла было мать отца, вместе с его тонкой, хлещущей по ногам вершинкой, но потом отец уперся сапожищами в кочку — и своротил мать в свою сторону, вместе с березовым комелищем. И это так отца расстроило, что он швырнул оземь шапку и вовзрыд запел голосом завалившегося где-то в песок Базалишки:

Мы не сеем и не пашем,
Э-эх, Шексна наша, Шексна!
Со горы платочком машем —
Заливает берега...

Эк его распелся! Берега еще и не думало заливать, еще лес кругом стоял, а если не лес, так пойменный хмызняк. Но отец пел так слезно и обреченно — будто сам себя хоронил. Не выдержав, и мать подтянула:

Со горы платочком машем —
Э-эх, заливает берега!

Мать это вроде как радовало — голос ее так и разливался над Шексной. Она и в самом деле сдернула белый, в голубую горошинку, платочек и помахивала в такт словам, комля своего, однако, не выпуская, умудрилась и одной рукой удерживать. Приглядевшись, Гурьян понял, что тащат они старую, пегую березищу, вроде той, что росла у них под окном, и уж тут оборвал их пение:

„На кой ляд она вам?"

„А на домок, на домок, — ответил отец, порываясь продолжать свое душераздирающее песнопение. — Э-эх, Шексна наша, Шексна!.."

„Ополоумели вы, из березы разве строят?"

„Из березы-то и строят, сынок, — вприпляс пошла мать со своим комлем. — Э-эх, заливает берега!.."

Но берега были все в сплошном девственно чистом березняке. Ну, ни единой же елочки, ни единой сосенки! Как посеянный, ровными, белесыми рядами напирал березняк — куда и пойма отступила! Березовый лес прямо к воде подступал, ряд за рядом, сплошной и небывало высокий, уже перестоявший. Так и топали, слышно, березы по берегу, еще не огороженному дурным Базалишкой и земляной дамбой; так и стонала, рассыпаясь под тяжелыми комлями, эта никем не оплачиваемая дамба. Жуть, какой тяжелый шаг! От этого шага, видно, Гурьян и проснулся.

— Что, что, Миша?!

Вот так уж вышло: у Рапопорта рулевым Миша, и ему Миша достался. Если на берегу сплошь березы, так почему бы и рулевым всем не быть Мишами?..

— Ведь лес, Гурьян Иванович...

Нет, проснулся он все-таки от тяжелой Мишиной лапищи, хотя на берегу и в самом деле что-то топало. Протерев глаза кулаком, он выскочил из будки. Что за оказия! Из лугов, из дальних покосов, расцвеченных островками хмызняка, брела бесконечная вереница женщин, с березовыми хлыстами на плечах. Нетолстыми, пойменными, даже и на дрова-то — от бедности. Каждая несла такой хлыст, сбрасывала на берегу в громадную, уже поднебесную кучу и проходила дальше, порожняком, заворачивая в поросшие рощицами луга. Длинная женская змея извивалась в пойме Шексны и терялась где-то уже вдали, на границе больших лесов.

— Что они делают, Миша?

— Известно что — море чистят.

— Да, но чего на себе-то?..

— А на ком же, Гурьян Иванович?.. Подконвойницы хохлацкие!

Тут только он и заметил конвой, жиденький и вовсе потерявшийся в такой массе женщин. Видно, были тут малосрочные, особо и не охраняли.

Лучше всего и проехать бы мимо — какое уж тут „техническое руководство", — но катерок успел приткнуться к берегу и к нему спешил какой-то засаленный, весь маслено улыбающийся человек. Убей бог, не знал его Гурьян, но человек этот, судя по всему, заместителя признал, потому что тут же доложил:

— Товарищ Свищев, вырубка поймы идет на сто сорок шесть процентов. Работает женская колонна номер семнадцать. Хорошо работает, вот только, товарищ Свищев...

— Что — только?

— Конвойных маловато.

— Бегают, что ли? Это не по моей части.

— Да и не по моей, Гурьян Иванович, — глаза у незваного докладчика блудливо както посверкивали. — Но что делать, приходится! Процент падает. Женщины, известно, требуют обслуживания. Две недели как и прибыли, еще не обломались, прямо беда с ними. Вы у нас погостите? — продолжал он свойским и вовсе не робким голосом. — Для гостей палатка хорошая, а ушицу сварганит любая Оксанушка, на выбор. Есть даже очень хор-рошие голушечки... хоть и подкулачницы, конечно, — добавил он заученной скороговоркой. — Но нам-то, мужикам, что до того? Подкулачница, она даже злее бывает. Прямо замучили, Гурьян Иванович, спасу нет!

И такая жалость темной тучкой набежала на испитое, засаленное лицо, что и Гурьян пожалел:

— Да, да, понимаю, трудновато... Вы кто?

— Был плотогоном, да вот вы прорабом назначили. Спасибо, Гурьян Иванович, век не забуду!

Право, он даже и поклонился. Гурьян вспомнил, что еще в самом начале, в отсутствие Рапопорта, ему приносили для утверждения списки новых прорабов, мастеров и десятников — таинственный „Плес" их продергал тогда, как репку, и плеши сказались, некому было руководить. Он и списки-то не читал толком — все равно никого же в глаза не видел, а вот возьми ты — спасибо заработал!

К нему подходили, ничуть не стесняясь, женщины и с любопытством, просительно, но молча, что-то подсказывали, что-то хорошее и доброе. Были они чисты, необтрепанны и ничем не напоминали заключенных. Вся только и разница — молчаливы больно; улыбками и улыбочками ему намекали: да чего ты думаешь, парень, оставайся, оставайся с нами! Прямо завораживали своими сдержанными, ласковыми взглядами; каждая сулила только свое, личное, а все вместе — как ковер луговой, расстеленный пред дорогим гостюшком. Пестрая, молодая вереница, побросав свои березки, неохотно и лениво раскручивалась в обратном направлении, сминалась, расплывалась цветной одежонкой по лугу, начинала перешептываться, даже попевать что-то невнятное, и женщин никто не останавливал, не подгонял на обратную дорогу. Охранник изредка помахивал рукой, но тоже лениво и несердито — не так, как помахивали охранники в Рыбинске, кулачищами. Здесь все было по-домашнему. Чего отворачиваться? Заметив скрытое недовольство на лице приезжего начальника, охранник неробко и несуетливо пояснил:

— Куда им бежать? Фактически расконвоированные. По три года для острастки, какой-то бабий бунт учинили на „ридной Украине", за мужиков, что ли, заступались. Вот и при-

гнали нам на радость. Самый приятный лагерь, живут в деревне, уже брошенной переселенцами — триста пятьдесят шесть бабёх... и нас пятеро! У них с начальством мир на круговой поруке, работают исправно и никуда не бегут. Только обхождения мужского требуют. Трудно нам, трудно, хоть и начальство помогает. Э-э, да у них там своя запарка, в Переборах-то. Оставайтесь хоть на ночку, все-таки двое вас. Подмогнете! Чего зря добро терять.

Рассудительный и бывалый попался стражник, понимал, что это хоть и начальник — да из другого ведомства. Церемониться с ним нечего, но приласкать тоже не мешает, чтобы не донес по зависти с ихней такой хорошей жизни.

Кивнув неопределенно, Гурьян прошелся по берегу. При его появлении вереница женщин замедляла шаг, березовые хлысты сбрасывали явно с вызовом и после волосы оправляли, высоко и зазывно поднимая руки. Понятно, раз недавно прибыли и еще не изработались, одна к одной хохлушки, многие в плахтах цветастых, незастиранных. Но по теплому времени большинство с одеждой не церемонились: юбчонка какая-нибудь, кофтенка, да и та часто снятая — на плече под хлыстом, для мягкости, а груди под нижней рубашонкой и не держатся. Да и жарко, хоть и посильная работа. Березки не толще женской руки — с уросших покосов; которые в тяжесть — так по двое берут. Дело у них было устроено разумно и споро, видно — не из-под ружья. Единственное, что отличало от обычных работных женщин, которых в Рыбинске тоже как сорожки в Шексне, — какая-то глухая, неизбывная тоска. Они и улыбались, и бедрами при виде молодого мужика поигрывали, а все равно смотрели гаремницами. Мерещились при виде их темные татарские времена, с загонами для свежих пленниц, чтоб на всю сотню или тысячу хватило без обиды. Только тут и загона-то не было — волюшка вольная. А все равно глаза уже помертвели, как их ни повертай в стороны. Гурьян не мог долго вынести этих бесконечно сменяющихся, однообразно заискивающих взглядов и резко отвернулся от женской мятущейся вереницы.

Охранник посочувствовал:

— Да, да, нелегко с непривычки. С одной-то лучше, чем со всем этим стадом. Больно уж истомившиеся!

Гурьян с ним связываться не стал, а подступил со своим блокнотом к доморощенному прорабу:

— Как твоя фамилия?

— Позабыли? — все еще ясненько улыбался прораб. — Иванов я, Иванов, чего проще. Оставайтесь, я уже послал варить ушицу, а золотую рыбку на закуску сами выбирайте...

Не слушая его дальше, Гурьян строчил привычное:

„Товарищ Рапопорт, я отстраняю прораба Иванова за аморальное разложение от занимаемой должности и передаю его на ваше усмотрение. Заместитель начальника Волгостроя Свищев".

На этот раз подпись он поставил без всяких раздумий и вырванный листок передал прорабу:

— Сегодня же отправляйтесь в Переборы.

К лодке он бежал бегом, так что и Миша не поспевал, посмеивался:

— Да всех-то нам, конечно, не осилить, а парочку чего не прихватить на борт? Покатаем по Шексне-реке... хи-хи-хи... да и обратно возвернем. Охрана здесь добрая.

— Ну, распелся! Давай на стрежень! — велел Гурьян.

К берегу уже бежал ошарашенный прораб, успевший прочитать бумагу, за ним охранник, тот даже винтовку с плеча срывал. Что он этим хотел выразить, шутник, — неизвестно, но выстрел прозвучал над рекой совсем нешуточный.

— Вот и мы беглые! — подхихикнул недовольный Миша, круто заворачивая к противоположному берегу.

Гурьян ничего не ответил. Мысли его теперь шли совсем по другому кругу, в стороне от всех этих несчастных женщин, котов-охранников и замаслившихся от сладкой жизни прорабов. Собственно, от левого берега к правому он свернул не случайно: там и были его родные Заломы...

IV

От Шексны, от большой реки, Заломы отстояли на добрый километр, — на ширину поймы, конечно, потому, что правый берег здесь спускается в луга, — но по речке Заломной все же можно было подняться до самой деревни, и даже до крыльца своего, если повезет. Речушка не случайно же получила такое название: куролесила, ломала все на своем однодневном пути, не приведи господи! Мели да перекаты, омута бездонные да разнесчастные шивера; течь спокойно, как все реки, она не могла, дурила. Впрочем, чего же удивляться — родимая, беспутная дочь Шексны, а уж и саму-то Шексну плотиной приходилось взнуздывать! Были участки, где Заломная и вообще под землю, в поноры, уходила и, поплутав в известковых глубинах, опять бешено устремлялась к Шексне. И хотя поноры те были выше Заломов, да и оголялись только в межень, в низовьях плавали тоже с опаской, со сноровкой и по большой воде. Конечно, вода и сейчас была немалая, но все же...

Нет, очень уж ему хотелось подкатить к дому на лихом катерке!

— Миша, рискнем?

— Рисковать-то у девок надо было, — все еще сердясь за постное бегство, буркнул Миша, однако, свернул в устье Заломной.

— Ладно, мы там и своих найдем, — успокоил его на всякий случай, чтобы на мель сдуру не посадил.

Беспокоиться пока не было причины: Заломная еще не сбросила весеннюю воду и, хоть вошла в берега, посверкивала под стать Шексне — ни одного топляка не проглядывало. Течение, правда, было напористое, идти тяжелее, чем по Шексне; там можно лавировать, от стрежня жаться к берегам, а здесь куда?..

— Брось, Миша, держись середины, — предостерег его от вихляний.

В предвкушении ночевки Миша маленько ожил, посвистывал. И Гурьян ему подтянул, а вышел даже совсем хороший свист — это соловьи к ним присоединились. Чем дальше от беспокойной Шексны, чем глуше в береговой черемушник забирались — тем раскати-

стее посвисты. Жаль, мотор все портил. Разнежившийся Миша предложил было на веслах идти, чтоб уж без трескотни послушать, но Гурьян заупрямился:

— Ничего, давай с ветерком!

Очень ему хотелось на лихачах подкатить к родной деревне, в которой пять лет не бывал, да и уезжал-то с продранными локтями. Теперь и гимнастерка, и сапоги с вещевого склада, и брюки вполне приличные, хоть и не военного образца; на брюки, как и на фуражку, пока пороху не хватило, но все равно вид другой, не деревенский. Если и не командир, так близко к тому — гляди-посматривай! Он даже привстал на носу, задирая несуществующую фуражку, но Миша потребовал:

— Вы на корму давайте, чтой-то вроде как скребет дно.

Гурьян знал, конечно, что может скрести на реке Заломной, — перебираясь по борту и корме, побурчал:

— Нет в тебе резвости, Миша.

— Я же не жеребенок!

Человек без роду и племени, а подметил верно: лошадей уж в ночное гнали, и впереди несся огненно-рыжий вихрь, и всего-то первой весны разлет, — из-под лошади такой же ярко-рыжей и разлетной, которая неслась следом. Гурьян прямо залюбовался! Думал — колхозные, но, приглядевшись, понял: единоличники пылят. Их по Шексне, и особенно по Заломной, набиралось немало, извозом промышляли, а теперь и к Рыбинску в грабари подались; встречал он их там, дивился живучести, но все же не думал, что три десятка таких лошадей еще носятся по колхозной околице. Хотя сомнений быть не могло: сам Тишуня гнал единоличных лошадок, а внучата ему помогали. Тишуне как-то удалось избежать раскулачивания, затаился было, на сплаву да на извозе все эти годы ошивался, в вольной береговой охране, а сейчас, видно, открыто в деревне объявился. Гурьян этого не понимал.

— Что, Тихон, тебя еще не ликвидировали? — не здороваясь, привстал он в лодке.

— А ты шапку перед стариком сними, а потом и спрашивай, — резал Тишуня.

Гурьян непроизвольно лапнул по голой голове, смутился и поэтому озлился:

— Уж тебе-то не след задираться!

— Не след и брату, и батьке твоему, да вот задрались. Н-но, мои кормильцы! — щелкнул он кнутом и ускакал, совсем по-молодому размахивая задубелыми пятками.

Лошади были, конечно, не все его собственные, а целой округи, — после раскулачивания и вторую-то лошадь заводили с большой оглядкой, — но все же зрелище открывалось внушительное: такой табун! Заломы да окрестные деревни — вот и набралось. Тихон был, видно, вроде коновода. Терпели этих лошадей по известной нужде: вдоль Шексны шли государственные дороги, плоты на перекатах постромой таскали, извоз-перевоз по всей области, потребительская кооперация, да мало ли что требовало свободного возчика. Спрятанные в коллективизацию по лесам, лошаденки, видно, порасплодились и помахивали хвостами на всякое-якое начальство. Гурьян недобро посмотрел вслед деревенскому табунщику и только тут спохватился: „Чего он про батьку да брата наплел?..“ Батька как батька: не велик начальник, конюхом работал, кому он нужен, а старший брат в бригадирах верховодил, могло и зацепить... Но мысль его тревожную будто кто под ноги бросил: на рассудительного Мишу с чего-то стих напал, врубил полные обороты, реки не зная... ну и не справился на повороте, вылетел на берег — хорошо, пологий и песчаный в этом месте, брюхо о топляк не распорол.

— Подкати-или... на лихачах... — очнулся Гурьян.

Надо было пешедралом к дому, по заросившейся уже траве. Нечего и думать, чтоб начищенные сапоги сберечь — сразу же обхвостало. Проклиная все на свете, Гурьян побрел напрямую. Форсу не вышло, а вышла мокрота по колена. Только гимнастерка и сохраняла еще рыбинский вид. Ее-то он и одернул при виде кострища, разгоравшегося под вечерней зарей. Сходка не сходка, а голосищи заломные:

— Не поедем, да и все, ребята!

— Правов не имеют — с отечества сгонять!

— То колхоз, то затопление — жи-исть проклятая!..

— За что в гражданскую-то воевали, за что, мужики-и?!

Гурьян увидел своего отца, растрепанного и гневного, хотел подбежать к нему... но передумал и поспешно свернул в сторону.

— Хор-рошие разговорчики! — усмехнулся за его спиной Миша. — На пятилетку, как пить дать, потянут... Правильно, что вы, Гурьян Иванович, сбежали. Мы не видели, мы не слышали.

Все же Гурьян еще раз остановился, наблюдая за гневной тенью отца — на фоне огня страшновато выходило. Размахивая руками, отец кричал:

— Ежели нас переселяешь, так нас и спроси — куда? Нечего за реку Шексну тащиться, лучше в свои леса уйти. На гарях хуторов раскулаченных — сколько места! Туда, бают, вода не дойдет, туда уж если...

От криков этих Гурьян бежал, как чумной, боялся, что признают. Миша еле поспевал за ним, пришлось взять у него чемодан. Объяснять ничего не хотелось, и даже жалость к отцу погасла в вечерней росе. Тупо и одиноко забивал отец в спину какие-то ржавые гвозди — Гурьян уходил по-над рекой от огней, от голосов, от людей. Прибрежный березняк и черемушник и вовсе заглушили звуки. Вдоль реки вилась стежка — место гуляний и тайных перебежек от соседа к соседу; огороды по негласному уговору до самой реки не доходили. Место здесь было сухое, каменистое — поистине запасная улица. Гурьян вполне оценил сейчас эту крестьянскую предусмотрительность. На самой же настоящей улице, за домами, слышались голоса и мелькнули еще два-три костерка, — гудела деревня и не думала укладываться на покой. Не было сомнения, чем это вызвано, — переселением, конечно. По планам, которые черным по белому были расписаны в Переборах, Заломы переселялись на левобережье Шексны, да и не на берег, собственно, — где на всех берегов наберешься? — а километров за двадцать, в глушь Пошехонья; набегом просматривая списки переселенцев, Гурьян даже попытался передвинуть свои Заломы поближе к Шексне, но в Волгострое люди были серьезные, сразу вопросом ожгли: „С чего хлопочете, Гурьян Иванович? Все равно это только так намечено, для га-

лочки. Подъемные получат да разбегутся — и ладно. Лишь бы место пусто, живьем не палить!“ Под такие разговорчики не станешь признаваться, что это твою родную деревню хотят палить огнем ясным... Снабженцы Волгостроя криком на телефонах исходили: „Срочно отоваривайте лимиты на соляр! Нечем очищать ложе!“ Будущее водохранилище то есть. Не было секретом, что мало кто отважится перевозить старые дома — побросают на волю огня. Волгострой — не тройка с колокольчиками, а печка дымогарная, всесветная; огонь, он для очистки старой жизни, как говорили волгостроевские оперы — люди не чета ему, при красных петлицах и при наганах. Одного такого и встретили на задворках, но не при службе — при любовной волюшке: девчонку какую-то подросшую, уже и незнакомую Гурьяну, в приречный черемушник при полном своем параде уводил; пришлых людей он, конечно, видел, но не стал связываться — ласковенько воркуя, под бережок скатился, так что и девчонка на Гурьяна глянуть не успела, где-то уже в черемушнике тихонько пискнула: „О-оюшки!..“

— Наш брат, — завистливо присвистнул Миша.

— Ваш!

— Вот и я говорю, — не понял Миша его раздраженности.

Гурьян проломился плечом сквозь обветшалую загородку — на свое, но какое-то незнакомое подворье. Все было разбросано, раздергано и раструшено по участку, который и при колхозной жизни отец по волоску расчесывал; всюду валялись навозные кучи, тележки, ведра, солома, парниковые рамы, жерди, словно бы ненужные вилы и тяпки, и даже длиннющая поленница, неизменно закрывавшая одну сторону подворья, дальним концом к реке раскатилась. Вот уж чего не ожидал от отца! Каждой щепке находилось свое место, и каждому овощу — своя грядка... Что, еще и картошку не сажали?! Сомнений не было: невспаханным стоял уж основательно обсохший приусадебный участок; дикая травешка подхлестывала по ногам. Гурьян пробежал к дому как истинный ворюга, а тут и собака оказалась незнакомая, лай подняла. Он назвал ее Жучкой, а она пуще того: какая, мол, к черту, Жучка! Ясно, что уже сынок Жучкин, подросший за пять-то лет...

— Матаня, ты-то хоть меня признаешь?.. — так же плечом, как и через забор, вломился он в дверь.

Мать, конечно, заохала, словно он только что с пашни возвернулся:

— Ой, да задержался-то ты больно поздно! Да мокрый-то, Гурьянушка, грязный-то!

— На лодке с Шексны поднимались, огородами прошли... — маленько подсоврал Гурьян, прижимаясь к материнскому плечу.

— Ой, а отца-то не видел там? Все шумит, все законы ищет, идол!

— Слышны на выгоне какие-то голоса, да с реки не видать, — и тут само собой совралось.

— Ну и ладно, ну и леший с ним. Докричится, что с наганом уведут...

Мать только тут и заметила его молчаливого спутника — слепо, темновато горела в кухне лампа, почти не доставая до прихожей. Миша не лез на глаза, и матери пришлось вернуться к дверям:

— Чей-то незнакомый?..

— С института нашего, приятель, — с какой-то внутренней подсказки покатился Гурьян по лукавой лесенке.

Миша с полуслова понял его и, выступив на свет, церемонно поклонился:

— Верно, по приятельству мы...

Мать это обрадовало, и скупое, отяжелевшее лицо заподергивалось в ворчливой улыбке:

— Оно и хорошо, как вместе, да все ж пора кончать ваши институты. Кой леший, скоро ли?

— Скоро, матаня, скоро, — тут не было нужды, хотя бы в отношении себя, хитрить Гурьяну. — Чего спрашивать, встречай гостей.

— А то учить, а то не знаю! — вихрем закружилась по дому мать.

Дело обычное: опомнилась и принялась зажигать все лампы — в прихожей, в горнице, и даже другую, десятилинейную, на кухонной половине запалила. Дом засверкал, как под Новый год, — всем своим жилым правым боком; левая сторона этого просторного пятистенка, за глухой рубленой стеной, нелюдимо молчала, и даже в дверях не просвечивала. Не было сомнения, что старший брат, Гаврила, уже живет в своем собственном доме, — когда Гурьян уезжал в институт, сруб под крышу подводили, пора и обжиться. Выходило, братняя половина теперь у младшенького? И младшему, Васятке, за пять-то лет пора подрасти и обзавестись своей половиной. Дрыхнет, что ли, после работы? Так и поднять под бока пора — стоит из прихожей свернуть в левую дверь. Но делать этого не хотелось — и не лень, тишина удерживала. Было такое чувство, что вторая половина дома будто напрочь откололась. И сделав-то всего два шага, Гурьян отвернул от темных дверей обратно.

Мать поняла его состояние:

— У братаньки младшенького своя жизнь, хорошая, не беспокойся. В лагерные охранники пошел, при винтовке. Эко дело!

Говорила мать охотно и хвастливо, но глаза были грустные, вроде как спрашивали: „Радоваться ли?..“ Новость для Гурьяна вышла слишком крутая — на охранников он, слава богу, насмотрелся. Видно, военных не хватало, допризывников с деревень набирали. На живые-то деньги — как не бежать! Ай да братец разлюбезный!

Отводя глаза от Миши, и от матери заодно, он только и спросил:

— Далеко ли?..

— Васятка-то?.. Кой леший знает! — отмахнулась мать. — Их гоняют с места на место. Писал, что были под Мологой, потом писал — под Пошехоньем...

— Ага, Пошехонье. Место хорошее, — пустыми словами отозвался Гурьян, вспоминая незадачливого Базалишку, березы и женский лагерь.

Матери что-то не понравилось, захлопала себя по бокам:

— Верно уж, Пошехонье разбойное! У нас-то что — плохо? У нас-то места мало?.. Вон хоть и старшему — чего в своем-то дому не жилось?

Старший — это Гаврила; был он, помнится, бригадиром, когда Гурьян в Москву уезжал. С ним много не наспоришь — глотка желез-

ная. Сам себе хозяин и сам себе голова. Что, и с ним приключения?..

— Гаврила-то как? — спросил он осторожно.

— А никак. Лается с начальством за своих колхозничков. Дола-ается!..

Гурьян понял: за эти годы в доме произошел какой-то непоправимый раздел. Спорить ему с матерью не хотелось. Утешая ее, он пошутил:

— Ну, так вторая-то половина теперь — моя?

— Дьявола лагерного! — еще круче захлопала мать по своим таковским бокам.

Гурьян ничего не понимал, а расспрашивать не хотелось. Ну их, братьев, ну ее, и братнюю половину! Беспокойство шло как раз не оттуда — с улицы. Там все громче раздавались крики, все ярче разгорались костры, все назойливее повизгивали гармошки, фыркали и топотали лошади, бренькали колодезные бадейки — спивалась, что ли, деревня? Ближний колодец был только немного левее дома, прихватывало светом; кого угодно могли приворожить десятилинейные лампы. Полдеревни набьется на гостеванье, а хуже того — на разговоры... Желание со звоном проехаться вдоль родных Заломов было уже заглушено... криками на выгоне, а ночные костры и от окон отринули; виновато посмотрев на Мишу, Гурьян задул в горнице лампу и вернулся на кухню, которая окном выходила на двор.

— Мы тут с тобой посидим, — сказал он матери.

— Посиди, Гурьяша, посиди, — опять заволновалась она, потому что не могла, видно, молчать. — Страсти-то господни!

— Страсти...

— До осени, говорят, чтобы и духу вашего не было! Прямо сейчас ломайте дома да и убирайтесь!

— Ну, не в шею же гонят... — потупился Гурьян.

— Вот и я своему говорю: не в шею. Картошку еще можно посадить, и не садим. Мало Гаврила, так и батька-то, батька — шумит!

Как бы подтверждая ее слова, на дощатой дворовой дорожке защелкало сапогами, захлопало одними, другими дверями, а там и в прихожую ворвалось:

— Ма-ать! Иди голосить, рук не хватает.

Из темноты налетев на свет, отец не сразу признал сына, а признав и облобызав опаленным ртом, вдвойне обрадовался:

— Вот и хорошо. Гостейка дорогой! Мы там сейчас насупротив голосим. Гаврила с ребятами в Мяксу поскакал, а мы здеся. За реку не поедем — да и вся недолга. Не имеют правов — насильно выселять. Кто боится, тот под опера голосует, а нам-то чего? После погостюем, а сейчас пойдем, Гурьян, все-таки еще одна рука... да и вторая?..

— Мишина, батя, Миша это, — не принял Гурьян его напористости. — Еле живой он, в лодке тащились, чего там, оба ухайдакались, а завтра утром уезжать...

— Да? — ничего не понял из этих объяснений отец. — Тогда ты, мать, собирайся. Живо!

Мать безропотно сдернула фартук и выскочила за ним следом — истинно, как нитка за иголкой.

— Видишь, какие они у меня?.. — начал почему-то оправдываться Гурьян.

— Чего говорить, душевные, — кивнул Миша. — Пока они там кричат, давай, что ли, стол готовить?

Хорошая мысль — не надо объяснять, с чего он надумал так быстро уезжать обратно. Хоть и не сговаривались долго гостевать, на денек-другой можно было рассчитывать: сами себе хозяева. Но сейчас Гурьян и объяснение нашел: какое гостеванье, когда переселением заниматься надо! А раз так, нечего и встречу застольную откладывать. Водки и закуски они с собой, слава богу, привезли, а как управляться с самоваром и таганком — Гурьян не забыл, да и Миша, кажется, помнил: он-то и взял на себя таганок. Мать, собственно, этим и занималась — яичницу замышляла. Лучина уже была наломана покороче и насована под железный таганок, и сковородища домашняя поставлена, и решето с яйцами припасено. Оставалось за малым — глазунью на всем готовом распустить. Пока Гурьян сливал-заливал самовар и тоже ломал лучину, Миша решил и того лучше — жарить яичницу вместе с колбасой. Гурьян начал было отговаривать, мол, в деревне так не делают, да Миша уперся: ничего, сделается! И сварганил жаренку по-своему, на хорошее обжорное брюхо. Похвалив его, Гурьян на всякий случай все-таки и в самовар яиц покидал — мало ли что старикам взбрендит!

Напрасно он опасался: вернулись они с улицы усталые, охрипшие и обреченно-удовлетворенные. Отец с порога известил:

— Все. Миром проголосили: за реку не ехать. Хорошо, что без Гаврилы, сами! Пусть оперы стреляют — с места не сойдем.

Переглянувшись с Мишей, Гурьян побледнел:

— Как это не пойдете? Это знаете ли что?..

— Тюрьма, сынок, тюрьма. А может, лагерь, — без всякого сожаления согласился отец. — Делать, видно, нечего, судьба. Чего ж, и лагерники живут, как говорит Васятка...

Будто подтверждая его слова, в сенях осторожно прошлепали ногами, в дверь постучали, и через прихожую на другую половину потянулись серые фланелевые куртки, все, как одна, потные и грязные. Лиц Гурьян так и не успел рассмотреть — быстро и заведенным порядком проходили в левую дверь, и только когда все уже скрылись в притворе, промелькнул огонек.

— Легки на помине... — божьи люди, — даже обрадовался этому подтверждению отец. — Они и будут пилить березы под нашими окнами... и дома наши палить. Чего ж, подневольные, хоть и не злодеи. На постое по всем домам — когда строить лагеря?.. И так не побегут — куда-а им!..

В повадках отца, такого основательного и рассудительного, Гурьян заметил лихую странность: на все махать рукой. Конечно, живя на проходной, бродяжьей Шексне, ежегодно уходя с плотами до Рыбинска, Нижнего и даже до Камы, лаптем щи не хлебали, но и от дома своего так легко не отмахивались. Ого, сломай ненароком хоть колышек в огороде! А тут как с похмелья, как с вечного безголовья. Рушат дома — и ладно, пилят под окном родимые березы — и ладнешенько, и даже заключенные на братниной половине — как обычные калики перехожие... Было над чем задуматься Гурьяну, поднимая за погибель своей деревни, то есть за предстоящее переселение, тяжелую граненую рюмку — местного пошехонского литья.

Его на речи потянуло, и как раз к месту — объяснить отцу назначение будущего моря. На них кричат, они сами кричат, а ведь устраивается-то все к лучшему? Ссуду дадут, дом перевезут — живи под новой крышей да радуйся. Не так ли?

— Может, и так, может, до наганов и не дойдет, — успокаиваясь за ужином, более вразумительно отвечал отец. — Наша молодежь во главе с твоим Гаврилкой еще с утра ускакала в Мяксу. Авось, и докажут, что нечего колхоз зорить. Другие пусть расползаются, как тараканы, а мы хотим все вместе от воды спасаться. Общей кучей, Гаврила говорит, общей! Только, чтоб на своем берегу. Помнишь, хутор, отруб там такой был — три всего дома?.. Где тебе помнить! — все-таки прежним лихим порядком отмахнулся отец. — Вырубили хуторян еще в тридцатом, как в колхоз нас сгребали. Земли там хорошие, глядишь, и начальство потрафит. Разгонять-то колхозы тоже не хотят, вот Гаврила на это и напирает. Вот и мы наказали молодежи: на ту, на ту мозольку и нажимайте! Не зарвался бы только Гаврюшка-то наш? В председателях он теперь, нравный больно...

Ничего удивительного — за пять-то костоломных колхозных лет! Старший брат, не в пример младшему Васятке, хоть на покосе, хоть на пашне — первым всегда шел, когда и бригадиром был. А бригадир, при единой здешней бригаде, — он всегда не меньше председателя тянул, потому что на людях. Уж если пойдет куда — со всем народом. Глотка у старшего братца, как и рука, крепкая. Уполномоченные, наезжая в деревню, норовили со старым председателем дела сладить, на бригадира не нарываться. Уж такой он, Гаврила Иванович — непокорная голова! Что есть, то есть: за колхозничков своих стоял горой. Теперь, надо же, в председателях!

— А что со старым, что приключилось?.. — уже догадываясь, в чем дело, спросил Гурьян.

— А то! Докричался! Увезли под наганами... месяц уже назад... — не хотел ничего объяснить отец. — Вот и Гаврила... Ох, Гаврила!

— Ладно, я, как встречу, накажу ему, чтоб потише с Волгостроем... — чуть было не проговорился Гурьян о своей новой должности.

— Накажи, Гурьяша, накажи, — сейчас же подхватила мать, словно чувствуя его тайную власть.

Но отец скептически, опять на свой раздраженный лад, отмахнулся:

— Так Гаврила Иванович и послушает младшенького!

То было истинной правдой: никогда и ни в чем Гаврила не уступал братьям. Не только по старшинству — и по глупости всегда наперекор лез, может, чувствовал, что засел со своими четырьмя классами в колхозе, а средний брат, по его словам дурак дураком, с песенкой да со смешком до Москвы дошел. Зависть съедала старшего брата, как понимал Гурьян; она и говор несусветный порождала, который толкал его, как и отца, в пасть к начальству. С переселенческими делами шутки плохи — это и курице домашней понятно; раз сказано переезжать — так переезжай да помалкивай! Гурьяна уже досада разбирала: эк его жалостливым стал! К чему? К этой старой деревне, к этим гнилым избам, и слезному, нищему колхозу?.. Насчет колхоза он вслух ничего не сказал — странно, стал коситься на своего Мишу, — а Заломам несчастным досталось:

— Подумали бы хоть!.. Не деревня, а одно недоразумение. Вам подъемных тыщу целую отвалят, вам налоги на два года снимут — покупай новый лес, стройся. Нет, за гнилые углы хватаетесь!..

— Гнилые, да свои, сынок, — тихо остановила его мать.

— Гнилые, а тебя, умника, породили! — насупился, как и вначале, отец, трезвея от своего внутреннего возмущения.

Возражать им было бесполезно. С какой-то стыдливой грустью смотрел Гурьян на это вечернее застолье. Жили старики не то что небогато, а попросту убого, как ни скрывались, если бы не рыбинская колбаса, не сайки — что на столе?.. Хлеб бог знает из чего, из каких-то весенних обсевков, картошка прошлогодняя да капуста прокисшая, не будь яиц — и горькую рюмку нечем подсластить. Мать хлопотала о завтрашних пирогах, но он же видел — не из чего ей печь, хоть она и выскакивала несколько раз к соседям, и рыбы в тазу принесла. Может, всей-то деревней, в честь приезда сына, и наскребут на один-другой расстегайчик, а дальше что?.. Сердце Гурьяна не принимало эти жалкие поскребыши, сердце скучало. Он любил свою мать, пожалуй, любил и отца, но оставаться в этом доме не мог. Пять лет назад, после череповецкого интерната, после десятилетки, убегая в Москву, все же не чувствовал такой отчужденности, как сейчас. Злость и досада разбирала: чего захотелось — с ветерком подкатить к деревне, чего потащил за собой еще и этого Мишу?.. Разговор шел под чужим, назойливым глазом, хоть Миша и не встревал без нужды. Но все равно: говорить было вроде как не о чем...

— Пойду прогуляюсь, голова что-то болит... — нашел он вполне подходящую причину.

Мать только посмотрела на него просительно, но ничего не сказала, и отец промолчал. А Миша напомнил:

— Долго не загуливайтесь, Гурьян Иванович. Сами говорили — рано уезжаем.

Никакого такого уговора у них не было, и Гурьян смущенно выскочил за дверь. Интересно, как угадал Миша его тайное желание — убраться без свидетелей, без брата-председателя, пока не проснулась деревня? И как он там теперь объясняется?..

Вечерние Заломы не прибавили веселости. Было что-то несерьезное, цыганское в знакомом облике ломаной, под нрав реки Заломной, улицы; ее и прежде-то хотелось взять за два конца да вытянуть хорошенько, чтоб не путалась по-над берегом, а сейчас и вовсе завилась-закрутилась. Это ощущение появилось, наверно, от пришлых, ко всему равнодушных людей, от их лесовозных, брошенных где попало дрог, от чужих, заезженных, привязанных к забору лошадей, от каких-то бочек, ящиков, походных кухонь, от крика, визга, суматохи — и от огней, огней, конечно. Где это видано — на деревенской улице палить костры? Но вот палили же, сразу в нескольких местах, и никто озорникам уши не драл. Да и уши-то отнюдь не детские — ватные, вислые и с зимы еще прокисшие: заполонившие оба берега Шексны — лагерные уши; как были в январе ушанки, так и остались, летних шапок, видимо, не полагалось.

За свой рабочий месяц Гурьян уже успел насмотреться — чего было глазеть? Ясно, что здесь краткосрочные, конвой так, для порядка. Конвоиры посиживали у костров и жарили на штыках казенный, ломтистый хлеб, а те, кого они должны были стеречь, поджаривали свои пайки на прутиках — вся и разница. Когда конвоиру надоедало держать на весу тяжелую винтовку, он передавал ее какому-нибудь услужливому подхалиму, а сам благодушно покуривал. Под одной березой при свете угасавшего костерка накрылись брезентовой полстью и вовсе в обнимку сидели — стражник при всей форме, чисто одетый и приметный лишь по серой шапке очкарик, и две незнакомые девушки, явно нездешние; одна напялила на себя снятую со стражника фуражку, а другая задумчиво обнимала зажатую в коленях винтовку. Было им и без зевак хорошо, Гурьян поспешно прошел дальше. А там — загорожено под телегой, тот же истертый приклад торчит изпод колеса, огоньки папирос, звон стаканов, смех и шепоток: „Ах, какой вы, право, нетерпеливый!“ Время вечернее тут зря не теряли. Везде слонялся народ, молодой и старый, который знать не знал о блудном сыне, Гурьяне Свищеве, и проходил, и пробегал мимо с полным к нему равнодушием. Один только раз и остановили тихим окриком — Миша, стервец! Тоже вышел на скорую охоту. Но и Мише некогда было терять время — похмыкивало, повизгивало и у него под рукой, увлекало в глухие закоулки. Общая веселая неразбериха говорила о конце света, не иначе. Но тревога проносилась впустую, будто шальной майский жук, — много их шлепалось о толстенные березы и опадало к ногам. Бесславная гибель грозных возмутителей спокойствия лишь подчеркивала зыбкость и недолговечность этого деревенского существования. Кого-то пригнали, числом несметным, чтобы пилить необхватные березы и жечь несокрушимые дома, а кого-то от берез родимых и от домов изгоняют в забережные леса — и всем трын-трава, мокрешенькая...

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Грустная прощальная песнь взвивалась непривычным ухарством. Бесполезно гадать — свои или чужие, вольные или безвольные; все сошлось в каком-то истинно уж последнем столпотворении, хотя деревня еще и не думала сниматься с места. Да в одно утро ее и не снимешь — не штаны ведь бродяжьи; недели и месяцы изотрутся, пока раскачается насиженный деревенский люд. Зря картошку не сажали — успела бы вырасти и в погребах истомиться. Ох, люди, люди: в пору сухари сушить, а они песни дерут! На деревенскую поруху Гурьян посматривал как бы со стороны; чего удивительного, после начальной школы шесть лет отирался в череповецком интернате, год в Рыбинске, четыре в Москве — какая деревня! Она догорала беспорядочными цыганскими кострами, дозванивала шальными залетными песнями, доигрывала ночными зарницами; светло проносились зарницы, густо, тревожно. Лето, видимо, такое подступало, жаркое.

В самом деле, душно было в воздухе, от Шексны наплывал липкий туман, который еще гуще заквашивал деревенскую улицу. Будь его воля, Гурьян прямо сейчас и пустился бы в обратный путь. Ничто здесь не удерживало...

Домой он возвратился с единственным желанием — поспать часок пред обратной дорогой. Но у калитки встретила его серая, ушастая тень.

— Гурьян Иванович... гражданин Свищев, — сказала эта непрошеная тень, — остерегайтесь вашего Миши. Он уже не одного такого, как вы, заложил...

Гурьян хотел возразить, хотел отругать за ненужные советы, но тень не стала дожидаться, юркнула впереди него в дверь. Вот гадкое положение! Пришлось немного замешкаться и возвращаться с излишним стуком и сопением. Но зря он старался: мать все равно не спала и с лампой в руке провела его в летний чулан, под полог. Миша, шаставший по улице Миша, уже спал сном праведника. Кивнув на прощание матери, Гурьян загасил лампу и раздевался в темноте, устраивался валетом в ногах у Миши. Так-то живут начальники!

Проснулся он, конечно, от Мишиных толчков и время зря терять не стал — ополоснув набегом лицо, поспешил за стол.

— Что, нету Гаврилы?..

— А то не видишь! А то спрашивать!

Отец налил по хмурой похмельной рюмке, но Гурьян отказался: голова, на удивление, была свежей. Мать хлопотала все с той же яичницей — пришлось задержаться, мать нельзя было обижать. Отец вяло пожал руку, хотел что-то сказать, но лишь по своему обыкновению отмахнулся и убежал на колхозный двор, а мать, как по наущению, поспрашивала:

— Институт-то, поди, кончаешь? Работать-то, поди, в Рыбинск зашлют? У нас-то, поди, к осени покажешься?

И Гурьян, давясь жесткой, скорой яичницей, вынужден был отвечать по порядку: и когда с институтом покончит, и когда на работу поедет, и когда к ним на новоселье попадет — толком ничего, конечно, не объясняя. Помогли, что говорить, серые ночлежники, которые один за другим выходили из левой половины, вежливо и однообразно кланялись — и от запаха домашней яичницы спешили на запах своей казенной кухни, на улицу. Как ни всматривался Гурьян, не мог признать вчерашнего советчика; не пятеро, как показалось вечером, а семеро их прошло из боковых дверей в сени — и ни единого намека на непрошеное знакомство. Лица ничего, не доходяжные, даже и не очень стеснительные, но какая-то серая уже тень опустилась на них от зимних, нелепых шапок. Мать крикнула: „Молочка я вам в сенях оставила“, — и тем положила конец минутному завтраку. Миша уже на ходу доканчивал свою третью рюмку, и мать на ходу досказывала:

— Все хорошо, все ничего, Гурьяша. Ты заканчивай ученье да на работу поскорее устраивайся, авось, и подмогнешь нам при переселении.

— Подмогну, мама, подмогну, — искренне заверил ее Гурьян, думая, какое это теперь легкое для него дело.

С пустым чемоданом, с пустой душой спускался он на берег, чтобы через полчаса, столкнув в воду лодку, сплыть по течению к

Шексне. Даже трескучего мотора не включали, лишь с двух сторон отталкиваясь от берегов прихваченными палками. Река Заломная с какой-то подозрительной радостью уносила блудного сына от Заломов, от переселенческих забот, от братьев, от отца с матерью — от всего деревенского...

— А ты знаешь, Миша, как мой дипломный проект в окончательном виде называется? — впервые за все утро подал Гурьян голос. — „Переселение из затопляемой зоны Рыбинского водохранилища городов и прочих населенных пунктов". Заломы-то — всего лишь прочее, а? Стоит ли их переносить, Миша, если вдоль деревенской улицы уже расставлены бочки с солняркой?..

— Если с соляркой, так переносить ни к чему, — подтвердил Миша, включая мотор и выворачивая на шекснинский плес.

Здесь уже начинались другие заботы, не деревенские. Сюда Гурьян плыл вдоль левого берега, а обратно лучше по правому — там подкачать права. Он чувствовал, что хлопот на правобережье будет еще больше: основное затопление и намечалось как раз по правой низине, от Шексны аж до самой Волги...

Но не успел он и мысленным взором окинуть это громадное междуречье — как все затмило новое, назойливое видение: пароход. Он шел против всяких правил, вдоль правого берега, встречь их катерку; мелкосидящий, легкий, быстрый пароход, не привыкший уступать дорогу. Так и скользил по тихому плесу, парил над водой, не разгоняя волны; поэтому и заметили его поздно, под самым поворотом. Гурьян прямо залюбовался красивым, мерным ходом этого гордого пароходика, но Миша, почему-то смертельно побледнев, запаниковал, заюлил рулевым колесом, потом, врубив полные обороты, круто развернул свой катерок — и с разлету, с истошного бега влетел в густейший прибрежный ивняк: так что тот травой покосной разошелся на две стороны и позади сомкнулся. Едва скрыла их зеленая волна, как мимо, кажется, нарочно теперь нагоняя водную волну, пролетел белый, чистый, без единой живой души пароход, на борту которого золотились буквы: „Плес". Гурьян привстал было над заслонившими его кустами, но Миша грубо ухватил за штанину: сиди! Гурьян и сейчас не понял его панического, такого смешного страха и было расхохотался — и получил в рот масленую, всегда валявшуюся у руля ветошку. Чувствовал, что задыхается от этой глупой, вонючей ветоши и таращил в натуге глаза, но руки у Миши оказались на удивление крепкие — ничего не оставалось, как такой же тряпкой обвиснуть в них. И отпустив, Миша не стал объясняться: собачьим, заискивающим взглядом провожал белое видение. Как ни быстр был пароход, шел он встречь Шексне и на этом прямом берегу маячил с полчаса. И все это время Миша провожал застекленевшими глазами его кормовой флаг — пока тот не исчез, не растворился в утреннем мареве.

— Пронесло-о!.. Пронесло-о!.. — затопал Миша по доскам настила, так что ивняки по сторонам закачались.

Гурьян ничегошеньки не понимал!

Окончание следует



Станислав ЗОЛОТЦЕВ

МОЛИТВА МОЯ О РОССИИ

* * *

По весенним садам
и по летнему теплому щебню,
по звенящим снегам и по талому гиблому льду,
по некошеным травам, которых не сыщешь целебней,
не в последний ли раз,
не в последний ли раз я иду...

Не в последний ли раз в этом северном городе древнем,
обнимая родных, я на пыльном перроне стою;
не в последний ли раз я сегодня простился с деревней,
где впервые когда-то увидел я землю свою...
...Наступила пора неотступной и горькой заботы —
вопрошать небеса, и судьбу, и себя самого:
не последний ли год подарил мне медовые соты,
не последний ли день подарил мне свое волшебство?
И повсюду со мной эта жгучая дума слепая
неразрывна теперь, даже в сладком ночном забытьи:
не последний ли час я в любви твоей сердце купаю
и устами твоими я губы сжигаю свои?..

И не то чтобы страх мне подумать о вечной разлуке
с белым светом родным, с красным летом и синей зимой, —
но немыслимо больно в годину великой разрухи
самых близких людей оставлять с побирушьей сумой...
Я сложил свою песню, свою голубиную книгу,
и не страшно уйти, нет, не страшно —
да только невмочь,
обрывая судьбу, сознавать до последнего мига,
что без крова и хлеба останутся мама и дочь.

И под кровом небес, под седым серебром журавлиным
будут гибнуть и гнить золотые литые хлеба,
и завоет безлюдье по русским заглохшим долинам,
и уже не спасет города от бесхлебья изба.
...А в великой стране, что когда-то Святой величалась,
чужеземцы в святынях пируют и пляшут уже!

...Вот поэтому мне давят горло и горечь, и жалость,
и последнего мига болит ожиданье в душе.
Даже если в душе, словно в праздник престольный к обедне,
светлый благовест льется, и солнце восходит в зенит, —
никуда не уйти от предчувствий,
что это — последний
вольный голос удачи — последний, последний звенит!
И уже никогда не вдыхать сумасшедшую волю
и слепящую радость работы, любви и гульбы,
и не корчиться в муках от самой неистовой боли,
и по-русски от гнева уже не срываться с резьбы...

Как тревожно и горестно, как тяжело и печально
покидать беззащитными тех, что любили меня.
...Да не станет строка моя новая словом прощальным:
ведь прощанье с прощеньем созвучны —
да все ж не родня.

Да воскреснет земля, где живут мои люди родные.
Да не сгинут святыни, и грады, и веси ее.
Да не будет последней молитва моя о России.
Да не будет последним последнее слово мое.

ИЮЛЬ-91

Вот она опять, как Божья милость,
отчая июльская земля...
Колосом кукушка подавилась.
Заиграли золотом поля.

Как всегда, на переломе года
и в зените летнего тепла
зрелой волей русская природа
налилась... И — словно замерла!
И, подобно тяжести металла,
давит небо тяжкой бирюзой —
как перед какой-то небывалой,
гибельной, кромешною грозой...

Ничего загадывать не буду,
только вижу, что земля сама
вместе с хмурым и уставшим людом
ощущает близкие грома.
Дай мне Бог в догадках ошибиться...
Но в просторах отчей стороны
этим летом и дома, и птицы
ожиданья смутного полны.

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 91-ГО

Чтó мы пережили в эти дни? —
шторм безумья, фарс переворота,
лязгание танковой брони
посреди столичной толкотни,
выплеск ядовитого болота...
Бунтом взбаламучена Москва.
У ревущих толп она во власти...

А Россия в эти торжества
не спешит и не вопит от счастья.
Потому и выжила она,
что ее людская глубина
в самые лихие времена
не впадала в сумасбродство пены,
а — пахала, строила и пела.
Потому и выжила она,
что среди любых переворотов
ей была спасением дана
ломовая, вечная работа...

Пена плещет бешенством речей,
жаждой мести, грудами доносов.
И опять армады стукачей
выпускают жала, словно осы.
Снова, как в семнадцатом году,
воздух Смуты, черен и неистов,
породил безмозглую орду
юных, крови жаждущих чекистов.
Пена правит сверху. Но жива
глубина своей земною силой.

...И свои последние слова
в глубине хранит еще Россия.

УСПЕНИЕ

Успенье Богоматери.
До осени — три дня.
За праздничною скатертью
сидит моя родня.
Крестьянский и окраинный,
натруженный, израненный,
старинный псковский род
вкушает хлеб и мед.

И солнечный, и облачный
пришел на землю день.
И дух медово-яблочный
плывет из деревень.
И песня колокольная
над городом плывет.
Ей власти дали вольную
впервые в этот год.
Впервые, не запретная
за много долгих лет,
звучит она, заветная,
и полнит белый свет.

И многие увидели
впервые, как идет
вокруг святой обители
в Печорах крестный ход.
И над землей просторною,
явив святую власть,
Икона Чудотворная
сегодня вознеслась.
Глядит очами вещими
на мир и на людей
светлейший образ женщины,
усопшей в этот день...

Не очень крепок верою,
я все же ощутил
во всем высокой мерою
рожденье новых сил:
в шумящей птичьей молоди
и в золоте полей,
и даже в мутном холоде —
в глуби души моей.
Растает он, развеется...
И наш не сгинет род.
И Матушка-Успенница
согреет всех сирот.

Чтоб Русь мы снова сладили.
Чтоб каждый сын воскрес.
Успенье Богоматери! —
звенящий свет небес.



Вилен РАЗИН



РАССТРЕЛ КОММУНИСТА

ПОВЕСТЬ

Неизрекомы суть муки.
Из старой русской летописи.

1

Подгоняя, подхлестывая себя, Беспалов и два десятка его лыжбатовцев – все, что осталось после весенне-летних боев, – бежали широко размахнувшейся пойменной луговиной. Тут, там вспыхивали, повисали над головой дымки – рваные, черные. Немец садил шрапнелью, садил и садил. С хищным подвывом кружила «рама», вычерчивала в поднебесье причудливые узоры. Это она указывала своим батареям цели, корректировала огонь. Она самая.

Впереди, где луговина сменялась пожней, были дзоты – Беспалов их знал. Успеют лыжбатовцы добежать, зацепиться за те холмики-дзоты, глядишь, повоюют. Не успеют, опередит их немец, будет одно убийство, побоище...

День-два назад здесь было еще спокойно. Постреливали. Немцы больше, наши меньше: мин, снарядов, как всегда, «голодный паек». По ночам – благо осень, ночи долгие – разведгруппы охотились за «языком»: немцы, понятно, за русским, русские – за немецким. А так – затишье, обоюдная оборона. Позиционная война.

Вдруг – новость: дивизия справа, то бишь правый сосед, стала гвардейской. Сподобилась. Ну и, как водится, отмечает: грех такое событие не отметить.

Охочий до новостей немец, видно, о том прознал и тоже решил отметить. По-своему.

Наутро после гульбы новоявленные, еще

РАЗИН Вилен Петрович родился в 1922 году в Киеве. Участник Великой Отечественной войны. В составе 391-й Режицкой ордена Красного Знамени стрелковой дивизии прошел ратный путь от Москвы до Праги. Окончил факультет журналистики МГУ. Очеркист, прозаик, автор нескольких книг. Живет в Москве. В «Нашем современнике» публикуется впервые. В основу повести положены действительные события. Фотография относится к маю 1945 года.

не проспавшиеся гвардейцы с удивлением обнаружили у себя в тылу... вражеских автоматчиков. Автоматчики и на флангах, лезут, прут.

По всему выходило: позиционная война кончилась.

2

Лыжбат - как таковой - продержался недолго. Наступление на Холмы, безалаберный, на авось, штурм этого «снежного городка» - и ни лыж, ни лыжников, одно название, название-воспоминание.

Сейчас лыжбат - те два десятка плюс командир, номинальный, по сути, лыжбат, - был в резерве штадива. Лыжбатовцы ждали обещанного пополнения, обретались поблизости, почти рядом.

В полдень в расположение к ним примчался связной:

- К начальнику штаба!

У входа в землянку хмурый начштаба рассеянно слушал кого-то из своих помощников. Кивнул козырнувшему Беспалову, распахнул большой, авиационного типа планшет с исцарапанным целлулоидом.

- Вот лес, вот опушка. Видишь, капитан? Это километра два отсюда. - Махнул рукой, указал направление. Снова скользнул глазом по карте. - Тут у него автоматчики - сотня, может, больше. И вроде бы танковая поддержка. Через полчаса, через час они будут здесь. - Начштаба сделал короткую паузу и, разделяя слова, добавил: - Если ты их не остановишь ...

3

Взмокшие, взмыленные лыжбатовцы добежали. Успели. Три полуразбитых холмика-дзота, ради которых они так торопились, стали их крепостью. Крепостью и надеждой.

Беспалов с ходу взобрался на дзот, что повыше. Тотчас над головой у него просвистели пули. Еще и еще.

Слева была река с плывущим над ней туманцем, впереди, эдакой полуподковкой, крашенный осенью лес. Милый российский пейзаж.

От леса, из глубины полуподковы, шел танк, за ним - уступом - другой. Набирал силу гул работающих моторов.

Беспалов, пока бежали, ни на минуту не забывал о танках. Воевать с танками ему нечем, почти нечем.

Были, само собой, и сомнения: местность зажатая, пересеченная, для танков малоудобная. Может, помстилось кому-то, почудилось?

Стало быть, нет, не почудилось. Увы и ах, как говорится.

Россыпью, в сизой дымке, двигались автоматчики. То пропадали, будто проваливались куда-то, то возникали вновь - ближе, больше ростом, рельефнее ...

Такая, словом, обстановка. Обстановочка.

Накануне полки продолжали обороняться: день, вечер, почти всю ночь, все утро с переднего края доносилась пальба. Теперь немец - вон он, сюда доскакал. В общем, «слоеный пирог», так это называется.

Беспалов еще не успел покинуть свой наблюдательный пункт, как от подножия дзота в сторону немцев метнулись двое. Один - с громоздким длинноствольным ружьем, другой - с патронным ящиком.

«Ку-да?!» - чуть не вырвалось у Беспалова. Но он уже все увидел, все понял.

Пэтээровцы Палёных и Редько, первый и второй номер, крепко пригнувшись, бежали навстречу немцам, но не прямо на них - не лоб в лоб, а забирали вправо. Там, куда они устремились, - лощинка, едва приметная впадинка ... Пэтээровцы свой маневр знали.

Теперь его мучало: засекли немцы этот рейд, эту вылазку, или нет? Дал-то бы Бог, чтоб нет!

Танки шли, не сбавляя хода. Шли без выстрела ... Сатана-немец понимает: так страшнее, когда без выстрела.

«Ну, что ж, ну, что ж ...»

Боя он не боялся. Ученье владеть собой гасит страх, хотя и дается не сразу. Пуще всего ценил Беспалов это уменье. У кого оно есть, тот солдат, тот способен рассчитывать, бить немцу морду.

Пэтээровцы рассчитали точно. Как только первый танк показал им свой профиль, подставился, их ружье - там, на гребне лощинки, - коротко дернулось. Ружье дернулось, но бронированная махина беспрепятственно шла вперед, подминала траками своих гусениц высохшую стерню.

«Промазали?! Эх!!»

Меж тем первый номер, Палёных, быстро протянул руку, и напарник так же быстро сунул ему в ладонь патрон. Палёных снова выстрелил, подхватил ружье, рванулся с места. Следом рванулся Редько.

Каких-то секунд, самых малых, не хватило им довершить перебежку, упасть, вжаться в землю. Там, где они бежали, вздыбился темно-бурый султан - один и другой.

Эти султаны застлали Беспалову зрение, заслонили собою все. Он не сразу увидел: танк, тот, передний, задымил. Задымил! Молодцы, хлопцы!!

Танк задымил, сбавил ход, вовсе застопорил. Словно бы в замешательстве, застопорил и второй, шедший за ним уступом.

Все три дзота открыли огонь; голос у Беспалова звенел, когда он подавал команду. Огонь из двух заваленных амбразур вели пулеметчики, огонь вели примостившиеся кто где стрелки.

Не ахти каким плотным, конечно же, был этот огонь. Но автоматчиков все-таки положил, прижал мышиного цвета мундиры к земле.

Тяжелый удар колыхнул дзот, куда только что заскочил Беспалов. Отовсюду посыпалось, гарь драла глотку, душила.

Беспалов бросил взгляд в амбразуру - и тут же отпрянул. Вспышка, удар, теперь по соседству.

Прикрытый космами дыма, задний танк расстреливал вставшие на пути дзоты, пускал снаряд то в один, то в другой, то в третий. Но держался на расстоянии. Может, рисковать не хотел? Может, так ему было приказано?

Возле дзотов - неглубокие щели, ячейки. Нарыли их, по всей видимости, саперы, сооружавшие эти дерево-земляные укрепления. Тем саперам - спасибо.

Часть малочисленного своего гарнизона

Беспалов переместил в ячейки. Поневоле пришлось это сделать: вновь поднялись автоматчики. Уловили момент.

И опять - уже сорванным голосом - подавал он команды, и опять - теперь, кажется, где-то на грани возможного - удалось автоматчиков приземлить.

Гарнизон нес потери - были и раненые, и убитые. Убитые тоже.

Беспалова пуля чиркнула по затылку, кровью залило шею, спину. Его наскоро перевязали, но повязка сползла, мешала. Он содрал.

Послать бы какого-нибудь смельчака в лощину. Может, пэтээровцев там - не насмерть, может, им нужна помощь, может, пригодно еще ружье - другого-то нет, другого-то не осталось. Но под прицельным огнем ни пробежать, ни проползти.

А чуть погодя ... Чуть погодя случилось такое, чего ни понять, ни объяснить.

- Товарищ капитан! - с каким-то тихим удивлением позвал пулеметчик. - Они отходят!

- Что-о?!

- Отходят, точно!

В амбразуру, за дымом, было плохо видно. Беспалов в два прыжка - из дзота, на свой НП.

Так и есть!.. Без суеты, без спеху, соблюдая присущий им «орднунг», то бишь порядок, немцы откатывались к лесу, туда, откуда пришли. И танк, и пехотинцы-автоматчики. Автоматчики - беспрерывно строча, унося своих раненых, может быть, и убитых.

«Н-ну, чудеса!..»

Беспалов все ждал: вот-вот этот танк, которому нечего опасаться - он, конечно же, видел, понимал, что нечего, - вот-вот двинет на дзоты, начнет их крушить, утюжить ячейки. С содроганием ждал рукопашной, мысленно к ней готовился - куда денешься? Правда, по опыту знал: рукопашной немец не любит. Как сказал солдат: немца на штык не возьмешь.

В общем-то, это так, близко к истине. Но немцев здесь вчетверо, а то и впятеро больше. Да еще танк. Так что ...

К последнему бою готовил себя Беспалов. Надо думать, готовили себя все. Что бой этот станет последним, сомнений не было, быть не могло.

А немец, против всякого ожидания, логике вопреки, вдруг показал им спину, повернул вспять.

Почему? По какой причине? По какой такой?

Прежде чем он снял осаду, сыграл отбой, за лесом, где передовая, опять разъярилась пальба. Как знать, может, это и есть причина? Ударная группа нужна в другом месте?

Или?

Или немец решил поберечь, просто-напросто поберечь, и живую силу, и технику? Дескать, шут с ними, с этими дзотами, с этими русскими смертниками! Придет их черед.

И тут будто змея ужалила - Беспалов вспомнил Холмы. Холмы - и как там все было.

Стужа, ночные тяжкие переходы, с марша - в бой. Без подготовки, без артиллерии - отставшей, увязшей в снегах, - то есть без огневой поддержки.

Генералы из штаба армии нервничали: взятый было городок снова у немцев. Отбить! Восстановить положение! Б е з о т л а г а т е л ь н о!

К чему такой спех? Это же лишняя кровь, и сколько крови! К р о в у ш к и!

Пока гром не грянул, так надо было понимать. Как черт ладана боялись они того грома.

Потери? Ну и что! Народу у нас навалом. Еще дивизия, еще бригада - война все спишет...

Низко, на бреющем, пролетела «рама». Сделала большой круг, вернулась. Ясно были видны кресты, весь ее размалеванный фюзеляж.

Неспроста она летает на ночь глядя. Неспроста.

4

Редько был прямо-таки изрублен: убойной силы поразивших его осколков хватило бы на пятерых, по меньшей мере. Палёных тоже досталось - одна рана страшнее другой, но жизнь еще как-то держалась в нем. Парня перенесли, положили в дзот.

- Палёных! А Палёных? - повторял раз за разом Беспалов. - Палёных?

Они были годки, годочки, Беспалов знал. И от этого знания, оттого, что помочь невозможно, что людей остается все меньше, Бог весть еще отчего, стало ему так тоскливо, так тяжко.

«Эх, Палёных...»

Отправить не на чем, да его и не довезти. О таких раненых медики говорят: нетранспортабелен.

Беспалов надеялся: вспомнят о них в штадиве - должны вспомнить, подкинут людей, патронов, пришлют за ранеными. Понимают, какое здесь положение. Но время шло, а оттуда - никого и ничего.

Почему? Что со штабом, с дивизией? Какова вообще обстановка?..

С гулом и громом обрушился артналет. Дзоты трясло, подбрасывало: вот-вот завалятся.

Недолгий совсем перерыв - еще звон в ушах не прошел, - и снова налет. Снова и снова.

Ближе к ночи интервалы между налетами удлинились, немец вроде как притомился. А может, чем черт не шутит, может, эта затянувшаяся пауза - не просто так, не передышки ради? И причина в другом - удумал чего-нито немец?

Так не хотелось сызнова посылать в ячейки. Смерть как не хотелось.

- Корчин! Что делать будем?

Все понимавший старший сержант Корчин, правая рука Беспалова, ответил без колебаний:

- Караул выставлять...

А еще говорят: предчувствие - чепуха, выдумка, самообман. Первый же, после паузы, артобстрел - и одна из ячеек накрыта. Вместе с часовым-караульщиком ... Был хороший солдат, прошел с лыжбатом огни, воды ... Прощай, солдат.

Немцы правильно поступили - отвели автоматчиков. Скоро от этого гарнизона и так ничего не останется. Одного дзота уже на всех хватает.

5

- Стой! Кто идет? - прокричал выставленный вновь караульщик. - Хальт!

Беспалов, за ним Корчин выскочили наружу.

Со стороны реки, едва различимый, кто-то действительно шел, и шел прямо на дзот.

- Стой!

Нет ответа, ровно там дух бесплотный.

Караульщик ругнулся, щелкнул затвором:

- Стой! Стрелять буду!

- Погоди! - подался вперед Беспалов.

И тотчас навстречу ему голос:

- Есть тут кто?

Молодой совсем голос, почти мальчишеский.

Беспалов чуть выждал, вглядываясь во тьму. И - громко, выкриком:

- Стоять на месте! - Сделал еще шаг-другой. - Ты что - оглох?

- Контузило.

- Понятно... Откуда?

Он все еще ждал, все еще не терял надежды.

- С передка.

Но, как видно, ждал зря. Как видно, штадиву не до него.

- Полк? Какой, спрашиваю, полк?

- Двенадцать восемьдесят.

То был полк их дивизии. Тысяча двести восьмидесятый стрелковый полк, в обиходе - двенадцать восемьдесят.

- Взводный? - наугад спросил Беспалов.

- Да, командир взвода.

- Лейтенант?

- Лейтенант.

- А где взвод?

- Нет больше взвода ... И роты нет ... И ... - Контуженый лейтенант запнулся, примолк.

«Такие, значит, дела».

Новый приступ тоски смял душу Беспалова. Пора бы уж и привыкнуть, обрести твердость. Ах, как нужна ему твердость!

- А вы - какой части?

Беспалов ответил не вдруг.

- Вы держите оборону?

- В этом роде.

- Вам люди нужны?

Что ж, подумал Беспалов, один тоже подмога. Правда, глухой, кричать ему надо. Зато битый.

- В землянках, под берегом, человек десять. А то и больше.

- Да-а?! - обрадовался Беспалов.

Как получается... Ждал людей от штадива, а они - вот, рядом.

- Покажешь землянки, лейтенант?

Не след бы, конечно, самому отлучаться, Корчина бы послать. Да сержантского звания могут и не послушать, не подчиниться.

- Корчин! Остаешься за старшего. Я - мигом...

6

Артобстрел настиг их на полпути, где-то на полпути между дзотами и утонувшим в ночи берегом. Свистящий, мгновенно узнанный звук - этот сигнал тревоги - с маху бросил на землю. И только прижавшись к ней, распластавшись, Беспалов вдруг осознал, какой непростительный совершил промах.

Лейтенант плохо слышит, здорово плохо. Беспалов должен был крикнуть, толкнуть, свалить, одним словом - оберечь его, контуженого, глухого. А он... Лейтенант упал позже, при первых разрывах. Уже с пробитой грудью упал.

Обстрел был какой-то осатанелый. От тяжких ударов, казалось, сама земля стонет и охает.

Перевязывал лейтенанта на ощупь. Коекак двумя индпакетами, его и своим, прикрыл рану. Не успел еще прибинтовать небольшие, с ватной прокладкой, подушечки - они тут же намокли.

- Друг! Слышишь? Ты полежи маленько. Я добегу до наших, и мы тебя заберем. Ладно?..

Дзоты - не дзоты? Они - не они? Непроглядь.

Беспалов ждал оклика - оклика не было. Всматривался и вслушивался - никакого движения, никаких голосов, вообще никакого человеческого присутствия.

„Что за чертовина!»

Только въевшийся в темь острый запах тротила, только пропахшая гарью темь.

Сперва он наткнулся на полузасыпанную ячейку - из нее торчал ствол. Потянул, но что-то держало. Это «что-то» был часовой, караульщик - не хотел отдавать оружие, уже бездыханный, мертвый, не хотел расставаться со своим карабином образца 1938 года.

Угадывая и страшась, еще не смея верить, Беспалов двинулся дальше... Дзот, основной, главное их укрытие, разрушен прямым попаданием, вход завален... Тяжелый снаряд свое дело сделал.

- Кор-чин!

Командир несуществующего уже лыжбата, ничего и никого уже не командир, он не узнал собственного голоса.

- Кор-чи-ин!

Но, может, не все погибли? Кого-то, может, только привалило? Бывает же.

«Лопатку! Скорей!..»

В ячейке убитого часового - не оказалось. Досада! Беспалов так на эту ячейку рассчитывал.

В двух дзотах - он с трудом в них пролез - тоже. На четвереньках облазил, исползал все кругом - нету.

Тогда он стал раскапывать просто руками - вонзаясь в рыхлое, выдирая и отбрасывая комья, снова вонзаясь и снова выдирая. Так он рыл, не давая себе передышки, послабления, рыл и рыл. Но сил становилось все меньше, все меньше оставалось надежды. Никого ему уже не спасти.

«Никого?! Лейтенант!»

Потрясенный гибелью Корчина, всех остальных, он напрочь забыл о раненом. Он уже дважды - дважды! - перед ним виноват.

Бегом Беспалов пустился обратно. Направление он запомнил, но посветить нечем, а на зов лейтенант не откликнется - и не услышит, и слаб.

Пробежал далеко - лейтенанта нет. Повернул снова к дзотам, взял чуть в сторону. Опять повернул, стал кружить.

С этим парнем, с этим бедолагой-лейтенантом, ему отчаянно не везло. Еще темень ...

Беспалов споткнулся, упал, минуту-другую сидел, растирая ушибленное колено. И

тут - стон. Боже, как он был рад этому стону!

- Лейтенант! Ты?! Ты, милый?!

И снова, в который уж нынче раз, изругал себя - последними словами изругал. Надо было пошарить в карманах убитого. Неприятно, ну что ж. Вдруг да нашелся бы индпакет - так сейчас нужен.

В землянках под берегом люди. Сюда бы двоих-троих. Но отлучаться он больше не хотел. После снова искать?! Нет!.. Один потащит, что ж поделаешь.

7

Самое трудное было - поднимать раненого, взваливать эту живую, стонущую от боли ношу себе на спину. И потом, через какой-то промежуток времени, когда начинали подламываться ноги, опускать. Поднимать и опускать.

А еще были страхи. Один страх - споткнуться, упасть, уронить. Другой - угодить под обстрел: сразу раненого не положишь.

Славный малый, он то и дело просил: «Отдохните, товарищ капитан...» Силился зажать стон в зубах, не дать ему вырваться - Беспалов эту его борьбу с самим собой, со своей болью чувствовал, кожей ощущал. Потом лейтенант пообмяк, все чаще стал забываться, впадать в беспамятство. Ни о чем уже не просил.

Это был главный страх - не донести. Парень хоть как-то еще связывал его с теми, кого он, Беспалов, не уберег, не сумел уберечь...

В рассветной серости, мутноте, на тонком стволике одиноко стоящей березы Беспалов приметил картон с красным крестом и стрелой. Стрела указывала ему дорожку.

8

Старшина, по всему - санинструктор, оттолкнул загруженный до предела плотик. Чуть раньше, совсем чуток, и Беспалов успел бы с ходу, без потери драгоценного времени, отправить своего лейтенанта.

«Эх, беда!..»

Сидевшего с краю бойца - забинтованная нога, бинт на шее, в вытянутых руках то ли шест, то ли весло, - санинструктор напутствовал:

- Держись ближе к берегу! Понял? Да башку-то пригни! Фриц заметит - живо пробоину сладит.

Он один был такой, сидячий, на этом утлом суденышке, на этом плавсредстве. Все остальные - лежмя. И больше там ни лежачего, ни сидячего не уместить.

Беспалов долгим взглядом проводил уплывающий по течению плотик. Долгим, тоскующим.

- А где тут немцы?

Санинструктор мотнул головой:

- Да вон, в Петровке.

«В Петровке?!»

Вчера утром, еще только вчера, Петровка была в тылу, и там - часть штадива с центральным узлом связи. Теперь в Петровке немец... Час от часу не легче.

- Плох парень, - сказал санинструктор, всматриваясь в неподвижное, полуживое лицо. - Подсобите-ка.

Он быстро, мастеровито стал подбинтовывать лейтенанта. Спросил:

- Вас перевязать?

- Нет, - ответил Беспалов. - Меня не нужно.

Трое-четверо, тоже в бинтах, тоже раненые, но, должно быть, легко, крепили, доканчивали новый плотик, очередной. Еще человек десять ранбольных, как говорится по-армейски, дожидались отправки. Кто-то лежал, кто-то нянчил укутанную в марлю руку, кто-то смолил самокрутку, матерился - отводил душу.

Беспалов помог спустить плотик. Наспех, Бог знает из чего сделанный, вид он имел неказистый, уверенности не внушал, однако же на плаву держался.

- Лейтенанта?

- Да, давайте.

Только-только они его приподняли, понесли, как вдруг из-за ближних кустов кто-то тоном приказа:

- Отставить! На плот - никого!

Впереди майор - рука на перевязи; это он подал такую команду. Следом - стриженая медсестра с санитарной сумкой; толстый, будто на нем сто одежек, сержант; и - замыкающим - боец с ППШ, с сидором: ординарец, полагать надо.

Беспалов узнал майора - недавно назначенный командир артполка. Прежний - кадровый, боевой - по ранению выбыл. Этот еще и не повоевал толком, но свитой уже обзавелся.

- Что-о?! Что такое?!

Меньше всего в этот момент, в этих обстоятельствах, склонен был думать Беспалов о субординации.

Майор поглядел в его сторону, как глядят в пустое пространство, прошагал мимо, вскочил на плотик.

- Вы что, не видите?! - гневно выкрикнула медсестра. - Майор ранен!

А майор уже протянул ей руку - которая без перевязи. Сержант подхватил не для него приготовленный шест...

Такого нахрапа, бесстыдства, такой наглости Беспалов не ожидал.

«Н-ну, нет!»

Он прыгнул в воду, уцепился за плот.

- Вы возьмете тяжелораненых! Слышите?!

Он настолько был вне себя - даже боли не ощутил, когда толстый сержант ударил его шестом по одной руке, по другой. «Ах, так?! Так?!»

Удерживая левой плот, правой рванул кобуру и выхватил пистолет:

- Вы слышите?!

Майор переменился в лице.

- Ты в своем уме, капитан! Вот, смотри! - Он дернул торчащий из-под сержантской гимнастерки кумач.

- Понятно?!

- Вы должны взять тяжелых!!

- Ладно. Двоих, не больше!.. Но имей в виду, капитан... Беспалов, если не ошибаюсь?.. Эт-то те-бе да-ром не прой-дет!..

9

Беспалов, хоть и не знал всей картины - да и кто ее знал, мог с уверенностью сказать:

следующим ходом немцев в этой стремительной партии будет попытка взять группировку русских в клещи. А там и в кольцо – германскому кровожадному богу в угоду.

Понимают это в штадиве? Должны, обязаны понимать, на то и штадив. Но сомнения все-таки мучили...

Свирепые «фоккеры» бомбили пойму, прибрежную полосу, ближние и дальние подступы к Петровке. Вообще все окрест. Улетали, опять прилетали, вытягивались в цепочку, устраивали карусель с бомбометанием, эдакий цирковой номер, аттракцион: вниз – вверх, вниз – вверх; рев – свист – грохот, рев – свист – грохот.

И хоть бы один прилетел свой, со звездами. Хоть бы один-единственный!

Чтоб да – так нет, как говорил, разумеется, в шутку, его комиссар, побратим южных кровей, навечно оставшийся под Холмами, все под теми же Холмами, будь они трижды ... Ах, да не Холмы виноваты – что Холмы? Так же, как здесь, сейчас.

Немцы собрали кулак – разве не ясно? И ударили. И колошматят их тут который день. Так неужели за все это время нельзя было что-то сделать, что-то предпринять? Есть же у армии, у фронта тем более, какой-никакой резерв! Прикрыть с воздуха, по крайней мере.

«Командир, – спросил его тогда комиссар-побратим – то был последний их разговор, потому так, наверно, запомнился. – Командир, – спросил он, – ты что-нибудь понимаешь? Что тут происходит? Что с нами делают? Зачем и почему?.. Я – ни хрена не понимаю!»

Беспалов, по совести, тоже не мог понять. Уразуметь. Только теперь, повоевавши, насмотревшись, начинает, кажется, мало-помалу прозревать. И по мере того, как это происходит, ему становится горше и горше ...

Множество раз пришлось пережидать налеты, обстрелы, отсиживаться да отлеживаться где случится – в щелях, ямах, рытвинах, расспрашивать воинский люд, пока наконец удалось отыскать то, что было нужно. Уже на исходе дня, еле волоча ноги, он ввалился в землянку у берега.

- Беспалов?! Живой?! А мы, брат, тебя уже похоронили!

У пээнша-один было серое, с провалившимися глазами, лицо человека, забывшего, когда он спал.

- А где сам?

- Начштадива контужен... Хочешь доложить? Садись, докладывай.

Беспалов сел, вытянул чугунные ноги.

- Только коротко. У нас с тобой считанные минуты.

Есть – коротко. Беспалов, опуская подробности, доложил. Главное, основное.

Внимание, с каким слушал его помначштаба, он же начальник опеpотдела, Беспалов истолковал в свою пользу. Что ж, он всегда считал пээнша-один умным, толковым офицером, слава Богу, не перевелись еще такие.

Пээнша качнул большой, в кольцах-курчавинках, головой.

- Тебе, Беспалов, не позавидуешь. Всех потерять, остаться одному. – Он с шумом вобрал в себя воздух. – Не позавидуешь!

В землянку проворно втиснулся молоденький, востроглазый боец.

- Товарищ... – он осекся, приметив сидящего сбоку Беспалова.

- Ну? – поторопил его пээнша.

- Там все готово.

- Хорошо. Сейчас иду.

Пээнша передвинул на ремне кобуру, достал пистолет и перезарядил обойму.

Самое время было Беспалову задать свой вопрос. Самое как раз.

- Могу я спросить?.. Какие ближайшие задачи?

- Ближайших задач – две. Первая такая ... – Пээнша отогнул рукав. – В семнадцать тридцать – атака на Петровку... в силах принять участие?

Беспалов кивнул.

- И правильно. Тебе это кстати.

Пээнша сделал паузу. Хотел тем самым подчеркнуть сказанное? Может быть, может быть.

- Пойдешь на левый фланг, поможешь поднять людей.

- Что за люди?

- Комендантская рота, пушкари, саперы. Словом, с бору да с сосенки... Я буду справа. Начало атаки – зеленая ракета.

Пээнша вытащил из кармана горсть патронов к «ТТ», протянул Беспалову.

- Все небось расстрелял? – Потом нашарил за спиной фуражку.

- Учти: атака ложная, в известном смысле – психическая. Побольше пальбы, шуму-гаму. Создать впечатление: полны решимости отбить Петровку. Не сегодня, так завтра... Ну, а другая задача ... О ней – после атаки. Если, конечно, нас с тобой не убьют ...

10

Стрелки на беспаловском «тракторе» – больших наручных часах с решеткой, доставшихся от отца, – показали 17.30, двинулись дальше, а сигнальной ракеты все не было. Задерживалась атака.

Невдалеке, под кустиком, боец постарше и боец помоложе курили цигарку – одну на двоих. Покамест один, убрав ее в горсть, тянул, другой осматривался с безразличным видом.

Беспалов, глядя на них, усмехнулся. Усмешка была не без зависти: сам бы дымком подышал, с превеликой охотой.

А еще б того лучше – вонзить зубы в сухарь. И разжевать. И снова вонзить.

Он досадливо стукнул кулаком по тощей полевой сумке, лежавшей у него на коленях. Стукнул – и прислушался к кулаку. Стукнул снова – что-то там, в сумке, было плотное, твердоватое.

«А ну как?!»

Нет, не сухарь. Но вполне достойная компенсация.

«Жи-вем!»

Но откуда она взялась, компенсация эта? Как в сумку к нему попала?

«Ах, да!..»

Перед тем как им бежать к дзотам, Корчин – он был за старшину – вытряхнул на плащ-палатку НЗ: концентрат «суп-пюре гороховый» в пачках. Раздал. Вышло – по пачке на

брата. Последняя - им, Корчину и Беспалову. Корчин разрезал ее пополам. «Обойдемся, товарищ капитан?» - «Обойдемся».

Вот так и попала...

Подумалось: не стоило бы перед боем - вдруг да ранят в живот. Подуматься-то подумалось, а пальцы продолжали свое: отламывали - и в рот... «Типичное раздвоение личности», - второй раз подряд усмехнулся Беспалов.

Что-то, однако, мешало, создавало неудобство; то был взгляд чьих-то голодных глаз, очень голодных. Его челюсти сжались. Он завернул что осталось - и поманил к себе те глаза. Глаза ушли в сторону, вроде бы и не смотрели сюда.

Беспалов стал ждать. Ждал терпеливо, упорно. Снова увидел их. И тогда - уже энергично, по-командирски - махнул рукой. Приказал...

11

Ракета, прочертив вечереющий небосвод, загасла. Беспалов сказал: «Пошли, ребята...», влез на бугор, за которым в сизой дымке открывалась деревня, и, ни разу не оглянувшись, пустился трусцой. Потом услышал нагоняющий его топот.

Пулеметы - оттуда, от ближних домов, - ударили почти разом. «Один... два ... три...» Этого было достаточно, чтобы остановить и не такую атаку.

Какое-то время он еще бежал, стреляя перед собой, бежал, пока не увидел - поравнявшийся с ним боец сбился с темпа, осел, повалился снопом.

- Ло-жи-сь! - не щадя глотки, прокричал Беспалов.

- Ы-ы-сь! - тотчас же донеслось откуда-то справа. И опять, и снова, заглушаемое пулеметным треском: - Ы-ы-сь!

Он как раз падал, подтверждая тем самым собственную команду, показывая, что́ надо делать, когда ему вдруг ожгло плечо. Ожгло жарко, остро, но рука продолжала действовать: действует, значит, ничего страшного, можно воевать дальше.

Беспалов подполз к бойцу - тот, бедняга, уже не дышал, - высвободил из-под мертвого тела винтовку. Приладился, стал стрелять.

Стреляли по всей линии атаки. Частили, сыпали очередями ручники, что-то - тут, там - рвалось, грохало, ухало.

В трех-четырех избах полыхнуло пламя, неожиданно сильное, катнулся клубами дым. Вид бушующего огня - на общем фоне пальбы и грома - создавал впечатление яростной схватки, хотя на деле это было не так.

Постепенно стрельба стала чахнуть, сходить на нет, как сходит на нет вспышка гнева. Шум-гам - утихать.

Отползали в сумерках, в сыром, быстро густеющем тумане, вытаскивали тех, кто сам уже ползти не мог. Под бугром, где был перед тем исходный рубеж, толклись кучками, переговаривались, курили - у кого еще осталось что курить. Тут же перевязывали раненых, тут же, только повыше, подалее от воды, рыли могилу - одну на всех убитых, братскую, каких, начиная с Холмов, оставлено уже немало. Настоящая атака, ложная - платить приходится тем же.

Наскоро перевязавшись, Беспалов пошел отыскивать пээнша.

Кто-то сказал:

- Так он вроде погибши.

- Погиб?! Помначштаба погиб?!

- Говорил тут один.

- Где он - кто говорил?

- Да вон он, кажись...

Боец подтвердил. Сам видел, были рядом.

- Его вынесли?

- Н-не знаю.

- Пойдем, доведешь.

Бойцу идти не хотелось. Только оттуда - и снова-здорово?

Беспалов намеренно резко спросил:

- Комендантская рота?

- Она.

- Фамилия?

Боец вздохнул: не отстанет капитан этот ...

Идти было недалеко. Пулемет, надо думать, ударил прежде в то место, откуда пустили ракету. А пускал ее сам пээнша. Собственноручно.

Убит он был двумя пулями в грудь, в область сердца. Хватило бы и одной, наверно.

Пока они его выносили, потом сами и опускали в вырытую уже могильную яму, Беспалову все вспоминался недавний тот разговор в землянке, вспоминалось, что пээнша сказал ему напоследок: «Если, конечно, нас с тобой не убьют...»

Что это, думал Беспалов, так, присказка фронтовая? Или предчувствие, самопророчество?

Он не просто скорбил, печалился, он все отчетливее сознавал: погиб человек, ему, Беспалову, очень нужный. Какой-то злой рок выбивал самых нужных ему людей.

12

Беспалов еще побродил в надежде найти кого-нибудь из штабных - передать документы, оружие пээнша. Как-то определиться, задание получить, пока эта сумятица. Но так никого и не нашел, штадив куда-то переместился.

Придавленный грузом потерь, событий, измочаленный, опустошенный, он приткнулся к какой-то лесине, прикрыл глаза. Впервые за эти последние два дня войны, два дня и ночь, как бы слившиеся воедино.

В глазах был песок - хоть кричи. Мало-помалу песок растворился, растаял, выкатился слезой... и Беспалов увидел поле - осеннее, сумрачное, такой же сумрачный лес, а над полем, над лесом тяжелые, темные тучи; тучи плыли, лохматились, опускались все ниже, вот-вот, холодные, влажные, коснутся его головы...

- Товарищ капитан! Товарищ капитан! - теребил кто-то. - Уходим.

«Уходим?!»

Так вот вторая задача, и конечно же основная, главная, это ее имел в виду пээнша, о ней еще должен был сказать. Вывести живую силу, выскочить из мышеловки, пока она не захлопнулась. Атака была лишь обманным, отвлекающим ходом, маневром, дымовой завесой.

Шли гуськом, дышали друг другу в затылок. Время от времени по цепочке передавали: «Не курить!.. Не разговаривать!...»

Небось штабники стараются, сонно думал Беспалов, ступая куда-то в темь, наугад, штабники, которых он так и не смог отыскать. При деле ребята, при деле: давно все искурено, ни табачинки, а разговоры - до них ли?

Шли без привалов, без передышек; кому было невмоготу, делал шаг-другой в сторону, валился обочь тропы. Кто-то в дремотном оцепенении, в полусне, шагнул не туда, сорвался в воду.

Ночи уже оставалось немного, когда ход замедлился: впереди была переправа. Дряхлый, скрипучий паром загружался сверх меры, с натугой одолевал реку. Просто диво, что он еще цел, что немцы до сей поры не разбомбили.

Только сошли с парома, двинулись дальше - уже не гуськом, вольно, впереди раздалось:

- Из артполка кто есть?

- Кто из десять двадцать четыре?

Беспалова это никак не касалось, встречать его некому. Хозвзвода у них давно уже нет: при такой численности он был не нужен. Корчин один управлялся - и воевал, и обеспечивал.

Никоим образом не касалось, он себе шел да шел, мысленно отмечая, что ночь на убыль, а там и утро, день. Может, Бог даст, этот день будет без войны?

- Э, друг! - ткнул его кто-то в плечо, задетое вчера пулей, ткнул чем-то твердым, как раз в то место.

-У-у! - вырвалось у Беспалова.

- Ты что - ранен?.. Ну, не серчай. На, держи. - И сунул ему сухарь. Сунул другой.

Беспалов хотел сказать «спасибо», но в горле у него запершило, слово застряло. Черт-те что!

А чуть позже, откусывая понемногу, он думал: при первой возможности напишу маме. Об этом ночном переходе, о переправе и допотопном пароме, об этих вот сухарях. О сухарях - непременно...

13

Спали вповалку. Кто-то шумно храпел, кто-то стонал, охал, кто-то с кем-то бранился, кто-то продолжал воевать - выкрикивал команды.

Беспалов ничего не слышал, как в преисподнюю провалился. Долго не мог взять в толк, зачем его тормошат, выдирают из сна, из блаженного этого состояния.

- Подъем! Подъем!.. На беседу!

«Что?! Какая, к чертям, беседа?!»

У оконца, за столиком об одну ногу, сидел известный Беспалову человек: принимал его в кандидаты, а после и в члены партии. Вообще в дивизии известный - секретарь парткомиссии.

Тут же, напротив, кто-то еще. Лицо, впрочем, тоже знакомое.

У того и у другого по две шпалы в петлицах, оба старше по званию, но козырять он не стал, сказал просто:

- Капитан Беспалов.

Так же просто ему указали на ящик, снарядный ящик, поставленный на попа.

- Садитесь.

Он сел, пока еще плохо понимая, о чем с ним хотят говорить. О чем могут с ним говорить эти двое - секретарь парткомиссии и ... Кто же второй? Не особист ли?.. Ну да, конечно, встречался ему в штадиве.

- Капитан Беспалов? - всматриваясь, проговорил секретарь. -Командир лыжбата?

Беспалов кивнул.

- Ваши люди здесь, с вами?

В этой большой землянке, вырытой для штадива, дневала сейчас комендантская рота, с которой Беспалов ходил в атаку, потом всю ночь шел, переправлялся, да так пока что и пребывал при ней. Ему было все равно - при ком и при чем, безразлично.

- Нет, - ответил Беспалов с усилием.

- Нет? - секретарь явно недоумевал. - Как так?

Эту пытку он уже накануне вынес. Но тогда перед ним был военный, понимавший все с полуслова, сейчас - партработник, пусть и армейский.

Лыжбату не повезло, самому Беспалову тоже. Чего угодно он ждал, но только не этого: все погибли, командир жив.

Ему как бы заново надо было пройти путь, проделанный с горсткой лыжбатовцев, а потом еще в одиночку. И по мере того как он его проходил, повторял шаг за шагом, секретарь все больше и больше хмурился.

- Да-а, - заключил, - хуже не придумаешь.

Может, помстилось Беспалову, может, и так, но как будто послышалось в этих словах что-то похожее на сочувствие. Обрадованный, благодарный, он сказал:

- Считаю долгом представить Редько и Палёных к награде. Посмертно... Прошу вас, товарищ батальонный комиссар, поддержать.

Секретарь покачал бритым черепом:

- Дивизия отошла, сдала уже отвоеванные позиции. Вряд ли кого-нибудь наградят.

- Но люди ценой своей жизни... - заволновался Беспалов.

- По опыту знаю: вряд ли.

Секретарь помолчал, словно бы предлагая Беспалову еще раз самому подумать. И уже другом тоном спросил:

- Взносы давно не плачены? Покажите-ка ваш партбилет.

Еще неловкими от волнения пальцами Беспалов полез в нагрудный карман, достал книжицу в красных корочках. Секретарь раскрыл - и перевел удивленный взгляд на капитана.

- Но... это не ваш партбилет!

- То есть как?

- Да так.

С фотокарточки, вклеенной в книжицу, смотрел... пээнша.

- Вылетело из головы! Взял документы, оружие - передать... Так что вам - по назначению...

Секретарь - все с той же удивленной миной - положил утративший владельца партбилет в полевую сумку.

- А ваш?

- Мой - вот.

- Угу, угу, - покивал. - Давненько... Приходите в политотдел, примем взносы.

Сидевший с замкнутым видом особист спросил:

- У вас все, батальонный комиссар?

- С капитаном – да, с ним – все.
- Я хотел бы продолжить разговор, – сказано было уже Беспалову. – Пойдемте, не будем мешать.
Выходя, Беспалов услышал:
- Кто там дальше?
Подумалось: за кого, черт возьми, он нас держит? Взносы его волнуют – плачены, не плачены. Как бы не так!.. Партпроверка: не девал ли куда билет?..

14

Прочный, в четыре наката, блиндаж. Телефон. Ординарец.
Короткое – ординарцу:
- Погуляй.
И сразу, без разминки, к делу, сразу быка за рога:
- Так вы, я гляжу, мастер сказки сказывать!
Да, конечно, Беспалову можно верить, можно не верить. Особистам по штату положено все подвергать сомнению. Но к чему эта ирония, этот дешевый сарказм? Дешевый и оскорбительный.
- Что вы имеете в виду?
- Все вами изложенное. Эту легенду, которую вы так старательно расцветили.
- Легенду?
- Да, именно!.. Взять хотя бы ваших героев. Кто поверит, что они сами, без приказа, кинулись навстречу танкам? На верную смерть ... Кто поверит, что немцы, да еще с танками, хотя бы и с одним танком, ни с того ни с сего стали вдруг отступать? Перед кем? Перед горсткой русских, которых им ничего не стоило сковырнуть... Кто поверит, что ваши люди все враз погибли? Все до одного!.. Раскопать тот обрушенный дзот нет возможности – там теперь немцы. Вы это, конечно, учли, когда придумывали легенду. – Особист иронически скривил губы. – Надо отдать должное вашей изобретательности. В нужный момент – словно из-под земли – появляется лейтенант. Его фамилия вам, разумеется, неизвестна?
- Было не до фамилии. И уж тем более не до проверки документов.
- Да, да ... Он приносит ценное сообщение, и вместе вы якобы отправляетесь якобы ловить якобы беглых бойцов, необходимых вам для восполнения потерь. Складная получается история!.. Только вот своих оставляете без командира – тут уж никаких «якобы», точно так ... Хм! Оставляете – мягко сказано. Вы их попросту бросили ... Полночи вы будто бы тащите на себе израненного лейтенанта. Факт, который тоже никак не проверить ... Единственное, что поддается проверке, – эпизод с санинструктором. Если он жив – тот санинструктор. Но и это мало что прояснило бы. Раненого, умирающего вы могли подобрать на дороге, да где угодно. Могли? Могли ... А участие в атаке под Петровкой ... Пээнша убит. Боец, бежавший рядом с вами, тоже убит. Других очевидцев вашего присутствия, тем более активного участия, похоже, не существует?
Хотелось садануть кулаком по столу. Ко всем матерям послать этого майора госбезопасности, который в каждом его слове видит ложь, в каждом поступке – предательство. Ах, как хотелось!
«Нельзя». Выстраивалась цепь обвинений – и обвинений нешуточных. Эмоции могут лишь навредить.
- А вот что засвидетельствовано официально. – Особист извлек из приготовленной загодя папки несколько листков, расправил их. – Читаю, – голос его построжел, построжело лицо. – Угрожая оружием, препятствовал спасению полкового знамени... Пытался воспользоваться плавсредством, предназначенным для раненых... Тут все это достаточно подробно. И три подписи, три фамилии. Не каких-то мифических, а вполне реальных лиц, заслуживающих доверия.
Он потянулся издали, положил листки перед Беспаловым – торопливо исписанные, вырванные из блокнота листки.
- Полагаю, у вас не возникло сомнений в подлинности этого рапорта, поданного по команде?
Не возникло. Что возникло, так это чувство гадливости, омерзения перед низостью, перед подлостью, не знающей границ.
- Вот какая вырисовывается картина, Беспалов. Вот подлинное лицо командира лыжного батальона.
Беспалов вдруг услышал, как в ушах у него стучит кровь, как отбивает удары сердце. Нет, он не испугался – он был не робкого десятка. Но что-то словно бы приоткрылось ему. Он сказал, быть может, слишком запальчиво:
- Протрите глаза! Если вы в самом деле не видите. Со мной хотят свести счеты. Это же как дважды два!
- Удобное объяснение, – с холодным спокойствием заметил особист. – И все же, боюсь, вам не отмыться.
- Мне и не нужно отмываться, я себя ничем не замарал. А эта бумажка, – Беспалов повел головой, – грош ей цена. Устройте нам с ее подателем очную ставку. В присутствии санинструктора. Думаю, он все-таки живой.
- Командир артполка по ранению убыл. Увы.
- Очную ставку с двумя другими, – настаивал Беспалов.
Казенным тоном особист посулил:
- Будет необходимость – устроим.
Он умолк, собирая листки. Потом, словно бы между прочим, спросил:
- Оружие пээнша, как я понял, у вас?
- У меня.
- Давайте сюда. Я передам в оперотдел.
«Могу и сам передать, без посредников», – подумал Беспалов. Но говорить ничего не стал. Так ли уж это важно – кто передаст? И что при этом будет сказано.
Достал из брючного кармана пистолет пээнша, дулом в сторону положил на стол.
- Без кобуры?
- Осталась на нем.
Особист взял в руки «ТТ», зачем-то внимательно осмотрел его. Остро взглянул на Беспалова.
- Вы их, часом, не перепутали – пистолет пээнша и свой? Как перепутали давеча партбилеты.
- Нет, конечно.
- Почему – конечно? Номер своего вы помните?
Хоть это вовсе не обязательно, Беспалов помнил выбитую на «пяточке» шестизначную цифру. Молодая, цепкая память удержала ее.

- Не ошибаетесь? Покажите-ка.

Еще не улавливая смысла этой игры с оружием, Беспалов положил на стол свой пистолет тоже. Особист поднес его к глазам.

- Да, точно. - И, чуть поменяв интонацию, добавил: - Пистолет вам сейчас не нужен. Пусть пока полежит у нас.

Такого поворота Беспалов не ждал. Кровь бросилась ему в лицо.

- Что значит - не нужен?! Что значит - пока?!

- Пока мы ведем с вами эти беседы.

- Вы превышаете свои права!

- Не превышаю, Беспалов. Все в пределах дозволенного. Необходимого. Все в пределах.

Он подошел к двери и, отворив ее, поманил ординарца - тот был тут как тут. Сказал ему что-то, затем обернулся к Беспалову:

- Вас проводят. Это здесь, по соседству. Мой совет: говорить правду, только правду. Чистосердечно во всем сознаться.

Но уходить отсюда Беспалов не спешил. Спокойно - насколько это было возможно - он спросил:

- Сознаться - в чем?

- В содеянном, Беспалов. В содеянном.

Да, конечно, он виновен - остался жив. Он не имел на это морального права, по-видимому, не имел. Но если по совести: разве можно его хоть в чем-нибудь?..

- Ищете виноватых? Или козла отпущения?

Особист выпрямил спину - он был рослый, под самый накат. Лицо опять напряглось, опять построжело.

- Не забывайтесь, Беспалов!

- Беседа так беседа, - возразил Беспалов. И продолжал: - Может, вы скажете: кто проспал немца? Почему командование медлило, дало немцам развить успех? Почему полки лишились управления и вынуждены были действовать на свой страх и риск? По чьей вине была утрачена связь, утрачено всякое взаимодействие с соседями? И кто, дьявол побери, за все это ответит? Кто?!

Особист слушал, не перебивая, лицо его становилось все более напряженным, на лбу вздулись вены. С нажимом он произнес:

- Разберемся - кому и за что отвечать. Разберемся! Сейчас речь о вас.

15

Разговор в этой очередной землянке, куда препроводили обезоруженного, выходит, и арестованного Беспалова, начинался трудно. Не без причины, само собой. Они были знакомы - Беспалов и хозяин землянки.

К фронту в одном эшелоне с лыжбатом ехали службы штадива, ехал взвод комендантской роты и еще медсанбат в половинном составе. На стоянках, а стояли, случалось, подолгу, эшелонное население выбиралось на воздух - подышать, размять ноги. И всех, как магнитом, тянуло к медсантеплушкам.

У завлекательных тех теплушек приметил Беспалов сутуловатого, его лет, может, постарше, офицера в очках и тоже со шпалой. "Ошпаленный", но не строевик, сразу видно".

Этот нестроевик, очкарик этот, был однако, парень не промах. Пока другие присматривались да приглядывались, он успел завладеть вниманием симпатичной докторши, прохаживался вместе с ней, развлекал разговором. Так сказать, подбивал клинья.

Под Холмами Беспалова в первый раз продырявило, в первый раз он попал тогда в медсанбат и увидел, узнал ту симпатичную докторшу. Рядом с ней увидел другую, тоже весьма симпатичную, увидел - и, что называется, положил на нее глаз. Симпатичных звали Вера и Нина.

У Нины были удивительно легкие руки - почти не причиняли боли. Беспалов с тихой радостью наблюдал, как быстро и ловко снимает она повязку, что-то там делает своими осторожными пальчиками, затем, похвалив его за успехи, кладет свежую.

Перед тем как покинуть эту упрятанную в лесной чаще обитель, он битый час кружил вблизи перевязочной. А всего-то дел у него было - поблагодарить да попрощаться.

Нина вышла, улыбнулась готовно. Неужели предполагала его здесь повстречать?

Они стали бродить по утоптанным, в мерзлой хвое, дорожкам, говорили о том о сем; ему было с ней хорошо, просто. Еще этот чистый снег, эта тишина, повисшая на ветвях, это полузабытое ощущение покоя.

Он что-то рассказывал, кажется, о недолгом своем студенчестве, когда сбоку, с соседней тропинки, вдруг подчалили к ним Вера и тот дорожный очкарик. Мужчины назвались, пожали друг другу руки - познакомились, словом. Но... гулять вчетвером, беседовать вчетвером, вчетвером шутить и улыбаться... Тет-а-тет с Ниной - одно; компания, хотя бы и такая, - совсем другое. Беспалов извинился и пошел встречать коновода с лошадью, которого должны за ним прислать.

Этот очкарик - военюрист, следователь, как было теперь известно Беспалову, - еще пару раз попадался ему на глаза. Они здоровались - на ходу, второпях, и все, и шли дальше каждый своей дорогой.

Сейчас оба испытывали неудобство, вполне понятное, испытывали неловкость. Неловкость сковывала, мешала, надо было ее взломать решительно и бесповоротно. Беспалов спросил:

- Что все это значит? Вы мне можете объяснить?

Вопрос был прямой; прямым откровенным, честным должен был быть и ответ, пока еще роли - следователя и подследственного - не развели их, чем-то незримо связанных. Незримо, в самой ничтожной мере, а все-таки.

Тот, кого спрашивали, помешкал - может, хотел собраться с духом? Ткнул себя в переносицу, поправляя очки.

- Вас хотят судить.

„Судить?!"

Он не ослышался, нет - как было сказано, так он и понял. А следователь, надо думать, умеет выражаться точно... Впрочем, после разговора с особистом вряд ли стоит очень уж удивляться.

- За что?

- Дознание считает - есть за что.

Да, умеет выражаться точно. Точно и лаконично.

- Лжет оно - это ваше дознание. Злонамеренно лжет.

Тоже точно, хотя, быть может, и не так лаконично.
Следователь поморщился:
- Давайте будем сдержанными.
- Сдержанность - это хорошо, - согласился Беспалов. - Но в Писании, знаете ли, сказано: когда станут тебя предавать, не трудись в поисках слов... За точность не поручусь, но смысл такой.
Следователь с любопытством поглядел на Беспалова - кажется, впервые за время их знакомства.
Беспалов спросил:
- А ваша функция - в чем она?
- Разобраться. Выяснить все досконально.
- Разобраться не так уж сложно.
- Представить доказательства вины. Бесспорные доказательства. - Он достал ручку с вечным пером, приготовил бумагу. - Начнем?.. Вы, командир лыжбата, получили приказ. Что было дальше? По порядку, без пропусков.
Беспалов вздохнул:
- За последние сутки я трижды исповедовался на эту тему.
- Что поделаешь! Попали в переплет - крепитесь. Итак...
Да, делать нечего. Начинай, Беспалов, все по новой...
Лист, еще лист. Еще. Уже их, заполненных беглыми строчками, стопа целая, уже Беспалов и его лыжбатовцы с потрохами на этих страницах. Но следователю того мало - надо что-то развернуть, обрисовать в деталях, уточнить.
„Сутулость, плохое зрение - это что же, профессиональное?"- почти с сочувствием размышлял Беспалов, глядя, как в поте лица трудится работник следствия. С сочувствием - но и как-то еще чуть-чуть свысока, что ли, хотя это самое „свысока" не очень вязалось с его теперешним положением.
Дважды за время допроса звонил телефон. Следователь, отложив перо, прижимал к уху трубку, слушал. Главным образом - слушал, изредка отвечал, и то довольно-таки односложно: „да", „нет". Больше было этих кратких, категорических отрицаний; еще было: „сомнительно", „невозможно", „немыслимо". Такой смысловой ряд. Что за ним, за тем рядом - иди гадай.
Телефон зазвонил еще раз - уже в самом конце, на финише. Сказано было и того меньше: сперва - "нет", с последующим усилением - "никак нет"; затем, после паузы, рокота в трубке, слышного даже на расстоянии: „есть", „иду" - уважительно, но с достоинством это „есть - иду", что отметил про себя Беспалов.
Похоже, чем-то взволнованный - чем? - следователь скрепил и пронумеровал страницы, дал посмотреть Беспалову.
- Все так?
- Так.
- Подпишите.
Беспалов, не говоря ни слова, подписал. Подумал при этом: „Подписываю протокол допроса в качестве обвиняемого. Дожил ..."
Следователь снял очки, подышал на стекла, протер их - не больно-то он торопился, хотя где-то там, за пределами этой землянки, его ожидало начальство, несомненно начальство: „есть" говорят тем, кто „над". Костяшками пальцев потер глаза, должно быть, изрядно уставшие. Спросил как бы невзначай:
- Вы ранены? - Еще спросил: - Вы что-нибудь ели?
С тем и ушел. Беспалов остался ждать.
„Что дальше? Как далеко все это может зайти? Неужели действительно будет суд?.."
Зашуршала заменявшая дверь плащ-палатка. Щуплый парнишка с хорошим лицом и внимательными глазами - ординарец, понятно - принес в кружке чай, принес хлеб.
Беспалов через силу улыбнулся:
- Еще бы каши!
- Кухня припоздала, - развел руками парнишка. Таким искренним, сожалеющим был этот жест...
Плащ-палатка у входа опять зашуршала. Военфельдшер - пара „кубарей" с „эскулапом" - козырнул коротко, по-деловому.
- Вы и есть раненый? - Попросил „разоблачиться", размотал потемневший, весь в сукровице, в кровяной влаге, бинт. - А-я-яй! - Пожевал губами. - Надо бы в медсанбат.
„О-о, в медсанбат бы не худо! К Нине на перевязку..."
Вернулся следователь. Без папки, в которой уносил протокол допроса, - Беспалов сразу заметил, что без. Почувствовал, нутром ощутил: что-то должен ему друг-следователь сообщить - что-то важное.
В невеселой какой-то думе следователь снял фуражку, сел. Поднял глаза на Беспалова:
- Не знаю, обрадует вас новость или, может быть, огорчит... От участия в разбирательстве вашего дела я отстранен. Да, вот так. Отстра-нен. Все взял в свои руки прокурор.
Не ошибся, значит, Беспалов. Интуиция и в этот раз не подвела, сработала.
- Разве так бывает - чтобы сам прокурор?
Помедлив - чем-то вопрос был для него неудобен, что ли, - следователь сказал:
- Как видите...

16

Беспалов устал от расспросов, повторов, от этого осточертевшего толчения воды в ступе. Передохнуть бы, перевести дух. Не тут-то было! Какая-то гонка, спешка, и спешка, судя по всему, неспроста, как неспроста, конечно же, выведен из игры несговорчивый следователь - от него что-то там требуют, а он: «нет» да «нет». Наверняка речь шла о нем, о Беспалове, догадаться нетрудно... Вывели. Видно, мог помешать, спутать карты, словом, нарушить сценарий. Что таковой существует, сомнений не оставалось: за здорово живешь «шили» дело. И какое дело!
Рана еще досаждать стала. Болело помалу - он терпел, перемогался. Теперь боль растеклась, посуровела, вправду надо бы в медсанбат...
Первое, что увидел Беспалов, войдя, от порога, была круглая, с залысинами, голова, склоненная над бумагами. В тех бумагах, даже на расстоянии, он узнал подписанный им протокол. Толстый, массивный карандаш прокурора что-то отчеркивал, помечал.
Беспалов потянул было руку к пилотке, но рука плохо слушалась, бастовала.

- От вас это уже не требуется, - произнес прокурор, разделяя слова, как бы вкладывая в них особый, впрочем, вполне понятный смысл, и оглядел Беспалова изучающе. В лицо они знали друг друга - до сей поры, правда, только в лицо.

- Вы меня что - списали? Или собираетесь списать?

Он и не думал дерзить. К чему? Но тон в разговоре был задан не им.

- Вы сами себя списали, - сказал прокурор, сведя брови. - Са-ми.

- Можно мне сесть? - спросил Беспалов. Не стоять же, как провинившемуся школьнику.

Прокурор ответил едва заметным кивком. Он из милости разрешил - так следовало понимать.

- Облеченный доверием офицер, командир части, - низковатый голос твердел, набирал силу. - Этот офицер оказался трусом, шкурником.

Снова, как это уже случалось сегодня, вспыхнуло, будто хворост от спички, лицо Беспалова. Жарко стало глазам.

- Доказать надо, что я шкурник и трус. Вы докажете?

Туго сжатыми кулаками прокурор ткнул в бумаги:

- Вот факты! Они против вас - что бы вы там себе ни воображали. Это вам надо будет опровергать, доказывать, если вы попытаетесь обелить себя.

- А как же презумпция невиновности? На меня она не распространяется?

Прокурор вскинул голову, его большой белый лоб покатился в залысины. Презрительный прищур сузил глаза, сузил, словно бы заточил взгляд.

- Анахронизм - эта ваша презумпция. Вчерашний день. Советская правовая наука отбросила ее как обветшалый хлам. Вам ясно?

- Н-не совсем. Без нее что - проще? Удобнее?

Злой высверк изменил выражение глаз.

- Думайте, что говорите, Беспалов!

Прокурор помолчал, поиграл карандашом. Похоже, их прокурорское высочество хоть и разгневались, но не так чтобы очень, и уж во всяком случае умели держать свои чувства в узде.

- В сущности, логика вашего поведения проста, - он словно бы вознамерился разъяснить Беспалову очевидное для него самого нечто, втолковать, довести до сознания. - Весьма проста, если даже не примитивна. Продиктована малодушием, желанием во что бы то ни стало спасти свою жизнь... При первом же удобном случае вы сбежали. Да, сыграли драп-марш в одиночку. Остальные ваши шаги - того же мерзкого свойства. Надо было миновать штадив, посты заградотряда, и вы решили выйти из зоны боев по реке.

- Какая ерунда! - Беспалов тоже пытался держать свои чувства в узде, но это ему не очень-то удавалось. - Я уже говорил дознавателю вашему - досужая выдумка, только и всего.

Прокурор пропустил реплику мимо ушей. Он гнул свое.

- Но с рекой вышла осечка, помешал командир артполка... Атака под Петровкой предоставила вам еще шанс.

- Точно! Шанс схлопотать пулю и там остаться.

- Вы, однако же, благополучно выбрались. Зато шанс использовали - на все сто. - Прокурор сделал короткую выдержку, выдержку со значением, и сказал, не сводя глаз с Беспалова: - Еще предстоит выяснить, как в действительности погиб пээнша. Ваше утверждение на сей счет по меньшей мере неубедительно. Опытный офицер сам пускает ракету, чтобы в ответ получить пулеметную очередь. Кто в такое поверит?!

- Поверит тот, кто знает, какая была обстановка, - твердо возразил Беспалов. - Народ сборный, время поджимает, инструктировать некогда. Я бы на месте пээнша поступил точно так же.

- Хм! Похвальный образ мыслей, - прокурор снова поиграл карандашом. - А вот каков образ действий... Оружие и документы убитого вы оставили у себя. Допускаю - там передать было некому. Ну, а здесь, в расположении штадива? Почему вы не сделали это сразу же?.. Я вам скажу, почему. Вам нужна была свежая голова - обдумать свое положение. Нужно было восстановить силы. И вы - вместе со всеми - повалились спать. В общую кучу в надежде затеряться. А потом рвануть дальше, в какой-нибудь полевой госпиталь. Имея при себе - на всякий случай - документы хорошего, честного человека ...

- Что вы несете?! - уже по-настоящему возмутился Беспалов. - Сивый бред!

Он ждал окрика, яростной отповеди. Но ничего такого не было.

- Что ж, обычная, естественная реакция, - тем же ровным голосом проговорил прокурор, констатировал, так сказать. - Реакция и-зо-бли-чен-но-го.

- Да в чем вы меня изобличили? Вы строите дикие, нелепые предположения. Не приводите никаких доказательств в подтверждение своих умозаключений. У вас нет свидетельских показаний - и откуда им быть! Донос командира артполка? Навет, злобная месть. Слепому видно!

Прокурор стал складывать бумаги. Сказал туманно, ничего не проясняя:

- Понять вас можно. - Помолчал - и еще сказал: - Так или иначе, у меня достаточно оснований для того, чтобы передать ваше дело в трибунал. Более чем достаточно. Попробуйте, Беспалов, убедить в своей невиновности суд. Попытайтесь там оправдаться ...

17

Будто по иронии, «там» все равно оказалось здесь, в этом же прокурорском логове. «Больше негде было, что ли?»

Но сначала - благодарение Небу! - он все-таки получил передышку. Боец с винтовкой наперевес недолго вел его черным, притихшим лесом - в расположение комендантской роты, как понял Беспалов. Распахнул перед ним щелястую, хлипкую дверь. Беспалов повалился на скользкие нары - от них шел запах хвои. И тут же заснул.

Эхма! Спать бы ему да спать, позабыв о войне, о своей беде, обо всем на свете. Смотреть сны...

- За вами. Приказано доставить.

Короткой вышла передышка, до обидного короткой.

Та же тропа - только в обратном направлении, тот же, чернее черного, лес, тот же блиндаж, успевший уже опостылеть. Тот же - и какой-то другой. За столом, где прежде сидел прокурор, теперь трое, рядом - еще один, писарского вида. Ясно: члены суда, секретарь. Прокурор сел отдельно, как раз напротив Беспалова - глаза в глаза. Психологический прием, что ли? С него станется - с прокурора этого... Посредине, на скамейке-времянке, особист, дознавальщик тот самый, и кто-то малоприметный, в накинутой на плечи плащ-палатке, прячет лицо. Может, помстилось - прячет, может, просто так отвернулся?

«А, пустяки...»

Значит, все-таки суд? Суд, в который он не хотел, не мог поверить. Он и сейчас до конца не верил, он и сейчас был в сомнении: неужели это всерьез? Неужели это его, Беспалова, которому не в чем себя упрекнуть, который ни сном ни духом, намерен судить трибунал?!

«Остановитесь! Опомнитесь!!»

Обида и горечь, абсурд происходящего крушили его душу. Боль физическая, такая же беспощадная, терзала плоть. Там, в арестантской землянке, боль отступила - он смог заснуть, теперь она будто наверстывала упущенное, справляться с ней чем дальше, тем труднее.

Эта борьба отнимает силы, мешает слушать, отвечать на вопросы, которые ему задают. Порядком надоевшие вопросы - все о том же, все про то же. Хотя иные из них и с новым поворотом.

- Как вы могли поднять оружие на старшего по званию?! Угрожать?! - угрюмого вида майор, председатель суда, изобразил благородный гнев.

- Я требовал, чтобы на плот взяли раненых, - ответил Беспалов. - Тех, кому нужна срочная помощь, чья жизнь на волоске.

- Так ли? Свидетели показывают другое. Кстати, один из них здесь, - майор сильно повел головой. - Товарищ сержант! Расскажите, как было на самом деле.

Только сейчас Беспалов разглядел вчерашнего сержанта, знамёнщика, что бил его по рукам. «Так вот отчего он таится, физиономию прячет!..»

По всей видимости, сержант мало-мало дрейфил - знала кошка, чье мясо съела. Сырым, зябким голосом он стал объяснять:

- Ну, мы, значит, с командиром полка - на плот... Он раненый, командир наш, все законно. Да. У меня полковое знамя - тоже причина. А товарищ капитан, - пугливый взгляд в сторону Беспалова; хотя чего уж, казалось бы, подсудного-то бояться? - А он - ни в какую! Никого, кричит, не пущу, всех вас тут постреляю...

- Садитесь, сержант! Достаточно, - сделал ему вежливый окорот председатель.

Ну да, что требовалось, он уже сказал. А то брякнет еще, по простоте, что-нибудь лишнее, что-нибудь невпопад.

- Вот, оказывается, как дело-то обстоит! - это уже ему, Беспалову. - Показания свидетеля обличают вас - вашу лживость, стремление как-либо вывернуться, уйти от ответственности...

Боль накатывала, вонзалась, и тогда Беспалов словно бы выпадал куда-то, утрачивал связь с окружающим. «Держись, старик! - подбадривал он себя. - Держись...»

Главный обличитель, прокурор, вел свою речь напористо. Обвинения те же, Беспалову уже известные, только теперь - для вящей убедительности, видно, ну и обстоятельности ради - подавал их развернуто. При этом кое-что путал, перевирал, кое-что попросту подтасовывал. Его тренированный голос то и дело менял окраску, в нем звучали все новые тоны и обертоны, он был то доверительно мягок, то вдруг наливался металлом.

Сквозь болевой заслон прорвалось:

- ...что позволило немцам без труда овладеть важным рубежом нашей обороны, поставило под удар штаб дивизии, усложнило и без того тяжелую обстановку, явилось причиной гибели многих людей...

«Даже так!»

В какой-то момент Беспалов, с ужаснувшей его очевидностью, понял: исход суда предрешен, заранее - и не здесь. То, что здесь, - лишь видимость суда, формальность, камуфляж, ничего больше.

Он как мог готовил себя к развязке, которая близилась. Не желал быть застигнутым врасплох, старался собрать в кулак свою волю.

Старался. Но когда, под конец, услышал, чего требует обвинитель - какой меры, *какой именно*, - содрогнулся, оцепенел.

- Подсудимый Беспалов... Беспалов!.. Вам последнее слово.

Он поднял голову. Слово? Зачем? Зачем ему слово?

Он видел, *как* смотрели на него все, кто был в блиндаже. Что бы он ни сказал, ничего это не изменит, ничего ровным счетом. Его просто-напросто не услышат - не услышал же особист, не услышал прокурор. И председатель суда настроен так же. Все дуют в одну дуду.

Но он все-таки встал - заставил себя это сделать. Заставил себя говорить.

- Потом... после... всем вам... - хрипло выдавливал Беспалов. - И вам, - тяжелым взглядом обвел он членов суда, - и вам, - поглядел он на прокурора, - вам, пожалуй, больше, чем другим... И вам, - взглянул на особиста, - и вам тоже, - на сержанта, трусливо спасавшего накануне себя и своего командира-покровителя, а сегодня заодно с остальными топившего свидетеля этого позора. - Потом вам всем будет совестно. Ох, как совестно!

Сел, уткнул лицо в кулаки и уже никого и ничего не видел. Ему было тошно смотреть на эту публику. Не видел, как вышли и вскоре вернулись члены суда во главе с их угрюмым председателем, как появился - уже зачитывали приговор - очкарик-следователь. Появился, дослушал - и тотчас исчез, как будто его здесь и не было.

Беспалова уводили, а следователь, воротившись к себе, будил в это самое время прикорнувшего ординарца.

- Проснулся? Слушай меня внимательно ... Одним духом - в медсанбат! Отыщешь доктора Веру, передашь с глазу на глаз. Запоминай... Беспалов приговорен к расстрелу...

Брови на худом юношеском лице приподнялись:

- Вот этот... капитан?!

- Да, он. Дальше... Еще можно что-то

сделать, все во власти комдива. Но времени - в обрез... Запомнил? Повтори.

Ординарец - слово в слово - повторил.

- На тот случай, если тебя остановят: куда, мол, и зачем, - вот записка к начаптеки. - Набросал на листке несколько строк. - Он давно обещал нам бинты, кое-что из лекарств. Спросят: почему за бинтами ночью, - могут спросить, придумай что-нибудь поскладнее... Все ясно?

- Все.

- Двигай!.. В какой-то мере судьба этого человека в твоих руках.

18

Долгий, затянувшийся до полуночи, столько в себя вместивший день наконец позади, можно упасть на холодный лапник, закрыть глаза и, пока не сморило, попытаться осмыслить то, что случилось, попытаться понять. Он уже справился с потрясением, взял себя в руки - насколько это в его силах, и если б не рана, воспалившаяся так некстати, ничто не мешало бы думать.

Хотя в чем ему, собственно, еще требовалось разобраться? В чем именно?

Кровавый кошмар под Холмами, так ошеломивший, заставил о многом задуматься. Черными были те думы. А здесь? Участь лыжбата, участь полков...

По-разному складывалось - там, под Холмами, и здесь, разные там и здесь командовали, распоряжались чужими жизнями военачальники. Но принцип един: своя голова дороже.

«Принцип - едрена вошь!..»

Тогда, под Холмами, он довольно легко отделался, тогда ему, можно сказать, повезло. Но судьба переменчива - тогда пощадила, а вот теперь... Очень удобно на нем, на Беспалове, все сошлось. Видимо, так. Кто-то с подлой душой и иезуитским умом это усек. Остальное - дело практики, в чем он и сам, ни за хрен собачий осужденный, приговоренный, смог воочию убедиться. Смог расширить свои представления о правосудии, почерпнутые на двух курсах юрфака.

Как всякий на фронте, он страшился увечья, плена, мучительной смерти. Оказалось: есть кое-что похуже. Много хуже. Но надо быть объективным - его вариант еще не самый скверный.

Он все печалился: не успел, как другие, обзавестись семьей, детьми. Тем, кто успел, и умирать легче - род хотя бы продолжится ... Теперь можно только порадоваться, что у него нет детей, только порадоваться.

Горе - мать, мама. Доброхоты казенные сообщат, пошлют похоронку. Но в той похоронке не будет обычного - как у всех: «смертью храбрых». Там будет другое, совсем другое, позорное... Может, сердцем она и не поверит, но все равно, все равно...

«Проклятье!!!»

Он готов быть расстрелянным дважды, трижды! Сто раз подряд! Только бы ей ничего не знать. Погиб - и точка, не он первый, не он последний. Так нет же, нет! Обязательно сообщат, все будет по закону подлости.

Беспалов оторвался от нар, сделал шаг, здоровой рукой грохнул в дощатую дверь:

- Эй! Есть там кто?!

И тут же услышал шаги, услышал встревоженное:

- В чем дело?

- Курить! - крикнул Беспалов, хотя часовой был рядом. - Курить!!

Часовой по ту сторону хлипкой преграды чиркнул спичкой, и сквозь щели-дыры Беспалов увидел его лицо, увидел глаза. Эти глаза - вряд ли он ошибался - уже где-то ему встречались, притом недавно, только глядели они тогда по-другому, другое было в них выражение.

Спичка загасла, загорелась другая... Глаза - там, за дверью, - стали вдруг круглыми.

- Товарищ капитан... это вы?! Вы?!

Беспалов тоже узнал. То был боец, с которым он перед атакой - последней своей атакой - поделился куском концентрата. Да, тот самый.

Ударом ноги боец сшиб подпорку, отворил хлипкую дверь. Еще чиркнул, как бы желая окончательно убедиться. Сказал:

- Минутку.

Исчез, тут же вернулся - с куском телефонного провода, нацепил провод на дверь и свободный конец поджег. Еще сказал:

- Освещение.

Чуть помедлив, прислонил к стене свою трехлинейку, достал из кармана кисет, сложенную многократно газетку.

- Можно, я тут посижу?

Курили молча. Боец ничего больше не говорил, ни о чем больше не спрашивал. Он, понятно, не мог не знать, что сторожит приговоренного трибуналом. Он только не знал, что приговоренный - тот капитан, давешний. И теперь, когда это стало ему известно, о чем-то напряженно думал.

Боец сидел, опустившись на корточки, соблюдал субординацию - как он ее понимал. Беспалов оставался на нарах. Боец - слева от входа, Беспалов - напротив, а поставленная бойцом винтовка - справа, как-то на отшибе. Полцигарки было уже искурено, прежде чем зрение зафиксировало треугольник: боец - он, Беспалов, - винтовка.

Боец все так же пребывал в мыслях своих, курил, а Беспалов тем временем терялся в догадках. Он - что, этот боец, этот славный малый, так ему доверяет, так верит в его порядочность? Или?.. Или, быть может, предлагает... побег?

Одно движение - и винтовка в руках у Беспалова. Прикладом - по голове, размахнуться тут есть где. И можно бежать. Бежать! Разве его молодая жизнь не стоит того, чтобы пренебречь самолюбием? Пусть даже достоинством? Разве не стоит?

Но бежать - означало бы, вольно или невольно, признать за собой вину. Несуществующую. Признать правоту его недругов ... Беса тешить - вот что такое бежать.

Да если бы и решился - далеко ему не уйти. Сцапают, приволокут. Сраму натерпишься...

- Спасибо тебе, - сказал Беспалов, когда они докурили, затушили окурки. Сжал - той же здоровой рукой - плечо парню, добавил: Ступай...

19

Начсандив торопился, постегивал лошадь - он ехал с докладом к новому командиру ди-

визии. С докладом и для знакомства - как начальник одной из служб.

Еще было дело, принуждавшее его поспешать. Оно - особенно.

Среди ночи - прямо из перевязочной, в испачканных кровью халатах - прибежали две докторицы, обе в слезах, молят похлопотать за командира лыжбата. Что-то там приключилось не очень понятное. Они сами рвались - броситься в ноги комдиву, пусть бы и бросились, все шанс какой-то: комдив волен заменить «вышку» штрафбатом. Но много раненых, да тяжелых, с гангреной, прочими осложнениями, отпустить двух хирургов - хоть бы и одного! - невозможно, просто немыслимо.

Уже было светло, когда он добрался до штаба дивизии, привязал своего конягу. Встревожила малолюдность, народ штабной будто ветром повыдуло.

- Все на построении, - внес ясность дежурный офицер. - И генерал там же.

- А... где построение?

- Да вон за леском...

Немолодой, грузноватый дивврач кинулся через лесок - скорее, скорее! Разглядел за деревьями растянувшуюся шеренгу, еще дальше - отделенную от нее свободным пространством фигуру и, удрученный увиденным, громко, в сердцах чертыхнулся. Его миссия, на которую так уповали и которую так хотелось ему исполнить - в лучшем виде исполнить, не состоялась. На него понадеялись, его путь-дорожка была, можно сказать, молитвами выстлана, а он ничего не сумел. Не сумел...

20

Беспалов, как накануне с судом, все не мог, не смог поверить. Сейчас, мнилось, вот сейчас что-то случится, что-то произойдет, злой замысел рухнет - должен рухнуть! Этот смертный раскрут должен быть остановлен.

Так ему думалось-жаждалось, думалось до той самой минуты, покамест лесок, через который его вели, не кончился. Вид безмолвствующей, замкнуто-отчужденной шеренги тотчас же отрезвил, обратил иллюзии в прах.

«Вот для чего спектакль с кровопусканием - для чего и для кого. Вот...»

В стороне, в окружении офицеров штадива, стоял генерал в полной форме. Встречать его прежде Беспалову не приходилось.

«Казнь с генералом?»

От этой отдельно стоящей группы отошел председатель суда - тот, вчерашний, ночной. Выбросил вперед руку с белым листком.

- Приговор военного трибунала по делу ...

Шеренга замерла, напряглась.

Сильный, далеко отлетающий голос звучал твердо, уверенно, не оставляя ни малейших сомнений, что принятое судом решение есть единственно верное, иного быть не может, всякое иное исключено.

И тут, прямо по центру, Беспалов увидел двоих - глаз вырвал, выхватил их из общей массы. Выхватил не случайно: они говорили о чем-то, кажется, даже спорили. В одном он узнал особиста, в другом - секретаря парткомиссии. Секретарь был явно стороной нападающей, особист, по всему, держал оборону.

Враз забухало - в груди, в ушах, и, уже как бы сквозь шум прибоя, он услышал:

- Комендант! Привести приговор в исполнение!

Он едва не сорвался с места - секретарю на подмогу. Спор - здесь, сейчас - неспроста. Это наверняка то самое, чего он так ждал, ждал - как избавления. Секретарь сам разбирался - и криминала не усмотрел. Не усмотрел потому, что никакого криминала нет. Нет!

Он внутренне подобрался, всем существом своим устремился туда. И... наткнулся на острый, режущий взгляд. Этот, встрявший между ним и шеренгой, взгляд мешал, Беспалов старался смотреть мимо него. Там, где спор, сейчас самое важное, самое наиглавнейшее.

- Кру-гом!

Беспалов был поглощен этой словесной дуэлью, пусть и не слышимой на расстоянии, поглощен схваткой, от исхода которой, как представлялось ему, зависело все, абсолютно все. Он был целиком поглощен - не уловил: кого и что имел в виду комендант с режущим взглядом.

- Кру-гом! - повторилась команда. Сурово-сосредоточенный комендант рукой показал, что должен сделать Беспалов, что еще требуется от него.

А Беспалов, эх, Беспалов... Похоже, он взволновался зря, похоже, ошибся, обмишурился: схватка быстро сходила на нет. Может, и вовсе была не о том? Может, все проще, куда как прозаичнее?

Сперва-то - по неписаным правилам - его следовало исключить из партии, лишить партбилета. А секретарь не знал, ему не сказали - небось с умыслом не сказали. Спал себе, ни о чем не ведал, только теперь поставлен в известность - перед фактом поставлен, ну и, конечно же, взбеленился.

Правильно взбеленился: конфуз! «Шпалы» сорвали, звездочку с пилотки - тоже, а про партбилет и не вспомнили.

«Расстрел коммуниста...»

До него наконец дошло, чего требовал комендант, делавший свое дело с достоинством палача.

Он повернулся. Перед ним было поле - сумрачное, осеннее, сумрачный лес вдали, а над полем, над лесом тяжелые, низко плывущие тучи. И удивился: вот это поле, этот лес позади, кучно плывущие тучи он только-только, вчера или позавчера, отчетливо видел, глаза помнят. Как странно! Уж не во сне ли? Неужели во сне? Но разве такое возможно - увидеть во сне то место, где суждено принять смерть? Разве так может быть?

Где-то за спиной у него - далеко ли, близко ли - кто-то что-то кричал. Было, правда, не разобрать, что за крик, что́ именно там кричат. Дробно ударила - в той же самой стороне - автоматная очередь, за ней - другая.

Беспалову ни до чего уже не было дела. Поле в глазах у него заплывало, тонул во влажном тумане лес...

Кричал, палил в воздух бежавший из последних сил Корчин. Старший сержант Корчин, правая рука Беспалова. Падал, поднимался и снова, истошно крича, бежал.

Чудом каким-то, заживо погребенные в заваленном землей дзоте, он и еще один, рядовой боец, не погибли. У бойца при себе ока-

залась лопатка, та малая саперная лопатка - нет ей цены! - и спасла их. Потом контуженому бойцу Корчин велел отправляться в тыл, а сам стал искать своего капитана - жив, нет? Может, ранен, покалечен, лежит где без помощи? С ног сбился - искал. И лишь сейчас - у связных в штадиве - узнал. Узнал.

Шеренга зашевелилась - некстати весь этот шум. Кое-кто оглянулся. Оглянулся и комендант. И тотчас услышал повелительно-властное:

- Исполняйте!

Поторопил генерал - он был недоволен заминкой. Он только что принял дивизию и расстрел этот рассматривал как неотложную, необходимую, первоочередную меру. Пусть все знают - и здесь, в частях его новой дивизии, и, главное, наверху, куда пойдут донесения: он железной рукой будет наводить порядок, укреплять дисциплину. Когда надо - карать. Наверху мягкотелости не прощают, ему это хорошо известно. Достаточно хорошо! И он снова, начиная уже раздражаться, поторопил:

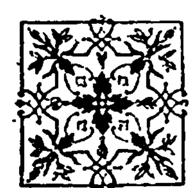
- Исполняйте!!

Комендант достал пистолет, заранее приведенный в готовность, подошел ближе к Беспалову и стал целить ему в затылок. Стал целить и увидел - там, на затылке, - пятно, темно-красное.

«Запекшаяся кровь? Рана?!»

Рука с зажатым в ней пистолетом не то чтобы дрогнула, нет, но явно замешкалась. Комендант, справляясь с собой, еще немного помедлил.

Помедлил - и взял чуть выше...



СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

В фонд поддержки „Нашего современника" денежные пожертвования перечислили:

Калихина Л. П. (Краснодарский край), КМП „НЭП", **Андреева В. Г.** (Балашов), **Кириченко П. А.** (Рязань), **Рахманина В. И.** (Москва), **Филиппович Т. И.** (Рига), **Роговский О. Н.** (Небит-Даг), **Северинов С. Л.** (Москва), **Шуенко** (Волгоград), **Михальченко Е. А.** (Лида, Беларусь), **Крупдышкой Л. Е.** (Рига), **Кукушкины** (Пущино), **Аленчукова М. Н.** (Новосибирск), **Артеменко И. В.** (Абинск), **Матафонова О. В.** (Первоуральск), **Чегузнина Е. Н.** (Санкт-Петербург), **Воропаева С. В.** (Каунас), **Попов Ю. А.** (Ташкент), **Вагулова Н. А.** (Ярославль), **Баранин Н. Ф.** (Орловская обл.), МП „ИРИТ", **Филимонова Л. В.** (Благовещенск), **Монастырский Р. И.** (Клинцы), **Лузенкова Э. В.** (Череповец), **Лабезник С. П.** (Переяславль), **Кенсонин А. А.** (Ульяновск), **Чебыкин А. А.** (Новый Златоуст), **Проняев М. С.** (Самара), **Куличенко Б. Г.** (Воронежская обл.,), **Волгин Н. С.** (Санкт-Петербург), **Инвитский Г. В.**, **Жолтиков С. М.** (Мурманск), **Расзамазовых Т. В.** (Москва), **Литвин В. С.** (Темиртау), **Кривенко М. П.** (Полтава), **Рачин В. А.** (Красноярск), **Забелин А. С.** (Магаданская обл.), **Присекина Л. Х.** (Москва), **Коваленко** (Москва), **Каличкин И. П.** (Мичуринск), **Лобичев М. Н.** (Ставрополь), **Кушников И. Е.** (Казань), **Кечедишева О. С.** (Санкт-Петербург), **Серебренников В. П.** (Владикавказ), **Титова Н. М.** (Омск), **Рачелин Е. Р.** (Уфа), **Бескончин В. Н.** (Самара), **Грибуцкий Н. З.** (Липецк), **Майгазеева А. Н.** (Прокопьевск), **Майраслова Н. П.** (Киев), **Гачелов А. Н.** (Новосибирск), **Китлова Л. В.** (Севастополь), **Абрамкин В. И.** (Лесосибирск), **Гаузова Л. И.** (Москва), **Козусев В. А.** (Бурятия), **Воронов Ю. Г.** (Йошкар-Ола), **Петреева Е. Е.** (Новгород), **Ворожейкин В. В.** (Новый Уренгой), **Шибаков С. Ф.** (Челябинская обл.), **Деркач А. П.**, **Кузьмина В. Н.** (Алданский р-н), **Янков К. Н.** (Арусевка), **Нильтин В. В.** (Амурск), **Бутков Ю. А.** (Полярный), **Цыплакова Н. И.** (Истринск), **Калитин В. И.** (Москва), **Феселкова В. Г.** (Ростов-на-Дону), **Каспирович** (Омск), **Степанов Л. Н.** (Воркута), **Рябухин А. И.** (Санкт-Петербург), **Буянских Г. К.** (Тюмень), **Костина И. П.** (Краснодар), **Кульгин Н. Д.** (Москва), **Мелихов Л.** (Паневежис), **Корниенко А. Д.** (Ростов-на-Дону), **Колыхалов А. К.** (Оренбург), **Самоходкина Н. Ф.** (Санкт-Петербург), **Тюхитин В. И.** (Тульская обл.,), другие читатели.

Напоминаем, что желающие помочь журналу могут перечислить деньги на следующий счет: 123007 Москва, 5-я Магистральная ул., д. 10, коммерческий банк „Пресня Банк", р/с 2609704, МФО 201144, МП „Русло" — для нужд журнала „Наш современник".

Михаил КРАЛИН

КОГДА ЭПОХА ОБЕССЛАВЛЕНА

А. И. Солженицыну

* * *

Возвращайтесь, Исаич, на Родину
Обустраивать русский ГУЛАГ.
Оценен демократами орденом
Будет Ваш героический шаг.

А потом Вам предложат портфелишко
Культсоветника в СНГ.
Нет, уж лучше чужая землишка,
Чем сотрудничать с этими г...

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нет, я не брошу камнем в Сталина.
Когда эпоха обесславлена,
Пускай вскрывают суть свидетели,
Ее кумиры и радетели,
А я хулить ее не стану.
Пускай судил бы дед засуженный,
Пускай отец — чекист разбуженный —
Поет хулу ей иль осанну.
А я запомнил слезы мамины
В то утро мартовское, раннее
И больше ничего не помню.
Пожалуй, нет. Запомнил зеркало,
От слез ослепшее, померклое,
Запомнил бабушку, икону.

Но похулю я словом — Брежнева,
Хотя и та эпоха прежняя,
Но я живой ее свидетель.
За то, что жили мы в бесправии,
Что, на словах за равноправие,
На деле лжив был этот деятель.
Он развращал народ по-своему:
Обманом, ханжеством, конвоями
Всему, что мыслило и пело.
Душилось все, что было молодо,
И веяло могильным холодом
Из-за кремлевского предела.
Вот тут черед с себя и спрашивать:
Как смели мы медали нашивать,
Как мы сумели раздвоиться
На то, что слышали и видели,
И что в романах пухлых выдали
И в мемуарах-небылицах?

Зато теперь, в эпоху гласности,
Воспряло слово безопасности
И вознеслось оно над делом,
И застучали дятлы-писари
(Так повелось у нас уж исстари),
Когда им велено быть смелыми,
Они и мать, не то что Родину,
В такую превратят уродину,
Что хошь-не хошь, а отрекайся,
Они и тружеников к стеночке
Приставят (те еще застеночки!),
Прикажут: „Кайся, кайся, кайся!"

Теперь Борис у нас на царствии.
Вот то-то будет в государствии
И обещаний, и кровищи!
Кует указы — только вздрагивай,
Давай, народ, штаны подтягивай,
Гляди, чтоб не остаться нищим.
Неужто то, что деды строили,
Отцы горячей кровью полили,
Мы развалить позволим этим
Иудам, слывшим коммунистами,
А ныне за капиталистами
Рванувшими, подобно детям.

Нет, я не брошу камнем в Сталина.
Но заворочалась развалина,
И трудным запахом ГУЛАГа,
И сладкой вонью демократии
Уже разит от этой братии
В стенах российского рейхстага.

* * *

Дух оскорбленного народа
В стране, где нищая свобода
Гуляет в пальцах, как колода
Крапленных кровью лживых карт,
В руках властительного сброда
Прорвется сквозь утробный мат
И вырастет до небосвода,
И вырастит кровавый март,
Когда прозревшего народа

Ужасен может быть азарт.
А, впрочем, что? Колода карт
Опившегося властью сброда
Уж вывезла свой миллиард,
Накопленный трудом народа.
Теперь игра иного рода:
Все круче мат, все ближе март,
А с нами Бог и мать-природа
Сметет всю эту кучу сброда,
Как со стола колоду карт.

РОССИИ

Я верю в то, что духом ты окрепла.
Дух дышит там, где в сердце образ твой.
Моя Россия, ты встаешь из пепла
Растерзанной, разгневанной, живой.

Дух дышит там, где хочет. Он в России.
И, значит, воскресенье впереди.
Да, с нами Бог. И Твоего Мессии
Я вижу образ на Твоей груди.

Владимир ЛЕЩЕНКО

ТЕПЛО НЕОСТЫВШИХ НАДЕЖД

* * *

Грядет антихрист, беды множа, —
Деянья слуг его черны...
Да будет свята воля Божья
Для нашей преданной страны!
Да вспомнит Русь, чему молилась
До звезд чужих, до этой тьмы.

Да выйдет нам Господня милость,
Когда достойны будем мы.
Когда, восставши за святыни,
Слуг зла посмертно перечтем.
Дай Бог нам вспомнить, смирным ныне,
Как управлялись мы с мечом...

* * *

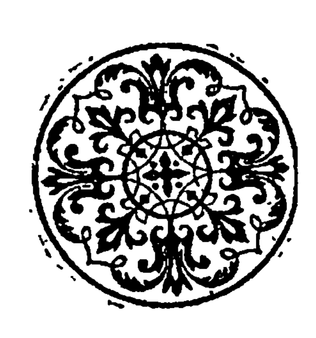
Еще грядут конвойные полки,
Еще убийцу смертники не славят
И, охмуряя нас, большевики
Вовсю о братстве-равенстве картавят.
Взойдет в зенит кровавая звезда,
Смывая цвет надежды с небосвода.
И повезут на север поезда
Народ все тем же именем народа.

Сквозь вышек строй, огонь прожекторов
Нам к большевистской правде
Не прорваться,
А мы все верим — верим, будь здоров! —
Что есть они — и равенство, и братство.
Но суть той правды древней и простой —
Чтоб ни любви, ни веры за душою:
Чтоб под Сиона дьявольской звездой
Отдать свое, позарясь на чужое...

* * *

Не легкость победной, бескровной
Сквозь давнюю чью-то вину...
Железной рукою Верховный
В кулак собирает страну.
Подспудная древняя сила,
Тепло несогревших надежд.
И все — что не мило, что мило.
И самый последний рубеж.
И грозно бесстрастные карты.
И стыдно осознанный страх.
И поле от Нары до Варты.
И все, что на наших плечах.
Не в гуле брусчатки парадной,
Не в блеске восторженных глаз —
Надсадно кряхтела под правдой
Страна, пережившая нас.

И поступью трудной, неровной
С той правдой пошла сквозь войну...
Железной рукою Верховный
В кулак собирает страну.
Подспудная древняя сила,
Тепло неостывших надежд —
Все было, все — слышите! — было,
Как нами не сданный рубеж.
Как нас пережившие были,
Как гулкие комья земли —
Все, что мы на плечи взвалили,
Что вы после нас понесли.
Нелегкая кровью безмерной
Победная наша война,
И давний теперь сорок первый.
И давняя чья-то вина.





Гарий НЕМЧЕНКО



ПОЗДНЕЕ ЗНАНИЕ О СЕМЕЙСТВЕ АМАРАНТОВЫХ

РАССКАЗ

Что-то смутное всегда во мне пошевеливалось, когда глядел на эти цветы... „А я, мол, что-то знаю о вас!.. Я что-то знаю!..“

Но в том-то и штука, что я о них ничего не знал.

Такие цветы: длинные и неширокие — в палец-полтора — листья как бы струями ниспадают с крупного стебля и с таких же мощных, сочных отростков, а увенчивает его крупитчатый султан, цветом, а бывает, и формою похожий на мясистый петушиный гребешок... Случается, что султанов несколько, нижние срослись, а верхний, повыше остальных, торчит, как указательный палец над сжатой в кулак ладонью. Встречаются и покрупнее доброго кулака, а пальцы над ними торчат, как высокие и толстые свечки, — цветок этот в росте словно не знает четких границ: как раздастся, как вымахает!..

Султан у него бордового цвета, иногда подкрашен сиреневым, но чем ближе холода, тем более заметная происходит с цветком этим перемена: шишаки его блекнут, теряют огненный цвет, линяют до неяркого зеленого, до табачного, до салатового, зато огонь теперь как бы уходит в листья — листья где только побуреют, а где и густо покраснеют, и прожилки на них становятся свекольного, с заметною синевою, цвета...

Мама была заядлая цветочница, но дома у нас они не росли, названия их я не знал, а в справочник заглянуть до сих пор не удосужился... Такие цветы вообще не для дома, не для палисадника, не для грядок: каждый из них в отдельности не красив, как бы слишком прост, может быть, даже груб, а то и безобразен. Поглядишь на шишаки: тот уродец, а этот вообще мутант. Но когда они плотною массою стоят вдалеке!..

Крупитчатость гребешков, рассыпчатость шишаков, пупырчатость их султанов придают бордовому цвету такую глубокую сочность и такую густоту, что издали кажется, будто на ковре из них можно полежать, и при этом он даже не прогнется — такой упругий.

Этой осенью я жил в пансионате, где было много этих цветов, — видать, садовник любил их: там — стенка из них, там — тугая полоска, а дальше, глядишь, и еще клеточка, и еще...

Однажды я поймал себя на том, что прохожу мимо стеночки из этих цветов как вдоль почетного караула — так торжественно стояли цветы, такое праздничное, уверенное настроение создавали своим налитым упитанным видом... Вот, думаю!.. что же я до сих пор никого не расспросил, как они называются?..

НЕМЧЕНКО Гарий (Гурий) Леонтьевич родился в 1936 году в казачьей станице Отрадной на Кубани. Окончил факультет журналистики МГУ. Более десяти лет работал в Сибири на стройке, редактировал многотиражку „Металлургстрой“. В „Нашем современнике“ публикуется с 1972 года. Был первым атаманом землячества казаков в Москве. В 1990 году выпустил первый номер газеты „Казачьи ведомости“. Автор многих книг прозы. Член Союза писателей.

Неужели я тоже перестал уже интересоваться тем, что это растет вокруг меня, что прыгает в траве, кто перебегает через дорожку у меня под ногами, кто надо мной летает, кто за речкою в лесу бегает?

Раньше, когда мальцом был, стоило обратиться в станице к пожилому человеку: а что, мол, это такое? как, мол, это называется, дяденька? — он, бывало, такую лекцию разведет — уже и не рад станешь, что затронул!.. А нынче у кого ни спроси — о травке ли, о цветке, о дереве незнакомом, — и он либо плечами в ответ пожмет, либо одно и то же: откуда я знаю?.. да откуда я знаю?!. Эх!

Утречком, когда пробегал свои километры, такие когда-то податливые, увидал, как двое мужчин в одинаковых брезентовых курточках сажали крохотные сосенки, и понял, что один из них наверняка садовник. Но почему-то не подошел... То ли не хотелось демонстрировать градом катящийся по лицу изпод лыжной шапочки пот, то ли смутило то, что работали они посреди ровной лужайки с яркой отавой, а тропинки к ним я не увидел...

„Ладно, потом садовника встречу! — решил. — Встречу потом и расспрошу..."

Через день, когда стал искать его, мне сказали, что садовник уехал в подсобное хозяйство — помогать там с посадкой на зиму.

Так и оставались они для меня пока безымянными, эти цветы.

Но всякий день я ими и любовался и как бы даже за ними наблюдал...

Пансионат был небольшой, на садовых аллеях народу всегда немного, вот и ходишь перед ними по асфальтовой дорожке и неизвестно о чем будто спрашиваешь взглядом: ну, и как, мол?..

Как-то остановился, долго смотрел на них, и вдруг своими тугими шишаками они напомнили стоящих в ряд гренадеров в украшенных султанами киверах... То ли цветное кино вдруг вспомнил, то ли сцену из какого романа старого, а то ли еще что память вытащила из колоды — может, видение, доставшееся мне от предков: как знать?.. Вроде бы перед атакою объезжает строй гренадеров пожилой генерал на сером, в яблоках, жеребце... Шевелит еще пышными усами, зычно кричит в нарочитом кураже: „Что, голубчики?!. На параде султан выше головы держим, а в сражении будем — ниже задницы? А?!"

И я прошелся мимо полыхающих на осеннем солнце цветов уже побыстрей, и поворот сделал потом круче...

Остановился опять и даже прокашлялся, будто и в самом деле готовясь крикнуть, а что?

Недаром же отца — из-за лихости в громком голосе, из-за строгости и суровости в нем — оставляли в сорок втором году в пулеметном училище в Степанакерте: преподавать... Нет, выпросился на фронт. И ушел потом, инвалид, в сорок седьмом из прокуроров: когда опять стали сажать за колоски.

Командный свой голос отрабатывал потом и дальше совершенствовал дома: над нами с братом, а бывало, что и над мамою с ее цветами, да... Мы ведь и в самом деле счастья своего не понимали: отец вернулся с войны, мы выжили...

„Ну, что, г-голубчики?!."

Крикнуть все-таки, что ли?..

Посчитают за сумасшедшего... Немножко есть!.. Как у каждого из нас, ну а как же?.. Куда ведь опасней те, кто делает вид, что они — такие нормальные, ну такие, что дальше некуда!

Осень все шла, они всё полыхали, всё переливали огонь из гребней в неширокие свои листья. Султаны их подсыхали, пока на месте султанов не стали появляться тоненькие сухие веточки, — кто-то ладонью, видно, обсмыкивал шишаки, шелушил семена...

Не один раз подводил я к ним маленького внука, с которым приезжала из Майкопа жена: и повидаться со мною, и побродить по территории пансионата, рядом с которым был детский городок пустующего в зимний сезон пионерского лагеря.

Из Москвы внука привезли совсем замученного, но вот теперь, когда природа, как говорится, увядала, Гаврила наш противу ее правил начал потихонечку расцветать: щеки по крайней мере сделались как у хорошего прапорщика — от них, говорят, если прапорщик настоящий, можно прикуривать...

Я мог рассказать ему почти обо всем, что росло, что, несмотря на позднюю осень, все еще цвело здесь вокруг, и почти обо всем и в самом деле рассказывал: „Это можжевельник — смотри, какой он тут большой, да, Гаврюша?.. Под Москвою совсем маленькие кустики — ты помнишь Звенигород, Кабяково помнишь?.. Где наша дача? Там он вот такусенький, можжевельник... Если ростом с Гаврюшу, если он такой же, как ты, — это считается уже очень высокий... большой-большой!.. А тут, смотри: выше бабушки!.. выше дедушки! выше любого богатыря... выше нартов. Помнишь, как звали у нартов самого знаменитого богатыря, самого сильного?.. Сосруко, да!.. А конь у него был — Тхожей. Ты помнишь, мальчик?.. Как называется эта страна!.. где мы сейчас живем? А-ды... ну? Ну?.."

— Адыгея! — вскрикивал, когда бывал в настроении, Гаврюша, которому шел тогда третий год.

Я хотел, чтобы он запомнил и эту осень, и меня с бабушкой, и свою прабабушку, от которой они ко мне из Майкопа приезжали, и запомнил эту и в самом деле удивительную страну...

„Адыгея, все правильно, молодец — смотри, как ты хорошо уже говоришь!.. А-дыгея!.. Так вот, Гаврюша, смотри: если бы богатырь Сосруко сел на своего коня Тхожея, только тогда он и достал бы до макушки этого деревца, ведь так?.. А посмотри, какие на нем растут крошечные синие ягодки — как бусы!.. Бусинки такие маленькие, да?.. Птицы их очень любят, но пока не клюют, потому что пока много корма и на земле, в бурьяне и в травах, и птицы берегут эти ягодки на можжевельнике, ты понимаешь?.. Они у них — про запас. А вот когда снег упадет и травку закроет, — ты знаешь, как они накинутся тогда на эти синие ягодки?.. Вмиг не останется ни одной!.. Так что давай попробуем их, пока они есть тут, на можжевельнике!.."

Я привставал на цыпочки и с нижней ветки отщипывал несколько синих бусинок, совсем крошечных, не прибитых пока морозцем и потому еще крепеньких.

„Не бойся, не бойся — это можно есть, вот смотри!" — и я раздавливал в зубах плотный катышек, от которого остро потягивало чем-

то таким... вакса и вакса!

„Если птички это едят, значит, Гаврюше тоже можно — ты попробуй, попробуй!.. Вкусные, правда?..“

Он медленно клонил русую головку, только в конце наклона кивал — как бы нехотя соглашался...

А об этих цветах я ему ничего не мог рассказать! Только и того, что говорил:

— Нравятся тебе эти цветы?.. Красивые, правда?.. И посмотри, какие они могучие... нравятся?

Тут ничего не надо было жевать и после выплевывать — Гаврюша кивал куда охотнее...

В середине ноября вдруг резко похолодало, налетел ветер, сорвал все, какие еще оставались на деревьях, листья, поднял в воздух.

Горная речка Куржипс делала здесь петлю, пансионат стоял на плоском языке, окруженном крутым, поросшим густым леском левобережьем — оно высилось вокруг, как гигантский крепостной вал, за которым внутри почти всегда было благостно и тихо, и над аллеями, над садом крупные листья кружили теперь, как стая галок.

Потом листья враз упали, сделалась тишина, пошел крупный и густой снег — как он сыпал!.. Валил деловито и валил, и плотные ветки похожих формой на кипарис можжевельных деревьев под его тяжестью стали отделяться одна от одной, неуклюже разъезжаться в разные стороны; была суббота, но к вечеру приехал садовник Игорь Павлович и длинным шестком начал сбивать снег... Он осыпался, обваливался, как обваливается стена, и длинные узкие лапы можжевельника распрямлялись и снова собирались вместе.

Я спросил у Игоря Павловича, есть ли еще шесток, он нашел палку и для меня, и мы ходили неподалеку друг от друга, обрушивали снег.

Он все валил и валил, такой густой и такой белый, что даже тьма будто раздвинулась: шел уже седьмой час вечера, а было светло, как днем.

Послышался вдруг громкий хруст, я обернулся и успел увидать, как на другом берегу Куржипса упала, взметнув снег, нижняя ветка большого, сплошь облепленного снегом дерева...

— Сейчас начнется! — сказал мне Игорь Павлович. — Сейчас — только слушай...

И в самом деле: первый хруст прозвучал как сигнал.

Наш берег был водою зализан, а противоположный сильно подмыт, деревья там стояли в наклоне, и теперь нагруженные снегом разлапистые мощные сучки с тяжелым треском разламывались в развилках, грузно падали вниз.

Я, что называется, не успевал оборачиваться на хруст — такой обильный все валил и валил снег и, кажется, не думал переставать.

Зато какой вид открылся на нашем горами снега окруженном полуострове утром!

Пригодились мне сшитые в станице черные мои „бурки“ — ноговицы из полсти с кожаными головками... Снегу лежало выше колена, и чтобы поставить ногу, я сперва как бы расчищал место боковым таким ударом носка — „щеточкой“.

Всё было бело вокруг, ну всё-всё. Только вода в реке на фоне этой бескрайней белизны неслась теперь совершенно зеленая и местами как бы чуть с желтизной — мол, осень все же... Зима!

По аллее я едва добрел до клумбы с цветами, на которые в ту осень все время поглядывал: снег укутал их от корней и до макушек, засыпал так, что меж стеблей не виднелось даже узенького просвета — только на месте шишаков возвышались сахарные бугорки... Как будто множество крошечных белых шатров стояло теперь как на макете, в заснеженном поле.

На обратном пути я случайно заглянул за можжевеловую стенку, скрывающую рабочий домик садовника... Между деревьями и домом был затишек, снегу здесь насыпало все-таки меньше, чем на открытом всем ветрам бережке. Но что творилось тут этим зимним утром, что творилось!

На скрытой от посторонних глаз квадратной гряде, где тоже расположен был всегда полыхающий петушиными красками гренадерский отряд этих, с шишаками, цветов, открылась теперь птичья столовая... Сколько сюда слетелось синичек!

Бегали по занесенным снегом гребешкам и клювами дербанили торчащие словно палец султаны...

Теперь я догадался: никто их не обсмыкивал раньше, никто не собирал семян — это над ними потихоньку начинали тогда трудиться птички. Теперь же снег укрыл места, где можно кормиться на земле, и вот они — все тут!

Снег на гребешках был истоптан, густо испещрен треугольничками следов, усыпан отлетевшими от султанчиков сухими семенами, а эти все носятся вокруг, потряхивают длинными своими хвостишками — будто следы стараются замести... А чего их заметать, правда?.. Голод — не тетка!

Но „гренадерам“-то моим они, конечно, жару поддали!

Через пару деньков вдруг потеплело, снег растаял почти также стремительно, как выпал, и Куржипс вздулся, потемнел, и все пробовал теперь перелиться через сад сразу за каменною пансионатской лестницей: и чего его, и в самом деле, этот язык-то обегать — лишнюю петлю делать, терять время... ну зачем? Вон сколько приходится тащить на себе и бревен, и коряг, и всякого сора!

Ночью приезжал из города главный врач Ким Пашевич — Джастэ Ким, потому что у адыгейцев не очень-то принято — по отчеству, — с фонариком ходил по берегу, светил в воду и на коряги: неужели Куржипс тоже стремится к рыночным отношениям, уже перешел на хозяйственную самостоятельность и тут же возьмется экономить — спрямлять путь?

Ким Пашевич был хороший человек, старый мой добрый знакомый, и я не удивился, когда над пансионатом засверкали молнии; не видно человеку темной ночью — отчего ж не помочь ему?.. Что — фонарик, ну что он такое, правда?

И начался вдруг такой ливень!

Когда я подошел потом утром к цветам с султанами, на них жалко было смотреть... Постаралась погодка, постаралась!

И шишаки у них выцвели теперь почти добела, и листья, там и тут обломанные снегом, и вылиняли, и сникли. Огненный цвет спустился по стеблям уже к самому корню... Уходил, откуда пришел?..

А мне отчего-то было весело, и я, когда шел мимо, снова остановился возле них, с носка на пятку покачиваясь...

Оглянулся туда-сюда: никого.

И тогда я насмешливо и громко спросил: „Ну, и что?.. Пили мадеру?.. Да досталось и спине и мундеру, а?!"

Ничего, конечно, такого с цветами не было и со мной тоже — это просто я опять листал словарь Даля, и от сказочного богатства народного языка у меня прямо-таки поднялось настроение и очень хотелось ну хоть с кем-то поговорить.

Вечером я листал другой словарь, „Иностранных слов", и вдруг совершенно неожиданно для себя прочитал: „Амарант [гр. amarantos — неувядающий] — 1) ширица — род травянистых растений семейства амарантовых, нек-рые виды разводят как декоративные..."

Ширица!.. Бог ты мо-ой — надо же!

Да конечно, конечно, — ширица: то-то я и подозревал всегда!.. Мол, знаю я вас, братцы-цветы... Знаю-знаю!

Ширица!

Да я ведь и родился, можно сказать, в ширице!

Если других детей в капусте нашли, то меня уж и точно — в зарослях ширицы!

Ну, не такой, правда, не такой... Эта, пансионатская, — гордая городская родня той, которая по-крестьянски упрямо откуда только ни пёрла: и во дворе, и на улице, да по всей станице... по всей! И лезет из-под картофельного куста, и стенкой за сараем стоит, и сквозь плетень проросла, и дугой камень или деревянную колоду обогнула, и на глиняной крыше курятника уже успела устроиться... Ширица, вот ведь какое дело!

Только совершенно зеленая, и потоньше, конечно, хоть тоже — по сравнению с другими травами — мясистая. Без поперечных гребешков этих наверху — единственный, пирамидкою, султан крупитчатый, вот и все... ширица, ай-яй!

А может, и одно из самых первых слов, которые я в жизни произнес, тоже было это: ширица?

Немудрено ведь — только, бывало, и слышишь: „А ну-ка нарви ширицы, неслух, брось уткам в загородку!" „Подкинь ширицы индюкам, чтоб не галдели!" „Ты что, оглох?! Не слышишь, как поросенок орет — заливается?.. А ну, сорви ему ширицы!"

Только и слышишь с утра и до вечера: ширица, ширицы, ширицей, ширицу... Как в школе!.. Не то чтобы по всем падежам: безграмотная моя мама, которая в детстве упала в колодец и во второй класс уже не пошла, знала их, казалось мне тогда, куда больше...

„Опять он валяет дурака, а свинья, бедная..."

Охо-хо!.. Это она-то? Бедная?!

Ладони мои летом вообще никогда не отмывались, правую так и вижу серо-зеленою — хорошо, она хоть руку не резала, ширица. Что правда, то правда: ломалась легко, ствол у нее не деревенел, как у старой лебеды, не сушил пальцев... И корешок у нее нормальный, не цеплючий — легко обивался, если ширицу случайно вырывал целиком. Разок ударишь корневищем по большому пальцу на правой ноге... Правда, он тоже почти всегда был от этого зеленый, и под ногтем лежала крепкая дужка знаменитого кубанского чернозема.

Что в ней плохого, в ширице — за воротник семена могут осыпаться, если старая... Или на голую спину. Они-то не колючие, нет. Но жара, лето — как прилипнут... Когда еще отпустят тебя на Уруп искупнуться!

И будешь все время ощущать их на горячей спине, которую и без того покалывает да пощипывает — стягивает выдубившая кожу сольца.

„Тебе что, уши заложило — не слышишь, кабан орет?!"

Охо-хо!..

У тебя только руки серо-зеленые, а у него — и пятак, и рыло все... У кабана. И заеды зеленые тоже, и щетина на щеках, и лобешник, и даже уши... ну, если давать, конечно, иногда ширицей по ушам, чтоб не визжал: ведь надоел, паразит!.. Житья от него нет. И все: къуви!.. къ-уви!..

На всю станицу!

По-ихнему, по-поросячьи, это, поди, и значит: ширицы, мол, неслух, дай!

И в самом деле, оглох?.. Амарантов принеси!.. А?!

Даже он поди — чушка, чушка-то! — знал, что такое эти самые амаранты, и оттого-то так и сердился, что он тебе насчет них орет, разрывается, а ты хоть бы что... Хуть бы хны, как раньше в нашей станице говаривали.

Разве ему, чушке-то, и правда что, — не обидно?

И через столько, через столько-то лет мне вдруг открылась причина ярости, с которой голодная свинья Могилиных сжевала нашу „Родную речь"... да точно, точно!

В сорок третьем, сразу после оккупации, после немцев-то, у нас в школе было их всего по одной-две книжке на класс — и вот ее по строгому расписанию брали на один час в тот или другой куток станицы: мы, несколько ребятишек, живущих неподалеку друг от дружки, в каком-нибудь дворе все вместе занимаемся, а кто-либо из другого кутка — уже, бывало, стоит за калиткой, уже ждет: „Да чи вы скоро там?.." Чтобы нести, значит, „Родную речь" дальше, передать эту эстафету знаний в другой куток, где уже якобы заждались остальные перваки...

И вот идет, помню, мелкий дождичек, шелестит по крыше из почерневшей дранки, а мы, свесив ноги, сидим на толстых перекладинах сажа — закутка для свиньи, уроки, значит, готовим, а внизу надрывается его владелица, жрать просит...

„Чи вы скоро там?" — уже не в первый раз слабо доносится из-за калитки, и эта, внизу — хозяйка сажа, хозяйка-то — заводится еще сильней: кто громче!

— Ты что, паразитка?! — кричит Ваня Могилин, у которого мы собрались в тот раз. — Потерпеть, гадство, не можешь?

Замахивается учебником, и „Родная речь" вырывается у него из пальцев и, профырчав страницами, падает, распластавшись, на грязный, давно не чищенный пол сажка́... Свинья перестает орать: подходит к раскрытому учебнику, обнюхивает. Безжалостно придавливает ногой край книжки и раз, и другой проходится по ней своим пятаком, с треском отрывает несколько листов и начинает судорожно жевать.

Мы сидим, замерев от ужаса, смотрим на широкую, как сундук, спину кабана. Когда он

снова выдирает несколько страниц, кто-то кричит:

— Ванька, отыми!.. Твой кабан — ты с ним и разговаривай!

— Да-а! — тянет Ванька на всякий случай плаксиво. — У него мамка — и та не отымет... если ему попало, то — все!..

„Чи вы скоро там?!" — снова доносится из-за плетня.

Ага. Скоро.

Свинья снова наклоняется над „Родной речью". Такая вкусная, что ли!.. Или ей много надо: сожрет что хочешь. Или это — всем нам назло?

Конечно, гадство, назло!

„Ну, че вы там притихли — вы скоро?!"

— А кардону они жрут? — спрашивает Иван, заглядывая вниз с видом исследователя.

„Оглохли, что ли, ну, скоро?!" — опять несется из-за плетня.

Скоро, ага.

— Ист обложку, ист, ребя, — ты гля-а!..

Сколько мне пришлось из-за нелепого этого происшествия обид перенести! Сколько всякого о себе передумать!

Когда вернулся на Кубань после десятка с лишним годков в Новокузнецке, в Сибири, я прямо-таки не мог наслушаться обычных в общем-то, часто даже ни о чем разговоров, которые для меня звучали как музыка, не мог нарадоваться тому, как тут старые люди по-прежнему говорят: впервые вдруг ощутил, как по говору предков своих соскучился... И в работу над повестью „Зимние вечера такие долгие" окунулся — как будто в прохладную родную реку жарким летом и в самом деле нырнул... хорошо!

Написана была повесть от первого лица: о жизни своей рассказывала пожилая, всякого на своем веку повидавшая добрая женщина... да чего уж там, чего - это и прабабушка моя, и бабушка двоюродная, и вместе с тем уже — моя мама с бесконечными ее жалостными рассуждениями обо всем, что происходило вокруг. Они все.

Повесть, кажется, получилась, вгорячах я тут же послал ее в один весьма известный журнал и успел уже из редакции получить и одобрительное письмо, и потом телеграмму с просьбой прислать второй экземпляр: им там почему-то два нужны были... Как вдруг приходит еще письмо, подписанное одним и ныне не только здравствующим, но прямо-таки и процветающим критиком — уже и в те времена очень известным. Мол, извините, пишет: самоуправство произошло в мое отсутствие — одобрили вашу повесть... Я же по прочтении беру на себя ответственность отклонить ее: к сожалению, не владеете, уважаемый, родной речью — знать, мало внимания уделяли ей в свое время... еще бы много, коли с учебником тогда такая беда случилась!

Ну, как в воду глядел наш известный критик — как в воду!

Ох, после этого письма я и заскучал! Затосковал, как после приговора, чего там.

У критика и тогда уже авторитет был почти непререкаемый: не зря в столице, размышлял я, живет — видать, дело свое туго знает.

По молодости я даже подумывал другой раз: а может, правда?.. Может, бросить мне это безнадежное дело?.. Без хорошего знания родного языка на что мне надеяться?

Но тут одна история вышла: в Гагре, в Доме творчества, куда я в те годы, чтобы у классиков драгоценные летние, значит, месяцы не отнимать, наезжал обычно зимой, познакомился с Юрием Казаковым, с Юрием Павловичем. Когда он кое-что из моего, как говорится, прочитал и хорошие слова произнес, я возьми и как бы в раздумье да в ожидании совета ему пожалуйся: а критик, мол, такой-то обвинил меня в незнании родного языка.

Рассмеялся Казаков и говорит: ну, ты, мол, и х-хорош!.. П-простачком тут прикидываешься, а на самом деле что — пробуешь писать и на идише?.. Зачем же тебе, и действительно, у ув-важаемого человека хлеб отбивать?.. Оставь ты его родной язык — пиши-ка лучше, и в самом деле, на своем. Пиши на русском!

Хорошо, что не только писать — и говорить, хоть и заикался, мог Юрий Павлович изящно — многое, спасибо ему, в наших литературных делах мне тогда объяснил.

...И долго я сидел со словарем в руках, долго! Припомню очередную историю из детства, их юности своей и снова надеваю очки: „Амарант..." Вот ведь какое дело, вот ведь!

Как это случается в минуты прозрения, мне вдруг стремительно открывается разгадка стольких моих жизненных неудач либо ошибок... да что там! Всей моей неудачной жизни, о которой теперь, когда мне уже за пятьдесят, вполне можно сказать словами спортивных комментаторов: матч упущенных возможностей. Да-да!..

А ну-ка, припомни, горько говорил я себе: припомни-ка!

Эти времена на знаменитой Стромынке, в университетском общежитии, когда кто-либо из проголодавшихся дружков, в три часа ночи вернувшись со свидания, протопав только что через всю Москву, трясет тебя за плечо и шепчет с так-таки нерастраченной страстью: „Жрать хочется — не могу: у тебя там сала не осталось?"

А ты, хоть и сонный, переспрашивал бы первым делом: „Это из амарантов-то?.. Сала?"

А?!

Что там ни говори, а это другой табак, совсем другой: получить из станицы не просто посылку с салом — посылку с салом из амарантов... а вы думали?

„Оу! — удивляется немец Иоахим, который только что привез тебе из Берлина светло-серый, в крупную бежевую клетку пиджак. — Как это сказаль?.. Отшень вкусно!"

— Амарант, что ты хочешь! — небрежно отвечаешь ему, пытаясь разглядеть себя в крошечном, предназначенном для бритья на краю стола осколке зеркала: „стильный" пиджачок?.. Или — не очень? И пойдет ли к нему эта бархатная, с лакированным козырьком кепчонка, что подарил тебе поляк Здишек? И туфли на каучуковой подошве, эти „колесики", что в своем Будапеште оторвал для тебя венгерец Йожка... вот кто понимает в сале — мадьяры: и Йожка Саси, и Ласло, Ласло, да, — съедающий до килограмма за один присест бывший грузчик, и худенький, в чем только душа, Петер Шерень... Каждый поднимает вверх большой палец, а ты им всем: „Что вы, хлопцы, хотите?.. Кормили бы и вы своих свиней амарантами — вашему шпигу цены бы не было... ты записывай, Йожка, записывай, не стесняйся: амарант.

Записал? Ну, вот. Теперь, братцы мои, я за мадьяр спокоен!“

Впрочем, они-то все были ребята порядочные. Иоахима со Здишеком, я, правда, потерял из виду, а Йожефу надо бы позвонить: вот только вернусь в Москву — и закажу Будапешт... Но вот этому, этому-то — с бесстыжими глазами! Нашему... Учился двумя курсами старше, но жил с нами в одной комнате. Мы так и звали его: Пижон. Партийная кличка. Как раз за хамство свое и получил ее. Пижон. Уж он-то всех нас объедал тогда с такою мордой, будто каждому одолжение делал, когда чуть ли не из горла у тебя кусок выхватывал... Что касается моего сала — особенно: „Ну что, станичничек?.. Не забыли твои хуторяне сальца тебе прислать? Казаки кубанские?.. Подкулачники недорезанные?“

Который год уже в Нью-Йорке работает. Живет как дома. Хлесткие статьи оттуда шлет — печатают его нарасхват. Но вот что интересно: неужели это один только я в тоне их ловлю тоже самое неистребимое хамство, с которым он, человек сугубо городской, говорил тогда о родной моей станице или о чьем-то родном селе. Теперь он примерно то же самое пишет — уже обо всей России.. это надо умудриться: оттуда родину поливать! Но умудряется. Еще как поливает! При деле... Тем более теперь-то, теперь.

А моя жизнь, моя — и действительно, матч упущенных возможностей! Нет бы — так: жует он и тут же, не отрываясь от куска сала, гадости свои говорит. Пижон-то, Пижон. А ты ему: „Ну, милый, если тебя уже и это не устраивает!.. Поросенка исключительно амарантами кормят, а ты хаваешь и морщишься... давай-ка, милый, сюда, давай!.. Мы с Дарио сами это съедим!“

Вот кто радовался бы небось амарантам: Дарио! Дарио Мариа Сейхидо дель Пэна, если полностью. Старый мой друг — испанец. Да все испанцы, друзья Дарио, которые к нам в четыреста двенадцатую комнату частенько захаживали, почти все были и моими товарищами тоже... Чуть постарше Дарио и чуть помоложе, они росли в одном интернате, пережили там и войну с немцами, и послевоенную голодуху... Честная в те поры детдомовская бедность придала их и без того открытому нраву и бескорыстия, и откровенности, и бесшабашности почти беспредельной — ребята были в доску свои. Недаром же Дарио, которого звали Грандом за его полную, даже нас потрясавшую нищету, — она и в самом деле могла без всяких скидок считаться абсолютною, — иногда глубокомысленно восклицал, отрывая меня от толстой общей тетрадки, где были вовсе не конспекты по истмату с диаматом: „А ты не думал, Поэт, что испанцы и русские — это одна нация, ходер*?.. Просто языки у нас разные“.

По неписаному, негласному уговору наша четыреста двенадцатая кормила Гранда весь месяц за исключением одного дня — торжественного и великого дня, когда на юридическом, где учился Дарио, давали стипендию... В этот знаменательный день и кормил всех нас и поил Гранд — в кафе „Звездочка“, расположенном сразу за мостом через Яузу... За Яузой Гранд оставлял в тот день весь свой капитал — до копеечки, и все потом начиналось сначала.

Многих из нас поддерживали посылки из дома, чего там. Испанцев поддерживали все больше мечты и надежды.

Помню, как не однажды мы собирали в гости к его высокопоставленной — на партийной лестнице — бабушке, живущей тогда еще тоже в Москве, нашего знаменитого спортсмена, хоккеиста и борца, Володю Эспинья. Кто галстук давал, кто рубаху, а кто и штаны, чего там. А уж наставляли-то, наставляли!

Это уже только в последнее время, говоря о стране советов, мы поменяли интонацию на иронически-горькую, но ведь советовать-то, советовать — любили всегда!

Не забудь сказать своей бабушке, что советские студенты, несмотря на нехватку информации, внимательно следят за жизнью современного испанского подполья, — со сладенькой улыбкой говорил еще в техникуме вступивший „в ряды“ Миша Титаренко — штатный наш долдон и зануда, всегда и всюду ходивший, ездивший или сидевший с книжкой в левой руке, постоянно заложенной указательным пальцем. — Скажи...

— Пусть лучше похавать нам передаст! — перебивал Мишу всегдашний его оппонент Генрих Бицон, дитя украинки и литовца — „русский“ циник из Вильнюса.

— Генрих?! — тоном трагика кричал Миша. — Тебя, тебя не интересует судьба испанского подполья?

— Наоборот, интересует! — нагло ухмылялся Бицон. — Если мы не будем знать, что они хавают, откуда нам догадаться, сколько они там еще продержатся?

Глаза у Миши белели, беззвучным ртом он начинал хватать воздух, а приодетый сообща Владимир подходил к стене и трижды сильно стучал в нее кулаком: в соседней комнате, в женской, почти таким же способом девчата собирали в гости его сестренку Нинел... прочитайте-ка ее имя наоборот. Теперь вам все ясно?

Когда они возвращались, Бицон, выразительно поглядывая на Володьку, первым начинал нарочно громко, прямо-таки нахально громко вздыхать, и Эспинья не выдерживал.

— У меня у самого курсак остался пустой, вот! — с двух сторон бил он себя в живот кулаками. — Вот!.. можешь проверить... вот..! Бабка столько знает о третьем интернационале, что ей и покормить нас некогда, понимаешь?!

— Рассказывай! — голосом, чуть ли не дрожащим от нетерпения, предлагал Миша Титаренко. Садился за наш чистый, с прорезанною клеенкой стол и тут же раскрывал книжку, освобождая указательный палец лишь для того, чтобы теперь подпереть им щеку. — Рассказывай, Владимир, мы тебя внимательно слушаем!

— Кто это мы, ходер? — закипал Гранд, дожидавшийся Володьку с большей нежели кто-либо из нас надеждою. — Почему ты всегда за всех решаешь: когда нам в баню идти, когда — в парикмахерскую?

— Иначе ты так и будешь ходить немытый! — парировал Миша со сладкой улыбкой. — Так и будешь ходить нестриженый!

Конечно же, для Дарио тут была своя, и немалая, надо сказать, проблема: оставив стипендию в „Звездочке“, он ведь не мог потом сходить ни в кино и ни в баню — ждал, действительно, когда кто-нибудь позовет его,

* Черт побери (*исп.*).

но ходить вместе с Мишей, который иногда водил нас „на помывку" чуть ли не строем!..

— Пусть лучше носки мои будут стоять по углам! — начинал клясться Гранд.

— Они и так, Дарио, стоят, — сладенько улыбался Миша.

— Стоит у него пока что-то другое! — негромко, но выразительно говорил Бицон, и Миша снова переходил на трагическую интонацию:

— Генрих?!. Почему ты мешаешь нам узнать последние новости международного рабочего движения?

— Вот их-то ты, и точно, можешь в углу узнать! — улыбался Дарио. — А стол нам освободи, убери с него свою книгу, все будут ужинать... правда, Поэт, что ужин всегда лучше завтрака?.. Потому что никуда не торопишься. Давай съедим тот последний кусочек, что мы на завтрак с тобой оставили?

Миша вновь закладывал в книжку указательный палец и опускал ее на колени, все усаживались вокруг стола.

— Она ведь не родная бабка, — как будто извинялся Володька. — Просто замужем была за моим родным дедом... какой красавец был, хо-о!

— Она забыла это, ходер! — осуждал Гранд высокопоставленную старушку. — Какой, и правда, красивый — настоящий испанец!.. Или настоящий русский... настоящий!

— А старые бригадмильцы к бабке к твоей приходят? — глубокомысленно спрашивал Володьку Бицон.

— Какие бригадмильцы? — удивлялся Эспинья.

— Ну, наши, наши... которые воевали в Испании?..

Титаренко вскакивал и хлопал ладонью по столу:

— Генрих!.. Или ты делаешь вид, или...

— А что я, ну что? — на голубом глазу спрашивал этот наглец Бицон... сколько с тех пор воды утекло, где только я с тех пор не успел пожить либо побывать, другого такого я, и правда же, не встречал. Величайший наглец всех времен и народов, где ты сейчас, милый Гена, где?.. Как Саодат?.. Как Тимурик... давно уже Тимур! Пошли Господь мира и покоя и вам, и всей Бухаре, и всему Востоку, и всем нам!.. Все собираюсь написать, Гена, о феномене твоего учения, которое, как выяснилось теперь, и было самым верным направлением в философии: сомневайся!..

— Ты что, Генрих, не знаешь, чем отличаются бригадмильцы от интербригадовцев? — на негромком шипе спрашивал Титаренко.

— Ну, что ж тут такого, если не знаю? — искренне удивлялся Бицон. — Вот схаваешь свой кусок и спокойно всем объяснишь — для того ты и живешь в нашей комнате!

— И не стыжусь этого! — пылко говорил Миша.

— И не стыдись, правильно... только похавай сперва, похавай!

Согласитесь, что долгую беседу об испанском подполье и о третьем интернационале вообще, которой часами не давал потом выйти из нужного русла этот зануда Титаренко, куда логичнее было бы занюхивать — не просто салом — конечно, салом из амарантов.

Как поглядеть: может, именно этого знания о семействе амарантовых нам с Грандом и не хватало — потому-то мы с ним так и не смогли в свое время сперва хоть чуть приподняться над нашей Стромынкой, а потом и воспарить, воспарить... Кем бы мы, и правда, еще тогда, тогда могли с ним стать, о, кем стали бы!

Ежели бы не рок, который словно висел тогда над нами обоими... и все из-за меня ведь, из-за меня!

Будет на то воля Божья — о Дарио я еще напишу. Отдельный рассказ. Большой. Добрый. И очень, очень грустный...

Ведь сближало нас, я понял это уже спустя много лет, чувство сиротства: испанцев детьми оторвали от родины и привезли в Россию после поражения республики. Мы жили на своей земле, где республика как раз победила, но жили тоже словно без родины. Тогда мне по молодости казалось, что она высокомерно не узнает нас, приехавших из далекой провинции, почему-то стыдится родства с нами...

Но нынче речь пока о другом. Только лишь об одной истории, которая случилась с нами в пятьдесят пятом году, когда мы, до дурноты накурившись и до хрипоты наспорившись, пришли с Дарио к одной очень простой мысли: почему бы нам, и правда, не заняться переводами с испанского?.. Вдвоем. Вместе!

Он будет делать дословный перевод. Дарио Мариа Сейхидо дель Пэна, да. Если коротко: Гранд.

А я, Поэт, значит, буду все это в божеский вид приводить. И заживем!

Как у Христа за пазухой жить будем: и шмоток себе накупим. Разумеется, „стильных". Чтобы эти, „додики" московские, „золотая молодежь", плесень-то, как дружно стали газеты уверять, сынки богатых родителей — не поглядывали бы на нас свысока...

Есть города такой архитектуры —
там утопают в зелени дворцы.
Живут там дети в ласке и культуре —
у них богатые и знатные отцы.

А мы-то, мы-то что?.. Эх!

Ну, да что ж — придется теперь все — самим. Самим себе и станем предками. Как некогда неизвестный Дюма...

Стричься мы будем непременно в „Метрополе", а обедать станем исключительно в „Национале"... Обедать ведь придется все-таки чаще, нежели стричься, верно? А „Националь" находится чуть поближе к Моховой, 9, к Университету, значит — к родной „альма матер"... да чего там — совсем рядышком. Сбежал с лекции, и через минуту ты уже здесь: „А тебе не кажется, Гранд, что соловьиные языки в конфитюре со сметаной заказывать не стоит — прошлый раз были жестковаты?.." — „А омары, ходер!.. Разве это — омары?.. И черепаха — разве ей не тысяча лет?.. Пусть подыщут что-нибудь посвежей..."

Вот так мы с ним должны были жить!

Дело оставалось за малым, и с лекций мы теперь сбегали затем, чтобы еще раз рядком посидеть в библиотеке, в „ленинке" — над аргентинской „Ультима Оро": „Коммунистическая газета", а посмотри, какая она веселая, ходер, — просто не верится!"

Мы решили, что сперва Дарио будет переписывать рассказ по-русски и отдавать мне уже целиком, но как же, как же — разве удер-

жишься, если эта „Ультима Оро“ и в самом деле нарушала пресные марксистские традиции, лишь слегка приправленные кислой улыбкой Наденьки, явно обделенной мирскими радостями... Ох, и лихие ребята были эти аргентинцы: Педро, Андрес, Хуан, Фернандо. Ох, и смешные случались с ними истории!

Дарио, сидящего над раскрытой подшивкой, начинала вдруг одолевать икота, которую он пытался сдерживать... Сидел не дыша, но что-то все распирало и распирало его изнутри — я это ощущал, даже не глядя на него... А поглядишь — увидишь, что человек, и в самом деле, может прямо-таки взорваться, если тут же не начнет потихоньку делиться с тобой распиравшим его весельем. Я наклонялся к Дарио: мол, что там на этот раз, что?.. Он тянулся ко мне, приближался губами настолько, что тонкие его донжуанские усики покалывали мне ушную раковину, но горячий его шепот все равно разносился во все концы просторной „читалки“: „Помнишь, ходер?.. Он был бедняк, этот Педро. Почти нищий. Ну, как мы с тобой. Пока, Поэт, понимаешь?.. Нищий, как мы с тобой, пока... Пришел попросить у дяди старые ботинки, а дядя и говорит: хорошо! Дам тебе ботинки. Но только получишь их завтра утром. А сегодня, ты знаешь, что?.. Вечером придут гости, и ты будешь сидеть на самом важном... как это?.. на самом почетном месте. Скажем всем, что ты большой человек... так, да?.. И когда хозяйка внесет на блюде индейку, ты крикнешь: спасибо, уже по горло сыты, сколько можно жрать, ходер?! Ты понимаешь?.. Его посадили, стали наливать ему один стакан за другим... рюмку, да, и он, конечно, набухался, повезло, ходер!.. Представляешь? Нам бы с тобой туда. К моему дяде далеко ехать — говорят, он на Кубе... а у тебя в Москве нет такого дяди? Ходер!.. Вот он набухался, а тут внесли индейку. Хозяйка смотрит на него, ждет, что он скажет. А ему повезло, уже успел... ну, и он кричит: давай ее сюда!.. Давай-давай, не стесняйся!.. И сам сожрал почти всю эту индейку... как, а?.. Ну, а утром, утром! Двумя пальцами берет старые свои башмаки и уходит на цыпочках, пока все еще спят. Ему стыдно, что индейку съел... и даже не похмелился, хоть голова болела, ты представляешь?.. После такой бухаловки! Плакали старые дядины ботинки, ходер!“

Бедный, и в самом деле, аргентинец Педро! Еще на середине рассказа я уже начинал, конечно, молча трястись, тихонько всхлипывать и еле слышно повизгивать. То и дело прикрывал губы ладонью — чтобы, значит, не прыснуть — но это-то чаще всего нас и подводило: из-под ладони из-под моей в конце концов вырывалось такое богатство полупростуженных звуков, что все в читалке одновременно вскидывали головы...

Иногда мы успевали убраться до того, как выведут, в другой раз нас конвоировал кто-либо из пожилых библиотекарш... Ай-яй, молодые люди!.. Это читальный зал, а не конюшня! Разве можно?

В курилке мы, и правда, ржали, что называется, чуть ли не до изнеможения... Утирали потом слезы, сморкались, умывались, наконец... „У меня — ничего на морде, Поэт?“ — „Нет, Гранд... а у меня?“ — „У тебя нормально... а на усиках?.. Нет соплей, ходер?“ — „В порядке усики, Гранд, в порядке!“

Шли в читальный зал извиняться, и прощали нас почти тут же: „Ультима оро“ все-таки!.. Что там ни говори, а это внушало уважение, ходер.

Беса ме!.. Беса ме мучо...

Целуй меня... Целуй меня крепко, да.

Милые, милые годы!.. Сколько лет уже собираюсь о вас рассказать. Сколько лет о тебе собирался написать, милый Дарио!

В тот день, когда я сидел со словарем в руках, ты еще был жив... В самом начале зимы.

Может быть, после очередного укола, который не только снял боль, но и на пяток минут бросил в эйфорию, тоже вспоминал, как мы с тобой пытались покорить этот каменный мешок... Белокаменный! Москву, да.

Пожалуй, как раз тут, именно в этом месте мы и подошли к переломному событию, которое не только отбросило все наши надежды на исходную, как говорится, позицию, но для меня — и точно, стало определяющим... Тем самым, после которого уже нечего больше рыпаться... как говорится: игра сделана, господа! Кому еще что не ясно?

Оба рассказа были уже готовы, я их, что называется, вылизал, и дело оставалось за малым — никак мы не могли решить: брать ли мне псевдоним или не брать?

Ну, с Грандом все ясно: кто же еще и должен с испанского переводить, если не Дарио Мария Сейхидо дель Пэна?.. Это как бы само собой разумелось: с такою фамилией человеку — и карты в руки... Но вот при чем тут, и действительно, Немченко? Разве будет моя фамилия смотреться рядом, тем более что должна ведь, если алфавита придерживаться, стоять первою?

„Давай ты будешь Насименто, ходер?! — кричал Гранд в курилке. — Точно не знаю, но почему-то мне кажется, что это и есть по-испански — твоя фамилия... Насименто — это Немченко, да!.. А послушай, ходер, как это красиво звучит!“

И правда же: искренние глаза Гранда влажнели, когда он без тени насмешки, веря сам себе, с бесконечным ко мне дружелюбием медленно и раздельно произносил: „На-си-мен-то-о!“

Я все отчего-то сомневался: „Думаешь, звучит?..“

— Еще бы не звучало, ходер! — выкрикивал Гранд. — Ты только послушай! — и снова слегка понижал голос. — Га-ри-о На-си-мен-т о-о!

— Га-ри-о? — переспрашивал я с радостным испугом.

— А разве плохо? Да у нас с тобой эти рассказы с руками оторвут!

Разве то был не аргумент?

— С руками?

— Ну, конечно, ходер!

Я почему-то вздыхал:

— Ты, и действительно, думаешь: На-си-мен-то?

Может, сам я все сомневался — как бы в предчувствии?

— А хочешь, мы тебе тоже прибавим „дель“? — щедро предлагал Гранд, тем самым и меня как бы тут же возводя в испанские дворяне. — Га-ри-о дель На-си-мен-то!

— Думаешь, можно?

— Да почему нельзя, ходер?.. Кто нам запре-

тит — это псевдоним. Захотел — взял любой. Тем более, тебе он очень подходит, Поэт, — клянусь!

— Точно?.. Подходит?

— А давай имя мамы тоже включим в твое?.. Как у меня.. И имя отца, да-а, почему нет?.. Есть же у меня? Нет отца — так хоть имя есть... давай твоих включим, Поэт, — все, давай!

Конечно же, мама уже давно подготовила Дарио к этому еще одному благородному движению испанской души — тяжелыми своими, пахнущими салом из амарантов посылками, за которыми мы часто ходили вместе с Грандом: он был не из тех, кто только ест, а сходить — нет... А как мы недавно посидели в кафе „Звездочка", что за Яузой, за мостом — водил нас с Дарио недавно приезжавший в Москву мой отец.

— Давай, Поэт, соглашайся: послушай, как красиво будет звучать полностью. — Дарио закатывал глаза под лоб, тоненькие его усики становились шалашиком. — Га-ри-о-Ан-то-ни-на-а-Леон-ти-о дель Насименто-о-о-о!..

А?!

Ведь и оставалось всего-то... оставалось!

Маленький такой шажок... совсем крошечный.

Да что там: один легонький кивок — и тут же я стал бы совсем другим человеком, ну — совсем другим... Навсегда!

В душе-то, полной неизреченной благодарности к моему щедрому, хоть был он нищ, как церковная крыса, другу Дарио, Гранду, я давно уже сдался... Оставалась в общем-то пустая формальность: мое согласие. Высокое, да: на то, чтобы с мякинным-то рылом место в калашном ряду занять... И, чтобы соблюсти правила игры, я как можно небрежней проговорил:

— Это мы решим, ладно, это — решим, — и взял в руки авторучку. — А как фамилия этого аргентинского писателя, Гранд?

Не пора ли было, и правда что, о нем вспомнить?

Дарио наклонился над страницей, подрывавшей марксистские устои „Ультима Оро":

— Пиши, Поэт. Пиши: Ар-ка-ди...

Так и записать?.. Или на русский лад будем: Аркадий?

Дарио повел прокуренным ногтем дальше:

— Пиши: А-вер-чен-ко!..

— Да ты что? — спросил я осевшим голосом. — Правда, что ли?.. Аркадий Аверченко?! Ни себе хрена!

Нет, правда: кроме „Двенадцати ножей в спину революции", значит, теперь — и еще два?.. Один — в самое сердце Гранда: Дарио Мариа Сейхидо дель Пэна. Второй — в сердце Поэта: Гарио Антонина Леонтио дель Насименто.

— Как же ты раньше, балда, не поглядел?! — спросил я громко.

— Зачем, ходер? — не менее громко возмутился Дарио. — Я смотрел в текст!

— И значит, Педро...

— Петя, а то кто!

— И Андрес...

— Андрей, конечно... русский Андрюха!

— И Хуан — это наш Иван, а Фернандо — всего лишь ...Хвёдор?

— Ну, да, аргентинцы переделали... а ты думал?

Дарио становился все радостней, а тут уже и открыто прыснул...

Все в читалке давно уже подняли головы, к нам уже шли...

Ах, Аркадий Михайлович, Аркадий Михайлович!.. Конечно, я понимаю, что это за счастливые и грустные минуты были для Вас — те самые, в зале называвшейся раньше Румянцевскою библиотеки, когда научившаяся в эмиграции бесконечному терпению душа Ваша дождалась, наконец, развязки незамысловатой истории с двумя нищими студентами, которым никогда больше, ну никогда, не представится случай разбогатеть!

Так вот мы и пошучиваем друг над дружкою уже и после жизни на грешной нашей земле... а там Вы с Дарио уже успели увидеться?.. Обласкали добрым словом либо, может, долгой беседою по душам... беседой душ. Вам ведь есть о чем порассуждать — оба изгнанники. Или там перестаешь об этом думать?.. Потому что у каждого из нас имеется и еще одна родина, откуда никто никого не может изгнать — страна всеобщего Духа, который называем Святым... вот только уяснить бы: значит ли это — пусть себе они втаптывают в грязь нашу родную речь, пусть и дальше рвут ее на бессмысленные клочки... Здесь. На земле?

Денька через два-три ко мне снова приехала жена с внуком, мы пошли с ним гулять... Занятый своими мыслями, я ушел чуть вперед, а они приотстали.

И тут я снова увидел эти цветы.

С раздерганными шишаками и совсем уже поблекшие, со сломанными стеблями и поникшими почти бесцветными листьями они имели, и в самом деле, жалкий вид...

— А-а! — сказал я негромко. — Ширичка, да?.. Это ты, милая?.. Хоть знаешь то, что ты — амарант?.. Да! Да-да! А ты думала?.. Или? Или? Г-господа амаранты?.. Вам-то хоть ведомо, что на самом деле вы — самая обыкновенная ширица? Вам это известно?

— Дедушка! — с грустным умиротворением окликнула жена. — Что ты там говоришь?.. Кому? Снова — Мальчику-с-пальчику?.. Расскажи-ка лучше Гаврюше... он уже идет к тебе, вот спешит!

И кивнула на внука: тот уже, видно, попробовал вырвать у нее из ладони свои пальцы, чтобы снова по лужице пробежать, а теперь, пытаясь освободиться, уперся в бабушкин кулак и другой рукой.

Родился он упрямцем — надо было сию минуту отвлечь его, и я позвал:

— Скорее сюда, Гаврюша, скорее!.. Что я расскажу тебе об этих цветах! Только на днях узнал о них — ты послушай!

Он тут же перестал вырываться, задрал доверчивую мордашку, пошел ко мне.

Я расставил ноги и подбоченился, весело глядя вниз, на цветы, и тут вдруг что-то остренькое кольнуло сердце и мне вдруг горько подумалось: а что же мне о них ему рассказать?.. Об амарантах. Что он запомнить должен? Об этих цветах. Что ему важнее будет о них знать? Что больше в жизни пригодится. Надо ли ему помнить то, что я знаю?.. Или он тут же все это забудет, и душа у него уже не будет болеть так, как у меня?.. Покорится и не будет раздвоена. У них всех.

ПОЭЗИЯ



Неизвестная поэзия русского зарубежья

Анатолий Михайлович Карель родился на юге России в 1922 году. По окончании десятилетки поступил на филологический факультет в вуз. Армия и война прервали учебу. С лета 1942 года до конца войны находился в различных немецких лагерях. В начале 1950 года приехал в Австралию. Работал в конструкторских бюро. Теперь в отставке по возрасту. Активно участвует в жизни русской общественности Австралии, является председателем русского этнического представительства в Мельбурне, сотрудничает на русском радио.

Стихи начал писать задолго до войны. Почти все написанное до и в период войны пропало.

За рубежом печатался в газете „Единение", в журнале „Берега", в журнале „Русское возрождение" в Америке, в антологиях русских поэтов Австралии.

Был участником первого и лауреатом второго фестиваля поэтов Австралии. В 1987 году в Мельбурне вышел сборник его стихотворений „Зов предков".

Анатолий КАРЕЛЬ

ПРОСНИСЬ!

Россия! Русская земля!
Прийди в себя, пока не поздно,
Опомнись, защити себя
И рыкни смело, рыкни грозно!

Не верь притворным воплям тех,
Чья цель — тебя делить и грабить,
Не выставляй себя на смех,
Не дай врагам тобою править!

Теперь не время продолжать
Игру в фальшивых демократов,
Они не прочь чужим отдать
Тавриду, Сахалин, Саратов.

И так обстричь тебя навек,
Чтоб лишь одну Москву оставить,
Чтоб новый хан иль новый бек
Тобою стал, как прежде, править!

В России русский — как беглец,
Бесправный нищий чужестранец...
Я слышу — славит твой конец
В костелах папский самозванец.

Народ, ты трудишься над чем,
Коль от Онеги до Находки
Решенье всех твоих проблем
Заключено в бутылке водки?

Проснись же от дурного сна!
И размахнись с пружинной силой.
Воздай всем недругам сполна —
Пусть смута станет их могилой!

НОЧНОЙ ПАРАД

Нависла мгла над Куликовым полем.
Уснула степь в полночной тишине.
Встает луна над всем степным раздольем,
И древний воин скачет на коне.

Здесь в тайный час, в назначенное время,
О чем живым не ведать и не знать,
Земли и смерти отвергая бремя,
Выходит из могил святая рать.

Со всех сторон моей земли великой
Спешат, спешат... спешат, спешат, спешат!!!
Сыны России: кто с мечом, кто с пикой,
Кто с бронзой пушек на ночной парад.

Идут полки, погибшие на Калке,
Идут с князьями Невским и Донским...
Богатыри суворовской закалки
Идут на смотр под знаменем святым.

Как тени в ночь, проходят строй за строем,
И взгляд суровый обращен к Москве
И молятся (перед грядущим боем
С мерзавцами, засевшими в Кремле).

А впереди незримого потока,
Благословляя на державный труд,
России гении — от Пушкина и Блока
До наших дней — святую рать ведут.

СУДЬБА

О. Козину

Мы еще мечтаем о России,
Но уже, по правде говоря,
Для России — мы давно чужие,
И для нас Австралия — своя.

Голубые, в дымке, эвкалипты
И раскатный хохот кукабар
Заменили русские ракиты,
Соловьиный песенный угар.

В вышине, сияя надо мною,
Южный Крест на север держит путь,
Но ему не суждено судьбою
На звезду Полярную взглянуть.

* * *

За окном вагона — даль равнины
Уплывает медленно назад,
А вблизи — то ели, то осины,
Промелькнув, мне „здравствуй" говорят.

Там и здесь — приземистые хаты,
Вдоль дороги выстроены в ряд,
Будто бы уставшие солдаты,
Эту Русь веками сторожат.

Здесь, сейчас сойти б на полустанке —
Через выгон, через огород
Пробежать, как в детстве, без оглядки,
Юркнуть в сени за родной порог.

Кажется, как будто за спиною
Не стоит годам прожитым счет!
Кажется, за этой вон избою
Девушка меня, как прежде, ждет.

Я вернусь домой в страну другую,
В теплую и добрую страну,
А про боль за бедную, родную
Не скажу ни слова никому.

1981

Юрий САЛМАНОВ

ПЕРЕДЕЛКИНО

Бывает, вспомнятся акации кусты,
Заборы дач, сирень по буеракам,
Где я с Леоновым выращивал цветы,
Читал стихи Борису Пастернаку.
Где мы, студенты нищие, пекли
Картошку к ужину с писательских делянок
И по утрам, не выспавшись, брели
Назад в Москву к учебе спозаранок.
А по Москве — придуманных врагов
Ловил Ежов в „ежовы рукавицы",
И не было спасенья от него,
И страх карежил человечьи лица.
И потому (отчасти — потому)
Нам снилось Переделкино.
                    И снова
Мы ехали тайком, по одному,
Под сень садов и неба голубого.

ОБМАН

Революция смяла Дворянские Гнезда,
У руля государства устроился Лжец,
И ему удалось относительно просто
Обмануть миллионы наивных сердец.
Мы, слепые щенята, поверили в чудо,
Голодая, все силы отдали стране.
Усмехался ехидно проклятый Иуда:
„Потерпите, и будет вам рай на земле!"
Наработавшись, пили мы кофе морковный,
Ели жесткую воблу, картошку пекли,
Но представить,
                    что станет тюрьмою огромной
Наша добрая Русь, мы тогда не могли.
Чья-то злобная воля Лжецу диктовала,
Как террором и голодом власть удержать,
И родная Россия нам мачехой стала —
Наша славная Русь, наша добрая мать!

ВЕЛИКОРОССЫ

Мы были высоки, русоволосы;
Правофланговыми стоять в строю
Привычно было нам, великороссам,
В боях за Русь, за родину свою.
Мы для себя не ждали привилегий
И, помогая слабому не раз,
Собрали мы в один народ великий
Содружество народностей и рас.
Толпою жадною враги и ренегаты
Вокруг России с той поры стоят.
Нам коммунизм подкинули когда-то,
Теперь другой придумывают яд.
— Всему виной, — кричат, —
                    великороссы,
Бомби Москву и режь от пирога!
Сепаратисты кружат точно осы,
Народ — молчит...
                    Пока молчит.
                              ПОКА!



Вече

НАДЕЖДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Диалог Михаила АСТАФЬЕВА и Станислава КУНЯЕВА

Вспомним напряжение жарких предвыборных баталий 1990 года, когда, казалось, общество уже проснулось от летаргического сна последних десятилетий. Главными претендентами на звание народного депутата России в одном из московских избирательных округов были тогда научный сотрудник Михаил Астафьев и писатель Станислав Куняев. Первый шел по победному списку «Демократической России», второй стоял на платформе «Блока патриотических сил», потерпевшего поражение...

А теперь оба исповедуют почти сходные надежды – так, прежде всего, они равно хотели бы видеть Россию экономически процветающим, политически независимым и духовно воскресшим государством. Понимая при этом под Россией – традиционно – все историческое пространство нашей Родины.

Надеждам этим, увы, не дано пока осуществиться. Страна вошла в поистине дьявольскую воронку нищеты, распада и смуты, дополненной тем, что новые правители искусственно вычленили Российскую Федерацию из традиционного, евразийского тела России.

Сегодня, когда уже совершенно ясно, что результаты проводившегося у нас реформирования абсолютно противоположны добрым надеждам, возлагавшимся на него, но события последнего времени стали непредсказуемы по своему направлению и накалу, выяснилось, что расхождения в политической жизни последних лет были куда глубже, чем поверхностное разделение на предвыборные блоки. Поэтому бывшие соперники, а ныне – оба – деятели политической и духовной оппозиции компрадорскому режиму, и решили встретиться вновь, чтобы сверить свое понимание стратегических задач противостояния смутному времени и выяснить его причины.

Итак, мы предлагаем вниманию наших читателей беседу главного редактора «Нашего современника» Станислава Куняева с председателем Конституционно-демократической партии России, одним из лидеров депутатского блока «Российское единство» Михаилом Астафьевым.

Михаил АСТАФЬЕВ: Я Вам честно скажу, что в девяностом году я не предвидел такой опасности для страны, которую ощущаю сейчас. Мы стоим на краю гибели. Но думаю, что и Вы в 1990 году вряд ли могли представить весь этот ужас.

Станислав КУНЯЕВ: Да, в таких масштабах и в такой глубине этих событий мы не предвидели. Но нам было ясно, что компрометация патриотического мировоззрения разворачивалась уже тогда. И это русских писателей, участвовавших в предвыборной борьбе, надо сказать, беспокоило гораздо больше, чем Вас, потому что судьба каждого из нас была очень тесно связана с этим мировоззрением, мы его вырабатывали десятилетиями, где-то начиная с 60-х годов. Именно тогда мы разошлись с радикалами-шестидесятниками, когда почувствовали, что концепция патриотизма для них является второстепенной или, более того, даже враждебной.

М.А.: Нечто вроде судьбы Кассандры, которая знает, что Троя будет разрушена? Она об этом говорит. И только узкий круг людей верит, остальные ворчат – ну, что за нелепость, нет абсолютно никаких предпосылок.

Видимо, беседы, разговоры в тесном кругу литераторов позволили Вам почувствовать отчужденность «шестидесятников» от России, которую они, конечно, никогда не афишировали. Но Вы это отношение знали. И Ваше поведение строилось уже на знании этого факта.

У меня была схожая ситуация в январе 91-го года (еще даже до событий в Вильнюсе), когда я, будучи в Координационном совете «Демократической России», наблюдал, как эта организация стала вырабатывать свою концепцию национальной политики. И там было такое крыло, мы его тогда называли левым (сейчас я не знаю, как его назвать, состояли в нем В.Лысенко, Ю.Афанасьев и другие), которое считало, что главная задача – это демонтаж империи любой ценой, причем слова «любой ценой» я из них «выудил» позже... В то время я уже воочию убедился в огромной угрозе правам русского населения в той же «супердемократической» Прибалтике. И хотя это было невыгодно «демократическому лагерю», в котором я на-

ходился, я посчитал своим долгом начать об этом говорить.

В «ДемРоссии» было неоднозначное понимание этих проблем, возникли внутренние споры. Это было началом раскола по, собственно говоря, национальному вопросу, в результате которого Аксючиц, Травкин и мы – конституционные демократы – вышли из «ДемРоссии». Тем же, кто остался, было сто раз наплевать на судьбу русского населения.

Я всегда был твердым сторонником сохранения Союза. Если исходить из исторической логики, – Союз должен быть. Исходя из позиции первенства прав человека – и тут мы приходим к чему? Что нет никакого логического обоснования развала Союза, кроме одного – убеждения наших оппонентов в необходимости «демонтажа империи». Им говорили, что будет литься кровь. И тогда наши оппоненты сказали: да, будет литься кровь. И они выступают за «демонтаж империи», несмотря на это. Любой ценой! Они это обосновывали тем, что если этого не сделать, крови будет еще больше. Утверждали: будет борьба вооруженных групп. «Такие группы надо арестовывать и в тюрьму сажать, как все государства поступают», – возражал я. «Ну, вот видите, вы силу хотите применить». – «Но простите, эти группы будут заниматься террористической деятельностью, а мы не можем силу против них применить?» Таковы были наши споры.

Но когда я говорил своим единомышленникам, людям из других городов, что руководство «Демократической России» ставит своей целью окончательный развал Союза и вслед за этим – развал Российской Федерации, причем любой ценой, мне отвечали: быть не может! Реакция обычного демократа ...

С.К.: Это уже после объявления суверенитета или до?

М.А.: Январь-февраль 91-го года. А суверенитет – в июне 90-го года.

С.К.: Нам-то все стало ясно уже после объявления суверенитета, все эти цели.

М.А.: Критикуя нынешние события, очень многие начинают с того пункта, что это было начало распада. А давайте мысленно представим: если бы Россия не объявила свой суверенитет, как бы дальше выстраивались события? Хотите, я нарисую один из возможных вариантов?

С.К.: Пожалуйста.

М.А.: Допустим, Россия не объявляет суверенитет. И даже не выбирает Ельцина, выбирает, скажем, Воротникова. Остальные республики, конечно, немедленно бы объявили суверенитет. Сразу же вся мощь пропаганды обрушилась бы на Россию, уже не на компартию, не на Политбюро ленинское и сталинское, а именно на Россию, на особый характер русского народа, на его приверженность к консерватизму, с помощью которого мы пытаемся всеми силами удержать эту империю, и так далее, и так далее. И нас бы громили, и ответить бы мы ничего не могли. Мы бы сказали: да, что же, мы такие и поэтому мы любим Воротникова. Чувствуете абсурд?

Другое дело, что, может быть, Воротников не принес бы столько зла, сколько Ельцин. Но общественное сознание было так запрограммировано, что оно требовало перемен, и любая задержка на этом пути воспринималась как возврат к прошлому, как консерватизм, доказывающий «отсталость» русского народа.

Мне порою кажется, что мы были обречены на избрание Ельцина. И не избрали бы его тогда, народ бы вышел на улицу, начал бы забастовки. Через год разогнал бы этот Верховный Совет. Пока наконец Ельцина не избрали, не успокоились бы. Избрали, получили! Вот теперь мы начинаем думать.

С.К.: Суровый анализ. Я не могу с ним не согласиться. Конечно, итоги плачевные.

Сейчас я Вам хочу задать один, возможно, не весьма приятный для Вас вопрос. Будучи кандидатом в депутаты от «ДемРоссии», Вы, естественно, разделяли воззрения кумира и патриарха всего демократического движения Андрея Дмитриевича Сахарова. На мой взгляд, демократическое движение добилось успеха во многом благодаря тому, что было освящено его действиями, его судьбой, его именем. Есть ли у Вас сейчас переоценка его взглядов на будущее (или теперь уже настоящее) России? Что получилось из его прогнозов и его программ?

М.А.: Да, переоценка есть. У Андрея Дмитриевича, мягко говоря, наблюдалась некоторая оторванность от реальности.

Чтобы не получилось, что его нет, а я вдруг прозрел, я позволю себе напомнить такой эпизод. Были выборы в Академии наук, те самые, на которых я выступал за Сахарова, за его избрание. Наконец, мы его пробили, он получил возможность опубликовать свою программу. И когда я ее посмотрел, я был изумлен тем ее разделом, где рассматривался вопрос о государственности Союза. Сахаров требовал признания всех автономий, национальных округов в качестве независимых государств. Я сначала даже подумал, что, может быть, напечатали с ошибкой. Но когда выступил Сахаров и рассказал о своей идее пятидесяти трех независимых государств, я счел своей обязанностью выйти к микрофону и задать ему вопрос: какие пятьдесят три государства? о чем Вы говорите? Ответил он как-то невнятно, фактически отмахнулся. Потом пришлось подойти к нему в коридоре и спросить еще раз: Вы понимаете, все разбегутся, как так можно? Ведь национальные бюрократии останутся теми же, старыми, и будут только играть на чувствах народов. Он даже слушать не захотел. И пошел. Больше мы на эту тему с ним не беседовали. Но я четко убедился, что он действительно так думает. Я это не мог никак рационально постичь. И страшно был удивлен, что никто из моих соперников, включая и Вас, на этом деле не сыграл. Я с ужасом ждал – вот сейчас-то и докажут, что демократы мечтают устроить 53 независимых государства в Союзе. И полетел бы я со всем этим демблоком. Словом, я тогда был страшно потрясен тем, что массового осознания не было ...

С.К.: А Вы знаете, мы обратили на это внимание, но ... Нам это показалось настолько наивным, настолько нереалистичным, настолько утопическим и невозможным в действительности, что даже спорить с этим всерьез не хотелось, потому что противник просто подставился. Мы думали, что каждый человек, обладающий здравым смыслом (а мы верили в наших избирателей), не захочет этого принять, что здесь даже и предмета

спора нет, настолько это нереально. И, конечно, мы недооценили то обстоятельство, что авторитет Сахарова слишком велик и что эту страшную программу или сказку люди могут проглотить, вот и все.

Однако вернемся к дням сегодняшним. Считаете ли Вы, что Ваша нынешняя позиция сегодня – в общественных движениях, в парламенте – была бы гораздо крепче, если бы рядом с Вами в парламенте были бы кандидаты патриотического блока. Ну, я несколько фамилий назову, которые у всех на слуху, – Вячеслав Клыков, Геннадий Зюганов, Илья Глазунов, Вадим Кожинов и другие люди с патриотическими убеждениями. Чувствовали бы Вы себя увереннней?

М.А.: Ответ сам собой напрашивается. Если я сейчас нахожусь с Зюгановым в одной оппозиции и в президиуме сижу на пресс-конференциях совместных, какой еще должен быть ответ?

С.К.: Спасибо.

М.А.: К Клыкову я испытываю глубочайшее уважение, часто встречаюсь с ним. Я не слишком знаком с Кожиновым. Но вот у нас была одна встреча, и мне было очень интересно с ним побеседовать. В парламенте же на патриотической платформе я буду сражаться до конца – это мой долг.

Однако продолжу свою мысль. Я полагаю, что, вспоминая о прошлом, мы поддаемся соблазну объяснять события, используя знание сегодняшнего дня, а это не совсем правильно. Ведь если на то пошло, те же патриотические силы тоже не вполне верно строили свою избирательную кампанию. А выбор союзников, в частности КПСС? Сейчас коммунисты гонимы, преследуемы – их, бесспорно, следует защитить. Но когда КПСС была правящей партией, она несколько иначе себя вела, прямо скажем.

С.К.: Вы сказали, что будете сражаться до конца. Но сражаться до конца сейчас готовы все. Вот Борис Николаевич Ельцин – выступая в Троице-Сергиевой лавре с балкона патриаршей резиденции – сказал, что он тоже хочет сражаться до конца. Только он сказал это в другой форме, вроде «меня уберет только Господь Бог».

Но ведь не Господь Бог выбирал Бориса Николаевича, так что апеллировать к Господу здесь по меньшей мере наивно, если не бессмысленно. Выбирал его народ, избиратели. Вы – конституционалист. Можно ли будет конституционным путем предъявить Ельцину счет за банкротство его политики и политики его правительства как не осуществивших самых главных своих предвыборных обязательств? Законна ли будет постановка такого вопроса в парламенте? Конституционна ли она будет? Есть ли у парламента силы для этого?

М.А.: Я неоднократно говорил, что, объявив несуществующей Конституцию СССР, заявив, что законы СССР не действуют на территории России, Ельцин явно нарушил статью 4 Конституции Российской Федерации.

Это с легальной точки зрения абсолютно достаточный, на сто процентов, аргумент для возбуждения процедуры импичмента и отстранения президента от власти, ибо в своей президентской клятве он клянется соблюдать законы и Конституцию Российской Федерации. Президент Никсон тоже нарушил законы, и уж никак не Конституцию, и то потерял свой пост. Ельцин же открыто нарушил Конституцию. И мы настаиваем на том, что он вполне заслуживает за это отстранения от власти путем импичмента. Это первое.

Далее – будучи отстранен от власти, он, как любой гражданин, подпадает под действие обычного Уголовного кодекса, в соответствии с которым вполне заслуживает возбуждения уголовного дела по статье 64 за измену Родине. Подчеркиваю, Уголовного кодекса Российской Федерации. Кравчук, Ельцин, Шушкевич составили заговор против Главнокомандующего Вооруженными Силами Союза, проконсультировавшись с Главнокомандующим вооруженными силами США (они сами подтвердили, что они позвонили Бушу до звонка Горбачеву, после чего объявили последнему, что он отстраняется от власти). Заговор с привлечением иностранной державы. Тут все ясно.

С.К.: А теперь мы продолжим этот разговор в связи с тем громадным политическим процессом-фарсом, который называется судом над компартией.

Как Вы думаете, данный суд – что это такое? Судят, в сущности, идеологию, мне так кажется. Но судить идеологию – это пустое дело, на мой взгляд, потому что всякая историческая формация, всякая историческая структура имеет периоды своего развития. У компартии, на мой взгляд, три таких периода. И каждый со своими принципиальными особенностями.

Во-первых, ленинская компартия. Это – интернационал-коммунизм. Он просуществовал где-то с семнадцатого, с пятого даже, и до тридцать седьмого года.

Процессы тридцать седьмого года – это фактически смена идеологии компартии. Вместо интернационал-коммунизма мы получили «национал-большевизм». То есть компартия стала государственно-национальной силой уже в отличие от интернационально-коммунистической силы, как это было при Ленине. Это было своеобразное импульсивное или конвульсивное самоосуждение компартии для того, чтобы изменить свою стратегию, свою политику, свою идеологию в связи с предстоящей войной, для того чтобы в какой-то степени переориентировать общество на национально-государственные позиции. Это был второй период развития компартии, совершенно противоположный и принципиально отличающийся от той идеологии, которую исповедовала ленинская гвардия, уничтоженная Сталиным в тридцать седьмом году.

Сталин произвел самый серьезный и самый громадный суд над идеологией ленинской компартии, и фактически мы после этого имели уже другое государство, другую идеологию и другую коммунистическую партию. Когда Сталин уничтожил все чекистские коммунистические кадры, уничтожил III Интернационал, фактически это было спасением Европы от угрозы мировой революции. Это был совершенно новый подход, при котором появилась новая роль Советского Союза в мире и новая роль компартии в мировой истории.

Судить ленинскую партию можно по одним законам, сталинскую – по другим, бреж-

невскую – по третьим, но все это нужно дифференцировать.

Третий период компартии заключался в том, что она стала административной системой, хозяйственной структурой, уже почти не зиждящейся на идеологии. На Политбюро решались в основном хозяйственные вопросы – как поднять Нечерноземье, как сделать мелиорацию, как повернуть реки, как поднять черную металлургию, как развить легкую промышленность, – это фактически была уже совершенно не идеологическая (идеология там играла десятую роль), а хозяйственно-государственная административная структура. И она развивалась по другим законам. Это третий период развития коммунистической партии.

А второе самоосуждение компартии, которое она произвела над собой, было в 56-м году, во время Хрущева. Так что дважды в течение семидесяти лет компартия сама судила себя. И я не понимаю, почему этого никто не замечает. Никакие юристы, которые защищают компартию, или те, кто ее преследует, те, кто сейчас ее зовет на скамью подсудимых, не вспоминают о том, что два раза компартия по своей собственной инициативе садилась на скамью подсудимых для того, чтобы обновиться и более соответствовать реальной действительности, которая к тому времени возникала. Так что сегодня идет суд не над структурой, а над историей.

Если проводить суд над организацией – нынешнего или вчерашнего дня – то, конечно, все бывшее Политбюро как высшая надстройка этой компартии должно сидеть на скамье подсудимых. Все члены Политбюро, которые за последний период руководили деятельностью компартии – это и Горбачев, это и Яковлев, это и Ельцин, и Шеварднадзе, и Алиев, и все республиканские секретари, – все члены Политбюро должны быть там. Почему этого не требуют? Здесь масса вопросов. Я прошу Вашего комментария к ним. Не правда ли, все это становится похожим на фарс, когда нет подробного исторического анализа всего пути компартии?

М.А.: Я все-таки отделю вопрос нынешнего суда от того описания истории компартии, которое Вы сейчас дали.

Я разделяю многое из того, что Вы сказали, хотя и с некоторыми уточнениями. Я бы не назвал это только борьбой внутри партии, слово «самоосуждение» мне поэтому не очень нравится. Самоосуждение – это процесс, когда личность сама себя судит, а здесь все-таки одни судили других. Если быть честными до конца, они должны были бы при этом менять название партии.

С.К.: Да, это, конечно, сбивало с толку. Под одной крышей фактически действовало три партии на протяжении 74 лет.

М.А.: Когда Хрущев начал антисталинскую линию, концепцию неизбежности войны он заменил концепцией мирного сосуществования и т.д. Это действительно была смена идеологии. Когда же были процессы 30-х годов, то я, честно говоря, не помню, какие официальные лозунги были сняты и новые поставлены. Ведь лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» остался ...

С.К.: Да, но лозунг мировой революции был снят. А это был тогда концептуальный лозунг.

М.А.: С этим можно отчасти согласиться, но вряд ли с абсолютной уверенностью следует утверждать, что Сталин спас Европу от революции. Все-таки мне кажется, что если бы Сталин действительно встал на эту позицию, послевоенный мир был бы по-другому устроен. Он не мог пойти на равноправное сотрудничество с буржуазной Европой, поскольку хотел и ее подмять. Вот Вы говорите – спас от революции. Но Восточная Европа была сделана сателлитом Москвы, и когда там что-то было не по-нашему, применяли войска. В Берлине в пятьдесят третьем, в Польше в пятьдесят шестом, в Венгрии в пятьдесят шестом. И я думаю, что население Восточной Европы после этого не особо любило Советский Союз. И русских заодно. Вот в чем была проблема. Политика экспансии была начата при Сталине, когда говорили – вот соцлагерь, и мы его никому не отдадим.

С.К.: Это вопрос о сферах влияния, будем так говорить. Но эти сферы влияния, наверное, больше государственные, нежели идеологические. И поэтому в связи с судом над КПСС я хочу подчеркнуть, что поскольку в его работе нет глубокого анализа деятельности компартии, он поверхностен и тенденциозен.

М.А.: Я позволю себе несколько нескромное заявление, но мне кажется, что как раз демократы-государственники ведут сегодня довольно сбалансированную политику, в том числе и в этом вопросе. Отказались мы от принципа демократии? Ни разу, никогда. Мы как раз обличаем нынешнее правительство, своих бывших союзников за то, что они, получив власть, поддались соблазну ее узурпировать. Вот почему мы в оппозиции. То есть мы от идеала демократии не отступаем.

Мое отношение к рядовым коммунистам. Да, тут я согласен, что два года тому назад, в 90-м году и, в принципе, раньше, я, конечно, смотрел на них по-другому. Сейчас мое отношение к коммунистам стало лучше, но именно к рядовым... Не так давно мы ощущали властную руку повсюду, и уж, конечно, на работе, когда нас гоняли на разные политмероприятия или определяли, кто, когда и какую должность получит. Все это делалось в парткомах. И весь народ это видел.

Вы правы в оценке компартии застойных 70-х годов, когда она сильно была разложена изнутри тем, что в нее косяком повалил контингент сугубо карьерный. Люди – носители идеологии уже уходили, их время минуло. А когда-то, в 50-е годы, в партию, видимо, вступали люди убежденные. Они, конечно, консервативны по своим убеждениям. Но сейчас они мне стали импонировать именно своим консерватизмом. В момент, когда все рушится, привлекают люди консервативного склада.

С.К.: У меня есть своя концепция понимания всего, что произошло с нами в последние годы. Когда высшее партийное руководство поняло, что мы безнадежно отстали в технической сфере, оно, конечно, сообразило, что мы проиграем военное противостояние, проиграем паритет. И мне кажется, они решили, что коль исторически мы противостояние проиграли, то нужно эту кре-

ность сдать для того, чтобы остаться управляющими на этом пространстве – гауляйтерами. И все переговорные этапы – Рейкьявик, Мальта, Хельсинки – были просто этапами торговли: на каких условиях они останутся управляющими.

М.А.: Я согласен с Вами в одном очень серьезном аспекте. Судьба Горбачева после декабря прошлого года очень показательна. Ему надлежит со стыда сгореть. Он мог бы запереться где-то, уйти в скит. В таком случае он мог бы вызвать определенное уважение. А он ездит по всему миру ...

С.К.: ...Делая вид, что ничего не произошло, или то, что произошло – к лучшему.

М.А.: Какая-то клоунада. И в ноябре прошлого года был момент, когда он как-то уперся, сказал – я не согласен! Все думают – ну, ну? А он торговался, дадут ему двести человек или двадцать. И люди с таким вот сознанием просто обязаны были все продать, ибо их менталитет – торговый менталитет. Нет идеологии, а есть понятие: выгодно – не выгодно.

С.К.: Не будем о Горбачеве, он уже не достоин серьезного разговора. Давайте поговорим о вещах сверхнасущных.

Не считаете ли Вы, что крики о фашизме, о русском фашизме, о «красно-коричневых», о люмпенах – это какая-то сознательная крупная политическая демагогия? Ведь, на мой взгляд, власти сами провоцируют массы на крайние действия своей жестокостью, своей глупостью, своим беззаконием, своим равнодушием к народу, своей жаждой привилегий, в конце концов. А когда массы выражают свой гнев по этому поводу, пресса сразу, как по команде, кричит: «Фашизм! Веймарская республика!». Они, похоже, сами провоцируют этот ненавистный им или милый сердцу фашизм или диктатуру. Ведь фашистская идеология замешана прежде всего на расистской основе. У нашего населения, как бы ему ни навязывали, как бы его ни провоцировали, никакого расистского мировоззрения, я думаю, возникнуть просто не может. Вся наша история противоречит этому настолько сильно, что эту инерцию не одолеть никакими нынешними политическими всплесками. Я помню, Старовойтова Галина Васильевна в то время, когда был расцвет Межрегиональной депутатской группы, выступала в каком-то узком кругу (потом это выступление разошлось по рукам) и сказала, что русские ущербны, русская история ущербна, потому что у русских в последние десятилетия не было нормальной истории.

Так возникает явление, которое сейчас просто захлестнуло нашу прессу, наше телевидение, – то, что называется русофобией, то, что называется провоцированием фашизма, потому что никто вообще не знает, что такое «нормальная история». Да ни у одного народа, с точки зрения идеала развития, никогда не было нормальной истории. Ну, а что – у евреев нормальная история, когда у них две тысячи лет не было нормального государства? Все было ненормальным. За две тысячи лет менталитет должен был полностью стать ущербным. Как Вы относитесь к этим крикам о фашизме, которыми сейчас переполнена наша пресса?

М.А.: Считаю это провокацией. Как раз русский народ доказал не то что лояльность по отношению к другим народам и даже, может быть, беззащитность, он доказал добрую душу свою удивительную. Во время нынешних событий, – если вдуматься, – когда русских избивают сплошь и рядом в разных регионах, у нас, внутри нашего народа, нет активного неприятия этих наций. Потрясающе! Я даже боюсь, что это похоже на симптом некоей болезни – утраты чувства опасности. Мы видим политику, направленную против России, в частности против русских как главного этноса России. Но поразительно, что сам народ даже не хочет задуматься об этом.

По поводу же высказывания Старовойтовой насчет ущербности русского народа, потому что якобы у него не было «нормальной истории» в последние семьдесят лет, я могу сказать только одно: с Галиной Васильевной тут полная ясность – она очень не любит русский народ. Что можно добавить? Это – факт ее личной биографии, не столько нашей истории, сколько ее биографии.

С.К.: Но она сейчас советник президента по национальным делам. Это же ненормально – при таком отношении к самому большому этносу России!

М.А.: Простите, но когда мы говорим, что имеем оккупационное правительство, то логично же оккупационному правительству ставить советником по национальным вопросам человека, который очень не любит этот народ. Не ставить же того, кто любит: что-нибудь не то сделает.

В парламенте я столкнулся с людьми, для которых нет понятия – защита русских. Гибнут люди, их убивают, фотографии нам привозят страшные с места событий, – истерзанные, сожженные трупы, отрезают носы, уши. И вот, зная, что ты можешь их спасти, приняв решение, некоторые политики сознательно говорят – нет, как же так? А вдруг моего сына пошлют в армию? То есть идет полный распад национального самосознания.

С.К.: Ну как может быть иначе, когда после трагедии в Бендерах Ельцин жмет руку Снегуру? Это же влияет на парламент, на депутатов, я думаю.

М.А.: Я хотел бы еще высказаться по поводу так называемых «красно-коричневых». Я считаю, это совершенно провокационная истерическая кампания, которая развернута лишь для одного – нынешняя клика, оказавшаяся у власти, пытаясь оправдать свое существование и заручиться поддержкой Запада, разыгрывает карту, что она – единственный оплот демократии в России. И чтобы поэтому Америка или кто-то еще их поддерживали и давали кредиты, держали на плаву. Они доказывают, что им нет альтернативы и что любая другая сила, идущая к власти, это партия войны. Или фашизма. Это их способ самосохранения.

Я при всякой встрече говорю американцам: ваш союз с Ельциным – это эффект Нго Дин Дьема. Когда в Южном Вьетнаме правил этот ненавистный народу деятель, США его максимально поддерживали. Результатом такой безудержной ставки на проворовавшийся режим было то, что вьетнамский народ сейчас находится не в лучших отношениях с американским народом. В России все это будет повторяться. Я думаю, что Вы согласитесь – пять лет тому назад в нашем обществе не было чувства антиамериканизма.

С.К.: Да, в политике было, а в обществе не было.

М.А.: А сейчас совершенно определенно я чувствую антиамериканизм. Почему? Я американцам объясняю: поймите, все свои ошибки режим прикроет ссылкой на Америку. И когда он рухнет, в глазах населения появится резко негативный образ США.

С.К.: Будет неприятие уже не государственное, а просто народное. Это ясно...

Михаил Георгиевич, сейчас многие аналитики рассуждают о возможности сближения, соединения парламентской оппозиции и непосредственных надпартийных народных объединений, вроде «Трудовой России». Что Вы можете сказать по этому поводу?

М.А.: Могли бы мы соединиться или нет? Вот сейчас, в летний период, у нас есть предчувствие и некоторые сведения, что власть заинтересована в провоцировании выступлений, из которых можно извлечь политический эффект. Им крайне нужны «красно-коричневые». И то, что их не хватает, вызывает у властей глубокое беспокойство. Они будут стараться инициировать что-нибудь этакое.

Двадцать второго июня они инициировали избиение. Им очень было нужно, чтобы толпа взяла железные прутья и нанесла увечья нескольким десяткам милиционеров. Вот тогда уже на весь мир бы это показали и сказали – все, вот теперь понятно, что надо делать с оппозицией. В чем состоит задача властей? Осенью однозначно, по расчетам разных сил, запрограммирован мощнейший социальный протест. Рейтинг Ельцина падает каждый месяц на какое-то количество пунктов. Мне понравилась фраза Кургиняна, – еще ни один политик не доживал до падения рейтинга до нуля. Так что его сбросят чуть раньше. Все идет своим ходом, и где-то в сентябре, октябре – придет! Вот тут самое для них страшное, если действия политической парламентской оппозиции соединятся с социальным протестом «снизу».

То есть существуют две мощнейших силы. Может произойти эффект типа иранской революции. Кстати говоря, режим шаха пал довольно-таки бескровно. Когда общество поняло, что – все, пора! Когда власть уже настолько прогнила, что ее никто не стал защищать.

С.К.: Но у шаха были миллионы, ему было куда бежать.

М.А.: Я думаю, это дело поправимое.

С.К.: Если осенью действительно, по всем расчетам, социальный взрыв неминуем, то, я так Вас понял, власти сейчас будут прилагать все усилия, чтобы вызвать этот еще неподготовленный взрыв летом и сделать его предлогом для введения чрезвычайного положения?

М.А.: Да, сегодня для них важнее всего недопущение синхронизации кризисов – парламентского и народного, которая может произойти только осенью.

С.К.: Спасибо.

М.А.: Вы знаете, чего я опасаюсь, подумав об этом нашем разговоре в целом? Того, что к моменту публикации он во многом устареет. События-то развиваются слишком стремительно.

С.К.: Я не вполне согласен с этим. Если даже наша беседа устареет в какой-то части, она останется как политический штрих сегодняшнего многообещающего и напряженного времени.

Национальная альтернатива

АЛЕКСАНДР ДУГИН

ОРГАНИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ

1. „ДЕМОКРАТИЯ“ И КРИТИКА СПРАВА

В последние годы политическое и идеологическое развитие социальных процессов в самых разных странах заставляет переосмыслить многие устоявшиеся интеллектуальные позиции традиционных идеологических блоков, таких, как „правые“ и „левые“. Причем если мы не станем этого делать и откажемся давать новый ответ на „вызов Истории“, то „верность принципам“ может обернуться маргинальным архаизмом или даже прямым саботажем той линии, которую мужественно и стойко отстаивали наши идеологические предшественники. Эпоха требует от нас переосмысления, „ревизии“, как подтверждения нашего активного участия в неформальной, духовной реальности традиции, от имени которой мы выступаем. Поэтому, несмотря на всю сложность проблемы „демократии“, мы должны мужественно заняться ее беспристрастным анализом и изучением, вопреки соблазну механически перенести на современную жизнь уничижительную критику этой идеологии, сформулированную традиционалистами и патриотами предшествующих поколений. При всей ее справедливости нельзя не заметить в ней некоторой принципиальной недостаточности и ущербности, которая особенно ясно вскрывается именно сейчас. Итак, в чем же состояли основные претензии традиционных правых к „демократии“?

Правые — от Токвилля, де Мэстра и Кортеса до Эволы, Генона и Морраса — исходили из предпосылки, что „демократия основана на идее доминирования чистого количества, чисто количественного большинства, тогда как мнение большинства с необходимостью будет выражать мнение совершенно некомпетентных людей“ (Рене Генон „Кризис современного мира“). Уже Тэн в 1875 году писал: „Десять миллионов невежд никогда не смогут вместе составить одного мудреца“. Токвилль говорил, что „максима, признающая за большинством народа право решать все вопросы управления государством, представляется ему кощунственной и отвратительной“. Шарль Моррас, со своей стороны, упрекал демократию в том, что „она потребляет то, что произвели другие эпохи и другие политические системы“.

В целом критика демократических воззрений справа, со стороны традиционалистов, сторонников аристократии, иерархии, монархии, империи и т. д., основывалась на чисто количественном понимании общества, которое, по их мнению, состоит из автономных, атомарных индивидуумов, не способных в своем подавляющем большинстве на компетентное и обоснованное решение ни в одном из серьезных судьбоносных вопросов государства. Надо признать, что сами демократические доктрины давали множество оснований для подобной критики, так как и в них чаще всего общество, „социум“, понимается именно как такая количественная, атомарная реальность. Демократы и их противники справа сходились в одном — в рассмотрении конкретных членов общества как механических единиц, как „существ, способных испытывать лишь наслаждение или страдание“ (по выражению Поля Вена), как „популяцию социальных микробов, наделенных примарными инстинктами“, как дискретных и дробных „нарциссических субъектов“. Если критики демократии с отвращением и презрением отвергали саму идею принятия решений такими человеко-атомами в важных государственных вопросах, настаивая на необходимости правления элиты, состоящей из исключительных, кастово дифференцированных людей, из компетентного аристократического меньшинства, выделенного из массы и не связанного с ней, то сами демократы, напротив, наслаждались таким положением дел, утверждая, что принцип „аристократизма“ и „элитарности“ является насилием над массой, стремящейся быть только тем, что она есть, и не желающей никаких благодеяний от чуждой ей „касты господ“.

Таким образом, и критики демократии и ее сторонники основывались, в сущности, на изначальном допущении относительно чисто количественного характера общества, на убежденности в механистичности поведения конкретных автономных индивидуумов, в полном тождестве народа и массы. Если внимательно проанализировать человеческую историю, мы увидим, что историческая реальность демократических и антидемократических режимов и социальных тенденций, с одной стороны,

подтверждает эту дуалистическую теорию политических возможностей, но, с другой стороны, живая реальность всегда оказывается значительно шире и сложнее ее. Мы видим во многих случаях, как демократия, победив, порождает элитарную, квази-аристократическую систему правления, или, наоборот, аристократический, монархический режим становится выразителем самых посредственных представителей социальной массы или идет на поводу у самых низших и количественных слоев общества. Но самое главное доказательство недостаточности традиционных концепций критики демократии (или ее апологетики) состоит в том, что на деле ни один народ не представляет собой той „идеальной" количественной модели, на базе которой обе идеологические стороны строят свои доводы и доказательства. Конечно, тенденции к появлению „чисто количественных индивидуумов" в современных обществах, безусловно, есть, но они во многом своим существованием обязаны именно искусственным демократическим принципам социальной организации, навязанным „сверху", по воле демократического меньшинства, априорно убежденного в правоте своего понимания социальной реальности, а на деле моделирующего и создающего эту реальность в соответствии со своими абстрактными теориями. То общество, тот „народ", с которым оперируют демократические концепции, есть не нечто данное, естественное, но нечто искусственно сфабрикованное, спровоцированное, механически образованное и совершенно чуждое естественной истории государств, этносов и наций.

Правые критики демократии, признающие правомочность количественного отношения к обществу как к математическому конгломерату „нарциссических субъектов", „атомарных индивидуумов", невольно помогают демократам в их „социальной инженерии", так как одно согласие правых с формулой „народ - масса" уже облегчает демократам задачу превращения „народа в массу", что на самом деле является отнюдь не простым и не само собой разумеющимся делом.

Все эти соображения заставляют нас пересмотреть привычные клише антидемократической критики, внимательнее проанализировать возможные формы демократии, глубже исследовать понятие „народ", „демос", апелляция к которому составляет неотъемлемую часть всех демократических лозунгов.

2. ТРИ ТИПА ДЕМОКРАТИИ

Ален де Бенуа, главный идеолог французских Новых Правых, чьей основной идеологической задачей как раз и является пересмотр многих клише Старых Правых, высказал очень важное соображение относительно существования трех типов демократии, соответствующих трем членам знаменитой демократической триады „Свобода, Равенство, Братство" („Liberté, Egalité, Fraternité").

Первый тип демократии, наиболее распространенный в современном мире, — это „либеральная демократия", ставящая во главу угла принцип „либерализма" (от французского слова „liberté", „свобода"). Этот тип демократии делает акцент на „человеке", на индивидууме, на „нарциссическом субъекте", абсолютизируя его экономические и животные потребности, требует подчинить всю структуру общества эгоистическим интересам „свободного потребления". От данной демократической версии неотделима концепция „прав человека", ставшая основой мондиалистской демагогии при критике либеральными демократами всех недемократических режимов или иных, нелиберальных, вариантов демократического устройства. Для либеральной демократии характерен принцип: „один человек — один голос".

Второй тип демократии, по мнению Алена де Бенуа, — это „эгалитарная демократия", называемая иногда „демократией популистской" или „народной демократией" (последнее выражение является довольно неадекватным, что будет ясно в дальнейшем). В ней доминирует принцип „равенства" („egalité"). Этот тип демократии более всего проявился в форме тиранических, тоталитарных режимов националистического или социалистического типа. Эта концепция демократии является предельной, экстремальной формой механицистского отношения к обществу, понимаемому как масса атомарных индивидуумов. Именно такие „эгалитарные типы" демократии Ортега-и-Гасет определил как следствие „восстания масс", характерного для политического пейзажа XX века. В эгалитарно-демократическом режиме доминирует тот же атомарный, количественный подход к индивидууму, как и в либерально-демократическом, но при этом преимущество отдается не отдельному дискретному индивидууму, а всей совокупности таких индивидуумов, массе, количественному конгломерату дискретных единиц.

И, наконец, третий тип демократии, самый редкий, но наиболее позитивный, альтернативный по отношению к предыдущим, чисто количественным типам, — это „органическая демократия", основанная на принципе „братства" („fraternité"). Эта форма демократии представляет собой противоположность не только первым двум типам демократии, широко представленным в современной политической ситуации, но и антидемократическим теориям, основывающимся на тех же неорганических, механицистских предпосылках в отношении структуры общества. Смысл „органической демократии" в том, что она в качестве основы социального устройства общества берет народ как особую единую качественную и органическую общность, укорененную в истории, имеющую свою собственную духовную, культурную, национальную и политическую традицию, которая и ложится в основание политического самопроявления народа, служит критерием принятия судьбоносных решений и принципом коллективного волеизъявления. Органическая демократия рассматривает народ не как безжизненный механизм, но как живой организм, не могущий быть расчлененным на атомарные единицы (детали) без того, чтобы наступила смерть.

В заключение своего анализа Ален де Бенуа приводит одну любопытную исто-

рическую деталь. Если в основополагающем лозунге Французской республики наличествовали все три термина демократической триады „Свобода, Равенство, Братство", то уже в Декларации 1789 года, в Конституциях 1791 и 1793 годов, равно как и в Хартии 1830 года, остались только два первых термина, а упоминание о „братстве" было изъято. Таким образом, два реально доминирующих типа демократии — демократия либеральная и демократия эгалитарная — отнюдь не исчерпывают собой всех демократических возможностей. Более того, они оставляют за скобками, быть может, самый интересный, привлекательный, гармоничный вариант демократии, в котором обе части термина „демос" („народ") и „кратос" („власть") несут в себе самое конкретное, естественное и органическое содержание, чего не скажешь о первых двух вариантах, где вместо „народа" и его „власти" мы имеем дело с абстрактными и произвольными, волюнтаристскими концепциями некоей „политической секты", стремящейся любой ценой воплотить в жизнь свои химерические и механицистские социальные утопии.

3. ПРОБЛЕМА „СОУЧАСТИЯ"

Знаменитый немецкий консервативный революционер Артур Мюллер ван ден Брук определил „демократию" (речь шла в его случае, естественно, об „органической демократии") как „соучастие народа в его собственной судьбе". Он также добавлял: „Демократия — это не форма государственного устройства, но факт соучастия народа в жизни государства". Здесь ключевым термином является „соучастие" („Anteilnahme" — по-немецки, „participation" — по-французски). Именно это слово служит мерилом подлинности и действенности демократии, по меньшей мере, в ее этимологическом понимании, довольно далеком, впрочем, от той социально-политической модели, которую принято называть сегодня этим именем.

„Соучастие" резюмирует в себе все отношения члена общества к обществу в целом в условиях органической демократии. Ни голосование, ни плебисцит, ни выборы, ни система представительства, ни референдумы не определяют в такой мере саму сущность демократического режима, как „соучастие". В этом легко убедиться на примере того, как все внешние атрибуты демократии используются двумя „неорганическими" типами демократических систем (либеральной демократией и демократией эгалитарной) при полном отсутствии реального „соучастия" народа в принятии ответственных социальных решений. Действительно, преобладающим чувством людей, вовлеченных в фарс западных избирательных шоу или еще свежих в нашей памяти „советских выборов", всегда являлось ощущение обмана, манипуляции, искусственной срежиссированности театральных действий, результат которых, очевидно, предопределен и зависит от каких-то туманных закулисных структур, управляющих средствами массовой информации и общественным мнением. Неорганическая демократия порождает социальную апатию, игнорирование выборов, полное неверие в то, что кандидаты и партии (чьи программы к тому же тяготеют к униформизации и различаются лишь в нюансах) смогут адекватно выражать волю избирателей и т. д. Но эти эффекты отчуждения народа от политической жизни, аполитичность, свойственная как либеральным, так и тоталитарным режимам, и есть полная противоположность демократии, так как степень реального „соучастия" народа в политике, в управлении, в принятии решений, в определении своей общественной судьбы сводится здесь к минимуму или вообще сходит на нет.

Следует, однако, задаться вопросом: почему народы, поставленные в условия либерально-демократического или тоталитарно-эгалитарного режимов, не восстают против неорганической и искусственной формы, навязанной им „политиками-утопистами"? Почему неорганическая демократия, все же в некоторой степени апеллирующая к народу, не превращается под давлением его естественных, органических интересов в нечто иное, в режим „соучастия", в социальную систему, основанную на центральном принципе „братства"?

На этот вопрос прекрасно ответил знаменитый немецкий юрист Карл Шмитт, заметивший, что „истинная демократия (то есть „органическая демократия". — А. Д.) возможна только в однородном, гомогенном обществе". Это совершенно логично, так как народ, „демос" в органическом понимании, как некая единая качественная общность, как единый живой организм, чтобы адекватно править и изъявлять свою волю, должен быть однородным, а не составным. Нарушение этой однородности немедленно вносит раскол в народную волю, создает помехи для ее проявления. Карл Шмитт утверждал также, что чем более составным и разнородным является общество, тем более оно должно отходить от демократии и стремиться к авторитарной власти — монархической и даже императорской. Это обусловлено тем, что при переходе к обществу, состоящему из нескольких органических единиц, народов, необходимо прибегать к некоей высшей инстанции для определения судьбы всех этих народов, к сакральному авторитету, к геополитическим и религиозным принципам. Шмитт считал, что „соучастие" народа в своей собственной судьбе в случае гомогенного общества проявляется в демократии, в случае более сложного варианта — в монархии, и в предельном случае, когда речь идет об огромном числе наций и этносов, вовлеченных в единую геополитическую, социально-государственную орбиту, „соучастие" выражается в империи и имперостроительстве.

Если внимательно проследить за логикой этих утверждений, мы увидим, что между демократией, понятой органически (в случае однородного, мононационального общества), монархией и империей не существует никакого противоречия, так как во всех этих формах соблюдается самое главное условие — „соучастие" народа или народов в своей политической судьбе. Это, кстати, легко можно проследить на исторических примерах русской государственности, которая на моноплеменном, этническом уровне и на уровне „полисов" (Новгород) тяготела к демократии, к „вече", на уровне более обширном и межплеменном

проявлялась в княжеской, феодальной организации и, наконец, при переходе к межрасовому, сверхнациональному типу превращалась в Империю. При этом нетронутой оставалась непрерывность русской истории, органическое единство русских, качественная уникальность русской судьбы, самотождественность русского народа, восходящего от славянско-племенной до индо-европейской и, далее, евразийской общности. Степень же „соучастия“ русских при переходе от прямого вечевого волеизъявления через делегирование князьям властных полномочий и вплоть до выборов Самодержца Всероссийского, Помазанника на Царствование великим народом, оставалась сущностно одинаковой, независимо от изменения политических форм исторической государственности.

Таким образом, качественное понимание народа как живого организма и акцент, поставленный на „соучастии“ как основополагающем аспекте исторического бытия народа, опрокидывает механицистские схемы как либеральных и эгалитарных демократов, так и антидемократов справа, так как при этом ясно показывается необходимость авторитарного, недемократического правления в неоднородных, сложных, составных обществах (что опровергает позицию фанатиков „демократии любой ценой“) и утверждается позитивность демократических форм в этнически и культурно однородном обществе (что расходится со сторонниками тезиса „аристократия любой ценой“).

Исходя из этих соображений, мы можем теперь и ответить на поставленный ранее вопрос о том, почему не происходит превращения либерально-демократических и тоталитарно-эгалитарных режимов в режимы органической демократии. Дело в том, что в неорганических демократических системах практически всегда мы имеем дело с неоднородными обществами, с обществами, состоящими из многих этнических, расовых и культурных составляющих, что заведомо лишает демократический режим возможности быть действительно демократическим, так как здесь отсутствует самый важный и определяющий элемент демократии — „народ“, место которого занимает „масса“. Эта разнородность неорганических демократических режимов практически всегда имеет в них идеологическое и даже юридическое обоснование, закрепленное в обязательном космополитизме либеральной демократии и в обязательном интернационализме эгалитарно-социалистической демократии. Слово „братство“ выпадает из лозунгов этих социальных систем отнюдь не случайно, так как отсутствие горизонтальной, органической, этно-культурной, исторической, почвенной, кровной братской связи между членами общества в неорганическом демократическом режиме и отличает их коренным образом от подлинной органичной демократии. Поэтому, раскалывая, дробя, уничтожая „народ“ как качественную категорию, либералы и эгалитаристы лишают людей возможности действительного, полноценного и непосредственного „соучастия“ в политической, общественной жизни, оставляя им жалкие суррогаты из бессмысленных избирательных шоу, по окончании которых наступает настоящий и ничем не ограниченный террор хитростью пробравшихся к власти сомнительных элит, невидимой референтуры и своекорыстных, зацикленных на своих внутренних проблемах враждующих партий и фракций.

Неорганическая демократия, заведомо ориентируясь на неоднородные, гетерогенные, смешанные и сложные общества, фактически сознательно идет против подлинного соучастия народа в политической жизни. И в отношении такой демократии действительно вполне применимы слова убежденного антидемократа Рене Генона, утверждавшего, что „так называемый „режим большинства“ — это лишь маска для определенного меньшинства, находящегося за кулисами политических процессов, маска, позволяющая ему оставаться в тени и реализовывать свои собственные зловещие и подчас оккультные планы, ничего общего с волей большинства не имеющие“ („Кризис современного мира“).

„Соучастие“ как основополагающий критерий социальной и политической справедливости позволяет определить точку соприкосновения между сторонниками органической демократии и традиционными правыми, стоящими за аристократический режим. Все противоречия здесь сводятся к тому, идет ли речь об однородном или неоднородном обществе. В первом случае степень „соучастия“ будет максимальной при демократическом строе, во втором — при авторитарном порядке с подчеркнутой традиционной, национальной и религиозной спецификой, соответствующей культурной и геополитической истории конкретных народов и этносов.

4. ЧЕЛОВЕК ИЛИ ГРАЖДАНИН?

Органическая демократия исходит из принципа, что простая количественная масса индивидуумов — это еще не народ. Есть и еще один аналогичный принцип этой демократии: человек — это еще не гражданин. Понятие „гражданина“ даже этимологически („гражданин“ — от слова „град“, „город“) имеет отношение к „полису“, где, собственно, впервые и проявилась ярче всего органическая демократия. Гражданин, как полноправный участник демократического „соучастия“, понимался традиционно не как простой „количественный“ индивидуум, находящийся на данной культурной и этнической территории, но как квалифицированный и органический представитель данного конкретного общества, связанный с ним историческими, кровными, религиозными и политическими узами. Деление на „граждан“ и „недограждан“ — это первое необходимое условие качественного отбора для персонального „воплощения волеизъявления всего общества“, отбора, который повторяется на более высоком уровне при определении наиболее достойных граждан для принятия ответственных решений. Органичная демократия, таким образом, оценивала членов общества по качественному признаку и вытесняла на периферию тех, кто имел к органическому единству народа, полиса или нации второстепенное, случайное или далекое отношение. Вопрос гражданства — это вопрос принадлежности к тому „демосу“,

который при органической демократии уполномочен править, полнокровно „соучаствовать" в своей собственной судьбе. Конечно, „недограждане" тоже определенным образом участвовали в общественной жизни, но косвенно, опосредованно, эпизодически. Важно заметить, что такая демократическая дискриминация совершенно необходима для выполнения условия однородности, которая в реальности всегда находится под угрозой вмешательства этнических, религиозных, экономических и культурных меньшинств (рабов, бродяг, сектантов, мигрантов и т. д.), способных расколоть органическое единство народа в случае предоставления им равных прав в управлении. Греческая, германская и славянская демократия полисов, тингов и вече всегда соблюдала это важнейшее деление на граждан и недограждан, так как без него органическая демократия тут же превратилась бы либо в анархию, либо в тиранию.

Важно заметить, что понятие „граждан", номинально сохранившееся в демократиях неорганического типа — либеральных и эгалитарных, — на самом деле полностью утратило свое значение, почетное и ограничительное одновременно. Либеральные доктрины фактически уравняли понятие „гражданин" с понятием „человек", „человеческий индивидуум", сделав из вопроса о гражданстве простую формальность, связанную с незначительными юридическими и экономическими аспектами. Эгалитарная демократия, в свою очередь, заменила понятие „гражданин" как центральный персонаж политической реальности на понятие „массы", „множества", „населения", где всякая ответственность и качественная выделенность растворялись в чисто количественном, механическом и подчас чисто декоративном действе.

Гражданин — это член „братства" сознательных и ответственных за историческую судьбу данного конкретного общества людей, которые с необходимостью должны быть укоренены в истории этого общества, связаны с ним прочными религиозными, этническими, кровными или культурными узами. Поэтому в демократиях неорганического типа ему просто нет места.

Если либеральная демократия настаивает на „правах человека", то органическая демократия должна настаивать на „правах гражданина", и именно эти права должны быть положены в основу юридического законодательства, регулирующего жизнь в обществе органической демократии.

5. „КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ" КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Когда антидемократы говорят о некомпетентности массы, о принципиальной неспособности посредственностей, „людей толпы", принять хоть сколько-нибудь разумное решение, сделать хоть сколько-нибудь осмысленный выбор, они упускают из вида одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что демократические, выборные методы решения важных государственных проблем существовали и в традиционном, иерархическом мире — в феодальных и даже подчас рабовладельческих обществах. Избрание православного Царя на земском соборе, выборы эмира в странах суннитского ислама и т. д. опровергают упрощенную логику яростных противников демократии. Франческо Нитти однажды весьма справедливо заметил: „Широкая публика всегда является выражением посредственности, она живет в посредственности, но она при этом посредственность не любит" (Francesco Nitti. „La democratie"). Ален де Бенуа развивает эту тему в следующих словах: „Народ не хочет, чтобы им правили „самые обыкновенные" люди, подобные всем остальным. Он желает уважать своих правителей и восхищаться ими. Вопреки широко распространенному мнению, обычный избиратель отнюдь не стремится к тому, чтобы его избранник был как можно более похож на него. Обычный человек любит величие, и он способен его распознать. Он любит храбрость, даже если сам он труслив. Он не способен сам проводить какую-то определенную политику, но при этом он легко может разобраться, подходит ли ему данная политика или нет. Подобно тому, как человек для того, чтобы оценить прекрасно написанную книгу, совсем не должен быть писателем, избиратель, для того чтобы оценить избранного им политика, отнюдь не должен быть политиком сам".

В данном отношении показательными являются также слова Аристотеля, которого трудно, однако, зачислить в защитники демократии: „Масса, состоящая из индивидуумов, каждый из которых сам по себе не представляет никакой ценности, объединившись, может оказаться выше и благородней, нежели все составляющие ее индивидуумы, но не на индивидуальном, а на коллективном уровне" („Политика", 111). Итак, в процессе демократического выбора в действие вступает некоторый дополнительный фактор, не учтенный в механической и атомарной модели, на которой основываются часто как защитники, так и противники демократии. Что это за фактор?

Обычно сторонники национальной демократии, народники, демократические националисты и т. д. объясняют это явление наличием особого „национального или народного сознания". Даже ярый монархист Моррас говорил: „Воля, решение, действие исходят от меньшинства; согласие, приятие — от большинства". В этом же смысле следует понимать и концепцию „народной монархии", популяризированную в России в последнее время благодаря книге Солоневича. „Национальное сознание" — это та качественная категория, которая вступает в дело в тот момент, когда дело доходит до реального „соучастия" народа в решении своей собственной судьбы, в переломный момент истории, в момент ответа на напряженный вызов, брошенный нации временем и пространством.

Но в этом вопросе все противоречия между сторонниками и противниками „национальной демократии" сводятся к употреблению термина „сознание", которое порождает в этом вопросе различные двусмысленности. „Сознание" является интеллектуальной характеристикой, довольно однозначно описывающей состояние индивидуума. „Сознание" (того или иного факта,

той или иной реальности и т. д.) либо есть, либо его нет. На этом и строят свои концепции сторонники чисто аристократического правления, справедливо указывающие, что если полноценного „сознания“ нет и у одного индивидуума, и у другого, то откуда ему взяться у обоих вместе? Но если использовать вместо термина „национальное сознание“ термин „коллективное бессознательное“, то все вещи встанут на свои места. „Коллективное бессознательное“ — это некая общественная душа народа, в которой отпечатывается сакральная, историческая память и которая хранит в себе с древности психические архетипы Традиции в виде загадочных символов, смутных образов и характерных грез. „Коллективное бессознательное“ совершенно не обязательно рассматривать в узкой перспективе „психологии глубин“ Юнга. Такие традиционалисты, как Рене Генон, Юлиус Эвола и особенно Мирча Элиаде, объяснили это явление намного более полным и адекватным образом, показав, что „коллективное бессознательное“ — это „психический осадок Единой Традиции, с ее символическими доктринами и ритуальными знаками, вверенный во время Оно наиболее низким слоям народа как раз для того, чтобы они, не понимая всего значения сакрального содержания, смогли сохранить и передать потомкам всю полноту священной информации, ничего в ней не меняя именно за счет ее полной непонятности“. В некотором смысле „коллективное бессознательное“ народа стоит очень близко к „фольклору“, и именно через фольклор, предания, легенды, эпос и сказания „коллективное бессознательное“ выражается во внешнем культурном измерении.

Народ — носитель „коллективного бессознательного“, и именно заложенные в этом „бессознательном“ архетипы выступают тогда, когда народ вынужден коллективно, совместно, демократически решать свою историческую судьбу. Именно этот уровень психической жизни народа заставляет его выбирать сильного, славного и мужественного правителя, подобного архетипу сакрального Монарха, солнечного Императора, божественного Героя. Именно „коллективное бессознательное“ подтверждает в выборе здорового и полноценного народа необходимость иерархии, социальной пирамиды, по аналогии со священной лестницей ангельских миров. Именно на этом уровне сакральная память о „мужестве храбрых предков“ побеждает слабость и нерешительность трусливых потомков. При этом важно подчеркнуть, что „коллективное бессознательное“ не имеет никакого отношения к индивидуальности, не затрагивает собственно „сознательной“ стороны человеческой личности и в случае отдаления человека от своей традиционной общности, от своих кровных, этнических, религиозных и культурных корней может „выветриваться“ и „теряться“, так как сопряжено именно с „коллективом“, и в обычном случае индивидуум не может распоряжаться им как своей собственностью, как своим личным качеством.

Органическая демократия полностью основывается на приоритете „коллективного бессознательного“ над индивидуальными мнениями, и именно факт существования этой инстанции позволяет найти глубинную гармонию между демократами и аристократами, так как „коллективное бессознательное“ не является простым набором памятных событий и переживаний, запечатлевшихся в коллективной психике, но структурированным, сакральным комплексом, имеющим свой центр и свою периферию, свои темные и свои светлые стороны, свою гармонию и свой хаос. Иными словами, „коллективное бессознательное“ — это целый упорядоченный сакральный космос, и в самом чистом виде прототип „коллективного бессознательного“ совпадает с Традицией, со Священным Изначальным Знанием, а значит, в пределе и с соответствующими поправками действительно можно говорить о „национальном сознании“. Но чаще всего это „национальное сознание“ растворено в коллективной психике народа и выступает лишь фрагментарно и частично, что заставляет нас все же воздерживаться от частого употребления этого термина.

Выше мы показали, что органическая демократия возможна лишь в однородном обществе. Обращение к фактору „коллективного бессознательного“ дает еще одно объяснение, почему это обстоит именно так. „Коллективное бессознательное“ сохраняется только при условиях непрерывности и постоянства этно-культурной среды или, по меньшей мере, при гармоничном и постепенном развитии и расширении этой среды без потери связей. „Коллективное бессознательное“ может изменяться при перемене народами внешней религии, идеологии, культуры и т. д., но оно всегда находит и в новых условиях аналоги своему изначальному содержанию, перетолковывая внешние, новые образы и знаки в соответствии со своими древними архетипами. Но как только однородность общества нарушается, как только начинается интенсивное культурное, религиозное, этническое, расовое и „кастовое“ смешение, „коллективное бессознательное“ начинает деформироваться гораздо больше, нежели даже при самой резкой и радикальной смене внешней идеологии. Народ может остаться самим собой, поменяв веру на противоположную, но он может быстро деградировать и исчезнуть, даже не меняя своей идеологии, если его начать интенсивно смешивать с другими народами. Разнородность населения, его гетерогенность означает дробление, истончение и в конечном счете почти исчезновение „коллективного бессознательного“. И только в таком смешанном обществе посредственность действительно выбирает посредственность, а не героя, а трус хочет видеть своим правителем труса. Очевидно, что органическая демократия, теряющая свой основной ориентир — „коллективное бессознательное“ нации, просто не может существовать в таких условиях. И любопытно заметить, что либеральная и эгалитарная формы демократии, напротив, тяготеют именно к разнородным обществам, подчас создавая эту разнородность искусственно (концепция „melting pot“* т. д.). Это отнюдь не случайно, так как эти неорганические формы демократии в принципе не способны существовать при наличии у народа здорового и сильного „коллективного бессознательного“, которое

*„Плавильный тигель“ (*англ.*).

просто не может не сбросить в довольно быстрые сроки искусственную конструкцию „социальных механиков“ и политических утопистов, используя именно демократические принципы. Иными словами, при наличии однородного народа с полноценным „коллективным бессознательным“ никакой другой демократии, кроме органической, просто невозможно. Парадоксальным образом либералы и эгалитаристы прекрасно осознают это, и поэтому либо заведомо обращаются со своими демократическими моделями к разнородным этно-культурным конгломератам (это предпочтительно для либеральной демократии), либо вводят прямую диктатуру (это предпочтительно для эгалитарной демократии коммунистического типа).

6. „ДЕМОС“ ЗАПАДА И „ДЕМОС“ ВОСТОКА

Проблема демократии имеет и геополитическое измерение. По странной, но неумолимой логике Истории, народы, населяющие различные регионы планеты, не только постепенно сгруппировались в государственные, расовые, континентальные блоки, но и расположились в строгом порядке по своим „психологическим качествам“. Эту закономерность этно-географической психологии народов подмечали уже древние греки, распределявшие народы и территории их обитания по „климатическим поясам“ с соответствующими психологическими отличиями. В наше время этим вопросом особенно пристально занимались представители геополитической школы — Челлен, Макиндер, Хаусхоффер и т. д. Эти авторы показали, что на Евразийском континенте и в непосредственно прилегающих к нему ареалах общая этно-психология народов варьируется с довольно четкой последовательностью по линии Запад — Восток. Ту же самую особенность, но уже с другой, чисто традиционалистской точки зрения, отмечал и Рене Генон. Запад и соответственно „народы Запада“, „демос“ Запада, тяготеют к индивидуалистической, рационалистической психологии, к дробности, дискретности и атомарности. Эта тенденция получила свое предельное выражение в той цивилизации, которая построена на современном, индустриальном Западе. Восток, напротив, отличается созерцательной отвлеченностью от индивидуума, метафизичностью, коллективизмом, общинностью, „антропологическим пессимизмом“ и т. д. Иногда эта разница определяется как противоречие между западным „активизмом“ и восточным „фатализмом“.

Эта закономерность отражается и на этно-культурной однородности народов, которая максимальна на Востоке и минимальна на Западе. Пределом общества смешения являются США, крайний Запад, а пределом этнической устойчивости — Дальний Восток, Китай и Япония. Логично предположить, что такое распределение отражается и на „коллективном бессознательном“ народов — „коллективное бессознательное“ у людей Востока устойчиво и сильно развито, а у людей Запада бледно, фрагментарно и хаотично. Исследования Юнга и других исследователей „психологии глубин“ блестяще подтверждают эту гипотезу!

Если вернуться теперь к нашей главной теме, то станет очевидным, что перспектива органической демократии гораздо более открыта для людей Востока, нежели для людей Запада, по меньшей мере, в рамках тех государственных и территориальных образований, где пребывают эти народы в настоящее время. Режимы Востока по определению должны быть более „народными“ по своему качеству, а если это не так, то в этом чаще всего повинна искусственно навязываемая сверху политическая форма диктатуры, которой вполне может служить (и часто служит) эгалитарная демократия марксистского толка. Запад же, напротив, естественным образом тяготеет к либеральной форме демократии (либо к прямой индивидуальной деспотии). Именно поэтому сторонники органической демократии на Западе настаивают на этнической дифференциации Запада, на идее „Европы Ста Флагов“, в качестве необходимого шага на пути к созданию однородных обществ, так как современные государства-нации Запада ничего общего с этническими границами не имеют.

Учитывая все это, можно сказать, что демократия Запада и демократия Востока — это две совершенно различные вещи, поскольку различны сами народы („демосы“) этих регионов, различно их „коллективное бессознательное“. Западу для того, чтобы реализовать на практике подлинное „соучастие народа в решении его судьбы“, необходимо прежде вернуться к малым этно-культурным формам, покончить с традициями национального и религиозного смешения, ликвидировать антитрадиционные и антинациональные последствия melting pot, устроенного либеральными утопистами. Только такой путь поможет восстановить „коллективное бессознательное“ этносов Запада и приведет к установлениям там истинной демократии. Сознавая все это, европейские сторонники органической демократии уже давно и жестко критикуют европейские государства-нации, не способные дать естественной базы для демократии и поэтому под вывеской „демократии либеральной“ практикующие завуалированную экономическую диктатуру, обслуживающие интересы узкой плутократической верхушки.

Восток же, напротив, предрасположен для „соучастия“ народов в демократическом самоуправлении на Больших Пространствах, так как в этом регионе непрерывность традиции и устойчивость „коллективного бессознательного“ простирается на громадные пространственно-временные промежутки. Восток „готов“ к органической демократии, и главным препятствием для ее становления являются не столько либеральные доктрины, сколько эгалитарная демократия коммунистического образца, в которой многие восточные народы по ошибке увидели режим, в отдельных аспектах напоминающий подлинную органическую, народную демократию (хотя бы уже потому, что эгалитаризм в первую очередь взывает к множеству, а не к индивидуальности, как либерализм). Что же касается мондиалистского плана по установлению либеральной демократии на всей планете, то эта „худшая из утопий“ имеет шансы реализоваться лишь

на кратчайший промежуток времени, чтобы затем с треском провалиться в небытие, поскольку либеральная демократия, воспевающая „Царство Количества“, не только прямо противоречит всем психологическим особенностям восточных этносов, но вообще несовместима с наличием „коллективного бессознательного“ (сколь хрупким и тонким оно ни было бы), а значит, даже на Западе этот режим рано или поздно обречен на падение под ударами „воли к соучастию в своей собственной судьбе народов Запада“. Либерализм возможно окончательно установить только в обществе машин, роботов или механических кукол, „големов“. И даже самое смешанное и разнородное общество никогда не сможет дойти до состояния чисто количественной массы сладострастных и трусливых молекул, каким стремится видеть его зловещая мысль либералов.

Органическая демократия возможна и желательна как на Востоке, так и на Западе. Но вся разница в том, что на Востоке для этого есть все предпосылки, а на Западе, напротив, эти предпосылки надо сперва создать (или воссоздать). Что же касается либеральной демократии, к которой по геополитическим мотивам тяготеет современный Запад, то эта тенденция может окончиться только катастрофой для всех западных наций, так как это прямой путь к диктатуре материальных, плутократических олигархий, которая все более дает о себе знать через мондиалистские планы создания Мирового Правительства, через монополию транснациональных корпораций и т. д. Попытки же экспортировать эту убогую либеральную модель в страны Востока просто не могут не закончиться социально-политическим взрывом, так как эта тенденция будет расцениваться Востоком как „геноцид, осуществляемый на уровне его коллективного бессознательного“, а значит, на жестокую борьбу с либерализмом будут мобилизованы все глубинные силы древнейших и могущественнейших евразийских этносов. У Востока своя демократия, и, будучи демократией органической, основанной на древнем, кровном и почвенном братстве, она не потерпит вторжения либерализма в свои просторы и даст ему решительный бой. Это будет тем естественнее, чем более очевидны антинародные индивидуалистические принципы либерализма. На сей раз Восток не ошибется, как в случае с коммунистическими формами эгалитарной демократии, так как в либерализме нет ровным счетом ничего, что можно было бы принять за выражение истинного народовластия, истинной органической демократии, соответствующей древним архетипам „коллективного бессознательного“.

7. ОРГАНИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

Для России, как страны Традиции, как страны Востока, характерно особое трепетное отношение к миссии народа, к его сакральной судьбе. Русские переживают свою историю как Священную Мистерию, где каждый поступок, каждый шаг, каждая победа и каждая трагедия суть знаки исторического Откровения, так как все это происходит не с кем попало, а с великим народом-богоносцем. Русский народ „соучаствовал“ в решении своей судьбы изначально, задолго до появления славянофильских и, позже, народнических концепций о необходимости народовластия. Более того, русские традиционалисты и националисты заговорили о необходимости народной, национальной власти именно тогда, когда полнота и очевидность народного „соучастия“ была замутнена и частично утрачена. Подавляющее большинство русских революционеров народнической ориентации были (сознательно или нет) выразителями Консервативной Революции, то есть борцами не за западное нововведение, но за возврат к народным, национальным корням.

Органическая демократия воодушевляла большинство русских идеологических течений — от русских монархистов до русских социалистов и коммунистов, так как все они, будучи русскими, являлись выразителями „коллективного бессознательного“, столь сильного, устойчивого и полноценного в нашем великом народе. Революционный подъем был вызван не столько нигилистическим порывом, сколько народной, национальной реакцией на чисто западные, светские, либеральные элементы, которое царское правительство, довольно сильно отчужденное от народа, вводило по аналогии с западными странами. После великого, гениального монарха-евразийца Александра I путь русского общества стал резко отдаляться от истинной народности, что проявилось прежде всего в развитии и распространении капиталистического, либерального уклада в русской экономической жизни. Именно против этого выступали все русские националисты — от крайне правых до крайне левых, и все они по-разному выражали единую народную волю — волю к органической демократии, волю к участию народа в Истории, волю к Традиции, к верности своему духовному ориентиру, своему русскому Богу, несовместимому с либеральной „Маммоной Несправедливости“.

Русская мысль в XIX веке, даже при ориентации на Запад, тяготела не столько к Свободе и Равенству, сколько к Братству — к тому термину, о котором очень быстро позабыли французы. И лишь страшная череда фатальных обстоятельств привела к тому, что, вместо Консервативной Революции, к которой неумолимо приближалось русское общество как справа, так и слева, вместо Органической Демократии и Братства, мы получили эгалитарный коммунистический режим как антилиберальную крайность, как исторический компромисс, как неорганический вариант „псевдонародной демократии“, как „прелесть“, как „соблазн“, как трагический эксцесс вполне понятной и вполне обоснованной ненависти к капитализму и либерализму.

Россия долго и страшно изживала свой „левый уклон“. Уже практически с 1917 года вместе с абстрактными догмами механических эгалитаристов, социальных инженеров и жестоких патологоанатомов соседствовали органические, национальные, сакральные мотивы истинной, но несвершившейся тогда Русской революции, Консервативной революции, Органической революции, призванной создать (=воссоздать) истинно народный, национальный, „восточный“, тради-

ционный, Русский Строй. Русское „коллективное бессознательное" проступило сквозь безжизненный холод марксизма, переварив или отбросив то, что шло вразрез с „русской судьбой". Но попытка до конца превратить „общество равенства" в „общество братства" не удалась. Слишком сильной оказалась мертвая хватка антинародной, антинациональной утопии. Слишком противоречившими русской воле были механические постулаты доктрины, родившейся в далеко не русских мозгах и не имеющей ничего общего с нашим „коллективным бессознательным". И все же, как писал Ален де Бенуа, «это было хорошее слово „товарищ"». Все же многое в русском социализме было действительно русским. Все же иногда казалось, что народ действительно „соучаствует", действительно решает, действительно живет в громаде строек, в кровавой стихии жестоких, но Отечественных войн, в единой народной гордости от сознания того, что даже в этом омерзительном XX веке мы, русские, смогли увернуться от подлых сетей мировой плутократии и предпочли благородную бедность подозрительному достатку и физическое страдание психическому террору либерализма. В русском социализме было нечто от Органической Демократии. Слишком велик наш народ для того, чтобы полностью отождествиться с провокационной антинациональной лжедоктриной. Слишком он духовен и органичен. Слишком он русский для этого.

Органическая демократия — это естественный русский строй. Приведет ли эта демократия к русскому авторитарному правлению (то есть реализуется ли „коллективно-бессознательный" архетип Царя-Освободителя, Солнечного Героя, Венценосного Спасителя)? Породит ли систему народного представительства (то есть проявит ли себя стремление к братскому совету и национальному вече)? Это должен решать наш народ.

Пока же очевидно одно, что очередная попытка навязать России либеральную утопию полностью провалилась. Она и не могла не провалиться. Для России есть только два выбора — либо органическая демократия, к которой сегодняшняя, консервативно-революционная, пробудившаяся Россия готова как никогда, либо кратковременная и жесткая антинациональная диктатура, которая все равно неизбежно закончится победой демократии, русской демократии, органической демократии, которая уже по самой логике нашей священной национальной истории не может не наступить рано или поздно.

Русское общество однородно. Оно полноценно. Его „коллективное бессознательное", пробуждаясь, приближается к расцвету „народного сознания", к полноте национального прозрения, к Русской Правде, к созерцанию Величественного и Могущественного Русского Бога. Значит, политическая судьба нашего народа в его руках. Любой выбор теперь будет истинным. Оправданным, бесспорным. Ведь нет ничего выше Воли Народа, даже если эта Воля выбирает страдание и муки, она выбирает правильно. И нет ничего прекраснее исполнения Воли народа, даже если эта Воля обрекает нас на тяжелые труды и опасные подвиги.

Воля любого народа священна. Но воля Русского народа священна во сто крат.

Только этому Народу должна принадлежать Власть. Таков главный императив Русской Органической Демократии.



В. ВЛАСКИН, В. ПАШКОВ, С. ПАНКИН

ЭКОНОМИКА БЕЗУМИЯ И СТРАТЕГИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

На фоне нынешнего развала мало кто будет спорить с тем, что главная задача — добиться принципиального изменения правительственного курса. До сих пор она не решена, несмотря на настойчивые усилия оппозиции. Выдвинув на VI съезде депутатов требования отставки правительства, лишения президента дополнительных полномочий, оппозиция сумела добиться фактически лишь расплывчатых обещаний внести некоторые, весьма неопределенные коррективы в правительственную программу реформ. По сути дела, нынешнее российское правительство получило возможность проводить и дальше, без существенных корректировок, свою программу. И это несмотря на то, что крах правительственной программы — теперь уже очевидный факт. Рост цен в феврале и марте составил, по оценкам экспертов, 38 — 40 процентов, в то же время в марте по сравнению с февралем увеличился в 1,7 раза прирост неотоваренных денег на руках у населения. Объем наличной эмиссии, составивший в марте 37,4 млрд. рублей, превысил более чем на треть ее февральские масштабы. И если в среднем за 1991 год прирост выплат населению за счет печатного станка обеспечивался на 20 процентов, то в феврале 1992 года — уже на 50 процентов, а в марте — почти на 75 процентов. Несмотря на резкое увеличение выпуска новых денег, задержки с выплатой заработной платы и пенсий населению держались в течение первого квартала на уровне 20 млрд. рублей и составили в марте порядка 15 процентов от общей суммы начисленных доходов. При этом задержки с выплатой сроком более 20 дней, весьма уже ощутимые для населения, составили более половины от общей суммы задолженности. Индекс инфляции в наличном обороте в целом за первый квартал превысил 1 350 процентов, что более чем в два раза превосходит суммарное обесценивание рубля за весь прошлый год. Темпы инфляции за первый квартал 1992 года как минимум в два раза перекрыли темпы, предполагавшиеся правительством накануне реформы и заявленные в правительственном меморандуме для Международного валютного фонда. Абсолютные размеры бюджетного дефицита в восемь раз превысили правительственные прогнозы, а его доля в бюджетных расходах первого квартала составила 30 процентов вместо 3 процентов, как предполагалось правительством. То есть дефицит бюджета не только не уменьшился, тем более весьма существенно, как рассчитывало правительство, а наоборот: его доля в бюджетных расходах первого квартала возросла по сравнению с уровнем прошлого года на три процентных пункта.

Таким образом, в результате „либерализации цен“ и всех прочих крайне болезненных для экономики и населения страны мер „шоковой терапии“ основная цель первого этапа правительственной программы реформ — кардинальное сокращение бюджетного дефицита и оздоровление финансовой системы — не только не была достигнута, но более того, ситуация в сфере государственных финансов в целом резко ухудшилась.

Необходимость перехода от административно-командной к современной рыночной экономике не вызывает сомнений, однако вариант рыночной реформы, который выбрало нынешнее российское руководство, судя по результатам „реформирования“, явно несостоятелен. Как свидетельствует исторический опыт, в рамках рыночной экономики могут иметь место десятки, если не сотни существенно различающихся между собой моделей рынка. Соответственно в рамках общей рыночной реформы может быть конкретизировано множество существенно отличных друг от друга реформ.

Никакой абстрактной „общечеловеческой“ модели рыночной экономики в реальной действительности не существует, точно так же, как и не существует „общечеловеческих“ путей перехода к рынку.

В правительственном варианте реформы

ВЛАСКИН Владимир Иванович — директор Республиканского проектно-технологического и конструкторского института (г. Саратов);
ПАНКИН Сергей Фёдорович — политический обозреватель газеты „НЭП“ (г. Саратов);
ПАШКОВ Владимир Петрович — старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем АПК РАН, руководитель группы исследования проблем собственности (г. Саратов).

рынок выступает в качестве чужеродного образования, некоего подобия жесткого, сделанного по чужой мерке корсета, втиснуть в который страну можно лишь путем чудовищного насилия над ее экономическим организмом. В результате подобной операции можно получить не современную эффективную рыночную экономику, а жалкого рыночного уродца „колумбийского“ или вовсе „туземного“ типа. В условиях такого „рынка“ процветать будут лишь представители растущих, как грибы после дождя, мафиозных кланов, основная же масса населения будет влачить абсолютно бесперспективное, полунищенское существование, а страна в целом превратится в сырьевой придаток развитых государств. То, что „гайдаровский“ вариант реформы ведет к формированию рыночной экономики именно данного типа, наглядно демонстрирует уже сам характер правительственного „реформирования“:

1) программа приватизации, ориентированная на формирование отнюдь не „среднего класса“, являющегося во всех развитых странах социальной базой демократии, а на формирование с одной стороны — класса крупных собственников мафиозного типа (кто же, кроме этой категории населения, сможет после правительственной „либерализации цен“, ввергнувшей в нищету чуть ли не всю страну, принять активное участие в „приватизационных“ аукционах и прочих, аналогичных по своей сути „приватизационных“ мероприятиях), с другой стороны — огромной массы деклассированных люмпенов и пауперов, полностью лишенных не только средств производства, но и вообще возможности заработать себе на кусок хлеба;

б) запредельные налоги, рубящие прямо под корень отечественное предпринимательство, в то же время — льготные условия для иностранных бизнесменов;

в) опора прежде всего на торгово-ссудный, а не на производительный капитал, объективно ведущая к формированию экономики финансового капитала, экономики рантье и спекулянта, и т. д. и т. п.

Является ли подобное „реформирование“ следствием злого умысла, или правительство страны, состоящее в основном из кабинетных экономистов-теоретиков, оказалось в плену очередных „единственно правильных“, „строго научных“ абстрактных теорий, — принципиального значения сейчас не имеет. Главное в настоящее время — добиться, и как можно скорее, чтобы „гайдаровская“ реформа, полностью противоположная национальным интересам страны, была заменена реформой, дающей возможность превратить Россию не в сырьевой придаток западной экономики, а в независимое, самостоятельное, процветающее государство современного мира.

На VI съезде народных депутатов России один из главных аргументов защитников правительственной программы сводился к тому, что, дескать, если съезд не поддержит эту программу, то страна не получит кредитов на Западе, без которых реформа якобы вообще невозможна. Однако сумма кредитов, обещанных Международным валютным фондом, составляет лишь 24 миллиарда долларов, из них только 14 миллиардов предназначены для России, 6 миллиардов выделяются для стабилизации рубля. Впрочем, если даже все эти деньги передать в распоряжение России, нам это мало поможет. ФРГ только в прошлом году вложила в экономику бывшей ГДР 86 миллиардов долларов и в этом году вложит ещё 110 миллиардов, а между тем оздоровления экономики этой страны когда-то благополучного „реального социализма“ пока не наблюдается. А ведь население бывшей ГДР составляет лишь 15 миллионов человек, то есть в десять раз меньше населения России. Так что 24 миллиарда долларов (а фактически лишь 14 миллиардов) на поддержку экономической реформы в нашей стране — сумма просто смехотворная. Прошли те времена, когда в рамках "плана Маршалла“ на оздоровление после войны всей западноевропейской экономики требовалось всего лишь 50 миллиардов долларов. Нынешняя ситуация — совершенно иная.

В проведении радикальной экономической реформы Россия может рассчитывать только на свои собственные силы, западные „благодетели“, как мы видим, готовы нам помочь, по сути дела, лишь чисто символически. Да и этого мы бы не дождались, если бы не панический страх „благодетелей“ перед возможными катастрофическими последствиями обвального крушения ядерной сверхдержавы.

На VI съезде народных депутатов России, когда под давлением вопиющих фактов отрицать несостоятельность „гайдаровской“ программы стало уже невозможно, проправительственное лобби, борясь за сохранение стратегии реформирования, активно использовало практику политического лавирования. Дескать, при верном в принципе подходе к реформированию экономики правительство допустило ряд несущественных ошибок, которые оно исправит, учтя критические замечания, и реформа пойдет успешно.

„Гайдаровскую“ реформу никакие коррективы спасти не могут: реформа терпит крах не потому, что правительство совершило какие-то частные ошибки в процессе реформирования, а в силу принципиальной несостоятельности самой концепции реформы.

Концепция „гайдаровской“ реформы основана на монетаристском подходе и взята из стабилизационных экономических программ, осуществлявшихся под контролем Международного валютного фонда в развивающихся странах. Суть стабилизационных программ МВФ сводится к следующему:

1) либерализация цен и отмена государственных субсидий;

2) сбалансирование бюджета и сокращение государственного аппарата;

3) остановка печатного станка;

4) девальвация национальной валюты и свободное колебание её курса;

5) приватизация госпредприятий.

Однако применение стабилизационных программ МВФ дало весьма спорные положительные результаты, да и то лишь в тех странах, где экономика уже была рыночной или, по крайней мере, „полурыночной“.

В той же Польше, где ситуация, по мнению западных экспертов, наиболее близка к ситуации, сложившейся в России, применение стабилизационной программы МВФ желаемого результата не дало. Падение объе-

мов производства сдержать не удалось, они продолжают падать. За два последних года объемы производства упали на 35 процентов.

Во всех других странах с директивным регулированием экономики применение стабилизационных программ МВФ также желаемого результата не дало. По мнению Джона Каванала, известного специалиста по развивающимся странам из института политических исследований в Вашингтоне, неэффективность стабилизационных программ МВФ обусловлена прежде всего тем, что эти программы плохо учитывают специфические условия развития экономики в различных странах. Международный валютный фонд во многом напоминает средневекового лекаря, который ставит пиявки и делает кровопускание независимо от недуга, поразившего больного. В настоящее время среди специалистов утвердилось мнение, что эффективное применение стабилизационных программ МВФ в условиях директивно регулируемой экономики возможно только после создания необходимых предпосылок.

К таким предпосылкам относят наличие прежде всего:

1. Коренных структурных сдвигов в экономике в пользу потребительского сектора и заметных изменений в соотношении между государственным и частным сектором.

2. Действенной, непротиворечивой правовой системы, способствующей последовательному становлению рыночной экономики с эффективной системой законодательной коррекции возникающих диспропорций.

3. Хорошо отлаженной государственной системы косвенного и прямого макроэкономического регулирования, включая рациональную структуру государственных органов, рациональное распределение функций.

4. Положительных результатов в конвертируемости национальной валюты.

5. Гибкой системы ценообразования, адекватно реагирующей на спрос и предложение.

6. Широко разветвленной и нацеленной на производство банковской системы, высокого уровня рынка капиталов.

При отсутствии таких предпосылок никакая стабилизационная экономическая реформа, основанная на монетаристском подходе, не только не даст положительных результатов, но вообще приведет к полному краху экономики.

По данным Госкомстата России, в частной собственности находятся сейчас 0,1% предприятий торговли и общественного питания и 0,05% предприятий службы быта. Таковы пока реальные результаты „малой" приватизации. О „большой" приватизации вообще говорить всерьез не приходится. Экономика России фактически остается полностью государственной.

Отсутствуют также какие-либо реальные позитивные структурные сдвиги в экономике республики.

В таких условиях ни о каких реформах, основанных на монетаристском подходе, не может быть и речи. Сложившаяся экономическая ситуация явно требует кардинального изменения экономической политики. Для предотвращения дальнейшего катастрофического спада производства необходимо перенести приоритет с бездефицитности государственного бюджета, что характерно для монетаристского подхода, на постепенное осуществление структурных сдвигов в экономике, стимулирование разгосударствления и приватизации, усиление деловой активности.

Опыт развивающихся стран, где применялись стабилизационные программы МВФ, в силу принципиального различия исходных условий реформирования у них и у нас вряд ли может быть нам особенно полезен.

Очевидно, для нас более подходящим является опыт реформирования экономики в Китае, где исходные условия наиболее близки к нашим. В отличие от многих других стран, где стабилизационные программы МВФ не дали положительных результатов (Гаити, например, испытала 21 программу МВФ, но так и не вышла из состояния застоя), реформа в Китае, осуществляемая на основе собственной экономической программы, проводится весьма успешно. За все 12 лет реформы не было ни одного года не только с падением объема производства до критического уровня, но даже и замедления его роста. Интенсивно вводя новые формы рынка, собственности, в Китае в то же время более всего думают о том, чтобы с их введением не в отдаленной перспективе, а уже сегодня было лучше, чем вчера. В результате за последние десять лет валовой продукт страны вырос на 350 процентов, продукция сельского хозяйства — почти на 300 процентов. Улучшение материального положения всего населения страны на 35 процентов всего за 10 лет — это очень высокий показатель. Вообще же китайцы могли бы поднять уже сегодня свой фонд потребления и на 100 процентов, но они считают более выгодным экспортировать значительную часть потребительской продукции, на вырученные же валютные средства осуществляется техническая революция. Китай, как и Россия, поставил себе целью переход к рынку, но в отличие от нас он не собирался и не собирается слепо копировать ни ушедший в историю так называемый свободный (дикий) рынок, ни даже современный западный. Переход к рынку рассматривается с учетом всех существующих сегодня в стране условий, в том числе невозможности полной ликвидации централизованного планирования. Постепенное, плавное, без общественных потрясений, но обязательно с развитием всех сфер жизнедеятельности человека вхождение в рынок — в этом существенная отличительная черта реформы в Китае.

Из всех стран, осуществляющих радикальные экономические преобразования, Россия избрала наихудшую концепцию. В ней средства (рынок, частная собственность и т. д.) фактически являются самоцелью, тогда как подлинная цель реформы — рост производства, улучшение материального положения населения. Переход к рынку, к частной гражданской собственности как самоцели мог быть оправдан только в случае полной компенсации извне всего снижения внутренних объемов производства в течение всего переходного периода. Однако это совершенно нереально: даже при наличии доброй воли все вместе взятые страны Запада экономически не в состоянии оказать России такую гигантскую помощь — по ра-

счетам, не менее двух триллионов долларов.

Теперь, когда ошибочность использования в условиях России стабилизационной экономической программы МВФ, основанной на монетаристском подходе, уже не вызывает сомнений, необходимо от этой программы отказаться и проводить реформу на основе собственной программы, на основе собственной концепции.

Концепция рыночной реформы должна учитывать в полной мере реально существующие в развитых странах исторические закономерности и тенденции их развития, а также свой собственный положительный опыт, свои специфические условия и традиции. Это требует пересмотра сложившегося сегодня отношения к месту и роли государственной собственности, централизованному планированию и управлению.

Сегодня в структуре государственного сектора образовался и уже выделился как самостоятельный особый сектор — сектор свободных государственных предприятий, на которых хозяйственный механизм, производственные отношения внутри предприятия и между предприятиями, производственные отношения между предприятием и государством, по сути, ничем не отличаются от таковых на предприятиях частно-гражданских лиц. С точки зрения экономической теории это есть частный государственный сектор, или сектор частной государственной собственности. Уровень эффективности таких предприятий в целом сопоставим, а во многих случаях и превышает уровень эффективности предприятий частной гражданской собственности. Для этих предприятий характерным сегодня является объединение капиталов и производства с частно-гражданскими предприятиями в акционерной форме. По существу, речь идет о возможности возникновения свободного межотраслевого перелива государственного капитала. Примером таких государственных предприятий являются: в ФРГ — концерн „Фольксваген“, во Франции — „Рено“, в Японии — „Дэнден Кося“, в Италии — многие предприятия группы ИРИ. Теоретическое выражение указанных явлений состоит в том, что впервые в истории возникла новая форма собственности — рыночная частно-государственная собственность.

В России научно обоснованная приватизация предполагает переход нерыночной государственной собственности либо полностью в рыночную частную государственную собственность (приватизация в рамках сохраняющейся, но в корне измененной государственной собственности), либо полностью в рыночную частную собственность граждан и их объединений (приватизация в рамках разгосударствления собственности), либо переход к смешанной собственности в заранее определенной пропорции между первым и вторым.

Выбор одной из трех форм приватизации предполагает предварительный выбор будущего состояния общества, его основной социально-экономической структуры, которую возможно и необходимо создать. Первый путь ведет к возникновению системы государственного капитализма с полным господством в обществе непосредственных производителей. Второй путь ведет к возникновению капиталистической системы полного господства крупной буржуазии. Учитывая сложившиеся в развитом мире исторические тенденции, собственный позитивный исторический опыт и традиции, можно остановиться на выборе исторически и общественно наиболее прогрессивной, экономически и социально наиболее рациональной системы **государственного капитализма.** Это система многоукладной, или смешанной, экономики, в которой: все общественное богатство, все средства и продукты производства функционируют в форме капитала; существуют в оптимальной пропорции плановый и рыночный сектора, вся собственность общества является частной и разделяется на государственную и собственность граждан; выполнение всех необходимых трудовых функций по управлению и производству во всех секторах осуществляется на рыночной наемной основе.

Государственная собственность является частной государственной собственностью, функционирующей в форме государственного капитала. Непрерывное возрастание последнего является целью и смыслом существования государственной собственности. Доля государственной собственности составляет примерно 65 — 70%, в основном — в промышленности. Во всей государственной собственности доля рыночной составляет не более 40%, остальная часть (около 60%) приходится на долю сектора с восстановленным централизованным планированием и управлением. Доля частной гражданской собственности составляет не более 30% и в основном в сельском хозяйстве. Собственность граждан функционирует в рыночной форме, но по свободной воле ее владельцев может переходить в сектор централизованного планирования и управления.

Главной стабилизационной мерой должно стать централизованное планирование и управление. В этой сфере необходимо существующее сегодня формально в России народнохозяйственное и территориальное управление дополнить отраслевым управлением и усилить их, введя планирование народного хозяйства, отраслей и регионов. Широкое использование в данном случае планового регулирования экономики диктуется не какими-либо идеологическими соображениями, а внутренней логикой развития экономической ситуации в стране.

Рынок осуществит структурную перестройку не ранее чем через 20 — 30 лет. Средствами же плана ее можно осуществить за 5 — 10 лет.

Планирование может и должно стать надежной экономической основой для воссоздания единого государства — правопреемника Союза. России следует решиться на смелый шаг — отказаться от идеологических предрассудков и первой ввести централизованное планирование и управление у себя и пригласить присоединиться к нему на добровольной основе все бывшие республики СССР. Полагаем, что в нынешней труднейшей ситуации все или большинство республик в кратчайший период присоединятся к плану России, будут воссозданы реально единое экономическое пространство, единый экономический организм.



Зарубежная мысль

Рене ГЕНОН

ИНДИВИДУАЛИЗМ

ГЛАВА ИЗ КНИГИ „КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО МИРА“

Под индивидуализмом мы понимаем отрицание всякого принципа, превышающего уровень человеческой индивидуальности, а также логически вытекающее из этого сведение всех компонентов цивилизации к чисто человеческим элементам. В сущности, индивидуализм тождествен тому, что в эпоху Возрождения получило название „гуманизма“. Индивидуализм является также одной из характернейших черт того, что было описано нами как „профаническое мировоззрение“ („профаническая точка зрения“). Можно сказать, что „индивидуализм“, „гуманизм“ и „профанизм“ — это разные наименования одного и того же феномена, и мы ранее уже продемонстрировали, что „профаническое мировоззрение“ есть, в сущности, мировоззрение антитрадиционное и что именно это мировоззрение лежит в основе всех специфически современных тенденций. Однако подчеркивание сугубой „современности“, „модернистичности“ этих тенденций отнюдь не означает, что они не имели ранее никаких прецедентов. Отдельные черты „современного мировоззрения“ частично проявлялись и в другие периоды истории. Однако тогда они представляли собой лишь немногочисленные эпизоды, лежащие к тому же вне основной линии развития цивилизации, не говоря уже о том, что им никогда не удавалось полностью перевернуть и подчинить себе традиционную структуру цивилизации в целом, как это произошло на современном Западе. Специфически современным и беспрецедентным является возведение целой цивилизации на чисто негативных основаниях, на абсолютном отсутствии высшего Принципа. Именно эта всеобщность отрицания придает современному миру совершенно ненормальный характер, делает его воистину чудовищным и понятным только в свете тех соображений относительно конца определенного циклического периода, которые мы привели в другом месте. Определяемый таким образом индивидуализм можно рассматривать как главную причину настоящего упадка Запада, поскольку он тождествен развитию исключительно низших возможностей человечества, возможностей, не требующих для своей актуализации никакого вмешательства сверхчеловеческого элемента и, более того, способных свободно реализоваться лишь при полном отсутствии такого сверхчеловеческого элемента, так как эти низшие возможности суть полная противоположность всякой духовности и всякому подлинному интеллекту.

В первую очередь индивидуализм предполагает полное отрицание интеллектуальной интуиции, так как она является однозначно сверхиндивидуальным качеством, а также отрицание метафизического (в подлинном смысле этого слова) знания, образующего сферу, к которой эта интуиция обращена. Следует заметить, что все то, в отношении чего современные философы используют термины „метафизика“ и „метафизический“ (разумеется, если подобные термины еще вообще используются), не имеет к истинной метафизике ни малейшего отношения и чаще всего представляет собой совокупность рассудочных структур или чисто имагинативных гипотез, то есть исключительно индивидуальных концепций, кроме того, как правило, относящихся к области „физики“ или, иными словами, природы. Даже в тех случаях, когда поставленный вопрос может действительно иметь отношение к истинам метафизического порядка, сам способ его постановки и решения сводит проблему к псевдометафизике, закрывая тем самым возможность получения полноценного и адекватного результата. Кроме того, иногда складывается впечатление, что философы намного больше заинтересованы в постановке проблем, пусть даже совершенно искусственных и иллюзорных, нежели в их разрешении; и это один из примеров смутной любви современных людей к исследованию ради исследования, то есть к предельно и заведомо тщетной активности, к бессмысленному ажиотажу на всех душевных и физических планах. Следует также обратить внима-

---

Рене-Жан-Мари-Жозеф ГЕНОН (1886 — 1951) — крупнейший представитель философии традиционализма.

ние на стремление философов любой ценой дать свое имя какой-нибудь „системе", то есть узко ограниченной и строго определенной совокупности взглядов, являющихся исключительно порождением их собственного разума. Отсюда возникает стремление быть оригинальным во что бы то ни стало, даже если для этого пришлось бы пожертвовать истиной. Имя философа становится популярным по мере того, как он придумывает новую ложь, а не по мере того, как он повторяет старую, уже высказанную другими истину. Эта же форма индивидуализма, порождающая множество противоборствующих „систем" (противопоставленных друг другу даже в том случае, если в рациональном содержании обеих объективно не содержится никаких противоречий), встречается также среди современных ученых и деятелей искусства. Однако именно в философии порожденная индивидуализмом интеллектуальная анархия наиболее очевидна и показательна.

В традиционной цивилизации почти невозможна ситуация, в которой человек приписывал бы ту или иную идею исключительно самому себе. А если бы все же кому-нибудь пришло в голову совершить нечто подобное, его авторитет тут же упал бы, и доверие к нему было бы полностью подорвано, при том, что сама подобная идея была бы расценена как бессмысленная фантазия. Если идея истинна, она принадлежит всем, кто способен ее постичь. Если она ложна, то ее изобретение не может представлять никакой ценности, и вера в нее не будет иметь никакого смысла. Истинная идея не может быть „новой", так как истина не является продуктом человеческого разума. Она существует независимо от нас, и все, что мы должны сделать, — это постараться понять ее. Вне такого познания существуют лишь ошибки и заблуждения. Но разве современные люди хотя бы в малейшей степени озабочены истиной? Разве у них осталось еще хотя бы какое-то представление о том, что она собой представляет? В данном случае, как и во многих других, слова окончательно потеряли всякий смысл, и некоторые современные прагматисты доходят до того, что применяют понятие „истина" ко всему тому, что может быть практически полезным, то есть к тому, что лежит совершенно за пределом интеллектуальной сферы. Впрочем, отрицание истины, равно как и интеллекта, объектом которого является истина, — есть закономерное и логическое следствие современного извращения. Но не будем пока делать дальнейших логических выводов; заметим лишь, что именно вышеупомянутый индивидуализм является главным источником особой, хотя и совершенно иллюзорной значимости так называемых „великих людей". На самом деле свойство „гениальности" в профаническом смысле этого слова есть категория довольно малозначительная и далеко не достаточная, и это свойство никак не может восполнить собой недостаток подлинного знания.

С нашей точки зрения философия интересна лишь потому, что она с максимальной ясностью отражает основополагающие тенденции, характерные для того или иного циклического периода, а отнюдь не потому, что она эти тенденции порождает. Если же это подчас и происходит и философия на самом деле направляет цивилизационные тенденции в ту или иную сторону, ее роль тем не менее всегда вторична и лишь отражает то, что уже сформировалось по совершенно иным законам — по законам иного бытийного уровня. Несмотря на тот очевидный факт, что вся современная философия проистекает из Декарта, его влияние на умонастроение своей эпохи, а позднее и на последующие поколения — причем это влияние распространилось не только на одних лишь чистых философов — не смогло бы стать столь решающим и всеобщим, если бы его концепции с предельной точностью не соответствовали тем тенденциям, которые преобладали среди его современников в целом и которые были унаследованы позднее мыслителями других веков Нового времени. В картезианстве в максимальной степени отразилось специфически современное мировоззрение, и именно через картезианство оно приобрело более ясное, чем прежде, самосознание. Кроме того, если разительные изменения, подобные тем, которые произошли параллельно утверждению картезианства в области философии, обнаруживаются в других областях, как правило, они являются скорее результатами, а отнюдь не начальными точками. Они далеко не так спонтанны, как это иногда кажется, и им предшествуют огромные, хотя и не выходящие на поверхность усилия. Если такой человек, как Декарт, особенно показателен как ярчайший носитель современного извращения, вплоть до того, что, с определенной точки зрения, его можно назвать интеллектуальным воплощением этого извращения, его персонификацией, то это все же не означает, что именно он является его истинным творцом или основоположником. Для того чтобы добраться до истинных истоков извращения, этой общей антитрадиционной тенденции, мы должны углубиться в гораздо более ранние периоды истории. Точно так же можно сказать, что Возрождение и Реформация, которые принято считать первыми крупными проявлениями сугубо современного мировоззрения, не столько положили начало разрыву с истинной Традицией, сколько довершили этот разрыв. С нашей точки зрения, начало этого разрыва следует искать в XIV веке, и именно это время, а не события нескольких последующих столетий, следует принять за подлинное начало „современной эпохи".

Тема разрыва с Традицией нуждается в дальнейшем развитии, так как именно такому разрыву обязан своим существованием сугубо современный мир, и можно сказать, что все характеристики этого мира могут быть сведены к одной — абсолютная противоположность традиционному мировоззрению. Но отрицание традиции и индивидуализм — это одно и то же. В сущности, это вполне согласуется с тем, что мы высказали выше, так как именно интеллектуальная интуиция и метафизическая доктрина связывают всякую традиционную цивилизацию с ее Принципом. Коль скоро этот Принцип отрицается, отрицаются, пусть и неявно, все его следствия, и поэтому логически уничтожается все, что по праву могло заслуживать имени „традиция". Теперь перейдем к другой области, в которой проявления антитра-

диционного мировоззрения бросаются в глаза еще в большей степени, так как трансформации, вызванные этими проявлениями, затронули огромные массы обитателей Запада. Во времена Средневековья традиционные науки были достоянием немногочисленной элиты, а некоторые из этих наук, представляя собой эзотеризм в самом полном смысле этого слова, являлись монополией строго закрытых школ. Но существовала также и внешняя часть традиции, доступная всем и каждому. Об этой внешней части мы и хотели бы поговорить.

В эту эпоху традиция на Западе внешне проявлялась в исключительно религиозной форме, в форме католицизма. Поэтому именно религия в первую очередь была затронута революцией против традиционного мировоззрения. Эта революция приняла вполне определенную форму – форму протестантизма. Нетрудно заметить, что протестантизм с очевидностью был проявлением именно индивидуализма, а точнее, индивидуализма в области религии. Протестантизм, как и весь современный мир, основывается на чистом отрицании, на том же самом отрицании Принципа, что и сущностный индивидуализм. И именно в протестантизме мы видим один из ярчайших примеров того состояния анархии и разложения, которые с необходимостью проистекают из всякого отрицания.

Индивидуализм подразумевает отказ от всякого авторитета, превышающего границы индивидуальности, а также отказ от любого знания, превосходящего уровень индивидуального рассудка. Оба эти элемента на самом деле неотделимы друг от друга. Следовательно, современное мировоззрение логически должно отвергать всякий духовный авторитет, относящийся к сверхчеловеческому уровню, а также всякую истинно традиционную организацию, по самой своей природе всегда основывающуюся именно на духовном авторитете, независимо от его конкретной формы, которая естественно варьируется в зависимости от той или иной традиционной цивилизации. Именно это и произошло в случае с протестантизмом. Протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе, а на ее месте стремится утвердить „свободный критицизм", то есть интерпретацию, полученную на основании частного суждения нередко даже самой невежественной и некомпетентной личности, и основывающуюся, кроме всего прочего, на заключениях сугубо человеческого рассудка. В этом случае в области религии случилось нечто подобное тому, что произошло в философии после утверждения в ней рационализма. Дверь отныне была открыта для всяких дискуссий, разнотолков и противоречий. И отсюда вполне закономерный результат: возникновение постоянно растущего количества сект, каждая из которых представляет собой не более чем частное мнение тех или иных отдельно взятых индивидуумов. Так как в подобных условиях невозможно было прийти к соглашению относительно основной доктрины, она была отставлена в сторону, и второстепенный аспект религии, то есть мораль, вышел на передний план. Отсюда вырождение до уровня морализма, который столь ощутим в современном протестантизме. Таким образом, мы и здесь имеем дело с феноменом, во многом параллельным положению дел в современной философии – с распадом доктрины и потерей религией ее интеллектуальных элементов. От рационализма религия неизбежно должна была опуститься и до сентиментализма, шокирующий пример которого мы видим в англо-саксонских странах. То, что осталось в результате всех этих извращений, уже нельзя более назвать религией даже в самой искаженной и ухудшенной форме. Это простая „религиозность", то есть смутное и неосмысленное душевное влечение, не основанное ни на каком подлинном знании. Этой предельной точке религиозного вырождения соответствует „религиозный опыт" Уильяма Джеймса, который доходит до того, что видит в человеческом подсознании средство для вхождения в прямой контакт с божественным миром. На этой стадии финальные продукты религиозного и философского извращения перемешиваются друг с другом, и „религиозный опыт" легко сливается с прагматизмом, во имя которого „ограниченный бог" признается наделенным бо́льшими преимуществами по сравнению с бесконечным богом, поскольку „ограниченного бога" можно любить так же „чувственно", как „возвышенного человека". Одновременно с этим обращение к подсознательному прекрасно сочетается с современным спиритуализмом и всеми теми псевдорелигиями, которые мы разбирали в других работах. Иное направление в развитии протестантизма — протестантский морализм — привело к тому, что, постепенно уничтожив весь доктринальный фундамент, этот морализм превратился в так называемую „светскую мораль", находящую своих приверженцев как во всех разновидностях „либерального протестантизма", так и среди открытых врагов религиозной идеи. В сущности, и те и другие движимы одними и теми же тенденциями, с той лишь разницей, что одни заходят дальше других в логическом развитии содержания, лежащего в основании всех этих тенденций.

Являясь сущностно формой традиции, религия не может не находиться в оппозиции к антитрадиционному мировоззрению, а это антитрадиционное мировоззрение не может в свою очередь не быть антирелигиозным. Антитрадиционализм начинает с искажения религии, но всегда заканчивает ее полным уничтожением. Протестантизм в своей основе нелогичен: стремясь любой ценой „очеловечить" религию, он тем не менее (по крайней мере, теоретически) признает откровение как сверхчеловеческий элемент. Он не осмеливается довести отрицание до его логического конца, но, превращая откровение в объект многочисленных дискуссий, всецело основывающихся на чисто человеческих толкованиях, практически сводит это откровение и его ценность на нет. Наблюдая людей, настаивающих на том, чтобы считаться христианами, но при этом полностью отрицающих божественность Христа, трудно поверить в их искренность, так как подобная позиция куда ближе к чистому отрицанию Христа и христианства, нежели к какому бы то ни было христианству, что бы при этом ни утверждали сами подобные

„христиане". Однако такие противоречия не должны нас удивлять, так как они являются столь же показательным симптомом беспорядка и анархии нашего времени, как и постоянное деление протестантизма на множество сект. Это одно из характерных проявлений прогрессирующей дробности, которая составляет саму основу современной жизни и современной науки. Кроме того, естественно, что именно протестантизм за счет оживляющего его духа отрицания породил тот разрушительный „критицизм", который в руках так называемых „историков религии" превратился в оружие, направленное против религии как таковой, вплоть до того, что протестантское движение, претендующее на признание единственного авторитета — авторитета Святой Библии, — на самом деле весьма поспособствовало разрушению и этого авторитета, то есть того последнего минимума традиции, который остался в распоряжении протестантов.

Здесь нам могут возразить: даже несмотря на то, что протестантизм порвал с католической организацией, разве он не сохранил, в силу признания им авторитета Библии, традиционных доктрин, содержащихся в христианстве? Однако введение тезиса о „свободном критицизме" опровергает это допущение, так как оно открывает возможность для любых индивидуалистических фантазий. Кроме того, сохранность доктрины предполагает организованное традиционное обучение, которое поддерживало бы необходимую традиционную и ортодоксальную интерпретацию, но в западном мире такая система обучения целиком отождествлена с католицизмом. Без сомнения, в других цивилизациях соответствующие функции могут выполняться совершенно отличными по форме организациями, но здесь мы говорим о западной цивилизации и о специфических условиях, характерных только для нее одной. Было бы бессмысленно сожалеть, что в Индии не существует ничего подобного институту папства. Это совершенно иной случай, во-первых, потому, что традиция в Индии приняла полностью отличную от религии Запада форму, а значит, и средства ее передачи с необходимостью должны отличаться от западных. А во-вторых, за счет существенного отличия индуистского мышления от мышления европейского, традиция Индии обладает гораздо более значительной внутренней силой, намного превосходящей возможности западной традиции, которая не может обойтись без строгой и однозначно определенной на внешнем уровне организации с жесткой структурой. Мы уже говорили, что западная традиция, начиная с распространения на Западе Христианства, проявляется исключительно в форме религии. Здесь мы не можем более подробно остановиться на объяснении причин подобного положения дел, что, кроме всего прочего, потребовало бы изложения довольно сложных концепций, необходимых для того, чтобы этот тезис был бы адекватно и всесторонне понят. Тем не менее это является фактом, отрицать который невозможно*. Коль скоро мы признаем этот факт, мы логически будем вынуждены признать все вытекающие из него следствия, и в частности необходимость организации, соответствующей именно такой сугубо западной традиционной форме.

Совершенно очевидно, и мы показали это выше, что только в католицизме могли сохраниться остатки традиционного духа Запада.

Но означает ли это, что католицизм сохранил всю полноту традиции и остался совершенно не затронутым современным духом? Строго говоря, следует признать, что внешняя оболочка традиции сохранилась в целостности, и это само по себе уже очень много. Но, увы, весьма сомнительным представляется то, что глубочайший смысл этой традиции ясно осознается хотя бы самой незначительной в количественном отношении элитой. Если бы это было так, само существование такой духовной элиты обязательно проявилось бы в действии или, точнее, в определенном влиянии, но следов этого, к сожалению, сегодня нигде не обнаруживается.

Скорее всего, можно говорить о сохранении традиции в латентном состоянии, то есть в таком, когда остается возможность открыть ее истинный смысл для тех, кто способен сделать это, даже если в настоящее время никто и не осознает в должной мере всей полноты этого смысла. Кроме того, и вне религиозной области в западном мире повсюду рассеяны знаки и символы древних традиционных доктрин, которые сохранились несмотря на то, что их понимание полностью утрачено. В подобных случаях для того, чтобы разбудить то, что уснуло, и восстановить потерянное понимание, необходим контакт с живым традиционным духом. И здесь снова следует повторить, что для этой цели, для того чтобы восстановить знание о своей собственной традиции, Западу обязательно потребуется помощь традиционного Востока. То, о чем здесь идет речь, относится к возможностям, сохраняющимся в латентном, но постоянном и неизменном виде в католицизме. Таким образом, в отношении католицизма влияние современного мировоззрения может лишь помешать и оттянуть — на определенный срок — полное и подлинное понимание католиками некоторых важнейших традиционных истин. Однако можно заметить и более серьезное и глубокое влияние современного мировоззрения на актуальное положение дел в католичестве, если, конечно, вообще можно употребить слова „серьезное" и „глубокое" в отношении того, что является в своей сущности целиком и полностью негативным, пародийным и поверхностным. Здесь мы имеем в виду не столько более или менее строго определенные течения (называемые сегодня „модернизмом"), предпринявшие попытку — к счастью, неудачную — внедрить протестантское мировоззрение в саму католическую Церковь. Мы, скорее, хотим выделить то смутное состояние сознания, которое за счет этой смутности становится еще более опасным, поскольку те, кто затронут этим состоянием, часто даже не подозревают о его подлинной природе. В наши дни существует множество людей, считающих себя вполне религиозными, но в действительности не

* Кроме того, согласно Евангелию, это положение дел (то есть существование традиции на Западе в форме религии, в форме Церкви) должно сохраниться вплоть до конца света, то есть вплоть до конца настоящего цикла.

являющихся таковыми. Некоторые даже причисляют себя к „традиционалистам", не имея ни малейшего представления об истинном духе традиции. Все это еще один симптом интеллектуального хаоса нашей эпохи. То состояние сознания, о котором мы только что упомянули, состоит в бессознательной „минимализации" религии, в отношении к ней как к тому, что должно затрагивать лишь одну определенную сторону человеческого существования, что приемлемо лишь в узко ограниченных конвенциональных рамках. При этом религия ограждается от всех других сторон жизни непреодолимым барьером и не может более оказывать на них хоть сколько-нибудь ощутимого воздействия. Много ли найдется сегодня католиков, чье мышление и поведение в обыденной, повседневной жизни значительно отличались бы от мышления и поведения большинства их неверующих сограждан? Кроме того, у многих верующих нетрудно констатировать полное невежество в отношении доктрин и абсолютное безразличие к ним и всему тому, что к ним относится. Религия для многих современных людей — это всего лишь обряд или обычай, если не сказать простая рутина. Часто такое отношение сопровождается сознательным отказом от всяких попыток както разобраться в религии, и подчас это доходит до откровенного утверждения, что религию вообще невозможно понять или что и понимать в ней нечего. На самом деле: разве реально понимающий религию человек мог бы выделить ей такое незначительное место среди всех остальных повседневных забот? Соответственно доктрина частично или полностью забывается или сводится практически к нулю, что низводит католическую практику почти до уровня протестантской концепции. И это вполне логично, так как оба феномена являются продуктами одних и тех же современных тенденций, открыто враждебных всякой интеллектуальности. И особенно печально, что традиционное католическое обучение, которое должно было бы этому активно противостоять, пытаясь изменить это современное состояние сознания, на самом деле с готовностью ему уступает. Все постепенно сводится к вопросам морали, а о доктрине говорится все меньше и меньше, под тем предлогом, что это слишком сложно для понимания. Таким образом, религия превращается в морализм, или по меньшей мере никто более не стремится понять, чем же она является на самом деле. Если же подчас предметом обсуждений и дискуссий становится собственно католическая доктрина, это чаще всего лишь наносит ей ущерб, так как диалог с „противниками" ведется, как правило, на их собственной сугубо „профанической" территории, что изначально предполагает ничем не оправданные уступки сторонникам „профанизма". Поразительна та легкость, с которой защитники религиозной доктрины соглашаются принимать во внимание результаты современного „критицизма", в то время, как, встав на другую, не зависящую от современных предрассудков точку зрения, нет ничего проще, чем показать полную бессмысленность, несостоятельность и негативность всех этих результатов. Стоит ли удивляться в такой ситуации тому, что мы не видим ни малейших признаков традиционного духа. Да и как в подобных условиях он мог бы сохраниться?

Предпринятое нами отступление, касающееся проявлений индивидуализма в религиозной области, является вполне оправданным, так как оно демонстрирует, что зло гораздо глубже и опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Кроме того, это отступление, по сути, имеет отношение к тому же индивидуализму — ведь именно дух индивидуализма повсюду вызывает к жизни разнообразные дискуссии и дебаты. Для наших современников невероятно сложно понять, что существуют вещи, которые по самой своей природе не подлежат обсуждению. Вместо того чтобы попытаться возвысить себя до истины, современный человек претендует на низведение истины до своего собственного уровня. Именно поэтому многие, нисколько не смущаясь, уверены, что, когда им говорят о „традиционных науках" или даже о „чистой метафизике", речь идет всего лишь о „профанической науке" или о „философии". В границах индивидуального мнения дискуссия возможна по любому поводу, так как все остается в рамках рационального, и если не обращаться к высшему принципу, превосходящему уровень рационального, каждая из спорящих сторон всегда может найти более или менее солидные аргументы для защиты своей точки зрения. Часто такая дискуссия может длиться неопределенно долго без того, чтобы прийти к какомунибудь определенному выводу. Поэтому почти вся современная философия построена на софизмах и безобразно сформулированных высказываниях. Дискуссии отнюдь не проясняют вопрос, как это почему-то принято считать, но, как правило, лишь затемняют и запутывают его еще больше, и чаще всего в результате дискуссий каждый из участников, стремясь переубедить оппонента, лишь еще более укрепляется в своей собственной точке зрения и как никогда раньше убеждается в своей собственной правоте. Действительным мотивом такой дискуссии служит не желание постичь или выяснить истину, но убедить других в своей собственной правоте, несмотря на возможные нападки, а если это не удается, по меньшей мере, самому почувствовать себя правым вопреки всему. Неспособность убедить других вызывает, как правило, лишь чувство сожаления, так как стремление к „прозелитизму" — одна из характерных черт современного западного сознания. Иногда индивидуализм в самом низшем и вульгарнейшем смысле этого слова проявляется еще более наглядным образом: например, в стремлении оценить творчество человека, исходя из того, что известно о его личной жизни, хотя между творчеством и личной жизнью могут существовать самые разнообразные и подчас предельно сложные соотношения. Эта же тенденция, усиленная маниакальным желанием знать мельчайшие детали, проявляется в интересе к самым незначительным подробностям жизни „великих людей", а также в совершенно иллюзорной уверенности, что всякое действие этих людей может быть объяснено на основе „психо-физиологического" анализа их индивидуальности. Все это должно быть весьма выразительными знаками для тех, кто действительно стремится постигнуть истинную природу современного мышления.

Возвращаясь к привычке привносить дискуссию даже в те области, где она не имеет никаких прав на существование, следует однозначно констатировать, что „апологетическая" установка является чрезвычайно уязвимой позицией, так как это фактор „защиты" в юридическом смысле этого слова. Характерно, что термин „апологетика" этимологически восходит к слову „апология", что означает в юриспруденции адвокатскую жалобу и, в сущности, тождественно слову „извинение". Та исключительная важность, которая придается сегодня апологетике, является неоспоримым доказательством слабости религиозного духа. Эта слабость особенно усугубляется тогда, когда „апологетика" вырождается до уровня совершенно „профанической" (как по методу, так и по качеству) дискуссии, в которой религия низводится до уровня конвенциональных и предельно гипотетических философских, научных или псевдонаучных теорий и в которой подчас апологеты религии в „примирительных" целях доходят до того, что до определенных пределов допускают правомочность концепций, выдуманных с единственной целью — уничтожить религию как таковую. Такие апологеты, со своей стороны, представляют неоспоримые доказательства своего полнейшего невежества в отношении истинного содержания той доктрины, более или менее полномочными представителями которой они себя мнят. Тот, кто действительно может с полным основанием говорить от имени традиционной доктрины, не нуждается ни в дискуссиях с „профанами", ни в разнообразных полемиках. Таким людям следует лишь изложить доктрину как она есть тем, кто еще способен ее понять, и одновременно разоблачить ошибку и заблуждение, осветив соответствующие места светом подлинного знания. Их функция заключается не в дискредитации доктрины через вовлечение ее в различные профанические споры, а в высказывании суждения, на которое они имеют полное право, коль скоро они действительно сознают неизменные принципы и именно в них черпают свое вдохновение. Сфера полемики — это сфера действия, то есть индивидуальная и временная область. „Недвижимый движитель" порождает и направляет действие, не будучи, однако, вовлеченным в него. Знание освящает действие, не разделяя его необходимые издержки. Духовное управляет временным, не смешиваясь с ним. Таким образом, все остается на своем месте, на своем собственном уровне в пределах универсальной иерархии. Но где в современном мире мы сегодня можем еще встретить идею иерархии? Никто и ничто сегодня не находится на своем надлежащем месте. Люди не признают более никакого подлинно духовного авторитета на собственно духовном уровне и никакой законной власти на уровне временном и „светском". Профаническое считает себя вправе оценивать Сакральное, вплоть до того, что позволяет оспаривать его качество или даже отрицать его вовсе. Низшее судит о высшем, невежество оценивает мудрость, заблуждение господствует над истиной, человеческое вытесняет Божественное, земля ставит себя выше неба, индивидуальное устанавливает меру вещей и претендует на диктовку Вселенной ее законов, целиком и полностью выведенных из относительного и преходящего рассудка. „Горе вам, слепые поводыри!" — гласит Евангелие. И в самом деле, сегодня повсюду мы видим лишь слепых поводырей, ведущих за собой слепое стадо. И совершенно очевидно, что, если эта процессия не будет вовремя остановлена, — и те и другие с неизбежностью свалятся в пропасть, где они все вместе безвозвратно погибнут.

ТРАДИЦИЯ И РОССИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ РЕНЕ ГЕНОНА

В послесловии к опубликованной главе из книги „Кризис современного мира" следует разобрать вопрос, касающийся значения Генона, его трудов и традиционализма в целом для актуальной России, которая переживает сегодня не просто кризис, но его наиболее острые и страшные формы. Но одновременно в настоящей ситуации все больше людей осознает хотя бы тот факт, что этот кризис существует и, более того, что он является предельно глубоким и тотальным. В то время как общее настроение людей Запада остается не то чтобы безмятежным, но довольно спокойным, так как кризис там не затрагивает материальной стороны жизни людей, в России он распространяется на все сферы без исключения, проявляясь и через полный развал хозяйства, и ломку всех психологических и ментальных структур. Вот что писал нам в письме по этому поводу один из крупнейших генонистов Европы профессор Жан Борелля, автор замечательной книги по христианской традиции „Профанированная добродетель": „Быть может, парадоксальным образом у вас (т. е. в России) дела обстоят лучше, чем у нас, где сегодня уже потеряно все без исключения". Эту точку зрения разделяют с ним и многие другие традиционалисты, считающие, что поиск причин нашей катастрофы сможет привести людей к тотальному осознанию истоков кризиса современного мира как такового, а значит, обратить их взгляды к традиции как к единственной альтернативе и к единственной возможности спасения. Кроме того, определенную надежду вселяет и то, что по меньшей мере на ритуальном и догматическом уровне русское Православие, вопреки всему, сохранило свою цельность, тогда как западное Католичество, и особенно в последние десятилетия, пошло на такие уступки современному духу, что у многих сегодня возникает сомнение в том, остается ли еще Католическая Церковь даже номинально традиционной организацией, или она вообще полностью утратила свой духовный потенциал — столь серьезной профанации подверглись многие ее стороны, вплоть до модернизации литургии и ритуалов. И наконец, географическая близость России к регионам Вос-

тока и наличие в русском государстве огромного исламского сектора могут проложить дорогу истинно традиционным влияниям, способным эффективно противостоять деградации и вырождению, идущим с антитрадиционного Запада, который сами западные традиционалисты сегодня ненавидят еще больше, нежели восточные народы, испытывающие на себе страшный экономический и, главное, духовный гнет агрессивной материальной цивилизации. На Россию традиционалисты смотрят сегодня с тем большей надеждой, что у них самих негативные процессы представляются необратимыми, так как Запад за последние десятилетия подвергся тотальной агрессии всех форм антитрадиционных воздействий, причем в масштабе, неизвестном ранее даже в самые сложные периоды его истории.

В частности, после написания „Кризиса современного мира" негативные события развивались на Западе так быстро, что в более поздних работах сам Генон отмечает, что процессы становятся необратимыми и формирование собственно западной элиты в должном масштабе не только не прогрессирует, но становится фактически невозможным. Большинство традиционалистов и последователей Генона в конце концов предпочли интеграцию в восточные элиты, как Мишель Вальзан, Фритьоф Шуон, Титус Буркхардт, Клаудио Мутти и другие, принявшие Ислам, или совершенно замкнулись во внутренней деятельности, став недоступными и никак не проявляя себя во внешнем мире, как это произошло с эзотерическим христианским орденом „Эстуаль Интернель", внешним представителем которого был в свое время друг и сотрудник Генона Луи Шарбонно-Лассэй.

В такой ситуации, несмотря на ужасное положение России после темного и антидуховного периода правления откровенно дьявольской диктатуры и даже несмотря на явно профаническую и прозападную ориентацию современных правителей, меняющих одну форму лжи на другую и не наделенных ни малейшей долей честности или здравомыслия (что заставляет подозревать за всеми переменами не искреннее раскаяние или разумную необходимость, а лишь смену тактики антитрадиционных сил), сейчас возникает уникальный шанс для изменения запрограммированного „Святыми Сатаны" курса истории и для попытки традиционной реставрации. Ситуация была бы совсем благоприятной, если бы анализ коммунистических заблуждений, материализма, атеизма, экономизма и так далее привел бы к распознанию истоков зла современности, и самая элементарная логика в таком случае выдвинула бы как позитивную альтернативу коммунистическому мировоззрению идею возврата к традиции, сохранявшейся в России намного дольше, нежели в мире Запада, откуда, собственно говоря, и была занесена зараза этого почти откровенно контринициатического учения. Но, к сожалению, благодаря искусственности политических трансформаций в бывшем „советском" обществе и сохранившемуся контролю определенных сил над общественным мнением (хотя сами эти силы и поменяли свое название и свои лозунги), естественный процесс осознания корней русской послереволюционной трагедии и неизбежных из него выводов — которые обязательно должны были бы в той или иной степени сделать очевидным кризис всего современного мира в целом — отклоняется от нормального и логичного пути, и людям навязываются новые стереотипы столь же профанического, ядовитого, противоестественного и антитрадиционного характера. Самым тревожным во всем этом представляется подчеркнутая ориентация политических преобразований на США, так как символическая роль, которую играет это государство в современном мире, окончательно отождествилась сегодня с авангардом всех контринициатических и антидуховных процессов. И тут можно увидеть страшную опасность смыкания американской „усеченной пирамиды" с советским серпом „Семи башен Сатаны". Таким образом, на смену диктатуре коммунистической приходит угроза новых форм диктатуры, на сей раз диктатуры не материализма, но материальных благ, не „научного атеизма", но „атеистической науки", не откровенной антидуховности, но новой псевдодуховности типа интернационального движения „Нью Эйдж". И здесь можно также увидеть осуществление предсказаний Генона относительно того, что за эпохой материализма должна последовать эпоха полного растворения, эпоха неоспиритуализма, символически описанная в традиции как „открытие Космического Яйца снизу" или „разрушение железной стены племенами Гогов и Магогов". В согласии с логикой цикла профанический материализм и атеизм, процветавшие в коммунистической России, уже не вполне соответствуют требованиям адского извращения цивилизации, и на смену полному невежеству и откровенному рабству приходят псевдознание и псевдосвобода. И особенно показательно в этом смысле повальное увлечение современных русских самыми различными видами неоспиритуализма: экстрасенсорикой, уфологией, псевдоастрологией, магией, телекинезом и неоколдовством. Кроме того, крайне тревожным фактом является глобальное распространение феноменов полтергейста, так как оно недвусмысленно указывает на действительное присутствие инфракорпоральных, „подтелесных", сущностей в человеческом мире, что является страшным знаком близости прихода самого воплощенного Антихриста, Дадджала, как называет его исламская традиция.

Но независимо ни от чего, люди, верные традиции, и в первую очередь, естественно, представители ортодоксальной религии, просто обязаны использовать переходный и катастрофический период для попытки тотального возврата к традиции или, по меньшей мере, для спасения тех, кто еще может быть спасен в данной критической ситуации. И в данной перспективе в случае России, как и в случае Запада, начинать надо с восстановления и формирования истинной интеллектуальной и духовной элиты, которая могла бы реально и эффективно противодействовать и противостоять силам „тьмы внешней". При осуществлении этой задачи труды Генона и его последователей являются бесценным подспорьем, так как только в них все пропорции, необходимые для ее успешного выполнения, соблюдены безупречно. Генон для России сегодня является не просто одним из западных авторов, которого мы открываем после десятилетий изоляции, Генон — это последний шанс России, так же, как он является последним шансом Запада, если вспомнить название книги французского автора Жана Робэна „Генон — последний шанс Запада".

Безусловно, речь идет не просто об изучении того, что Генон говорил в своих книгах. Важно в первую очередь понять принципы традиции, которые он предельно ясно и последовательно излагает, и применить эти принципы к своей собственной традиционной форме. В подавляющем большинстве случаев это относится к Православному Христианству, так как именно оно является естественной и провиденциальной религией России. И при этом необходимо сделать догматы религии не просто внешними и моральными правилами, но объектами прямого внутреннего духовного опыта. Генон дает нам ключи, но дверь, которой они соответствуют, можно найти только в лоне ор-

тодоксальной традиции. И здесь надо сказать, что, несмотря на свою ритуальную и догматическую сохранность и полноту, Православие за последние столетия также подверглось серьезным антитрадиционным воздействиям, которые подтачивали Церковь как извне, так и изнутри. Вначале раскол подорвал универсальность Русского Православия, позднее, при Петре, началась секуляризация Церкви, разрыв светско-духовного синтеза, который ранее делал русскую цивилизацию воистину сакральной. Далее усилились протестантские влияния, которые гораздо глубже, нежели обычно считают, извратили Дух Церкви. Именно протестантизм как наиболее яркая форма „гуманизации" Христианства, как радикальное лишение религии всех ее сакральных и духовных основ, восходящих к нечеловеческому, божественному истоку, породил в XIX столетии уродливый феномен „моралистического Православия", то есть низведение великих догматов и проблем религии до сентиментального, психологического, „человеческого-слишком-человеческого" уровня.

Это можно проследить в постепенном выдвижении на первый план темы „любви к ближнему", которая начинает мало-помалу ассоциироваться с самой основой Православия, тогда как первая часть этой евангельской формулы, которую сам Иисус Христос назвал первой и наибольшей заповедью — „Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь" (от Матфея 22, 37—38), — как-то незаметно теряется и исчезает за слезливым и непропорциональным раздуванием второй заповеди — „Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя". Таким образом, в лоне самой религии постепенно происходит сдвиг акцентов: Божественное, Бог, Нечеловеческое становится на второе место, а человеческое, земное, моральное выдвигается на первое. Даже на иконах Спаса все чаще встречается на открытой книге надпись заповеди о ближнем, и все реже о любви к Богу. И хотя зачастую это изменение остается незамеченным, если обратимся к Генону и его подчеркиванию нечеловеческого (чисто божественного) происхождения традиции, — что точно соответствует фундаментальному утверждению самой традиции, и в частности христианской религии, основанной именно на Божественном Откровении, — нельзя не заметить в самой этой тенденции ясное выражение антитрадиционных и антирелигиозных, антиправославных влияний. В „гуманизации" и „морализации" Православия сказалось также влияние русского масонства, которое само по себе было сильно протестантизировано в результате переработки его конституций протестантами Дезагюлье и Андерсоном еще в первой половине XVIII века. Кроме того, русские масоны были связаны в первую очередь с английскими, немецкими и шведскими ложами, то есть с ложами исключительно протестантских стран. Пренебрежение русских масонов исследованием сугубо православного эзотеризма также было следствием чисто протестантского подхода к христианской традиции. И постепенно „филантропический", „морализаторский", психологизирующий „масонско-протестантский" дух затронул Православие в такой степени, что оно как бы разделилось на две одинаково неполноценные половины: на интеллигенцию, даже в случае ее традиционалистской ориентации захваченную неявным „протестантизмом", повлиявшим в той или иной форме почти на всех православных философов и светских теологов XIX — XX веков, и на „народную веру", которая сохраняла нетронутыми внешнюю, ритуально-догматическую, часть и соблюдала аутентичные пропорции древней Русской Церкви, но была не в состоянии интеллектуально оформить эти пропорции и заявить о них ясным языком. Естественно, из этого правила были и исключения, так как инициатическая традиция старчества на Руси все же не прерывалась, хотя подлинные старцы становились все более и более недоступными и закрытыми. Кроме того, известен выразительный пример Святого Серафима Саровского, одного из наиболее духовных и интеллектуальных русских святых, изложившего определенные инициатические принципы с невероятной откровенностью и последовательностью. Но защитники Православия по большей части все же были фатально ограничены вышеуказанным дуализмом, и либо, в случае „интеллигентов", неизбежно срывались в гуманизм, морализм и психологизм, либо, в случае „народа", просто не умели выразить то, что чувствовали и думали, также оставаясь на уровне эмоций и бессознательных архетипов. Генон позволяет преодолеть определенный догматический бюрократизм „официальных" церковных авторов, в которых подчас совершенно отсутствуют даже намеки на символический, духовный и интеллектуальный подход и которые также отнюдь не избежали „морализма" интеллигенции. Как бы то ни было, идеи Генона и традиционалистов послужат лишь целиком на пользу Православию, так как, следуя им, можно прийти к возобновлению исконного и изначального религиозного и церковного духа, а также осознать реальную ценность того сокровища, которое вверено Православию в его доктринах, его символах, его ритуалах, его иконах, но о котором оно сегодня имеет, к сожалению, самое приблизительное представление, а иногда и вовсе о нем и не подозревает.

Если говорить о собственно православном эзотеризме, — а именно эзотеризм есть тот центр и ядро традиции, который является главным в деле подлинно традиционной реставрации, а значит, совершенно необходимым для формирования интеллектуальной элиты, — то таковыми являются православный исихазм, традиция старчества, православная иконопись, особенность русского литургического календаря православных святых и сакральная география Русского Православия, отражающая тайную структуру Святой Руси. Именно эти аспекты должны рассматриваться не просто как определенные направления православной религии наряду с другими, но как иерархически главенствующие и первичные ее аспекты. И в первую очередь надо внимательно исследовать и искать способы восстановления и возрождения традиции православного афонского исихазма, так как именно в ней заключены основные принципы, служащие сакральным фундаментом Православия. Но, как ни странно, как раз эти стороны чаще всего упускают из виду „церковные традиционалисты", а те авторы, которые их затрагивают, в большинстве случаев остаются на уровне чисто сентиментального, эстетического и смутно мистического их восприятия, не имеющего никакого отношения к реальному, строгому и в некотором смысле оперативно-техническому эзотеризму. Подчас такой интерес к исихазму граничит даже с поэтическим профанизмом, как это имеет место в случае с так называемыми „софиологами", вопреки своему названию, весьма далекими от истинной христианской мудрости, христианской Софии. „Исихазм" по-гречески означает „покой", „мир", но в эзотерическом контексте термин „мир" являет собой символ духовного и посвятительного центра традиции, отражающего на земном уровне Небесную Славу Бога. Эта традиционная идея ярко выражена в христианском славословии „Слава в вышних Богу (небесный принцип. — **Л. О.**), на земле мир (эзотерический центр земной традиции как отра-

жение небесной Славы. — Л. О.), в человецех благоволение (ориентация на земной сакральный центр и признание его верховенства. — Л. О.)". И здесь уместно вспомнить, что Мельхиседек, чьим Первосвященником святым апостолом Павлом назван сам Христос, именуется в Библии „Царем Салима", а слово „салим" на древнееврейском означает именно „мир", „покой". Мельхиседек считается в традиции персонификацией Короля Мира, главой посвятительной иерархии самой Изначальной Традиции, что ясно показал Генон в книге „Король Мира". Таким образом, православный исихазм — это сущность христианского Православия как такового, и именно в нем следует искать связи Христианства с Единой Традицией и Единой Истиной, с главным инициатическим центром. Это подтверждается и символизмом Сердца, который является центральной темой исихастов, а сердце в эзотерическом — а не моралистическом и сентиментальном — смысле также служит сакральным синонимом этого инициатического центра, местом пребывания Мельхиседека, Царя Справедливости, Короля Мира. Оно также связано именно с духом и сверхчеловеческим интеллектом, тогда как человеческий мозг соответствует лишь дискурсивному рассудку. Отождествление же сердца с истоком страстей и эмоций есть позднейшее и антитрадиционное по сути явление, связанное с общим низведением духовной традиции до моралистического и психологического, сугубо человеческого уровня. Поэтому традиция исихазма не ограничивается только сферой индивидуальной монашеской духовной реализации, но имеет отношение ко всем аспектам сакрального космоса, и об этом макрокосмическом характере исихазма уже достаточно свидетельствует постоянно присутствующая у его представителей тематика Фаворского Нетварного Света. Через традицию исихазма можно обнаружить ключи к глобальной сакральной географии и тем самым определить местонахождение различных посвятительных центров как собственно христианской, так и других традиций. Как бы то ни было, православный исихазм имеет универсальное значение, и поэтому поиск и восстановление этой эзотерической традиции является совершенно необходимым условием для традиционной реставрации Православия в России. Крайне важны также эзотерические исследования иконописи и русского литургического цикла, значение которых ни в коей мере не ограничивается пределами Церкви как института, но охватывает самые различные сферы пространственно-временного комплекса, называемого „Россией" в самом широком и в первую очередь сакральном смысле. И в этом вопросе труды Генона, особенно „Фундаментальные символы сакральной науки", „Король Мира", „Замечания по поводу христианского эзотеризма", „Великая Триада", „Традиционные формы и космические циклы", явятся бесценным и незаменимым подспорьем, так как в них излагаются основные методы адекватного эзотерического исследования, благодаря которым откроются сокровищницы нашей собственной традиции, забытые и пренебрегаемые подчас самой Церковью. В таком пренебрежении и добровольном забвении легко можно различить влияние определенных скрытых сил, упорно стремящихся к искоренению всего ортодоксального и традиционного, начиная, естественно, с самого главного — со сферы истинного и подлинного эзотеризма.

Таким образом, если России суждено преодолеть актуальный кризис и резко свернуть с того пути, который уготовляется ей сегодня антитрадиционными и, можно даже сказать, антирусскими руководителями, то это должно с необходимостью начинаться с адекватного формирования христианской, православной элиты, осознающей глубину и универсальность православного эзотеризма во всей полноте и через это осознание вступающей в контакт с эзотеризмом универсальным, а значит, с самой Изначальной Традицией. Только при возрождении первичного, эзотерического уровня традиции, при возрождении исихазма в самом широком и глубоком смысле этого слова возможно будет возродить вторичные, экзотерические и внешние аспекты, так как „благоволение в человецех", то есть социальная и традиционная гармония, никогда не сможет реализоваться без „мира на земле", то есть без „центра покоя, исихазма", без „сердца традиции", которое является вместилищем „царства божьего" и „Фаворского Нетварного Света", бьющего с духовных небес, от „Славы Бога в вышних". И этот Нетварный Свет является Светом Единой Истины, где различные и ограниченные традиционные формы сливаются в сущностном синтезе в Единой Изначальной Традиции, персонифицированной Мельхиседеком, Царем Салима, Полюсом Исихазма, Мира, Покоя.

Возможно, Россия в перспективе восстановления традиции имеет и еще одно преимущество перед Западом: индивидуализм, который выделяется Геноном как одна из самых основных причин кризиса современного мира, в России был далеко не так распространен, как в Европе или в Америке. Он настолько чужд русскому сознанию, что при критическом выборе в начале XX столетия, после того как единственно легальная монархическая власть была опрокинута, русский народ предпочел страшный и псевдорелигиозный коммунистический коллективизм европейским „капиталистическим" и индивидуалистическим формам. Поэтому определенные стороны критики Геноном индивидуализма будут гораздо ближе и понятнее именно русским, так как они соответствуют их собственной национальной ментальности. Но здесь мы сталкиваемся с обратной опасностью: если на Западе корень антитрадиционной деятельности действительно заключался в индивидуализме, профанизме и гуманизме, то в России отсутствие этого фактора восполнял другой, быть может, не столь универсальный и эффективный, как первый, но все же чисто негативный и приведший к довольно схожим результатам в деле уничтожения традиции. Мы имеем в виду „коллективизм", причем не тот, о котором говорил Генон как о простой совокупности отдельно взятых индивидуумов, а особый — „архаический", „общинный" коллективизм, в котором часто отдельные индивидуумы вообще трудно различались в общей совокупности „мира". Подобный коллективизм действительно является эффективной защитой против индивидуализма, и благодаря этому коллективизму и сохранился феномен того, что мы назвали „простонародной верой". Однако он порочен тем, что при отсутствии квалифицированных пастырей, то есть действительной интеллектуальной и сверхиндивидуальной элиты, он легко может привести к хаосу, разложению и „тоталитаризму снизу", что в полной мере реализовалось в коммунистической революции. И так как в последние столетия вместо действительной аристократии духа и нормальной полноценной элиты пастырскую функцию выполняли „интеллигенты", то есть в конечном счете индивидуалисты западного типа — типичные классические профаны, оторванные от традиции и проникнутые антитрадиционными идеями „демократии", „гуманизма", „эволюции", „атеизма" и т. д., или, по меньшей мере, если речь идет о „консервативной интеллигенции", сильно затронутые „протестантско-масонскими", „моралистическими", „эстетическими" и „психологическими" веяниями,

— то связь между общинным консерватизмом и истинными представителями духовной элиты, которые должны в нормальном случае обеспечивать контакт нижних структур религии и общества с метафизическими принципами, окончательно прервалась. В такой ситуации и русское государство и русская Церковь, всегда составлявшие единое целое, окончательно стали жертвой безысходного дуализма: с одной стороны, антииндивидуалистический и инерциально традиционный народ, не могущий ясно сформулировать принципы традиции уже потому, что его традиционность является инерциальной и несознательной, а с другой стороны, индивидуалистическая, профаническая и секуляризированная интеллигенция, которая либо не желала, либо просто не могла сформулировать традиционные принципы, даже когда пыталась это сделать, из-за отсутствия контакта с живой традицией, оборванного за счет протестантско-масонских влияний, захвативших почти поголовно все дворянство уже начиная с XVIII века. И этот дуализм ощущается в полной мере и на современном этапе, где инерциальный, слепой коллективистский консерватизм противостоит индивидуалистическому профанизму, в очередной раз создавая благоприятную ситуацию для реализации самых антитрадиционных планов теми скрытыми силами, которые прекрасно сознают свои настоящие цели и легко умеют пользоваться недалекостью масс и беспринципным „арривизмом" интеллигентов. Поэтому в русском контексте критика индивидуализма с традиционалистских позиций должна сопровождаться критикой инерциальной общинности, которая, будучи предоставлена самой себе, остается слепой силой, легко подверженной манипуляциям агентов контринициации. Итак, вопрос об истинно интеллектуальной элите приобретает особую значимость уже благодаря самому факту его постановки, так как одно только утверждение этой третьей возможности по ту сторону и „народной веры", и „интеллигентского сомнения" (или „интеллигентского богоискательства"), — возможности создания истинно традиционной, совершенно сознательной и сверхиндивидуальной элиты, в противоположность недоиндивидуальному уровню „общины", — уже даст новые перспективы и откроет новые горизонты для успешной и эффективной традиционной реставрации.

В отношении русского коллективизма, русской общинности следует сказать еще несколько слов. Такая специфика русских делает их открытыми для различных психических влияний, и если в нормальных условиях традиционной цивилизации эта открытость „притягивает" высшие духовные энергии, а именно в этом случае только и можно говорить о „Святой Руси" — то есть о единой церковно-национальной общности, оплодотворенной духовными воздействиями через коллективный психизм, — то в случае прекращения этих влияний общинный психизм легко становится жертвой низших сил, а в самом худшем случае даже откровенно демонических или контринициатических воздействий. Поэтому „народная вера", „простонародная вера", никогда не гарантирована от превращения в „психические останки", т. е. в некоего психического коллективного „зомби". И именно такое превращение происходит со многими архаическими народами, называемыми „примитивными", хотя на самом деле этимологически слово „примитивный" означает „изначальный", „первичный", а эти народы находятся отнюдь не на изначальном этапе своего развития, а, напротив, в фазе предельной деградации и упадка. И предвестием подобного вырождения было распространение в дореволюционной России „космистских идей", предполагающих особую „космистскую соборность" (по выражению Н. Федорова), лишенную ортодоксальной и законной вертикальной иерархии и открытую прямым влияниям тонкого психического уровня космоса без всякого разделения между высшим и низшим, между ангелическим и демоническим. Позже „народный космизм" стал составляющей всего русского коммунистического движения в целом, и многие аспекты пролетарской революции оживлялись и вдохновлялись именно им. И в актуальную эпоху этот феномен повторяется с новой силой, что легко заметить в повальном распространении неоспиритуализма в сегодняшней России. И что самое страшное, „космизмом" и „простонародным психизмом" заражены многие люди, ратующие за восстановление традиции и Православия, трактующие термин „народность", входящий в состав традиционной русской монархической триады „Православие, самодержавие, народность", в собственно космистском ключе. „Космистская" подоплека русской общины в актуальных обстоятельствах является, быть может, основным препятствием на пути реставрации Традиции, так как подобные тенденции всегда отличаются „эгалитарным", уравнительным характером и ненавистью к элите. Если в случае общинной критики индивидуализма интеллигенции с ней во многом можно согласиться, то когда дело доходит до возведения самой этой общинности в абсолют и, соответственно, до отрицания не только несостоятельной „интеллигентской" псевдоэлиты, но и элиты интеллектуальной, традиционной и подлинной, общинный импульс действует исключительно во благо антитрадиционным и контринициатическим влияниям, точно так же, как и во времена пролетарской революции в октябре 1917 года.

Таким образом, „русский коллективизм" имеет две стороны, которые надо четко различать, и если антиинтеллигентские тенденции можно приветствовать, против космистского, антиэлитарного, антииерархического и, в конечном счете, антидуховного начала следует непримиримо бороться, разоблачая его „дьявольскую", в полном смысле этого слова, сущность, так как речь в данном случае идет ни больше ни меньше как о „коллективной прелести". Следует вспомнить тот факт, что наука „различения духов" является наукой эзотерической, а следовательно, она доступна только меньшинству, избранным, ортодоксальной духовной элите, и „коллектив", то есть большинство, по самой своей природе не способен осуществить это различение. Все это делает ориентацию на „народность", взятую отдельно и в самой себе, крайне опасной, а иногда и откровенно негативной.

И, наконец, следует остановиться на вопросе Ислама, который является на территории нынешней России второй конфессией. Судьба исламской традиции в России имеет важнейшее значение для традиционной реставрации, необходимость которой обнаруживается в результате полного осознания кризиса современного мира. Ислам является последней традицией, имеющей все признаки ортодоксальности с точки зрения ее соответствия самой Изначальной Традиции. Эту истину должны признавать все те, кто действительно заинтересован в традиционной реставрации во всей ее полноте, а не только в реставрации каких-то частных форм, что в данной циклической ситуации, в конце темных времен, не только неуместно, но и неисполнимо. Поэтому успех восстановления в России нормального порядка вещей может быть достигнут только в результате духовного союза русского Православия с Исламом. Эта необходимость диктуется не только очевидными геополитическими и историческими факторами, которые все яснее

осознаются сегодня сторонниками „русского пути", но спецификой того кризиса, который охватил весь современный мир в целом, и в частности Россию. В данном случае в личном принятии Ислама Геноном следует видеть фундаментальное подтверждение глубины и адекватности исламской традиции, которая сохранила свое эзотерическое и духовное содержание, быть может, в большей степени, чем все остальные традиционные формы. Поэтому духовное возрождение исламской традиции, пострадавшей не меньше самой Православной Церкви от антитрадиционной атеистической диктатуры коммунистов, является важнейшим фактором общего традиционного возрождения России. И в данном случае Ислам, в котором эзотерические течения, несмотря ни на что, продолжают существовать и в котором до сих пор сохранилась истинная интеллектуальная элита, может оказать неоценимую помощь в реставрации православного эзотеризма. Здесь можно привести лишь один пример: многие символические и оперативно инициатические доктрины православного исихазма, в частности практика „сердечной молитвы" и призывания божественного имени в сочетании с определенными правилами дыхания, имеет почти точный эквивалент в суфийской практике ордена Накшбандийя, который, кстати, весьма распространен в исламских регионах Средней Азии. И более того, некоторые суфийские практики „сердечного делания" сосредоточивают в себе все те элементы „мудрого или молитвенного делания" православных монахов, которые из преданий и писаний этих монахов воссоздаются лишь с большим трудом, и то, что можно найти в одном суфийском тексте, в исихастической литературе необходимо восстанавливать по множеству фрагментов. Исламская традиция и исламская элита, в сущности, готова поделиться своими знаниями с представителями истинно православной элиты, при условии, что таковая будет достаточно квалифицирована для постижения и усвоения этого знания. В данном контексте следует рассматривать с символической точки зрения письмо руководителя исламской республики Иран, обращенное к бывшим руководителям Русского государства с предложением „направить специалистов в Иран для изучения традиционалистских авторов, таких, как Ибн-Араби и Сухраварди". Надо заметить, что это имена крупнейших исламских эзотериков, основателей важнейших тарикатов, инициатических цепей в мире Ислама. Конечно, вряд ли профаническая и подозрительно прозападная светская и нелегальная, с точки зрения традиции, власть смогла понять сущность подобного обращения со стороны имама Хомейни, но в контексте восстановления подлинной традиции в России, и особенно в контексте формирования эзотерической духовной элиты, данное предложение имеет характер знака времен, характер приглашения к духовному союзу Православия и Ислама против антитрадиционного и индивидуалистического Запада, который традиционный исламский Иран называет откровенным именем — „Большой Шайтан".

Естественно, **традиционалистский контакт и новый духовный союз традиционных сил России, представленных в первую очередь именно Православием и Исламом, не предполагает ни догматических изменений, ни смешения обоих форм, ни прозелитизма, ни простой дипломатической и экуменистической хитрости.** Союз Православия с Исламом должен быть союзом двух элит, каждая из которых должна оставаться в рамках своей собственной религии и лишь акцентировать то, что объединяет две эти традиционные формы, вместо того чтобы настаивать на том, что их разъединяет, как это делает экзотеризм, и подчас не без влияния определенных, совсем уже не традиционных сил, заинтересованных в конфликте между разными проявлениями традиционного духа, чтобы за счет ослабления и тех и других добиться своей собственной чисто контринициатической цели. Этот союз должен быть союзом сверху, союзом внутренним, с взаимным уважением того, что разделяет между собой эти две религии. И на теоретическом уровне такой союз в принципе существует в лоне западного традиционализма, где эзотерические параллели между Исламом и Христианством, и даже между Исламом и Православием, активно подчеркиваются, исследуются и развиваются. Естественно, что среди таких традиционалистов главенствующую роль играют последователи Рене Генона, который сам, приняв Ислам, оставался в течение всей своей жизни близким другом и сотрудником многих христианских эзотериков, подчас ярых поборников христианской традиции. Эта позиция Генона ясно выражена и в „Кризисе современного мира", где он подчеркивает необходимость — во многом провиденциальную — сохранения на Западе именно христианской традиции, и даже в этом вопросе квалифицированная христианская элита может рассчитывать на помощь восточных элит, и в первую очередь элиты исламской.

Кроме того, русские земли населены провиденциальным образом носителями именно этих двух наиболее очевидно эсхатологических религий. И несмотря на естественные и необходимые расхождения на экзотерическом уровне, в эсхатологической перспективе, а точнее, в решающем заключительном моменте всего цикла, эти традиции должны действовать сообща, в общей борьбе против Антихриста-Дадджала. Пророчество о необходимости этого эзотерического и в некотором смысле апокалиптического союза содержится в определенных исламских хадисах, высказываниях пророка Мухаммада, где речь идет о совместной борьбе мусульман и христиан против мира неверия и духовного извращения, против современного мира. И если такой союз имеет универсальный смысл, если он касается вообще всех мусульман и всех христиан, как православных, так и католиков, то особенно актуальным и провиденциально подготовленным этот союз видится собственно в России, где эти две традиции имеют сегодня очевидно единого и общего врага, и защищают близкие по своей фундаментальной природе ценности — веру в Единого Бога, верность традиции, тотальность религиозного уклада, всеобъемлющее религиозное возрождение. И быть может, только в таком эсхатологическом союзе и состоит единственный шанс для возрождения традиционной России вместо ее окончательной гибели, планируемой силами разделения и агентами „современного мира", сегодня фактически отождествившегося с миром Запада, с географическим регионом, где заходит солнце Духа, солнце Традиции.

Все эти соображения еще раз доказывают, в какой степени труды Рене Генона актуальны и необходимы сегодня в России, и насколько их изучение, постижение и адекватное усвоение являются обязательными для всех тех, кто стремится противостоять современному миру, защищать традицию и бороться против древнего и хитрого врага самого Бога — против дьявола, в котором и коренятся все причины кризиса современного мира и который является единственной преградой для прямого постижения истины, а значит, главным творцом космических иллюзий.

Леонид ОХОТИН.



Отечественный архив

„МЫ, РУССКИЕ, ПОТЕРЯЛИ РОДИНУ И ОТЕЧЕСТВО...“

/„ДЕЛО“ ВАСИЛИЯ НАСЕДКИНА/

То, что проведенная коллективизация была беспримерным преступлением перед собственным народом, Сталин и ленинская гвардия понимали прекрасно. Они знали, что ни порушенная русская деревня, ни порожденная и вскормленная ею крестьянская интеллигенция не простят им уничтожения миллионов лучших русских крестьян.

Будучи учеником Ленина, Сталин воспринял как должное все, что декларировали большевистские завоеватели России в отношении русского крестьянина. Крестьянские бунты конца 10-х — начала 20-х годов никогда бы не были подавлены, если бы перепугавшийся Ленин не догадался вовремя сменить политику. Сравнительно небольшой слой богатых крестьян был поголовно уничтожен в гражданскую войну, и теперь надо было любой ценой замирить основную крестьянскую массу, взявшую в руки оружие для защиты своей земли и хлеба — того, ради чего она спасала революцию.

Сталин учел этот урок. Проводя коллективизацию, которая в принципе могла не быть враждебной русскому крестьянину (общинное начало в деревне было еще достаточно сильным), он провел ее так, чтобы раз и навсегда подавить любое возможное народное сопротивление в деревне. Сталин не повторил ошибки Ленина и не двинул против деревни регулярные войска. Все было проделано под видом заботы о самом крестьянине и горожанине, нуждающемся в хлебе. А результат оказался тот же: кровь и голод. Отдельные немногочисленные очаги сопротивления подавлялись сравнительно легко: деревня была расколота, деморализована, выморена.

У Сталина нашлись хорошие советчики, озабоченные тем, чтобы на много десятилетий вперед дискредитировать общинный уклад крестьянской жизни, столь страшный для них. Подобно тому как нэп в деревне стал пародией на столыпинские реформы, так и колхозы стали пародией на общинное землевладение.

И если выходцы из среды привилегированной интеллигентской элиты остались полностью равнодушными к тому, что произошло с деревней в начале 30-х годов (кое-кто из них очнулся лишь в 1937), то вчерашние крестьяне, интеллигенты в первом поколении, не забыли и не простили ни Сталину, ни его окружению этого преступления. Другое дело, что никакая замена правительства и никакое свержение диктатора были уже невозможны. Осознание свершившегося выбивало почву из-под ног, крестьянские писатели ощущали себя изгоями в чуждом для них государстве, выросшем на земле некогда любимой России. Оставалось лишь отводить душу в дружеских разговорах, тяжело переживая приговор, вынесенный русскому народу именем той революции, за которую многие из вчерашних крестьян проливали кровь на фронтах братоубийственной гражданской войны.

Одним из них был близкий друг Сергея Есенина и муж его сестры Екатерины поэт Василий Наседкин. Они познакомились еще в 1914 году в университете Шанявского. В 1917 году Наседкин вступил в РКП(б), принимал участие в уличных боях в Москве против юнкеров, потом воевал на гражданской. А в 1921 году, побывав на родине в Башкирии и увидев, что на самом деле принесла революция России и населяющим ее народам, порвал с партией. Тогда это было в порядке вещей: помимо „жертв“ партчисток из партии добровольно уходили и многие апологеты военного коммунизма, для которых нэп был фактом предательства. Так или иначе, мотивы разрыва Наседкина с РКП(б) оставались его личным делом вплоть до 1930 года, когда он был вызван в ГПУ и подвергнут допросу, в процессе которого ему пришлось написать соответствующие

Показания по существу дела

Из ВКП(б) вышел, с одной стороны, по болезни и еще от несогласия с политикой партии по крестьянскому вопросу. Я видел картины продразверстки на Урале. И они произвели на меня тягостное впечатление. Решающим моментом к моему выходу из партии было несо-

гласие ЦК партии направить меня на лечение.

Считая себя, в общем, сторонником соввласти, я не согласен с политикой партии по ряду вопросов.

Несмотря на решение партии покончить с перегибами в коллективизации сельского хозяйства (быстрый темп), эти перегибы фактически существуют (в меньшей мере). Коллективизацию надо проводить, но более осторожно. Ликвидацию кулачества как класса одобряю, но, по возможности, без ошибок (раскулачивание середняков и прочее). Не согласен я с политикой партии и в области литературы. Я считаю, что своей политикой в этом вопросе партия толкает целый ряд попутчиков к халтуре и приспособленчеству. Это вызывается чрезмерным идеологическим нажимом партии на писателей — писать только на злободневные темы. В Доме Герцена и других общественных местах я высказываю свои политические взгляды, идентичные с приведенными выше.

Нередко, говоря об идеологии, я вместо слова „идеология" произносил „идиотология". Это относится и к соввласти. Не отрицаю, что во время политических споров иногда говорил, что местная власть грабит крестьянство. Имея в виду конкретные факты, я называл некоторые явления грабежом.

В. Наседкин.

Симптоматичная беседа Наседкина, уже вышедшего из партии в 1921 году, проверяют в 1930 по тому же „крестьянскому вопросу". Он не смирился с происходящим истреблением крестьян 10 лет назад и, судя по всему, не мирится и теперь. Совершенно очевидно, что на столе у следователя Гендина уже был „компромат" на поэта в виде донесений стукачей, аккуратно извещавших ОГПУ о разговорах в Доме Герцена.

Наседкин ведет себя по возможности осторожно. Не скрывая своих взглядов, подбирает наиболее обтекаемые формулировки. Он еще понятия не имеет о том, что никакие смысловые нюансы никого в этом учреждении не интересуют, не ведает, что настанет день, когда на основании собранного компромата, в котором будет фигурировать и этот протокол допроса, сошьется „расстрельное" групповое дело, и тогда из него при помощи пыток будут выколачивать показания на себя и на близких друзей, а кое-что и дописывать от себя лично.

В сентябрьские дни 1937 года было начато его „дело".

ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА № 14441

по обвинению Наседкина Василия Федоровича

Справка

Наседкин В. Ф. является активным участником террористической группы литераторов, в состав которой входили осужденные к высшей мере социальной защиты террористы — М. Я. Карпов — бывший член ВКП(б) и И. Макаров — бывший член ВКП(б), П. Васильев — беспартийный и И. Приблудный-Овчаренко. Группа подготовляла террористический акт против товарища Сталина.

О роли Наседкина в террористической группе осужденный Карпов показал:

„Собираясь вместе и обсуждая политику ВКП(б) и советского правительства в контрреволюционном духе, мы приходили к выводу о необходимости решительной борьбы с партией. Если на первом этапе этой борьбы по имевшемуся у нас уговору вели посильную контрреволюционную работу (мы пытались протаскивать наши контрреволюционные установки в литературе во время творческих командировок, обрабатывая в контрреволюционном духе сталкивавшихся с нами лиц), то в дальнейшем мы стали на террористический путь. Мы считали единственным оставшимся средством борьбы против существующего строя террор против руководителей ВКП(б) и в первую очередь против Сталина".

По показаниям Карпова, Наседкин откровенно проявлял себя на этих сборищах фашистом и выдвигал террор и интервенцию в качестве основных методов борьбы с советским строем.

„Русская страна, русский народ в результате политики инородцев потеряли свое отечество, потеряли страну и родину. Так дальше нельзя, нужны реальные меры, могущие привести к изменению существующего строя, а главное — к устранению Сталина".

„Выражая свои симпатии фашизму, Наседкин восхвалял погромную политику Гитлера в отношении евреев и коммунистов".

Из показаний обвиняемого Карпова М. Е.

Обвиняемый Макаров показал, что как он сам, так и Наседкин ориентировались в своей контрреволюционной деятельности на Бухарина.

Показания Карпова и Макарова полностью подтверждаются обвиняемым Клычковым С. А., который показал также, что Наседкин являлся участником террористической группы. По показаниям обвиняемого Васильева П., Наседкин восстанавливал его против руководства ВКП(б), высказывая при этом террористические намерения.

Осужденный организатор террористической молодежной группы Юрий Есенин, сын поэта Сергея Есенина, показал, что на него оказала сильное воздействие контрреволюционная пропаганда Наседкина.

Арест. Обыск.

Начальник 9 отделения 4 отдела ГУГБ
капитан государственной безопасности *Журбенко*
сентября 1937 года.

Летом 1937 года в НКВД была создана специальная группа по ликвидации „террористов" из писательской среды. Возглавил ее капитан Журбенко. Насколько удалось выяснить, единственным, по существу, объектом действий группы палачей были крестьянские писатели.

К моменту ареста В. Наседкина почти ни-

кого из перечисленных в „справке“ уже не было в живых. Михаил Карпов и Иван Макаров были расстреляны в один и тот же день — 17 июля 1937 года. 13 августа 1937 года были расстреляны Павел Васильев и Юрий Есенин. Подходило к концу „хождение по мукам“ в застенках НКВД и Сергея Клычкова. Жить ему оставалось немногим больше месяца.

8 октября Клычков был расстрелян. И только тогда, когда уже не осталось никого из давших показания на Наседкина (один Бог ведает, как вырывали у них эти „признания“), был составлен ордер на арест очередного „врага народа“.

Ордер № А 512

Октябрь 26 дня 37 года. Выдан: Главное управление Государственной безопасности НКВД Санцевич на производство обыска и ареста Наседкина Василия Федоровича. Брюсовский переулок, дом 2/14, кв. 81.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР *Фриновский*
Начальник 2 отдела ГУГБ /подпись неразборчива/

Сразу же после ареста и заключения во внутреннюю тюрьму на Лубянке Наседкин был жестоко избит. И судя по всему, пытки и издевательства не прекращались в течение нескольких последующих недель. Не исключено, что здесь же по тюремному „телефону“ он узнал о гибели своих друзей. Все это, вместе взятое, оказало пагубное воздействие на поэта. Единственное, за что он еще мог бороться, — это за сохранение собственной жизни. Впрочем, чутье, очевидно, подсказывало ему: надежды нет никакой. И я не думаю, что в эти дни Наседкин возводил на себя заведомую напраслину или клеветал на своих друзей. Вполне возможно, что он поначалу вообще отказался отвечать на вопросы и лишь пытки принудили его развязать язык. Он пишет письмо Ежову, а затем начинает давать показания, в которых вырисовываются яркая и жуткая картина жизни русских литераторов в столице, их настроение и полная бесперспективность существования при настоящем режиме, их ненависть к Сталину и наивная вера в Бухарина.

Имена Бухарина и Троцкого в показаниях поэта могут смутить читателя, но удивляться не приходится. Этот феномен точно описал Александр Солженицын в третьем томе „Архипелага“, рассказывая о провинциальном учителе Броневицком, согласившемся во время немецкой оккупации возглавить земскую управу. „Он ждал кого-нибудь, кого-нибудь“. Да и что фактически знали те же Валериан Правдухин, Лидия Сейфуллина, Иван Приблудный, Родион Акульшин, Василий Наседкин о тех же Троцком и Бухарине? Не будем гадать — ясно, что писатели, как и большинство народа, были дезориентированы сталинской кампанией против „правых“ и всерьез могли поверить в Бухарина как в „защитника русского крестьянства“. В это тем легче было заставить себя поверить, чем обостреннее становились ненависть к Сталину и желание кого угодно увидеть на его месте.

Не так ли и мы „купились“ в наши дни сначала на Горбачева, вся интеллектуальная и моральная разница которого с его предшественниками заключалась в относительно членораздельной речи и деланом „участии“ к „простому человеку“, а потом и на Ельцина, показавшегося „типичным русским мужиком“?

Наседкин давал показания с сознанием полной безнадежности своего положения. При чтении протоколов мне не давала покоя мысль: а что если все сказанное и написанное им было обращено не столько к палачам из НКВД, сколько к потомкам, которые найдут же в один прекрасный день эти документы, со страниц которых перед их глазами встанет реальная, неприкрашенная жизнь московских литераторов середины 30-х годов?

Следователи редактировали протоколы и многое формулировали по-своему: в частности, постоянно встречающиеся слова „террор“, „фашизм“ явно были написаны не без их давления. То, что сообщал Наседкин от себя, их не устраивало, ибо не давало оснований для прямого обвинения по статье. Отсюда и примечания, рассыпанные по полям протоколов. Исключаются целые абзацы и отдельные фразы, из которых можно сделать вывод, что никакого реального покушения на Сталина или какого-либо иного теракта писатели не организовывали и не могли организовать. Зато выделяются вырываемые из контекста фразы, могущие стать материалом для вынесения приговора. Там, где сведений о том или ином писателе кажется им недостаточно, следует примечание: „Расширить“. После каждого сеанса показаний опять следовали избиения, и опять вырывались новые показания.

И все же слишком хорошо заметно, где ощущается в показаниях прямое давление следователей, а где Наседкин говорит и пишет от себя. Встречи с друзьями, разговоры о жизни, о трагической судьбе обманутого крестьянина, об удушающей литературной политике, о засилии инородцев и невозможности пробиться русскому писателю — это все подлинное, взятое из реальной действительности. И главный тезис разговоров выброшенных из нормальной жизни людей: „Мы, русские, потеряли родину и отечество...“

Народному комиссару внутренних дел Н. И. Ежову от подследственного Наседкина В. Ф., поэта, члена Союза советских писателей.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Не могу и не хочу скрывать того, что стало причиной моего ареста. Начиная с моего выхода из партии, 1921-й год, и особенно с 1928 — 1929 годов я носил в себе груз явно контрреволюционных настроений, которые проявлялись в разговорах с моими знакомыми и друзьями. В 1932 году я написал контрреволюционное стихотворение

„Буран“, которое читал Карпову, Клычкову, Ив. Макарову, Шухову, Замойскому и другим. Вольно или невольно, но я стал контрреволюционером, которого тайные враги народа могли считать и, наверное, считали своим союзником. В 1934 году я сделал попытку покончить со всем тем, что мешало мне встать на честную дорогу беспартийного большевика, но попытка эта осталась лишь попыткой, и я опять оказался в контрреволюционном антисоветском болоте, нередко проявляя вредную и позорную для честного гражданина деятельность, в разговорах и беседах со знакомыми. Конкретно эта деятельность выражалась в сомнениях и неверии в политике партии и правительства, в осмеянии тех или иных трудных мероприятий власти, что в этом виновато руководство партии и что я сочувствовал тем, кто готов был свергнуть это руководство любыми способами.

Эти разговоры поддерживал и вел в беседах на квартире Правдухина, часто бывая у него до 1936 года. При встречах с Клычковым и с Макаровым, Платоновым и другими. Раньше, в начале коллективизации, я был уверен, что страна идет к гибели и что поэтому лучше было бы продолжать нэп. После — с раскрытием троцкистско-зиновьевских банд, которым я хотя и никогда не сочувствовал, я часто не верил в предъявленные им обвинения, так чудовищны были их преступления. Мои контрреволюционные настроения еще более углубились весной 1937 года, когда я увидел районы, пораженные прошлогодним неурожаем.

Кроме того, мне иногда казалось, что русский народ неполноправен в семье других советских народов, что русские как бы без родины, поэтому и не верил в силу народного патриотизма. Эти настроения брали верх в моем сознании, нередко перемежаясь со здоровыми настроениями, и выражались также в разговорах со знакомыми, особенно из контрреволюционного и террористического лагеря (Клычков и Макаров, М. Карпов и другие), с которыми я таким образом явно солидаризировался на основе общности взглядов.

Прошу вас, товарищ народный комиссар, верить мне в мою искренность показаний и дать мне возможность честной работой искупить свою вину перед родиной и революцией. Подробнее ничего не утаивающие сведения начну давать завтра же, 27 октября 37-го.

В. Наседкин.

Из личных показаний подследственного Наседкина В. Ф., данных от 28 октября 1937 года.

Я по происхождению крестьянин-середняк. В 1917 году служил в Москве рядовым первого прожекторного полка. Тогда же я вступил в партию ВКП(б), в октябрьские дни вместе с рабочими Лефортовского и Благоушинского (ныне Сталинского) районов бил юнкеров. Потом полтора года был военкомом полка и затем полгода на фронте, был ранен и так далее.

Из Красной Армии я демобилизовался в 1922 году в октябре, а в 1921 году в августе вышел из партии.

Сообщаю эти подробности для того, чтобы сказать, что пока я был непосредственно связан с партией, рабочим классом, пока варился в революционном котле, я был настоящим коммунистом, и вообще честным гражданином своей родины. В 1921 году я был в длительном отпуску в своей деревне в Башкирии. Это было весной и в начале лета. В эти месяцы, окунувшись в крестьянскую мелкобуржуазную стихию, я почувствовал первые признаки шатания, которые, углубившись в моей неврастении, привели к тому, что, кажется, в августе того же года я сам вышел из партии. До 1929 года примерно я жил на капитал, который достался мне от моего пребывания в партии, от участия в борьбе за советскую власть. В эти годы — 1923 — 1929 год — как поэт я завоевал пусть очень скромное, но все же почетное место в советской литературе. Мои сомнения и колебания были неощутительны. Правда, они понемногу росли, но росли главным образом от литературной вредительской политики Авербаха[1] и авербаховцев, которые как будто нарочно толкали меня от советской действительности, всячески дискредитируя меня как поэта и как человека.

К моему недовольству литературной атмосферой вскоре прибавилось недовольство уже более серьезного порядка. Наступали годы коллективизации, коренной ломки всего крестьянского уклада. И во мне заговорил тот самый шатающийся середняк, о котором так хорошо говорил Ленин. Мне казалось, что незачем было переходить к коллективизации, а если переходить, то в сроки, более продолжительные. Живя в Москве в среде преимущественно крестьянских и явно кулацких поэтов, я через год-два окончательно порвал со всем тем, что было во мне связанного с народом и революцией. Я незаметно для себя стал скрытым контрреволюционером, при каждом удобном случае ехидничая над трудностями по проведению коллективизации.

В 1932 году, когда в результате кулацкого саботажа и кулацкой контрреволюции затруднения возросли еще больше, вызвав в некоторых районах Союза даже голод, я, стоя, по сути, уже на кулацких позициях, окончательно увидел себя человеком чуждым революции и советской действительности. В этом году я написал не только упадочное, но и явно контрреволюционное стихотворение „Буран“, полное абсолютного неверия в силы партии и советского народа, полное глубокой безысходности. Мое неверие и озлобленность выражались иногда почти открыто. С подходящим человеком я разговаривал как контрреволюционер, озлобленно критикуя все мероприятия партии и советского правительства. Так продолжалось весь 1932 год и весь 1933 год.

В 1934 году, когда коллективизация победила и колхозное крестьянство переходило уже к зажиточной жизни, я сделал попытку пересмотреть свои позиции и встать на путь честного советского гражданина. В августе я написал стихотворение „Осень“, в котором искренне приветствовал колхозную деревню.

[1] После слов „главным образом“ поставлен вопросительный знак.

Стихотворение это в 85 строк было напечатано в журнале „Новый мир" в январском номере. Однако попытка моя не увенчалась успехом, чему помешали, во-первых, моя нерешительность смело отмежеваться от кулацких взглядов и, во-вторых, отмежеваться от той нездоровой среды, в которой я вращался[2].

Правда, эта попытка все же оставила во мне кое-какие следы, настроения примирения и слияния с советской действительностью были мне не чужды во все последующие годы, что могу подтвердить и соответствующими стихами и добросовестной работой в журнале „Колхозник" в качестве литредактора.

Но, как правило, здоровые настроения очень часто сменялись настроениями явно контрреволюционными, которым я поддавался нередко целыми месяцами. Постепенно здоровые советские настроения гасли, и я становился чуждым человеком своей родины и прямо сказать — контрреволюционером. Если я спрошу себя — а чем же я был недоволен? — то отвечу на это так.

Первое. Политикой партии и правительства в отношении деревни, где, мне казалось, все крестьянство бесправно и экономически угнетаемо.

Второе. Политикой партии и правительства в вопросе социальном, когда мне казалось, что русский народ живет и развивается в условиях худших, более стесненных, чем другие братские национальности Союза[3].

Третье. Состоянием общего литературного, главным образом, поэтического фронта, в первых рядах которого, как я думаю, стоят халтурщики, приспособленцы и скрытые контрреволюционеры. В частности, я принимал хорошие советские книги за исключение. В таком литературном состоянии я обвинял не только Союз советских писателей, но и отдел печати ЦК ВКП(б)[4].

Я сказал о самом главном. Не освобождаясь от груза кулацких взглядов, я, естественно, мог критиковать все явно с контрреволюционных позиций — зло, враждебно и непримиримо. „Коготок увяз, и всей птичке пропасть", — говорит русская пословица[5]. Так вышло и со мной. Враждебное отношение к вопросам, отмеченным выше, стало распространяться и на другие смежные вопросы. Я все чаще приходил к убеждению, что руководство партии ведет вообще неправильную, неверную позицию. В годы коллективизации, например, так думалось мне, оно вело страну к гибели, а в последующие годы недостаточно заботится о благосостоянии трудящихся. При таких взглядах на действительность я болезненно переживал процессы над троцкистско-зиновьевскими бандами[6], которым явно хотя и не верил, но все же не верил и в те обвинения, которые предъявлялись советским судом, так чудовищны были преступления изменников родины и революции. Не скрою, бывали настроения, когда временами[7] я готов был даже оправдать **террор против руководителей** партии и правительства[8]. Но тут я всегда задавал себе вопрос — а если насильственное террористическое устранение верховного руководства партии и правительства вызовет гражданскую войну и интервенцию? Единственно, где я отвечал не как контрреволюционер, а как пусть заблудившийся и запутавшийся человек, это здесь. Да, я против гражданской войны и еще больше против интервенции, иначе говоря, я был против террора.

Однако этой оговоркой я не хочу смазывать того, что я своим поведением и знакомством с контрреволюционерами и террористами из писательской среды лил воду на мельницу оголтелых врагов и изменников родины. Находясь во власти враждебных действительности настроений, я при встречах с Клычковым, Правдухиным[9], М. Карповым, П. Васильевым обычно поддерживал разговоры, проникнутые неверием в силы партии и правительства вывести народы Союза на дорогу к счастью и довольству. Таким образом, я оказался вольно или невольно, но союзником этих врагов родины. Да и сами враги эти считали меня своим человеком[10], и если не посвящали меня в свои планы, то это по сути было не столь существенно, они видели, что я буду с ними. Они могли ошибаться лишь в одном — насколько я годен для активной террористической деятельности[11]. Но и это, я вижу теперь, — тоже не столь существенно, поскольку на первом этапе этой их борьбы с советской властью я все же был их союзник, если не делом, так словом.

И тут они уже не ошиблись, так как я был готов к этой роли и при случае играл эту роль. Приведу несколько примеров, иллюстрирующих мою контрреволюционную работу.

В январе 1937 года я побывал в рязанской деревне Константиново, где видел, как ребятишки и женщины на себе привозили охапки хвороста из-за Оки. Ничего страшного в этом нет, к тому же лошадей в колхозе мало и ходить за хворостом не так уж далеко. Но я трактовал все это по-другому, с позиций явно контрреволюционных, когда привоз хвороста выглядел символом колхозной нищеты[12].

Второй пример. В марте — апреле я был в Ялте. В дороге я видел немало мешочников и действительно нуждающихся в хлебе крестьян районов, пораженных прошлогодней засухой. В Ялте с двумя-тремя больными я говорил о виденном так, как будто советская власть не имеет никакого желания помочь колхозникам. И это была клевета, которая была рассеяна чуть ли не на другой день, когда во всех газетах было напечатано постановление партии и правительства о помощи колхозникам Курской и Воронежской областей и о предании суду всех, кто вредительски оставил колхозы без хлеба. Таких случаев явно контрреволю-

[2] Вся фраза про стихотворение „Осень" зачеркнута. Следующая фраза тоже зачеркнута.

[3] Примечание: „Расширить".

[4] Слова „отдел печати" зачеркнуты.

[5] Эта фраза зачеркнута.

[6] Следующая часть фразы зачеркнута.

[7] Слово „временами" зачеркнуто.

[8] Подчеркнуто рукой следователя. Весь следующий текст до конца абзаца зачеркнут.

[9] Примечание: „Правдухина расширить".

[10] Следующая часть фразы зачеркнута.

[11] Здесь на полях знак вопроса.

[12] Весь этот абзац зачеркнут. Примечание: „Не помещать".

ционной трактовки тех или иных явлений хозяйственной, общественной и политической жизни, конечно, было больше, и при следующих допросах я постараюсь вспомнить кое-что еще. А сейчас расскажу о своих встречах и связях с писателями — врагами народа.

За последние три года этот круг был чрезвычайно узок. Я жил крайне замкнуто, боясь выдать себя своими контрреволюционными разговорами. Я нигде ни у кого не бывал, знал только редакцию журнала „Колхозник" и свою семью. И лишь „случайно" на улице или в редакциях встречался с Клычковым, Правдухиным, Ив. Дорониным и другими. Исключений было немного. Изредка заходил к Карпову, раза два был у П. Васильева и, как правило, почти ежедневно общался с писателем Н. Кауричевым[13], моим соседом по району. С ним, с Кауричевым обычно я и отводил свою контрреволюционную обывательскую душу в разговорах о литературе и о текущей политике. Мою гнилость Кауричев, как человек политически более здоровый, хотя и страдающий алкоголизмом, очень метко и иронически определил так: „С утра оптимизм, к вечеру — смятение духа". И действительно, за эти последние годы я жил так — здоровые и по-настоящему советские настроения, как правило, сменялись если не в продолжение дня, то в продолжение недели или месяца. В разговорах с Кауричевым при очередном смятении духа я часто все характеризовал по-старому, с позиций откровенной контрреволюции, не веря ни во что и не видя никакого выхода. То же самое говорил я и П. Васильеву, Клычкову, М. Карпову, Правдухину. Я не знаю, чем объяснить, но все эти лица поддержали мой разговор, как говорится, красноречивым молчанием или незначительными репликами, которых было достаточно, чтобы видеть, что они думают[14].

Раньше, в годы 1930—35 я нередко бывал у Сейфуллиной и Правдухина, у которых довольно часто собирались такие писатели: Н. Смирнов, В. Зазубрин, раз видел Бабеля, раза два — Воронский, раз — Смилга, брат Василия Правдухина, кажется, Калининов, охотник, но, возможно, я фамилию его исказил, и австрийский инженер Бруно Алексеевич[15], фамилию тоже забыл. Разговоры на квартире Правдухина, в его комнате велись в очень осторожной форме и застрельщиком их был обычно Смирнов, злобно критиковавший все советское, все коммунистическое. **Ему возражали**[16] и Зазубрин, и Правдухин, и другие, но эти возражения были такими, которые лишь разжигали в Смирнове злобу и ненависть к советскому строю.

Значительно осторожней выступал австрийский инженер, но это была лишь форма, а суть оставалась той же — опорочивание всего советского. Делалось это с позиций якобы сугубо экономических и научных. Моя роль в собраниях этих была незначительной. Я был среди гостей на положении младшего, но не скрою — в годы коллективизации до 1934 года я также ввязывался в разговор, поддерживал его контрреволюционное направление. **Прямых выводов никто обычно не делал**[17]. Все сводилось к дискредитации существующего положения и государственного руководства, но выводы, по-моему, напрашивались сами. Их только замалчивали, а выводы это такие: вот если бы во главе партии **стоял Троцкий**, тогда бы все пошло так, как следует. Если память не изменяет, Смирнов и, кажется, Правдухин про Троцкого вспоминали именно как раз тогда, когда оставалось делать выводы[18].

Помню несколько встреч с Иваном Макаровым. Он явно маскировался под беспартийного большевика, но его эсеровское нутро пробивалось в целом ряде мелочей, черточек и жестов, реплик. Однажды мы компанией — Кириллов, Клычков, Ив. Макаров, М. Карпов и я — очутились в пивнушке у Арбатской площади. Клычков читал свои стихи и я свои, напечатанные [19] и не напечатанные — „Буран". Разговоров политических не было, но они были и не нужны, так как все мы были контрреволюционеры, понимая друг друга с полуслова.

До 1935 года я изредка бывал у Низового П., у Новикова-Прибоя[20] и у П. Парфенова. Первые двое антисоветских разговоров не поддерживали, хотя склонность к ним у Новикова-Прибоя чувствовалась. Зато Парфенов, можно сказать, был воплощенной злобой и ненавистью к партии и советской власти. Тут уж мне приходилось только слушать, так как парфеновского какого-то болезненного озлобления хватило бы на целое собрание[21]. Он был правый, упоминал фамилию якобы друга своего — Яковенко и еще кого-то, кого я уже забыл.

Вспоминая все это и все свое прошлое, я констатирую, что на протяжении восьми лет поддерживал связи с врагами народа и сам стал врагом народа. Показания свои в дальнейшем продолжу.

28 октября 1937 года.

Из показаний В. Ф. Наседкина от 29 ноября 1937 года.

Начиная примерно с 1932 года, когда мне казалось, что страна идет к гибели, а личная жизнь моя с семьей сложилась далеко неудачно, именно с этих пор я часто связывал свои тайные надежды с заменой сталинского руководства, партией и правительством другим. Такое настроение и надежды питались, во-первых, моим глубоким неверным пониманием происходящих событий и, во-вторых, той средой, в которой я вращался. А вращался я, как оказалось потом, в кругу террористов. Мне казалось, я в этом был убежден, что, будь у руководства партии и правительства Рыков и вообще „правые", жизнь бы наладилась скорее. Такие взгляды я выражал в беседах с теми, о которых я знал, что они настроены антисоветски. А поскольку рыковцы и троцкисты кроме террора не имели никаких других способов борьбы за власть, то, естественно, я сочувствовал террористам и свое сочувствие выражал в указанных выше беседах.

---

13 Примечание: „Шире".

14 Здесь на полях знак вопроса. Примечание: „Врет!"

15 Здесь на полях знак вопроса.

16 Подчеркнуто рукой следователя. На полях — знак вопроса.

17 —"—

18 Примечание: расширить о разговорах Правдухина.

19 Это слово зачеркнуто.

20 Фамилия Новикова-Прибоя зачеркнута.

21 Против этой фразы на полях стоит примечание: „Подробно".

Помню такую беседу с Клычковым и соответствующие реплики Правдухина на вечеринках. Но, повторю, эти взгляды пугали в первую очередь меня самого, так как, выразив их, я чувствовал где-то внутри, что я неправ, что террор потянет за собой то, что Советский Союз перестанет существовать как государство. И тогда начиналось то самое „смятение духа", о котором я говорил на предыдущем допросе. Чтобы избавиться от такого состояния, по какой-то оставшейся доле здорового инстинкта я уходил в редакционную работу и в семью, месяцами не видя тех, с кем делился своими террористическими настроениями. Но вот опять, встретившись с Правдухиным или с Клычковым, я опять оказывался во власти контрреволюционных настроений.

Что я говорю только правду, приведу такой случай. С 1923 года я в течение десяти лет был в особо дружеских отношениях с писателем Акульшиным Родионом. Я бывал у него, часто заходил ко мне и он. Он приходил ко мне всегда с коробом новостей, одна другой страшнее. А о моих частых контрреволюционных настроениях он знал. Рассказав мне, что случилось, как живут там-то и там-то, он уходил, а я после его ухода совершенно выбивался из колеи. Я болел по три-четыре дня и только в 1934 году догадался попросить его больше ничего мне не рассказывать и не расстраивать. Но, на мою беду, вместо Акульшина мне вдруг встречались другие, которые были в десять раз хуже Акульшина, потому что они были настоящими врагами народа, которые тонко вели свою преступную работу, **так как Правдухина, например, я считал лишь пессимистом**[22], а Клычков — озлобленный человек. Кроме того, своим контрреволюционным разговорам с ними и с другими я не придавал никакого значения. Я, что называется, отводил свою контрреволюционную душу и только зная хорошо, что сам я лично по своему складу характера не способен ни на какой террор, да и никого не подговаривал на это[23], так мне казалось потому, что я окончательно погряз в тени контрреволюционных настроений, окончательно оторвался от советской действительности. Жизнь менялась, шла вперед, а я катился назад в лагерь контрреволюции. И теперь, в этом году, здоровые советские настроения стали для меня уже редкими гостями. Я стал врагом народа, не находя уже сил и не делая попыток к повороту на честный путь. Остальное все развивалось своим логическим путем. Если я не стал явным фашистом, погромщиком и бандитом, то оказался их союзником[24].

И я говорил о неравноправном положении русского народа в кругу других наций, национальностей Союза, о засилии евреев в литературе, пока что не делая лишь выводов из того, что говорил. Но по той же логике событий я должен был сделать и этот вывод и поддерживать, пусть на словах, погромную деятельность террористов-фашистов. На счастье моей семьи, моих детей, я предстану перед судом советского народа и с готовностью понесу любое наказание.

Мне остается лишь просить органы НКВД дать мне возможность очиститься от всех мерзостей, в которых я очутился, и честной работой быть полезным родине, врагом которой я оказался.

Из показаний В. Ф. Наседкина от 1 ноября 1937 года.

... Л. Н. Сейфуллина представляется мне совершенно в другом виде. Это глубоко советский человек, что было видно из каждого ее жеста и слова. Помню такой случай, и даже не один. Зайдя в комнату Правдухина и прислушавшись к тому, что говорилось нами, а говорилось в смысле опорочивания советской действительности, Л. Сейфуллина, протестуя, потребовала прекращения подобных разговоров...

У Андрея Платонова я бывал тоже два-три раза. Этот писатель со мной еще более молчалив, чем другие. По-моему, он молчаливым был со всеми. Политических разговоров он никак не поддерживал, беседы проходили только в рамках литературных дел. А когда я жаловался на трудности жизни вообще, он отмалчивался. Во время одной беседы я как-то задал ему вопрос — откуда у него такой пессимизм и страдания, которые чувствуются почти в каждом его рассказе? Вместо ответа Андрей Платонов лишь улыбнулся...

На какое-то время после дачи показаний Наседкина оставили в покое. Но через неделю или две, уже в ноябре (точная дата в протоколе отсутствует) из него стали выколачивать новые показания, заставив уже отвечать на прямые вопросы следователя. А потом еще раз вынудили при помощи пыток писать „характеристики" на своих друзей, объединенных в „гнездо террористов".

По существу эти показания мало чем отличаются от данных ранее. Они составлены уже по отработанному шаблону, и все же чувствуется, что какие-то концы у палачей не сходились. Скорее всего, Наседкин, по замыслу следователей, как последний оставшийся в живых участник „контрреволюционной группировки" должен был дать самые чудовищные показания, которые позволили бы поставить жирную точку в конце всего „дела". Не получалось. Энкаведешники приходили в бешенство, с одной стороны, от отсутствия нужных им деталей в показаниях, с другой стороны — от тех характеристик, которые поэт от своего имени и от имени своих друзей давал эпохе и власти. Еще месяц длились его мучения.

Из протокола допроса Наседкина Василия Федоровича от неизвестного числа ноября 1937 года.

Вопрос: Вы указали, что начали вести антисоветскую деятельность с 1932 года. Следствие располагает данными о том, что вы задолго до 1932 года вели антисоветскую деятельность и были связаны с рядом лиц, активно боровшихся против совввласти.

Ответ: Да, это правильно. В 1921 году я был в своей деревне в Башкирии. Окунув-

---

[22] Подчеркнуто рукой следователя. На полях — знак вопроса.

[23] Начиная со слов „и только зная" вся эта часть фразы зачеркнута.

[24] Эта фраза зачеркнута.

шись в крестьянскую мелкобуржуазную стихию, я почувствовал первые признаки шатания, которые росли, усиливались и привели к тому, что в августе того же года я вышел из партии, будучи не согласен с политикой партии. В период 1923—29 годов мои сомнения и колебания росли и развивались. К этому еще прибавлялось мое недовольство политикой партии в литературе. В 1929 году мои антисоветские настроения резко усилились. Наступали годы коллективизации, коренной ломки всего старого крестьянского уклада, и все мои шатания и колебания, которые были у меня раньше, сразу дали себя знать. Мне казалось, что незачем было переходить к коллективизации, а если и переходить, то не сразу, а в сроки более продолжительные.

Вопрос: Дайте показания, как вы использовали в антисоветских целях свою литературную деятельность и в каких произведениях вы выражали свои антисоветские взгляды.

Ответ: Несомненно, мои антисоветские настроения нашли отражение в ряде литературных произведений, написанных мною. В 1932 году я написал упадочное и явно контрреволюционное стихотворение „Буран", полное абсолютного неверия в силы партии и советского народа, полное глубокой безысходности[26].

Смысл, вложенный в это произведение, примерно следующий. Власть над народом захватили инородцы, которые попирают его национальные особенности. Русская культура уничтожена. Мы, русские, потеряли свою родину и отечество. Русская страна гибнет в результате политики инородцев[27].

Написал я это стихотворение в результате того, что страна идет к гибели, что руководство партии ведет неправильную политику, что коллективизация приведет страну к гибели, что правительство мало заботится о благосостоянии трудящихся. Я был озлоблен против руководства партии, так же как и лица, с которыми я сталкивался.

Помню, были разговоры и по вопросам национальной политики. Зачинщиком их обычно был Кауричев, и не скрою, иногда эти разговоры носили антисемитский характер, особенно при обсуждении литературных и всяких издательских дел. Конкретно говорилось, что русскому писателю труднее издать свою книгу, чем писателю-еврею, более ловкому и напористому. Выражалось недовольство и тем, что во главе издательств стоят люди, хорошо не знающие русский язык и тем более литературу. Имеется в виду Шульц Лазарь, заведующий издательства Московского товарищества писателей и „Советский писатель".

Говоря о литературных и издательских делах, мы иногда делали такой вывод: литературу заполнили евреи в ущерб русским. И вывод — помню хорошо одну такую беседу — был такой: если литература в руках евреев, то нам, русским, надо больше работать, быть культурнее евреев, так как было ясно, что в литературе бескультурный всегда будет побит более культурным, политически и литературно более подкованным. Мы же, русские, вернее, многие из нас — лентяи, пьяницы и крайне расхлябанная публика.

Допросил сотрудник резерва назначения 9 отделения 4 отдела ГУГБ *Шепелев.*

Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
21 ноября 1937 года. Город Москва.

1937, ноября 10-го дня я, сотрудник резерва назначения отделения 9 отдела 4 Главного управления государственной безопасности НКВД, рассмотрев следственный материал по делу и приняв во внимание, что гражданин Наседкин Василий Федорович, 1896 года рождения, бывший член ВКП(б) с 1917 по 1921 год, вышел из партии, будучи не согласен с политикой партии, поэт, член Союза советских писателей, достаточно изобличается в том, что на протяжении целого ряда лет, будучи озлоблен руководством партии и правительства, вел контрреволюционные террористические разговоры, был сторонником террористической борьбы против партии и правительства, одобрительно относился к той борьбе, которую вели троцкисты и „правые" против партии, являлся участником антисоветской группы литераторов, в которую входили Правдухин и Смирнов, Калиненко и другие, на сборищах группы вели контрреволюционные разговоры, питали надежды на переворот, на приход „правых" к власти, злобно критиковали все с контрреволюционных позиций, постановил:

Гражданина Наседкина В. Ф. привлечь в качестве обвиняемого по статьям 58—8, 58—10, 58—11 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей.

Уполномоченный *Шепелев.*

После этого Наседкин еще раз был вызван на допрос 27 ноября. Но никакого допроса не было. Шепелев не задал подследственному ни единого вопроса. Единственный документ, который был составлен в тот день, — это постановление об окончании следствия.

Обвинительное заключение по делу № 1441 по обвинению Наседкина Василия Федоровича по статьям 58—8, 58—10, 58—11 УК РСФСР.

Показаниями осужденных террористов Карпова, Клычкова С. А. установлено, что Наседкин Василий Федорович на протяжении ряда лет, будучи озлоблен против руководства партии и правительства, вел контрреволюционные террористические разговоры, был сторонником террористической борьбы и одобрительно относился к тем методам борьбы, которыми троцкисты и „правые" ведут борьбу против партии. Следствием установлено, что Наседкин Василий Федорович с 1931 по 1934 год был участником антисоветской группы литераторов в составе Правдухина, Смирнова и других. На сборищах этой группы велись контрреволюционные разговоры, злобно критиковались мероприятия партии и правительства с контрреволюционных позиций. Питались надежды на переворот, на приход к власти „правых". Наряду с этим Наседкин В. Ф., будучи озлоблен против руководства партии и

[26] Далее несколько строк густо зачеркнуты.
[27] —«—

правительства, вел террористические разговоры, сочувствовал террористам, одобрительно относился к этой борьбе, которую троцкисты и „правые" вели против партии. Виновным себя признал полностью.

На основании изложенного, Наседкин Василий Федорович, 1896 года рождения, уроженец деревни Вировка Каменецкого района Башкирской АССР, по социальному происхождению из крестьян-середняков, бывший член ВКП(б) с 1917 года по 1921 год, вышел из партии, будучи не согласен с политикой партии, до ареста литератор, обвиняется в том, что:

1. Был участником антисоветской группы литераторов, возглавляемой Правдухиным, присутствовал на сборищах группы, вел контрреволюционные разговоры, питая надежды на переворот, на приход к власти „правых", злобно критиковал мероприятия советской власти с контрреволюционных позиций.

2. Вел террористические разговоры, сочувствовал террористам, одобрительно относился к той борьбе, которую троцкисты и „правые" вели против партии, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58–8, 58–10, 58–11 УК РСФСР.

На основании изложенного обвиняемый Наседкин Василий Федорович подлежит суду Военной коллегии Верховного суда Союза ССР с применением закона от первого декабря 1934 года.

Сотрудник резерва назначения 9 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД *Шепелев.*

Согласен. Начальник 9 отделения 4 отдела ГУГБ майор государственной безопасности *Журбенко.*

Утверждаю. Начальник 4 отдела ГУГБ майор госбезопасности *Литвин.*

4 декабря 1937 года.

Утверждаю. Прокурор Союза ССР *Вышинский.*

30 декабря 1937 года.

Мало того, что Вышинскому потребовался целый месяц, чтобы подписать этот документ. Уже после составления обвинительного заключения Наседкин просидел в тюрьме 2,5 месяца! Машина НКВД дала сбой, который, скорее всего, был вызван междоусобной войной, день ото дня все сильнее полыхавшей в этом заведении.

Только 14 марта 1938 года состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда СССР по делу В. Ф. Наседкина. На следующий день состоялось судебное заседание, на котором Наседкин отказался от своих показаний, заявив, что давал их под пытками. Но его уже ничто не могло спасти.

Протокол закрытого судебного заседания выездной сессии Военной коллегии Верховного суда Союза ССР 15 марта 1938 года, г. Москва.

Председательствующий — диввоенюрист *Иевлев,*

члены — бригвоенюрист *Преображенцев,* военюрист первого ранга *Суслин.*

Секретарь — военный юрист третьего ранга *Козлов.*

Председательствующий объявил, что подлежит рассмотрению дело по обвинению Наседкина Василия Федоровича в преступлениях, предусмотренных статьями 58–8, 58–10 и 58–11 УК РСФСР.

Секретарь доложил, что подсудимый находится в зале и что свидетели по делу не вызывались. Председательствующий удостоверяется в самоличности подсудимого и спрашивает его, вручена ли ему копия обвинительного заключения, на что подсудимый ответил утвердительно.

Подсудимому разъяснены его права на суде и объявлен состав суда. Подсудимый ходатайств и отводов составу суда не заявил.

По предложению председательствующего секретарем оглашено обвинительное заключение. Председательствующий разъяснил подсудимому сущность предъявленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным, на что подсудимый ответил, что виновным себя не признает. От своих показаний на предварительном следствии отказывается, считая их ложными.

Оглашаются показания подсудимого от 20 ноября 37-го года. Подсудимый заявил, что эти показания написаны им под воздействием следствия. Группа писателей, перечисленных им в своих показаниях, не являлась антисоветской группой. Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.

Председательствующий объявил судебное следствие законченным и предоставил подсудимому последнее слово, в котором он заявил, что Клычкова он не видел и не встречался с ним более десяти лет. Он повинен в том, что в 1932 году сомневался в политике партии. Антисоветских разговоров ни с кем у него не было.

Суд удалился на совещание. По возвращении суда с совещания председательствующий огласил приговор.

Председательствующий *Иевлев*
Секретарь *Козлов*

ПРИГОВОР

Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная коллегия Верховного суда Союза ССР в составе председательствующего диввоенюриста Иевлева, членов бригвоенюриста Преображенцева и военного юриста первого ранга Суслина при секретаре военном юристе третьего ранга Козлове в закрытом судебном заседании в г. Москве от 15 марта 1938 года рассмотрела дело по обвинению Наседкина Василия Федоровича, 1896 года рождения, бывшего литератора, в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58–8, 58–10, 58–11 УК РСФСР.

Предварительным и судебным следствием установлено, что Наседкин с 1931 по 1934 год являлся участником антисоветской группы литераторов, возглавляемой Правдухиным, присутствовал на сборищах этой группы, злобно критиковал мероприятия советской власти и ВКП(б), одобрительно расценивал деятельность троцкистов и „правых" в борьбе против руководителей

ВКП(б) и советской власти, разделял их террористические установки и сам выражал террористические намерения. Таким образом, установлена виновность Наседкина в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58–8, 58–10 и 58–11 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 319 и 320, Военная коллегия Верхсуда СССР приговорила

Наседкина Василия Федоровича к высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Приговор окончательный и в силу постановления ВЦИК СССР от 1 декабря 1934 года в исполнение приводится немедленно.

Председательствующий *Иевлев*
Члены *Преображенцев*
Суслин

СПРАВКА

Приговор о расстреле Наседкина Василия Федоровича приведен в исполнение в Москве 15 марта 1938 года.

Акт о приведении приговора в исполнение хранится в Особом отделе Первого спецотдела НКВД СССР, том №3, лист №109.

Начальник 12 отделения Первого спецотдела НКВД СССР
лейтенант госбезопасности *Шевелев.*

Дважды еще запрашивалось „дело" расстрелянного поэта в связи с разработкой и арестом „связей" — в 1946 и в 1948 году. Запросы составляли начальник следственного отдела полковник госбезопасности Зименков и начальник 5 отдела УМГБ полковник Челноков.

А в 1956 году после запроса сына Василия Наседкина — Андрея — „дело" было пересмотрено, и поэт был реабилитирован. За подписью зам. председателя Военной коллегии Верховного суда Союза ССР полковника юстиции В. Борисоглебского была составлена циничная и лживая справка с искаженной датой смерти. В. Борисоглебский составлял подобные же справки и на других репрессированных, в частности на Ивана Приблудного, Петра Орешина, Сергея Клычкова. Документам, подписанным его фамилией, нельзя верить ни на грош.

И здесь обнаруживается парадоксальная вещь: по крайней мере одна книга Василия Наседкина — „Последний год Есенина" — еще на протяжении 15 лет после расстрела ее автора не изымалась ни из библиотек, ни из книжных магазинов. Она была изъята лишь в 1953 году Главлитом СССР, как об этом свидетельствует в подписанной им справке зам. начальника Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати А. Котленец.

Чем объяснить эту ситуацию: книга репрессированного „врага народа" до самой смерти Сталина свободно продается в книготорговой сети и живет своей жизнью среди читателей? Этого мы никогда, наверное, не узнаем, но есть же в этом некий таинственный смысл!

Публикация, подготовка текста и комментарии С. ВОЛКОВА.

Вадим КОЖИНОВ

ИСТОРИЯ РУСИ И РУССКОГО СЛОВА

Впрочем, было бы неправильно умолчать о другой стороне вопроса – о названии «Русь». Дело в том, что на первоначальной территории нашей страны есть множество древних географических названий (прежде всего названий рек, а также селений) с корнем «рос» и «рус»; одним из первых серьезных размышлений на эту тему была небольшая статья В.А.Брима «Происхождение термина «Русь»[1]. Ее выводы так или иначе поддержали позднее М.Н.Тихомиров, Б.А.Рыбаков, В.В.Мавродин и др. Не отрицая все значение скандинавско-финского термина, есть достаточные основания полагать, что термин этот был «подкреплен» близким по звучанию местным названием и в конечном счете только поэтому приобрел столь существенное значение, став названием народа и страны.

В указанной выше новейшей работе Е.А.Мельниковой и В.Я.Петрухина эта концепция, по сути дела, отвергается. Авторы исходят, во-первых, из того, что вначале древние гидронимы и топонимы звучали не как «рус», а как «ръс» (слово с редуцированным гласным, не имеющее-де возможности соотнестись с корнем «рус»). Однако для соотнесения двух наименований вполне достаточна и такая звуковая близость; полное совпадение здесь едва ли обязательно. Так, например, сами авторы рассматриваемой работы настаивают на том, что византийцы отождествляли «Русь» с мифическим северным народом из мира Ветхого завета – «Рош». Более того, они утверждают, что целый ряд упоминаний древнейшей «Руси» в письменных источниках на самом деле исходил именно из этого библейского этнонима (то есть названия народа).

Но по крайней мере одно из наиболее ранних письменных упоминаний о «Руси», исследованное замечательным – принадлежащим к наиболее выдающимся в XX веке – историком Н.В.Пигулевской (о ней мы еще будем подробно говорить), никак не может быть возведено к ветхозаветному этнониму, – хотя Е.А.Мельникова и В.Я.Петрухин пытаются истолковать это древнейшее упоминание о Руси именно так.

В своей лаконичной работе «Имя «рус» в сирийском источнике VI в.н.э.»[2] – Н.В.Пигулевская показывает, что еще в 555 году, то есть в середине VI (!) века, когда никаких скандинавских пришельцев на Руси не было и в помине, сирийский хронист, находившийся в городе Амиде на реке Тигр, составил рассказ о народах, обитающих в «северной стороне» – то есть в кавказском регионе, и далее на север. Рассказ этот отличается большой точностью, ибо речь в нем идет об армянах, грузинах, абхазах (абазгах) и, далее, булгарах и аланах. Хронист сообщил, что все эти сведения он получил от двух жителей города Амида (названы даже их имена – Фома и Иоханан), которые еще в 503 году были взяты в плен знаменитым персидским шахом Кавадом I, проданы в рабство и оказались в землях севернее Кавказа, где прожили несколько десятилетий, возвратившись затем в Амид. Перечислив указанные народы, «информаторы» сирийского хрониста сообщили ему, что еще далее на север – то есть именно где-то на будущей территории Руси – обитает народ «рус» (который в данном случае никак не связывается с библейским «рош»).

У нас нет достаточных оснований утверждать (хотя некоторые историки поступали именно так), что этот самый народ «рус» – наш прямой и непосредственный «предок»; неясно и происхождение данного этнонима. Но тот факт, что этноним «рус» существовал на территории будущей Руси по меньшей мере за два столетия до появления здесь норманнов – «руси», имеет неоценимое значение. Из этого следует, что финское, а затем славянское наименование варяжской дружины словом «русь» нашло прочную опору в «туземном» имени и только потому смогло в конечном счете стать названием будущей великой страны[3], – хотя, повторю, сам этот древнейший этноним «рус», зафиксированный в

Продолжение. Начало в №№ 6 – 9 за 1992 год.

[1] В кн.: Россия и Запад. – Пг., 1923, т.1, с.5-10.

[2] См.: Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. Сборник статей. – М., 1952, с.42-48.

[3] Эта точка зрения обоснована, в частности, крупнейшим польским славистом Хенриком Ловмяньским в его трактате «Русь и норманны» (М., 1985, с.187-190), хотя в комментариях, составленных тем же В.Я.Петрухиным, концепция Ловмяньского отвергается (с.283).

достоверном сирийском источнике, остается для нас недостаточно ясным, даже загадочным.

В связи с этим становятся более достоверными и неоднократные упоминания о «русах» (обитающих «где-то в районе севернее Кавказа») в составленных в разное время арабских хрониках, повествующих о древних событиях, относящихся к VI - VII векам. Эти упоминания охарактеризованы в обстоятельной работе А.П.Новосельцева[4].

РУСЬ, ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ И ВИЗАНТИЯ

Обращаюсь к другой исторической силе, сыгравшей громадную роль в первоначальной истории Руси и, в частности, имеющей самое прямое отношение к содержанию русского героического эпоса. Речь идет о Хазарском каганате.

Правда, отношения Руси с Хазарским каганатом и, с другой стороны, с Византийской империей оказались уже в довольно ранний период - с 860-х годов - в теснейшей взаимосвязи, и их, в сущности, невозможно рассматривать по отдельности. Но начать все же уместно с вопроса о Хазарском каганате.

До последних десятилетий роль его в истории Руси оставалась явно недостаточно выясненной, а многие из имевшихся налицо сведений представлялись сомнительными, оспаривались или даже вообще отвергались. Одна из главных причин такого положения состояла в том, что летописные известия о хазарах - в сравнении с известиями о тех же варягах или о Византии - очень и очень скудны и отрывочны. Это, в частности, побуждало считать значение Хазарского каганата в истории Руси не столь уж существенным.

Однако малое внимание летописи к хазарам имеет свое совершенно естественное объяснение. Ведь непосредственно дошедшие до нас летописные своды были составлены не ранее десятых годов XII века; хазары к тому времени - поскольку Хазарский каганат был разгромлен еще князем Святославом в 960-х годах - уже полтора столетия не играли значительной роли, между тем как и Византия и варяги продолжали в конце XI - начале XII века быть очень важными «факторами» в жизни Руси, и о них не забывали.

В монографии А.П.Новосельцева (в главе «Источники о хазарах и Хазарском государстве») отмечено, что «летописание на Руси возникло ... когда Хазарского государства уже не существовало. В ПВЛ (то есть «Повесть временных лет». - В.К.) ... вошли известия о хазарах, основанные главным образом на преданиях и устной традиции. Их немного ...»[5] Да, в летописи о хазарах содержатся только или самые лаконичные сведения («...хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма ...»; «и в битве одолел Святослав хазар и город их и Белую Вежу взял ...»), или же «нравоучительная» притча о предложенной Русью хазарам дани мечами[6] - дани, которая затем как бы обернулась против завоевателей.

Но летописные сведения о хазарах можно воспринять и совершенно по-иному. Широко известный в свое время «хазаровед» Ю.Д.Бруцкус (брат видного экономиста Б.Д.Бруцкуса, высланного в 1922 году из России) вполне справедливо писал: «Если приглядеться к первым страницам начальной русской летописи и исключить заимствования из греческих хронографов и привходящие легендарные сказания, то можно заметить, что почти все первые оригинальные записи посвящены борьбе с хазарами»[7]. Это действительно так, и скудость таких «оригинальных» (то есть собственно русских) записей не будет нас смущать, если мы осознаем, что другие русские записи вообще почти отсутствуют и, значит, хазарская тема является для начальных страниц летописи главной.

Однако на этот факт никто, кроме цитированного автора, не обращал внимания, и в результате историки с недоверием или же без должного внимания относились к достаточно многочисленным сведениям об очень существенной роли Хазарского каганата в истории Руси - сведениям, содержащимся в арабских, византийских, хазарских и других иноязычных источниках.

Только в новейшее время произошел своего рода перелом в понимании значения Хазарского каганата в истории Руси, - перелом, связанный прежде всего с очень интенсивными и результативными археологическими исследованиями на «славяно-хазарском пограничье» (это определение принадлежит наиболее выдающемуся исследователю в этой области С.А.Плетневой), то есть прежде всего в верхнем течении Дона и Северского Донца.

Действительно, летопись, составленная в начале XII века, содержит крайне мало сведений о хазарах. Но есть и более древние русские источники, восходящие непосредственно к IX - X векам; правда, глубоко своеобразные источники, которые запечатлели историческую ситуацию «Русь и Хазарский каганат» с исключительной широтой и полновесностью. Речь идет не о чем ином, как о героических былинах.

Осознание этого факта уже совершается в современных трудах о русском эпосе. Так,

---

[4] Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI - IX вв. - В кн.: Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное значение. - М., 1965, с.362-365.

[5] Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. - М., 1990, с.34.

[6] Л.Н.Гумилев полагает, что эта притча в преобразованном виде запечатлела совершившееся некогда изъятие хазарами оружия у русской дружины (см. его статью «Сказание о хазарской дани...» в журнале «Русская литература», 1974, № 3, с.164-174).

[7] Бруцкус Ю.Д. Письмо хазарского еврея от X века. Новые материалы по истории южной России времен Игоря. - Берлин, 1924, с 19.

один из плодотворно работающих в этой сфере исследователей, В.П.Аникин, анализируя одну из известнейших былин - о Добрыне-змееборце, писал недавно, что «нельзя оставить без внимания догадку, высказанную еще учеными 60-х (точнее, еще 50-х[8]. - В.К.) годов XIX века. Они считали, что татаро-монголы как исторические враги Древней Руси заменили собой в эпосе более древних врагов ... Такая точка зрения встретила в последующее время поддержку в работах А.Н.Веселовского, П.В.Владимирова, А.М.Лободы и др.». В.П.Аникин здесь же дает соответствующие ссылки и предлагает, в частности, видеть в былине о Добрыне «первоначальный поэтический отклик на столкновение Киевской Руси с древней Хазарией»[9].

Да, в былинах в качестве врага обычно выступают «татары». Но самый факт замены имени древних врагов именем врагов более поздних не только не является чем-то исключительным, но, напротив, довольно типичен для произведений, существующих в устной традиции.

Исследовательница среднеазиатского фольклора Л. С. Толстова показывает, что устным преданиям «присущи... сдвиги в хронологии, замена одного народа (например, народа-завоевателя) другим и пр. Так, в фольклоре народов Средней Азии воспоминания об относительно поздних завоеваниях калмыков затмили даже предания о нашествии Чингисхана; образы монголов и калмыков контаминировались»[10] (это в самом деле удивительно: более поздний не столь уж сильный враг заслонил могущественнейших монголов!).

Или другой пример: в древнегрузинских преданиях, изложенных в созданной в конце XI или в начале XII века Леонти Мровели хронике «Жизнь картлийских царей», имена целого ряда врагов, нападавших на Грузию в древние времена с севера, из-за Кавказского хребта, заменены именем «наиболее позднего» северного врага, чьи нападения относятся в основном к VII - VIII векам. Любопытно, что в данном случае этим поздним, заслонившим предшествующих, врагом были именно хазары. Как пишет грузинский историк Л. С. Давлианидзе, «в IV в. на самом деле велись жестокие бои с некоторыми племенами Северного Кавказа, а летописцы последующих времен приписали их хазарам[11]» (которые в то время находились еще далеко от Кавказа). Историк только едва ли правильно считает, что именно летописцы приписали эти нападения хазарам; скорее всего, замена имени совершилась еще в устных преданиях, на которых основывались жившие намного позже летописцы. Известно, что тот же Леонти Мровели «широко пользовался устными преданиями» (указ. изд., с. 11).

В русских же былинах как раз хазар заменили позднейшие татары, или, вернее, монголы, которых стали называть татарами. В дальнейшем я буду стремиться доказать, что героический эпос Руси, воплотившийся в основном фонде былин, порожден именно борьбой с Хазарским каганатом, которая определяла ход русской истории более полутора столетий, - примерно с начала второй четверти IX века до последней трети X века.

Забегая вперед, отмечу, что и древнейшие литературные, письменные произведения Руси, которые на первых порах имели, за немногими исключениями, богословский характер, в большинстве своем заострены против иудаизма - государственной религии Хазарского каганата. Речь идет о произведениях XI - первой половины XII века, хотя не все они получили бесспорную датировку (некоторые из них те или иные исследователи стремились отнести к более позднему времени). Именно противоиудаистская направленность определяет содержание таких творений, как «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона (1049), «Речь философа», составляющая очень важную часть «Повести временных лет» (XI в.), «Словеса святых пророков» (по-видимому, конец XI - начало XII века), «Палея толковая на иудея» (наиболее монументальное из древнерусских произведений, отнесенное М. Н. Тихомировым ко времени не позже XII века); есть противоиудаистская тема и в «Житии Феодосия Печерского» преп. Нестора, и у св. Кирилла Туровского, и в «Киево-Печерском Патерике» и т. д. Значительных произведений XI - первой половины XII веков, в которых нет этой темы, меньше, нежели тех, в которых она присутствует или даже господствует. М. Н. Тихомиров на страницах своего труда «Философия в древней Руси» с полным основанием утверждал, что XI - первая половина XII века - это время, когда создаются прежде всего «противоиудейские философско-религиозные трактаты»[12].

При этом не менее важно отметить, что позднее - с середины XII и до конца XV века (когда распространилась «ересь жидовствующих»), то есть на три с лишним столетия, - противоиудаистская проблематика как раз почти полностью исчезает из русской литературы. Ибо духовное противоборство с Хазарским каганатом уже совершено, исполнено, и литература переходит к другим целям и предметам. Своего рода господство противоиудаистской темы на начальном этапе истории русской литературы (до середины XII века) - это очень существенный аргумент в пользу того, что в IX-X веках главной целью Руси было противостояние Хазарскому каганату.

Таким образом, литература, создававшаяся в XI - первой половине XII века, не-

---

[8] Я имею в виду статьи о былинах А.С.Хомякова (1852) и К.С.Аксакова (1856).

[9] Аникин В.П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. - М., 1984, с.157-158 (см. также далее).

[10] Толстова Л. С. Использование фольклора при изучении этногенеза и этнокультурных связей народов (на среднеазиатском материале). - В кн.: Фольклор и историческая этнография. - М., 1983, с. 9.

[11] См: Мровели Леонти. Жизнь картлийских царей. Извлечение сведений об абхазах, народах Северного Кавказа и Дагестана. - М., 1979, с. 74, а также с. 88-89 и др.

[12] Тихомиров М. Н. Русская культура X-XVIII вв. - М., 1968, с. 127.

посредственно после создания героических былин, по-своему продолжала их дело, а с середины XII века наступает уже совсем иная эпоха в истории русского Слова.

В частности, немалое место в литературе заняла тема взаимоотношений с половцами. Как уже было отмечено, едва ли не в большинстве работ о былинах с давних пор выражалось представление, согласно которому былины-де и «отразили» главным образом борьбу с половцами. В частности, так называемая историческая школа в изучении русского эпоса обычно занималась сопоставлением образов и сюжетов былин с летописными сведениями именно о половцах. Правда, это делалось нередко, в сущности, только потому, что в летописях было «легче» искать прообразы былин, нежели в истории Руси в целом (то есть и в «темных» ее местах); летописи являли собой – о сей шутке уже шла речь – своего рода «фонарь», в свете которого проще было нечто «найти» ... Но все же нельзя не коснуться проблемы «Русь и половцы».

КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ТЕМЕ «РУСЬ И ПОЛОВЦЫ»

Выше я стремился доказать, что русский эпос сложился не позднее начала XI века, то есть еще до появления половцев (они оказались у границ Руси лишь в середине XI века). Но дело не только в этом. Вполне можно допустить, что в былинный эпос вошли и те или иные (в том числе, не исключено, и весьма значительные) элементы, запечатлевшие столкновения Руси с половцами. Но есть все основания утверждать, что и масштабы, и самый характер этих столкновений не могли бы породить героический эпос. Борьба Руси и половцев, как это убедительно показано в ряде работ авторитетных исследователей, отнюдь не являла собой борьбу, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Это было, скорее, воинское соперничество, состязание, «охота» друг на друга, которая – и это глубоко показательно – в любой момент могла обернуться союзом, совместными действиями и даже прямой дружбой.

В этом отношении очень выразительно одно из сообщений в «Поучении» Владимира Мономаха, который являл собой, несомненно, главного героя всей полуторавековой борьбы с половцами. Тем не менее, поведав о своих многочисленных столкновениях с половцами, он не без гордости писал в заключение: «И миров заключил с половецкими князьями без одного двадцать ... раздаривал много скота и много одежды своей. И отпустил из оков лучших князей половецких столько: Шаруканевых двух братьев, Багубарсовых трех, Осеневых братьев четырех, а всего других лучших князей сто» (перевод Д. С. Лихачева). К этому уместно еще добавить, что Владимир Мономах женил своих сыновей Юрия Долгорукого и князя Переяславского Андрея на половчанках, и такие наиболее выдающиеся его внуки, как Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, вместе с тем были и внуками половецкого хана Аепы ...

Разумеется, отношения с половцами – это все же боевое соперничество, нередко приводившее к тяжким жертвам и бедам. Однако в противоборстве с половцами никогда не было даже и намека на, скажем, потерю Русью независимости, не говоря уже об ее гибели. Известный историк В. Т. Пашуто подчеркивал: «В целом половецкие набеги охватывали (как отметил уже Д. Расовский[13]) около $^1/_{15}$, главным образом степной, части страны ... ни Галич, ни Полоцк, ни Смоленск, ни Новгород, ни Суздаль не были для них досягаемы, а в Киев, Чернигов и Переяславль они вступали лишь в качестве княжеских наемников»[14].

Последнее замечание особенно существенно: русские князья (и это, конечно, посвоему весьма безотрадный факт) нередко нанимали половцев для нападений на своих единоплеменных соперников... Но из этого следует сделать вывод (который будет еще подкреплен ниже), что отношения с половцами в определенной степени были аналогичны отношениям отдельных соперничающих между собой княжеств Руси конца XI – начала XIII века. И не будет натяжкой утверждение, что половцы воспринимались тогда как некое «приложение» к Руси (изначально многоэтнической), как ее – пусть и «внешняя» – часть.

Поэтому редколлегия содержательного коллективного труда о составных частях Древней Руси – «Древнерусские княжества X-XIII вв.» (1975) – поступила, без сомнения, совершенно правильно, включив в труд, наряду с главами «Киевская земля», «Черниговское княжество» и т. д., и главу «Половецкая земля». Ее автор С. А. Плетнева говорит, что с 1055 года «началась сложная, полная браков и битв, набегов и военных союзов совместная двухсотлетняя история двух народов». Уже с 1070-х годов (а появились половцы в 1050-х годах) «половцы начали участвовать в войнах, которые вели русские князья с соседями»[15].

Образованнейший историк Е. Ч. Скржинская доказывала, что «половцы с середины XI до середины XIII в. были постоянным элементом истории Киевского государства ... половцы, при всей серьезности и опасности встреч с ними, стали, если можно так выразиться, обыденным явлением русской жизни»[16].

Нельзя не сослаться и на опубликованную впервые еще в 1947 году работу крупнейшего тюрколога В. А. Гордлевского о половцах, в которой решительно оспаривалось представление о них как о непримиримых, «смертельных» врагах Руси. В этой работе в частности, утверждалось, что после первых действительно острых столкновений «взаи-

---

[13] Речь идет об опубликованной в 1935 году в Праге работе замечательного историка-эмигранта Д. А. Расовского (1902-1941).- В.К.

[14] Древнерусское государство и его международное значение. – М., 1965, с. 98.

[15] Древнерусские княжества X-XIII вв. – М., 1975, с. 260-267.

[16] Скржинская Е. Ч. Половцы. Опыт исторического истолкования этникона. – «Византийский временник», т. 46, М., 1986, с. 255, 259.

моотношения между народами, русским и половецким, были и более тесны, и более дружественные, они вросли в повседневный быт»[17]. Наконец, другой исследователь «Слова о полку Игореве» А. Н. Робинсон пишет, что отношения русских и половцев развивались «в виде постоянно чередовавшихся взаимных набегов и союзов, нередко скреплявшихся династическими браками»[18].

Привести здесь суждения исследователей «Слова о полку Игореве» особенно важно. Ибо именно это творение более всего, пожалуй, способствовало формированию весьма неточного или даже просто ложного представления о взаимоотношениях русских и половцев.

Перед нами лиро-эпическая поэма о судьбе героя, который претерпел поражение и позор плена в результате похода на половцев - кстати сказать, по целям своим тождественного половецким набегам: воины Игоря сражаются, «ища себе чести, а князю - славы», и, с другой стороны, после начальной своей победы они «помчали красных девушек половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие аксамиты».

Правда, некоторые исследователи «Слова» усматривали в походе Игоря гораздо более значительную цель, основываясь на одной детали повествования: киевские бояре говорят, что Игорь и Всеволод стремятся «поискать града Тьмутороканя», то есть утраченного достояния Руси, входившего в ее состав до рубежа XI-XII веков. Но, во-первых, Тмуторокань упомянута в «Слове» явно потому, что ею владели прямые предки Игоря (последним тмутороканским князем был его дед Олег Святославич, а может быть, и дядя - Всеволод Ольгович), а во-вторых, идея возвращения дальнего тмутороканского наследства с помощью весьма малочисленного Игорева войска была, конечно же, чисто утопической.

Важно понять, что в глазах автора «Слова» «честь» и «слава» победы над Кончаком и захват его богатств были привычными для того времени (и не только на Руси, но и, скажем, в тогдашней Европе) целями воинского похода. Но, взявшись воспевать этот поход, творец «Слова» не мог не «утяжелить» и не обострить коллизии своей поэмы. Он повествует о противниках Игоря не столько как об участниках очередного воинского «состязания», сколько как о непримиримо враждебной и крайне опасной силе, хотя «фактическая» сторона даже и самого «Слова о полку Игореве» способна породить существенно иные представления о происходившем; ведь достаточно вдуматься в тот факт, что плененного сына героя, Владимира Игоревича, не только не убивают и не превращают в раба, но собираются женить на дочери победителя - главного тогда половецкого хана Кончака ... Однако лирический пафос «Слова», голос самого его создателя внушает совсем иное понимание отношений с половцами.

«Слово о полку Игореве», независимо от его конкретного содержания, - безусловно гениальное художественное творение, и с точки зрения собственно художественной ценности оно являет собой, несомненно, высшую вершину древнерусской литературы, что и обеспечило «Слову» не сопоставимое ни с чем (если говорить о литературе Древней Руси) ценностное признание и всенародное приятие. Но нельзя не сказать, что эта - конечно, вполне оправданная - выделенность «Слова», превратившая его в своего рода полномочного представителя литературы Древней Руси, в ее главный символ, привела к неверному, затемняющему реальный путь русской словесности представлению, в силу которого поэма воспринимается и читателями, и - а это совсем уже прискорбно - многими исследователями как своего рода «начало», «исток», «пролог» (последний термин употребляет даже Д. С. Лихачев!) отечественной литературы.

Между тем «Слову о полку Игореве» предшествует по меньшей мере полуторавековая полноценная история письменной литературы («Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона создано в 1049 году, а «Слово о полку Игореве» - не ранее 1185-го) и, кроме того, едва ли менее длительная история былинного эпоса, который начал складываться никак не позже рубежа IX-X веков. То есть за плечами безымянного создателя поэмы конца XII века была трехсотлетняя история русского искусства слова ...

И из исследований стиля поэмы об Игоре со всей ясностью вытекает, что перед нами порождение вовсе не некой начальной стадии истории словесности, но, напротив, исключительно высокоразвитого, даже изощренного, своего рода уже и «избыточного» искусства слова.

Между прочим, одним из наиболее сильно действующих факторов, внушающих неверное представление об «изначальности» «Слова», является, без сомнения, его безымянность. Раз, мол, даже имя автора произведения не дошло до нас, значит, перед нами нечто очень архаичное. При этом, как ни странно, забывают, что существуют десятки более и даже намного более ранних (то же «Слово» Илариона) произведений, авторы которых хорошо известны. Есть все основания полагать, что безымянность «Слова» входила в замысел его создателя, была вполне осознанной. Он стремился представить свое «Слово» как некую «всеобщую» песнь, которая звучит из уст всех его «братьев». Это можно сравнить, например, с первоначальным безымянным изданием поэмы Маяковского «150000000». То есть безымянность «Слова» - это не выражение «доиндивидуальной» архаики, а, напротив, некий сознательный «изыск» создавшей его личности.

Это вовсе не было чем-то исключительным для того времени. Созданные примерно тогда же «Моление» Даниила Заточника или «Слова» Кирилла Туровского отличаются

---

[17] Гордлевский В. А. Что такое «босый волк»? (К толкованию «Слова о полку Игореве») - В его книге: Избранные сочинения, т. 3, М., 1961, с. 487.

[18] Робинсон А. Н. О задачах сближения славистической и тюркологической традиции в изучении «Слова о полку Игореве. - В кн.: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI-XVI веков. - М., 1978, с. 202.

также в высшей степени изощренным стилем и образностью. Тем не менее именно художественная зрелость «Слова о полку Игореве» явилась, по-видимому, главным поводом для сомнений в его древности. Между тем Пушкин, о несравненной объективности суждений которого говорилось в предисловии, поистине неоспоримыми доводами отверг самую возможность «подделки» этого творения в конце XVIII века:

«Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта?..». Они «не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя?»[19].

Об этом необходимо сказать сегодня, ибо в период «гласности» очередной раз начались попытки объявить «Слово» фальсификацией, сконструированной в конце XVIII века. В частности, опубликованы острые заметки самого активного «скептика» А. А. Зимина (вообще-то замечательного историка Руси XV – начала XVII веков), который очень, пожалуй, даже чрезмерно горячо стремился «развенчать» древность «Слова», посвятив этому делу в 1960-х – начале 1970-х годов более десятка публикаций. Но в высшей степени характерно его собственное объяснение владевших им побуждений, – объяснение, записанное в 1978 году:

«Выступление с пересмотром традиционных взглядов на время создания «Слова о полку Игореве» было борьбой за право ученого на свободу мысли. Речь шла не о том, прав я или нет... было тошно от казенного лжепатриотизма, расцветшего в 40–50-е гг.»[20].

Это по-своему поразительное признание, ибо А. А. Зимин явно не отдает себе отчета в том, что он оказывается, по сути дела, в той же позиции, что и вызывающие «тошноту» представители «казенного лжепатриотизма», ибо его – по его же словам – вдохновляло не столько стремление к беспристрастной истине, сколько борьба с «лжепатриотами» ...

* * *

Говоря о поэме об Игоре, нельзя не подчеркнуть, что в отличие от предшествующих ей сочинений искусство слова явно предстает здесь в своей собственной сущности; это, пожалуй, первое действительно «чисто» художественное творение, не отягощенное, подобно более ранним, мифологическими (элементы мифа выступают в поэме об Игоре, о чем уже шла речь выше, не в своем содержательном значении, но в качестве художественно-формальных, как средство образотворчества), богословскими, ритуально-обрядовыми (что присутствует, например, в былинах) и иными идеологическими и бытовыми компонентами. Кстати сказать, в значительной мере именно потому «Слово о полку Игореве» так легко и естественно было воспринято и оценено самыми широкими кругами людей в новейшее время, в XIX-XX веках.

И следует со всей решительностью утвердить, что поэма об Игоре являет собой отнюдь не «начало», но, напротив, завершение, конец определенной эпохи, определенного «цикла» в развитии русского словесного искусства, – соответствующий концу истории Киевской Руси, которая сменяется историей Руси Владимирской и, далее, Московской. Разумеется, концом эпохи в прямом и резком смысле было Монгольское нашествие, после которого культура и литература во многом начинают развиваться, так сказать, заново, с самого начала, что ясно видно, например, при сопоставлении изощреннейшего искусства того же «Слова о полку Игореве» и обнаженной простоты и безыскусности «Повести о разорении Рязани Батыем». Лишь позднее, в XIV веке, совершается «возрождение», воскрешение культуры домонгольской, Киевской Руси.

Но вернемся к вопросу об исторической основе «Слова о полку Игореве», то есть к проблеме «Русь и половцы». Поскольку дело идет о пронизанном лиризмом, властным голосом творца поэмы образе героя и его драматической судьбе, тема половцев, естественно, предстает здесь как тема безусловно чуждой, враждебной и грозной силы. И, повторяю, воплощение этой темы в художественном мире «Слова о полку Игореве» для многих и многих людей явилось и является основой общего представления о значении и роли половцев в реальной истории Руси.

Однако если обратиться к действительным взаимоотношениям хотя бы двух главных исторических личностей, чьи образы созданы в «Слове» – князя Игоря и хана Кончака, – все предстает в совершенно ином свете. Эти взаимоотношения подробно рассмотрены, например, в недавней монографии С. А. Плетневой «Половцы» (М., 1990, с. 157–168).

В 1174 году двадцатитрехлетний князь Новгород-Северский Игорь Святославич впервые столкнулся с ханом Кончаком, грабившим окрестности Переяславля-Русского, и прогнал его войско в степь. Однако через пять лет, в 1180-м, Игорь и Кончак вступили в самый дружественный союз и совместно пытались – ни много ни мало! – захватить Киев, где правил тогда давний соперник Игоря – князь Рюрик Ростиславич. В сражении за Киев Игорь и Кончак были наголову разбиты и как-то даже трогательно спаслись от возмездия, уплыв «в одной лодье» к Чернигову. И когда через три года, в 1183 году Кончак собрался пограбить южнорусские земли, Игорь «отказался участвовать в отражении половецкого удара, за что переяславский князь Владимир Глебович в гневе разорил несколько северских (то есть Игоревых. – В. К.) городков» (указ. соч., с. 158).

Дружественные отношения Игоря с Кончаком тем более естественны, что его бабушка, супруга его деда Олега Святославича, была дочерью половецкого хана Осулука (то есть в жилах Игоря, как, впрочем, и многих других тогдашних русских князей, текла половецкая кровь), а дочь другого хана, Аепы, являлась первой женой его отца, Святослава

[19] Пушкин А. С., указ. изд., т. 8, с. 501.

[20] Зимин А. А. Обретение свободы. – Журн. «Родина», 1990, № 8, с. 88.

Ольговича, и сам Игорь поддерживал добрые отношения с ее половецкими родственниками.

Существует и точка зрения, согласно которой Игорь был сыном именно первой жены Святослава, то есть половчанки (в таком случае он оказывается на «три четверти» половцем); по другим сведениям, матерью Игоря (то есть второй женой Святослава Ольговича) была дочь Юрия Долгорукого от первой его жены, каковая (как и первая жена Олега Святославича) – дочь хана Аепы; в этом случае Игорь является «наполовину» половцем. Так или иначе, но облик его родного брата Всеволода Святославича («буй-тура»), воссозданный знаменитым скульптором-антропологом М. М. Герасимовым по его сохранившемуся черепу, – явно «половецкий» (см. фотографию герасимовского бюста в книге: Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. – М., 1971, с. 127).

Поэтому, в частности, популярные живописные воссоздания Игоря (например, у Ильи Глазунова), изображающие его в исконно, чисто «славянском» духе (белокурый, голубоглазый, с «арийским» складом лица), едва ли сколько-нибудь основательны.

За год до событий, воссозданных в «Слове о полку Игореве», в 1184 году, Кончак снова попытался пограбить соседей, но несколько южнорусских князей, объединившись – Игоря среди них не было! – жестоко разгромили и разграбили изготовившийся для нападения половецкий лагерь. И на следующий год Игорь (что было даже несколько неожиданно) решил, так сказать, добить и дограбить своего недавнего союзника, но в результате потерпел полное поражение, был ранен и оказался в плену.

Однако на этом история взаимоотношений Игоря и Кончака не завершается. С. А. Плетнева, основываясь на многолетних исследованиях, пишет, что «Кончак, узнав, что Игорь ранен, поручился за него перед взявшим Игоря в плен Чилбуком из орды Тарголове и отвез его в свое становище. Сына Игоря взял в плен Копти из Улашевичей. Тем не менее, как и отец, Владимир очень скоро оказался в ставке самого Кончака, где и встретился со своей будущей женой – Кончаковной... Пленный Игорь... свободно ездил на охоту, даже призвал к себе попа – в общем, вел вольную жизнь. Недаром ему так легко было бежать из плена ... Представляется весьма вероятным, что побег этот не был неожиданным для Кончака ... Кончак постарался женить юного Владимира Игоревича (ему было 15 лет. – **В. К.**) на своей дочери. Все эти действия направлены были на то, чтобы приобрести в лице Игоря и всей его обширной родни надежных союзников. В 1187 г. Кончак окончательно закрепил дружбу и союз, отпустив Владимира «ис половец с Кончаковною ... и детятем» ... после всех этих событий летописец не зафиксировал ни одного набега Игоря на владения Кончака» (с. 164, 165–166).

Следует добавить, что сын и преемник власти Кончака принял православие и носил имя Юрий Кончакович. В 1206 году он, уважаемый на Руси человек, выдал свою дочь за будущего великого князя, сына Всеволода Большое Гнездо, Ярослава – отца Александра Невского (правда, последнего родила не половчанка, а вторая жена Ярослава). А в 1223 году Юрий Кончакович сражался с монгольской ордой при Калке плечом к плечу со своим племянником Изяславом – сыном его сестры Кончаковны и Владимира Игоревича – сына героя «Слова».

Уже из этой истории семейных взаимоотношений русского князя и половецкого хана, явившихся прототипами главных героев «Слова о полку Игореве», ясна вся сложность и многозначность темы «русские и половцы». А ведь речь идет о людях, чьи художественные образы оказали, по-видимому, наибольшее воздействие на одностороннюю, прямолинейную трактовку этой самой темы – как темы непримиримого и жестокого противостояния ...

Не исключено, что эти мои суждения будут восприняты как некое «принижение» столь чтимого всеми «Слова» ... Но такое восприятие было бы совершенно неосновательным. Во-первых, «Слово», как уже сказано, – одно из древнейших собственно художественных творений на Руси. А для величия художественного мира в конце концов не существенна «реальная» основа: этот мир может опираться и на точно воссозданные действительные события, и на события, которые в значительной степени или даже целиком являются плодом творческого вымысла художника. Так, одна из величайших (если не величайшая) из русских поэм – пушкинский «Медный всадник» – не могла бы возникнуть без очень существенной доли вымысла (к тому же ирреального, фантастического вымысла).

С другой стороны, «Слово», как и многие другие высшие творения русского искусства, живет не своей связью с определенным отдельным событием, а воплощенной в нем целостностью исторического бытия Руси вообще. Его породило не столько противоборство Игоря с Кончаком, сколько глубокая память обо всех прежних битвах и жертвах Руси и, более того, вещее предчувствие, предсказание грядущих битв и жертв – в том числе, конечно, и столкновения с роковой мощью монгольского войска (об этом не раз говорилось в литературе), которое подошло к Руси менее чем через сорок лет после Игорева похода. И, говоря об определенном «несоответствии» действительных отношений Руси с половцами и той «картины» этих отношений, которая предстает в «Слове», я преследовал простую цель: показать, что художественный мир поэмы (из которого многие черпают свои основные представления об этих отношениях) и реальная история – существенно разные явления.

Нельзя не сказать, что я более или менее подробно остановился на проблеме взаимоотношений русских и половцев отнюдь не только для уяснения этих отношений как таковых. Перед нами одно из бесчисленного множества проявлений евразийской сущности Руси – наиболее глубокой и наиболее масштабной основы ее исторического бытия, символом которой и стал с XV века ее герб – двуглавый орел (считается, что этот герб был попросту заимствован из Византии, так же существовавшей на грани Европы и Азии,

однако есть основания полагать, что в Византии этот символ не обладал столь же центральным, главенствующим значением, как на Руси). «Евразийская» политика Руси ясно выразилась уже в XII веке в матримониальных (то есть брачных) союзах ее князей (о них уже упоминалось) - союзах, которые всегда имели прямое государственное значение. Так, если в XI веке Ярослав Мудрый выдал своих сыновей и дочерей за представителей различных европейских правящих династий, то его внук Владимир Мономах, женатый на дочери английского короля, обручил своего сына Мстислава с дочерью шведского короля, дочь Евфимию - с венгерским королем, а сыновей Юрия (Долгорукого) и Андрея - с дочерью половецкого хана Аепы и внучкой Тугорхана и, наконец, сына Ярополка - с осетинской княжной.

Эти государственные браки нельзя рассматривать в «бытовом» аспекте; они с очевидностью запечатлели двойственный, «евразийский» характер исторического бытия Руси.

А вся история взаимоотношений русских и половцев, пришедших в южнорусские степи в середине XI века из глубин Азии (из Прииртышья), ясно свидетельствует о способности русских установить - при всех имевших место противоречиях - равноправные отношения с, казалось бы, совершенно не совместимым с ними, чуждым кочевым народом. Сама борьба русских князей с половецкими ханами - пусть нередко принимавшая острейшие формы - едва ли решительно отличалась от борьбы тех или иных враждующих русских князей между собой; многочисленные союзы князей с ханами во время борьбы с другими русскими же князьями говорят об этом со всей определенностью.

И современники, и позднейшие историки не раз безоговорочно осуждали подобные союзы. Но в таких приговорах едва ли выражалось понимание реального положения дел. И с особенной яркостью «недействительность» этих приговоров запечатлена в судьбе князя Игоря Святославича. В «Слове» он представлен как беззаветный герой противоборства с половцами, а в действительности он был, если угодно, другом Кончака до своего воспетого в «Слове» набега и стал его родственником после этого набега.

Все это, конечно, достаточно сложная и к тому же «трудно» воспринимаемая реальность истории Руси. Но она была глубоко и убедительно осмыслена историософской школой евразийцев, начавшей складываться накануне революции в России, а в 1920-1930-х годах развернувшей свою деятельность в эмиграции. К школе так или иначе принадлежали ученые и мыслители Г.В.Вернадский (упомянутый в предисловии к этой книге), Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, Л.П.Карсавин, П.П.Сувчинский и ряд других. К сожалению, работы евразийцев почти не известны даже в среде историков. Впервые работы евразийцев были опубликованы на их родине в №№ 2 и 3 журнала «Наш современник» за 1992 год.

Евразийцы строили свою концепцию истории Руси отнюдь не на пустом месте, они опирались на идеи целого ряда крупнейших русских мыслителей и писателей; но именно они соединили отдельные звенья давно развивавшейся мысли в единую цепь. Нам еще придется обращаться к наследию евразийцев.

Здесь же важно сделать вывод о том, что взаимоотношения русских и половцев никак нельзя трактовать в плане борьбы с некой непримиримо враждебной силой; половцы в конечном счете были частью Руси. Поэтому русско-половецкое противостояние никак не могло стать «предметом» и стимулом для создания русского героического эпоса (то есть былин) - не могло в особенности потому, что у половцев не было и намека на мощную и хорошо организованную государственность, которая явилась бы той силой, которая реально подчинила бы себе Русь. Половцы совершали грабительские походы на Русь, приносившие нередко очень тяжкий урон, но они, так сказать, даже и не ставили перед собой задачу «порабощения» Руси; в конечном счете это ясно и из самого «Слова о полку Игореве».

И, вопреки мнению многих литературоведов, «Слово» не являет собой (в отличие от былин) героический эпос. Конечно, оно так или иначе связано с традицией героического эпоса; но эта традиция существенно изменена или, вернее, претворена в принципиально иной жанровый феномен и с точки зрения типа, способа воплощения (об этом говорилось выше; так, элементы мифа стали здесь «средством» создания образа, а не его содержанием), и с точки зрения самого совершающегося в произведении действия. Это претворение глубоко раскрыто в кратком рассуждении М.М.Бахтина, которое начинается так:

«Слово о полку Игореве» в истории эпопеи (имеется в виду именно героический жанр. - **В.К.**). Процесс разложения эпопеи и создания новых эпических жанров ... «Слово о полку Игореве» - это не песнь о победе, а песнь о поражении (как и «Песнь о Роланде»). Поэтому сюда входят существенные элементы хулы и посрамления ... Для «Слова» характерно не только то, что это эпопея о поражении, но особенно и то, что герой не погибает (радикальное отличие от Роланда)[21]... Игорь ... ничего не сделал и не погиб». Но вместе с тем Игорь, испытав посрамление и тем самым как бы, по словам М.М.Бахтина, «претерпев временную смерть (плен, «рабство»), возрождается снова»[22].

И эта сердцевина содержания «Слова о полку Игореве» едва ли может быть понята в рамках героического эпоса. М.М.Бахтин (что необходимо подчеркнуть) определяет «Слово о полку Игореве» не только как результат «разложения» героического эпоса, но и как плод начавшегося «созидания» иного, нового жанра - жанра, который, по сути дела, предвосхищает - в очень отдаленной исторической перспективе - русский роман

---

[21] Поэтому Роланд и не посрамляется в посвященном ему эпосе. - В.К.

[22] Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. - М., 1986, с. 517, 518.

эпохи его расцвета – роман, для коего в высшей степени характерно именно «посрамление» героя, его «смерть» ради подлинного «воскресения».

Об этом глубочайшем мотиве русского романа, в частности, говорил Достоевский, оценивая толстовскую «Анну Каренину»:

«Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) – и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда и разом все озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми ... Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими»[23].

Суждение это вполне уместно отнести не только к романам Толстого, но и ко многим другим русским романам XIX века, включая, конечно, и романы самого Достоевского. Но художественная «тема», обрисованная здесь, так или иначе зарождалась в «Слове о полку Игореве», которое, помимо прочего, и по этой причине было столь родственно воспринято в XIX веке. И это, понятно, не «тема» героического эпоса, а прорыв в будущее, совершенный (что вполне естественно) на излете исторической эпохи – в последние десятилетия существования собственно Киевской Руси.

Чтобы глубже понять бахтинскую мысль о столь характерной для русского сознания (и, конечно, бытия) «временной смерти», после которой наступает возрождение, обратимся к одному очень выразительному человеческому документу – дневнику крупного историка Ю.В.Готье (1873 – 1943), который он вел во время революции.

20 июля 1917 года он записал: «Русский народ – народ-пораженец; оттого и возможно такое чудовищное явление, как наличность среди русских людей – людей, страстно желающих конечного поражения России». Речь идет, понятно, о поражении в войне с Германией; Ю.В.Готье стремится увидеть в тогдашнем пораженчестве глубокий и всеобщий смысл: «Поражение всегда более занимало русских, чем победа и торжество: русскому всегда кого-нибудь жалко – поэтому он предпочитает жалеть себя и любить свое горе, чем жалеть другого, причинив тому зло – эгоизм наизнанку. (Разрядка моя; естественно только поставить вопрос: действительно ли это «эгоизм» – пусть даже «изнаночный»? – В.К.). Наши летописи, «Слово о полку», песни про царя Ивана, сказания о Казани, о Смуте, – продолжает Ю.В.Готье, – воспевают и рассказывают преимущественно поражения ... Доктрина непротивления злу – формулированная Толстым – есть тоже радость горя, унижения, неудачи и поражения. Отсюда и современная доктрина «пораженчества» ... Ведь одними германскими шпионами дела не объяснить: их семя, как и в вопросе чистой измены, пало на добрую почву. Это наша психология – полная противоположность психологии германского народа с его доктриной «Deutschland über alles»[24] и культом силы и торжества; ceteris paribus[25] при столкновениях этих двух народов русский должен быть побежден»[26].

И Ю.В.Готье делает следующий прогноз: «участь России, околевшего игуанодона или мамонта, – обращение в слабое и бедное государство, стоящее в экономической зависимости от других стран, вероятнее всего от Германии ... Вынуты душа и сердце, разбиты все идеалы. Будущего России нет; мы без настоящего и без будущего. Жить остается только для того, чтобы кормить и хранить семью – больше нет ничего. Окончательное падение России как великой и единой державы вследствие причин не внешних, а внутренних, не прямо от врагов, а от своих собственных недостатков и пороков полной атрофии чувства отечества, родины, общей солидарности, чувства union sacrée[27] – эпизод, имеющий мало аналогий во всемирной истории. Переживая его, к величайшему горю, стыду и унижению, я, образованный человек, имевший несчастье избрать своей ученой специальностью историю родной страны, чувствую себя обязанным записывать свои впечатления...» (с. 155).

Ю.В.Готье – русский французского происхождения; его прадед поселился в Москве при Екатерине II. Вместе с тем ясно видно: он стремится оценить Россию как бы со стороны, объективно. Однако это ему не удается ... Привкус своего рода любования «поражением» – любования, которое он вроде бы хочет с негодованием отвергнуть, – присутствует в его размышлениях. И это особенно подтверждает обоснованность его пафоса.

Правда, он, конечно же, абсолютизировал русское «пораженчество»; оно не характерно ни для героического эпоса, ни для многих и разнообразных позднейших явлений русской культуры. Да и пророчество Ю.В.Готье оказалось неточным – в частности, и в отношении его собственной, личной судьбы, в которой в конечном счете выражалась судьба России.

Жизнь его после революции поначалу явно шла к полному крушению. И в 1930 году он был арестован и осужден вместе с десятками виднейших своих собратьев – русских историков. Казалось бы, целиком сбылся его безысходный прогноз; рушилась не только отечественная история, но даже и наука о ней ... Однако к 1934 году Ю.В.Готье, как и его соратники, кроме нескольких старших по возрасту, которые умерли в изгнании, вернулся к работе, издал целый ряд трудов и в 1939 году стал академиком ... Ошибся Ю.В.Готье и в том, что в столкновении с Германией русский народ неизбежно «должен быть побежден...» Историк смог увидеть необоснованность своего прогноза: он скончался в Москве на семьдесят первом году жизни, 17 декабря 1943 года – уже после бесповоротной победы над германской армией на Курской дуге.

---

[23] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. 25, М., 1983, с.52.

[24] Германия превыше всего (*нем.*).

[25] При прочих равных условиях (*лат.*).

[26] «Вопросы истории», 1991, № 6, с. 157.

[27] Священное единство (*фр.*).

Словом, суждения Ю.В.Готье о всеопределяющем русском «пораженчестве», продиктованные катастрофой 1917 года, хотя они остро выявляют чрезвычайно существенное своеобразие отечественной истории и культуры, имеют все же односторонний и упрощающий реальность характер.

Истинную глубину и многогранность этой «темы» схватывает размышление Достоевского, опирающееся на сцену из толстовской «Анны Карениной». И необходимо увидеть в этом звено цепи, уходящей далеко в прошлое, - к «Слову о полку Игореве» и даже к еще более раннему творению русской литературы - «Сказанию, страсти и похвале святых мучеников Бориса и Глеба», - истолкование смысла которого дано Г.П.Федотовым[28].

* * *

Но мы забежали далеко вперед; возвратимся теперь в эпоху сложения русской государственности и героического эпоса.

Итак, речь шла о том, что в устном бытии эпоса имя главных врагов, хазар, заменилось впоследствии именем татар. Кстати сказать, «превращение» в татар половцев (а именно об этом говорится во многих работах о былинах) очень маловероятно и по, так сказать, фонетическим причинам; совсем иное дело - замена хазар на татар.

Нельзя еще обойти и того факта, что с начала X до второй трети XI века (здесь мы располагаем даже четкими летописными датами: 920 - 1036) Руси приходилось отражать еще набеги печенегов, и подчас именно они, печенеги, рассматриваются как первоначальные «прототипы» былинных образов врага. Так, например, С.М. Соловьев утверждал, что «предмет» былин - «борьба богатырей с степными варварами, печенегами, которые после получили имя *татар*»[29].

Но, во-первых, имя печенегов столь же трудно было превратить в имя татар, как и половцев. Далее, печенежские набеги еще в меньшей степени, чем половецкие, представляли крайнюю, «смертельную» опасность для Руси. Это был скорее разбой, чем настоящее противоборство. Наконец, печенеги, как и половцы, быстро и легко переходили от вражды к союзничеству и весьма часто выполняли для Руси роль наемного войска. Арабский географ и историк Ибн Хаукаль даже писал в конце X века о печенегах, что «они - шип (иной перевод - «острие». - В.К.) русийев и их сила»[30].

Правда, было несколько острых столкновений печенегов с Русью. Они даже нападали на Киев - в 969 и 1036 годах. Но в высшей степени характерно, что и в том, и в другом случае нападения произошли во время отсутствия князей. Святослав в 969 году находился в Болгарии, а Ярослав в 1036-м - в Новгороде. В первом случае среди осаждавших Киев печенегов распространился ложный слух о неожиданном возвращении Святослава, и они немедля удалились в степь; во втором же Ярослав действительно вернулся и наголову разбил печенегов.

Наконец, нельзя не сказать о том, что со временем, как пишет специалист по истории кочевых народов С.А.Плетнева, часть печенегов «подкочевала к самым границам Руси - на р. Рось - и пошла на службу к русским (киевским) князьям, образовав прекрасный военный заслон от половцев. Земли Поросья были отданы им под пастбища»[31]. Из этого ясно видно, что шаблонное представление о печенегах как «роковых» врагах Руси, по меньшей мере, одностороннее.

Особенно важно иметь в виду, что печенеги делились на две группы - «тюркских печенегов», кочевавших в степях южнее Руси и находившихся с ней то в союзнических, то во враждебных отношениях, и, с другой стороны, «хазарских печенегов», которые являли собой одну из составных частей Хазарского каганата, подобно аланам, болгарам, гузам и т.д. И «хазарские печенеги», естественно, представали в глазах русских именно как военная сила этого каганата, то есть в конечном счете как «хазары» (точно так же, например, в Византии воспринимали поход князя Игоря в 944 году на Константинополь как поход Руси, хотя в составе русского войска был большой отряд нанятых Игорем печенегов).

Правда, среди историков и археологов здесь есть разногласия. Так, С.А.Плетнева склонна считать всех вообще печенегов врагами хазар. Но М.И.Артамонов, основываясь на собственных археологических исследованиях, доказывал (прямо оспаривая точку зрения С.А.Плетневой), что именно печенеги составляли военный гарнизон одной из главных хазарских крепостей - Саркела[32].

К тому же выводу пришел и другой видный историк и археолог Г.А.Федоров-Давыдов: «... хазарские печенеги ... входили в состав Хазарского государства, кочевали на его территории и в ряде случаев использовались хазарской администрацией как военные отряды ... в главной части Саркела, там, где располагался гарнизон, жили не сами хазарские воины, а отряд наемников, возможно, печенегов»[33].

---

[28] См.: Федотов Георгий. Святые Древней Руси.- М., 1990,с. 45-51.

[29] Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 1. - М., 1959, с. 202.

[30] Калинина Т.М. Сведения Ибн Хаукаля о походах Руси времен Святослава. - В Кн.: «Древнейшие государства на территории СССР». 1975. - М., 1975. с. 98.

[31] Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. Поиски исторических закономерностей. - М., 1982, с. 63.

[32] См.: Артамонов М.И. История хазар. - Л., 1962, с. 448, 449. Следует сказать, что в новейшей своей работе С.А.Плетнева, по существу, выразила согласие с критикой М.И.Артамонова, отметив, что в Саркеле «еще в конце IX в. поселились печенежские наемники, образовавшие кочевнический гарнизон крепости». См.: Плетнева С.А. Половцы. - М., 1990, с. 22; здесь же она ссылается на исследование М.И.Артамонова «Саркел - Белая Вежа» (1958).

[33] Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. - М., 1966, с. 137.

* * *

Но обратимся непосредственно к теме «Русь и Хазарский каганат». Как уже говорилось, в летописных сводах, составленных через полтора столетия после гибели Каганата, содержатся крайне скупые и разрозненные сведения по этой теме. А достаточно богатые иноязычные источники в связи с этим долго казались сомнительными, недостоверными.

Кроме того, скудость и неразработанность исторических источников породила вокруг «хазарской проблемы» немалое количество разнообразных произвольных концепций и заведомых «мифов» (так, хазар объявили неким «щитом», будто бы спасшим Русь от арабского завоевания, и т.п.), о которых нам не раз придется говорить. Споры о Хазарском каганате многократно заводили историков в своего рода безвыходный тупик.

Однако уже столетие назад начались археологические исследования, все более ясно показывавшие, что на юго-восточной границе Руси IX – первой половины X века находились мощные крепости и огромные поселения Хазарского каганата; эта археологическая культура получила название салтово-маяцкой (по двум ее крупным памятникам). Особенно плодотворны были археологические работы 1930–1980-х годов, которыми руководили выдающиеся ученые М.И.Артамонов, И.И.Ляпушкин и добившаяся наибольших результатов С.А.Плетнева (она продолжает свою деятельность и поныне).

В 1989 году вышла книга С.А.Плетневой «На славяно-хазарском пограничье», в которой в той или иной мере подведены итоги многолетних исследований:

«Степи и лесостепи донского бассейна были в VIII – начале X в. заняты населением, создавшим ... так называемую салтово-маяцкую культуру (которая, как сказано выше, на с. 3, тождественная культуре Хазарского каганата. – **В.К.**) ... На всех трех крупных пересекающих эту территорию с севера на юг реках (Дону, Северском Донце, Осколе), а также на берегах более или менее полноводных их притоков постоянно встречаются остатки укрепленных и неукрепленных поселений – городищ и селищ ... их известно уже около 300 (! – **В.К.**). Несомненно, особый интерес возбуждают при первом же знакомстве городища: величественные развалины белокаменных замков, расположенные на высоких прибрежных меловых мысах... крепости располагаются там на расстоянии 10–20 км одна от другой и создают по существу целостную линию мощных укреплений. Вплотную к этой линии с севера и запада подходили городища и поселения славян»[34].

Чтобы яснее понять суть дела, следует увидеть эту «линию» на карте. Представим себе цепь из мощных крепостей, проходящую несколько южнее линии, на которой расположены современные города (с востока на юго-запад) Воронеж, Старый Оскол, Белгород, Харьков. Это «белостенные крепости, стоявшие на высоких мысах, с которых река контролировалась иногда на десятки километров...» (там же).

После тщательного изучения могильников вокруг крепостей С. А. Плетнева сделала следующий существеннейший вывод: «...хазарское пограничье... было заселено семьями, все мужское население которых несло воинскую службу... Военизация населения касалась... не только мужчин, но и женщин, многие из которых похоронены с оружием, воинскими поясами, сбруей и конями...

В известной мере это население, несомненно, оберегало какие-то наметившиеся рубежи, поскольку, естественно, защищало свои личные владения от всевозможных вторжений. Однако о с н о в н о й (разрядка моя. — **В. К.**) его функцией была не охрана пограничья, а проведение в жизнь наступательной политики каганата на западных и северо-западных соседей» (с. 278, 282), — то есть русские племена. Нельзя не подчеркнуть, что в с е без и с к л ю ч е н и я крепости расположены на правом (западном), то есть русском берегу Дона, Оскола и Северского Донца и, следовательно, имели не оборонительное, а наступательное назначение; это были своего рода плацдармы для нападений. Около крепостей (о чем еще пойдет речь) располагались железоделательные предприятия и мастерские для производства оружия...

Выше было отмечено, что летописи очень скупо говорят о борьбе с хазарами. Однако «каменная летопись», открытая археологами, говорит об этой борьбе недвусмысленно и со всей силой.

Следует отметить, что уже известная нам цепь хазарских крепостей, воздвигнутых южнее «линии» Воронеж – Харьков, имела, по-видимому, продолжение на запад (точнее, юго-запад) – южнее «линии» современных городов Красноград – Днепропетровск – Кривой Рог. Еще в 1967 году С.А. Плетнева предположила, что здесь будет открыт «неизученный вариант салтово-маяцкой (то есть хазарской . – **В.К.**) культуры»[35]. И позднее появились работы украинских археологов, подтвердившие этот археологический прогноз. Так, О.М. Приходнюк писал о городище Вознесенка на Днепре около Запорожья: «При сопоставлении археологических комплексов Вознесенки ... с древностями степняков обнаруживается между ними значительная близость ... Валы вознесенского табора были сооружены из камня и земли. Городища с подобными укреплениями известны у племен салтово-маяцкой культуры» и т.д[36]. Подтверждает прогноз С.А. Плетневой и другой украинский археолог, М.Л. Швецов. «В 1967 г., – пишет он, – вышла монография С.А. Плетневой, посвященная изучению памятников салтово-маяцкой культуры ... В их числе «степной, неизученный вариант», который занимает в основном территорию Нижнего и

---

[34] П л е т н е в а С. А. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс. – М., 1989, с. 7.

[35] П л е т н е в а С. А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. – М., 1967, с. 187.

[36] П р и х о д н ю к О. М. Об этнокультурной ситуации в Днепровском лесостепном пограничье во второй половине I тысячелетия н.э. – В кн.: Проблемы этногенеза славян. – Киев, 1978, с. 114.

Среднего Поднепровья. Один из видов памятников этой культуры - так называемые грунтовые могильники... рассматриваются в данной статье»[37]. Исследование «славяно-хазарского пограничья» в приднепровских областях продолжается.

И трудно усомниться в том, что мощная «военная линия» Хазарского каганата, обращенная против Руси, уже полностью «открытая» в бассейнах Дона и Северского Донца, станет в конечном счете очевидной и в бассейне Днепра, - то есть вдоль всего пограничья Руси и Каганата.

Согласно «Повести временных лет», «по смерти» Кия его подданных полян «нашли ... хазары сидящими на горах этих в лесах и сказали «Платите нам дань»; ко времени же прихода в Киев с севера Аскольда (то есть, вероятнее всего, к середине IX века) «хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке с дыма». В дальнейшем выясняется, что дань хазарам платили еще и радимичи - то есть в общей сложности примерно половина территории Руси, - половина, расположенная южнее Оки и верхнего течения Днепра.

«Аскольд же и Дир... - повествует летопись, - стали владеть землею полян». По поводу этого летописного сообщения Н.М. Карамзин вполне уместно написал: «Невероятно, чтобы хазары, бравшие дань с Киева, добровольно уступили его варягам, хотя летописец молчит о воинских делах Аскольда и Дира в странах днепровских; оружие, без сомнения, решило, кому начальствовать над миролюбивыми полянами»[38].

Могущее показаться простодушным утверждение Карамзина о «несомненности» войны Аскольда с хазарами на самом-то деле совершенно естественно. Через несколько десятилетий после Карамзина С.М. Соловьев, изложив летописные сведения о действиях Олега после его прихода в Киев («отправился Олег на северян... и не позволил им платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам им платить незачем... Послал Олег к радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне» и т.д.), замечает: «...надо было бы ожидать враждебного столкновения Руси с последними (хазарами. - В.К.), но как видно, до летописца не дошло предания об этом»[39].

С.М. Соловьев в данном случае не вполне прав: в сохранившем ряд древнейших сведений Архангелогородском летописце есть запись: «В лето 6391 (883) иде Олегъ... на козары»[40]. Конечно, это предельно скупое сообщение не очень удовлетворяет. Но ведь и запись «Повести временных лет» - «В лето 6473 (965) иде Святославъ на козары; слышавше же козары, изидоша противу с князем своим Каганом, и съступишася битися, и бивши брани, одоле Святославъ козаромъ и градъ их Белу Вежю взя» - также весьма скудна...

Можно объяснить это тем, что летописные своды составлялись через 150 или даже 250 лет после событий; можно предположить в сей лаконичности некий особый смысл. Но нельзя не признать, что сохранившаяся до наших дней, через тысячелетие с лишним каменная летопись - вся эта цепь окруженных многолюдными военными поселениями мощных крепостей на русско-хазарском пограничье - свидетельствует, что предположения Карамзина и Соловьева были совершенно оправданными. Есть все основания считать, что и при Аскольде, и при Олеге шла война Руси и Хазарского каганата. Именно это надо видеть в кратких сообщениях летописей.

Да, летопись, составлявшаяся через 300 лет после начала русско-хазарских столкновений и через 150 лет (то есть шесть человеческих поколений!) после разгрома Каганата Святославом, крайне скупо говорит обо всем этом. Но ведь до нас дошли произведения словесности, которые создавались задолго до летописи, непосредственно во времена русско-хазарского противостояния, и так или иначе запечатлели это противостояние. Речь идет, понятно, о героических былинах.

Можно с полным правом утверждать, что археологические открытия последних десятилетий в Подонье имеют для изучения былинного эпоса, по сути дела, такое же значение, как и открытия Генриха Шлимана и продолжателей его дела в Малой Азии - открытия, безусловно подтвердившие историческую реальность гомеровского эпоса.

В частности, под редакцией С.А. Плетневой в 1987 году был издан сборник материалов об одной из монументальных крепостей, расположенной на правом берегу Дона, у впадения в него реки Тихая Сосна. Это сооружение было воздвигнуто в середине IX века, то есть, по всей вероятности, в период столкновения Хазарского каганата с пришедшим с севера в Киев Аскольдом.

«Маяцкое городище, - пишет С.А. Плетнева, - является уникальным архитектурным памятником IX в. Его белокаменные стены... производят и поныне впечатление мощи и красоты. Панцири стен (внешний и внутренний) сложены из крупных меловых блоков, поверхность которых тщательно обтесана и даже заглажена»[41].

В былине, считающейся одной из наиболее архаических, «Волх Всеславьевич», говорится о дружине, совершившей далекий поход:

И пришли оне к стене белокаменной,
Крепка стена белокаменная...

Необходимо осознать, что ни печенеги, ни половцы, ни монголы не строили крепостей, и если исходить (а это вполне естественно) из того факта, что в былинном эпосе

---

[37] Швецов М.Л. Погребения салтово-маяцкой культуры в Поднепровье. - В кн.: Древности Среднего Поднепровья. - Киев, 1981, с. 96.

[38] История государства Российского, сочинение Н.М. Карамзина, кн. 1. СПб., 1842, с. 73.

[39] Соловьев С.М. История России с древнейших времен, кн. 1. - М., 1952, с. 149.

[40] Полное собрание русских летописей, т. 37. - Л., 1982, с. 18.

[41] Маяцкое городище. Труды советско-болгаро-венгерской экспедиции. - М., 1984, с. 57.

дело идет о борьбе со «степью», данная «подробность» может относиться только к хазарскому времени.

Уже шла речь о том, что в хазарских военных поселениях в Подонье боевую службу несли не только мужчины, но и женщины: «Воинскую повинность несли, судя по данным могильника, женщины всех возрастов: нередко это были юные девушки (до 20 лет), однако основная тяжесть ложилась на плечи возмужалых женщин...»[42].

В русских былинах образ вражеской «богатырки», «поляницы» и т.п. - один из наиболее типичных, причем это обычно образ именно уже не молодой женщины, имеющей, например, взрослого сына. Многие исследователи былин видели в этом чуть ли не некую «экзотику». Но современные археологические исследования хазарских военных поселений доказывают вполне «обыденную» реальность этих воительниц...

Никак нельзя, наконец, упустить из внимания и тот факт, что само понятие и слово «богатырь», имеющее центральное значение в былинах, - слово из хазарских времен. Нередко ошибочно полагают, что это слово принесли на Русь монголы. В действительности оно вошло в русский язык еще в «хазарские» времена. Видный исследователь говорит об этом: «...известно, что некоторые хазарские каганы носили титул Багатур (богатырь), связанный с военной системой. Как правило, им пользовались военные вожди... Тюрко-хазарский термин «богатур», «богатырь» получил распространение в Алании; в раннем Болгарском государстве военачальники назывались «багатур», этот термин проник и в русский язык»[43] (хазары, аланы и болгары - как еще будет показано - непосредственно соприкасались с русскими в IX - X веках).

Разумеется, здесь намечено только несколько «соответствий» исторической реальности времени войн Руси с Хазарией и художественного мира былинного эпоса. Необходимо охарактеризовать эту историческую реальность более или менее полно.

Как уже говорилось, работы на тему «былинный эпос и историческая действительность» делятся, в общем и целом, на два типа: либо былинный мир в них сопоставляется и так или иначе отождествляется с миром, отраженным в летописях (отсюда и возникают - в качестве главных врагов - печенеги, половцы, монголы), либо делается попытка доказать, что былины, по сути дела, «внеисторичны». Здесь предлагается как бы третий путь в понимании происхождения былин: они, несомненно, никак не могут быть сведены к летописным сведениям о борьбе с печенегами, половцами и т.п., но они все же имеют реальную историческую основу - как, в конечном счете, и любой героический эпос. Нельзя забывать, например, что французский и испанский эпосы так или иначе «отразили» судьбоносное столкновение с Арабским халифатом, а германский восходит, в конечном счете, к эпохе вторжения в Европу орды гуннов во главе с Атиллой. Было бы в высшей степени странно, если бы русский эпос не имел подобной конкретной исторической основы - подобной и в том смысле, что дело шло о могущественнейшем и «роковом» противнике, в борьбе с которым решалась судьба народа и государства.

* * *

Хазарский каганат - исключительно сложный, даже, если угодно, таинственный исторический феномен. И для действительного понимания начальной поры русской государственности и культуры (а значит, и самой истории) необходимо как можно более ясно и полно изложить выработанные к настоящему времени историографией и археологией представления о Хазарском каганате. Необходимо это сделать еще и потому, что в настоящее время «хазарская тема» обросла различными безосновательными построениями и мифами, которые только мешают уяснению действительной роли Каганата в истории Руси.

Хазарский каганат был - особенно для своего времени - громадным и мощным государством, несмотря на присущие ему острые внутренние противоречия и нестроения. Еще сравнительно недавно это представление оспаривалось, - подчас категорически. Так, Б.А. Рыбаков утверждал в 1952 году, что Хазарский каганат - это-де всего лишь «небольшое степное государство, не выходившее за пределы правобережных (имеется в виду правобережье Волги. - В.К.) степей», и, мол, «заведомо несостоятельны попытки представить Хазарию X века огромной империей»[44]. Но ровно через 30 лет тот же самый Б.А. Рыбаков писал о походе Святослава против хазар в шестидесятых годах X века: «Результаты похода были совершенно исключительны: огромная Хазарская империя была разгромлена и навсегда исчезла с политической карты Европы»[45].

В течение тридцати лет, которые отделяют друг от друга процитированные тексты Б.А. Рыбакова, изучение Хазарского каганата (главным образом археологическое) сделало попросту невозможным преуменьшение его размеров и могущества. Так, фундаментальный археологический трактат С.А. Плетневой, изданный в 1967 году, завершался всецело обоснованным выводом, что Хазарский каганат был «могучей державой», которая сумела «на протяжении почти двух веков противостоять крупнейшим государствам того времени - Византийской империи и Арабскому халифату»[46] (здесь необходимо одно уточнение: «противостояние» Каганата арабам и Византии относится к разным временам: первое - к VII - VIII, а второе - к IX - X векам).

Изданный недавно труд А.П. Новосельцева открывается утверждением, что Хазарское государство «играло доминирующую роль в регионе... Каганат господствовал на

[42] Плетнева С.А. На славяно-хазарском пограничье, с. 278.

[43] Кузнецов В.И. Очерки истории алан. - Орджоникидзе, 1984, с. 114.

[44] Рыбаков Б.А. Русь и Хазария. - В кн.: Академику Б.Д. Грекову ко дню семидесятилетия. Сб. статей. М., 1952, с. 76, 88.

[45] Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. - М., 1982, с. 377. - Разрядка моя. - В.К.

[46] Плетнева С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. - М., 1967, с. 190.

обширной территории Восточной Европы, где многие народы в разное время и по-разному от него зависели». Как подчеркнуто далее, Каганат был «главной политической силой Восточной Европы»[47].

Еще более определенно высказался А.П. Новосельцев в своей последней по времени работе, касающейся этой проблемы, - «Образование Древнерусского государства и первый его правитель»[48]. Ставя перед собой цель «воссоздать картину политических объединений Восточной Европы IX века», исследователь подчеркивает, что «в ту пору наиболее сильным государством региона была Хазария... гегемония Каганата... распространялась на значительную часть восточнославянских земель» (с. 5). Имеются в виду южная и средняя Русь, но существовала «и угроза подчинения этой державе (Хазарской. - В.К.) также и севернославянских и финских земель, находившихся на торговом пути с Востока в Прибалтику и вообще в Западную Европу» (с. 7). И вполне естественно, заключает исследователь, что при князе Олеге шла «русско-хазарская война» (с. 14).

Хазарский каганат являл собой многослойное, многоплановое явление евразийской истории VII - X веков, никак не сводимое к истории хазар как таковых. Но начинать, конечно, следует с самих хазар - тюркского народа, первые сведения о котором относятся к середине VI века. Хазары предстают в этих сведениях как активное воинственное племя, кочующее в прикаспийских степях. В новейшем исследовании востоковеда Т.М. Калининой (в ее работах был выяснен целый ряд существенных исторических фактов) показано, что хазары до своего появления в Предкавказье обитали, по всей вероятности, в Средней Азии, в районе реки Сырдарьи - у восточной границы древнейшего высокоразвитого государства Хорезм, расположенного в нижнем течении реки Амударьи и сыгравшего в VIII - X веках (о чем еще будет речь) исключительно важную роль в истории Хазарского каганата. По сведениям великого арабского ученого первой половины IX века, уроженца Хорезма, Мухаммада ал-Хорезми (точнее, ал-Хваризми), на Сырдарье даже существовал город ал-Хазар[49]. По-видимому, в VI веке хазары переселились отсюда на запад, в прикавказские степи. Здесь они оказались в сфере влияния двух соперничающих держав - Византии и Ирана, которые, в частности, вели давнюю борьбу за власть в землях между Черным и Каспийским морями. Византия, которая имела возможность проникать в эти земли не только с юга, но и с севера (так как у нее были, например, владения в Крыму), уже в VII веке сделала хазар своими союзниками[50].

Затем возникший на Аравийском полуострове (в начале 630-х годов) чрезвычайно энергичный Арабский халифат стремительно завоевал Иран и сменил его в качестве главного соперника Византийской империи. С переменным успехом с тех пор, то есть с середины VII в. (и до середины XI века - на протяжении четырех столетий!), развертывается борьба Империи и Халифата. И хазары принимают участие в ней на стороне Византии, правда, только до второй половины VIII века (напомню, кстати, что позднее, с конца IX века или начала X века в качестве союзников Византии в сражениях с арабами не раз выступают воины Руси).

Возможно, именно в целях сплочения для борьбы с арабами и возникает к середине VII века сильная государственность - Хазарский каганат, центр которого находился на территории современного северного Дагестана. Эта государственность сумела в той или иной мере подчинить своей власти другие народы Северного Кавказа - прежде всего часть болгар[51] и алан (предки осетин).

Первоначальная теснейшая связь Каганата с Византией ясно выразилась в установленном не так давно факте широкого распространения христианства у хазар. Известный дагестанский археолог М.Г. Магомедов показал, что уже в VII веке в тогдашнем центре Каганата на реке Сулак - Баланджаре (или Беленджере) существовали церкви; найдены здесь и многочисленные предметы христианского культа[52]. Это, между прочим, самые ранние памятники христианства на Северном Кавказе.

И есть все основания согласиться с суждением одного из тщательных современных исследователей «хазарской проблемы», археолога и историка А.В. Гадло, который писал: «...нельзя пройти мимо свидетельства ал-Бекри (арабский географ XI века, опиравшийся на более ранние сочинения. - В.К.) о том, что до принятия иудаизма (оно окончательно совершилось на рубеже VIII - IX веков. - В.К.) хазарский царь исповедовал христианство»[53].

О высокой развитости христианства в Хазарском каганате накануне установления господства иудаизма свидетельствует вполне достоверный источник - «Мученичество Або Тбилели», сочиненное во второй половине VIII века грузинским писателем Иоанном Сабанисдзе. Здесь рассказано о том, как князь грузинской области Картли бежал из захваченной арабами родины в Хазарию, а в его свите находился преданный ему араб по имени Або. И именно в Хазарском каганате Або принял христианство (за что был после возвращения в Грузию казнен как предатель). В «Мученичестве Або Тбилели»

---

[47] Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. - М., 1990, с. 3, 89.

[48] «Вопросы истории», 1991, № 2-3, с. 3-20.

[49] См.: Калинина Т.М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. - М., 1988, с. 74-76.

[50] См., напр.: Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI - VII веков. - М.-Л., 1946, с. 268-269.

[51] Часть болгар под давлением хазар, как известно, ушла на запад за Дунай, а другая - на север, в среднее течение Волги (нынешние казанские татары).

[52] Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата. По материалам археологических исследований и письменным данным. - М., 1983, с. 158-173.

[53] Гадло А.В. Отражение социальной борьбы внутри хазарского племенного объединения VII в. в памятниках «еврейско-хазарской переписки». - В кн.: Генезис и развитие феодализма в России. - Л., 1985, с. 24.

сообщается, что в Хазарском каганате «много селений и городов, которые беспрепятственно пребывают в вере Христовой»[54].

Трудно усомниться в том, что развитие христианства в Хазарском каганате обусловлено его тесными связями и военно-политическим союзом с Византией. Этот союз привел даже к необычному результату: в 732 году византийский император Лев III Исавр женил своего сына Константина на дочери хазарского кагана Чичак (тюрк. «цветок»), получившей христианское имя Ирина; ее сын, правивший империей в 775-780 годах, известен как Лев IV Хазар. Необычность здесь в том, что императоры Византии считали заведомо недостойными браки с «варварами»; впоследствии Константин Багрянородный гневно писал, что этой «брачной сделкой» император «навлек великий позор на державу...»[55].

Правда, еще в 690-х годах император Юстиниан II женился на сестре хазарского кагана Ибузира Глявана, но он тогда, в сущности, не был императором, ибо его свергли, и он стремился вернуть престол с помощью хазар.

Гнев Константина Багрянородного был обусловлен, по всей вероятности, и тем, что не позднее 780-х годов – то есть всего через полвека после упомянутого брака – Хазарский каганат разорвал союз с Византией. Это ясно выразилось, например, в том, что хазары обеспечили высвобождение Абхазии в 786-787 годах из-под власти Империи[56].

В середине VIII века византийский наместник (эристав) в Абхазии Константин женился на дочери хазарского кагана (между прочим, родной сестре матери византийского императора Льва IV Хазара), а его сын, эристав Леон, как сообщено в «Летописи Картли», был, следовательно, «сыном дочери царя хазар и с его помощью отложился от греков, завладел Абхазией и Эгриси, назвал себя царем абхазов»[57].

В это же время, а говоря точно, в 787 году, хазары впервые пришли в столкновение с византийцами в Крыму. Ранее, говорит исследователь этого события, «проникновение хазар в Таврику... могло носить относительно мирный характер» (по крайней мере до 787 года), что вызывалось «сближением их с Византией перед лицом общего врага – арабов»[58].

Дело в том, однако, что арабы и после 787 года оставались теми же непримиримыми врагами Византийской империи, и следует сделать вывод о кардинальном изменении к концу VIII века всей «внешней политики» Хазарского каганата, который ранее был вполне верным союзником Византийской империи. Как писал М.И. Артамонов, «особенно ценной оказалась военная мощь хазар для Византии. Благодаря хазарам Византии удалось не только устоять перед арабами, но и нанести им ряд чувствительных ударов»[59]. Но, по справедливому суждению автора более позднего капитального труда о хазарах, ситуация конца VIII века является «свидетельством... разрыва традиционных связей с Византией, существовавших более 100 лет»[60].

---

[54] См.: Сабанисдзе Иоанн. Мученичество Або Тбилели. – Памятники грузинской агиографической литературы. – Тбилиси, 1956, с. 50.

[55] Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М., 1989, с. 61.

[56] Вопрос подробно исследован в труде: Гунба М.М. Абхазия в первом тысячелетии н.э. – Сухуми, 1989, с. 213-234.

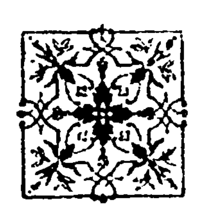
[57] Сообщения средневековых грузинских источников об Абхазии. Сост. Г.А. Амичба. – Сухуми, 1986, с. 33. Нельзя не отметить, что абхазы проявили тогда истинную политическую мудрость: основываясь на противоречиях трех могущественных сил (хазарской, византийской и арабской), они смогли создать самостоятельную государственность, объединившую не только собственно абхазские, но и западногрузинские земли и существовавшую вплоть до Монгольского нашествия. Это государство, возникшее в VIII в., еще и в конце XII – начале XIII в. называлось Абхазией, – о чем неоспоримо свидетельствует, например, созданная в то самое время в соседней Гяндже поэма Низами «Искендер-наме».

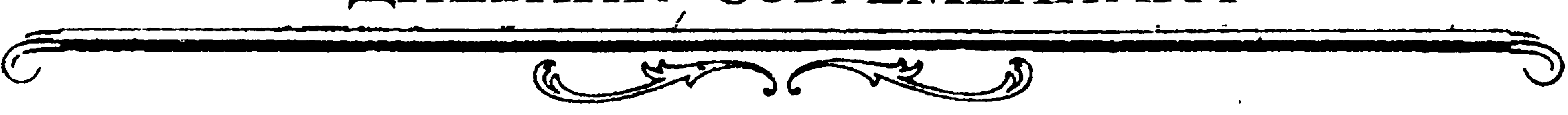
[58] Баранов И.А. О восстании Иоанна Готского. – В кн.: Феодальная Таврика. Материалы по истории и археологии Крыма. – Киев, 1974, с. 157.

[59] Артамонов М.И. История хазар. – Л., 1962, с. 251.

[60] Новосельцев А.П. Хазарское государство... М., 1990, с. 191.

Продолжение следует





Александр КАЗИНЦЕВ

КАК МЕНЯ СУДИЛИ

Лето бурь и смерчей. В багровом отблеске ненастья отошедшее лето 1992 года. Ветер вздымает желтый песок, рвет из рук листы готового исторического цикла. Поворачивает лицом к дню сегодняшнему: демонстрации, дубинки ОМОНа, первые суды над свободным словом.

Противоборство двух сил. Поединок воль. Выбор нашего будущего.

...Признаюсь, меня всегда печалило отсутствие общественной реакции на мои статьи. С завистью слушал я рассказы более удачливых коллег о том, как после публикаций серьезные организации приглашали их в качестве экспертов, лекторов и пр. А тут: напечатал статью - и словно в бездну, не знаешь, прочитали ее или нет.

Нет, я, конечно, несправедлив: то, что публикации доходят до читателей, подтверждают письма. Не скажу, чтобы бурный поток, но живительный ручеек читательских откликов постоянно течет ко мне. А после нескольких выступлений по телевидению я ощутил себя по-настоящему популярным (хотя популярность эта кажется мне какой-то эфемерной, во всяком случае, я никак не привыкну к тому, что минутные реплики с телеэкрана принесли мне больше известности, чем полсотни серьезных статей, опубликованных в нашем журнале).

И все-таки хочется чего-то большего, чем выражения личной солидарности, - общественного эффекта, показывающего, что труд не пропал даром. Я ждал такого эффекта много лет и - дождался.

Прямоугольник серой бумаги со штампом в углу. Повестка в суд, извещающая о процессе по обвинению в клевете на гражданина Израиля Г. Брановера. Когда я получил ее год назад, я не знал, что она станет началом изматывающей 8-месячной тяжбы, послужит сигналом к развертыванию крупномасштабной кампании, целью которой будет не только сокрушение А. Казинцева и подрыв репутации «Нашего современника», а нечто неизмеримо большее - принятие особого парламентского Закона. Если бы замысел удался, с карты «цивилизованного мира» было бы торжественно стерто последнее «белое пятно» - Россия, где до сих пор еще (в отличие от стран Запада) позволено публично обсуждать так называемый «еврейский вопрос».

Все это выяснилось в течение 1992 года. Но уже в декабре 91-го мне стало ясно: общественное признание состоялось. Судебная повестка - наверное, это высший знак внимания, на которое может рассчитывать патриот России.

Письмо, опередившее повестку, извещало о том, что профессор Брановер не признает аутентичным текст, процитированный А. Казинцевым в статье «Я борюсь с пустотой» («Наш современник», 1990, № 11) со ссылкой на книгу профессора: «Славные сыны Израиля ...» и т.д. (цитата эта повторялась многократно в течение последующих восьми месяцев). Отправитель утверждал: «Причина и цель этих клеветнических измышлений для меня очевидны. Причина - зоологический антисемитизм. Цель - разжигание ненависти к евреям, формирование погромного настроения у читателей журнала».

Странное это было послание. Вверху стояла фамилия одного человека - самого Брановера и нечто похожее на адрес (потом выяснилось, что это название города, где преподавал профессор, - словом, израильская вариация на классическую тему: на деревню дедушке). Под текстом красовалась другая фамилия и подпись некоего Дашевского. Здесь адрес сводился к номеру абонентного ящика. Тем не менее двоящийся отправитель настаивал на немедленном ответе, в противном случае грозил судом.

Как это у них, хасидов, все непросто, с неудовольствием думал я, разглядывая двуглавую подпись. Потом вспомнил, что и пишут они не как все - справа налево, вздохнул и принялся сочинять ответ.

«Правду говорить легко и приятно», - учил герой булгаковского романа. Я старался следовать его завету. Для начала, чтобы успокоить эмоции, сообщил отправителю, что насчет моего антисемитизма он заблуждается. Как раз в статье, на которой он основывает свои обвинения, я призываю русских и евреев начать диалог, нужный обеим сторонам. Для убедительности я даже процитировал собственный текст: « ...Маневра для поиска взаимопонимания ... с теми, кто вместе с нами стоит в очередях, живет в тесных клетушках «хрущоб», получает мизерную итээровскую зарплату (оглядитесь, ведь и таких немало). С теми, на чьи головы (а не только на наши) обрушатся все беды раздуваемой сейчас - якобы и от их имени! - смуты. Вот этим людям, таким еврейским читателям, хочу надеяться, сборник поможет найти новый путь, ведущий к совместному созида-

нию дома, общего и для русских и для русских евреев».

Объясняясь с моим корреспондентом, мог ли я предположить, что делаю акцент на самом неприятном для него моменте. Выделяю призыв к спокойному диалогу, поискам взаимопонимания. Я еще не знал, что для определенных кругов такие призывы ненавистны – они страшат их куда больше, чем лозунги национального противоборства!

Впрочем, мою наивность легко объяснить. Никогда специально не занимался я так называемым «еврейским вопросом» и, сознаюсь, был равнодушен к нему. Моя тема – Россия. Ей посвящены все мои работы. Так бы никогда и не обратился я к роковому вопросу, если бы не нашел старый, двадцатых годов, сборник, изданный в эмиграции, «Россия и евреи». Меня поразило, с какой любовью писали о моей стране еврейские публицисты. Изумила (и растрогала) их сродненность с русской культурой и государственной идеей. Вот он, бесценный пример взаимопонимания двух народов, каждому из которых отведены заглавные роли в человеческой истории, решил я и написал статью о книге, а также опубликовал наиболее содержательные ее фрагменты.

Что же касается оспариваемой цитаты, объяснял я корреспонденту, она взята из русской прессы Америки, где встречалась неоднократно (в газете «Русская жизнь» (15.06.1983, с. 7); в журналах «Нива» (1981, № 38, с. 1), «Русское самообразование»), причем ее аутентичность ни разу не подвергалась сомнению. К сожалению, я не мог сверить текст с книгой Брановера, так как она отсутствует в библиотеках Москвы (впоследствии выяснилось, что один экземпляр хранится в бывшей Ленинской библиотеке, но не внесен в каталог, так что заказать его было невозможно). Ничего лично против профессора я не имею и привел оспариваемые слова только потому, что они примелькались.

Не слова сами по себе тревожили меня, а жестокие акции, вполне согласующиеся с призывами еврейских экстремистов. В статье я приводил факты – сообщение о нападении израильской полиции на процессию православного духовенства (избиты патриарх Иерусалимский Диодор и епископы) и о расстреле арабского митинга у мечети Аль-Акса.

В заключение письма я сообщил о запросе в газету «Русская жизнь» и заверил – для точности приведу слова из письма: «Если выяснится, что цитируемый газетой (и мною вслед за ней) текст не принадлежит Г. Брановеру, журнал, разумеется, без промедления выразит публично сожаление, что обычно авторитетный американский источник оказался на сей раз вопиюще недобросовестным».

Отправив ответ, я спокойно ожидал мирного разрешения конфликта. Однако оппонентам нужен был суд, а не мои объяснения. Суд над журналом «Наш современник». И отнюдь не потому, что задевала острота его публикаций по «еврейскому вопросу». Нет, страшил именно призыв к диалогу, зазвучавший в последние годы со страниц журнала. На него откликнулись многие еврейские читатели, в том числе из Израиля, а также видные израильские публицисты, среди них покойный М. Агурский.

Как страшит еврейских экстремистов малейшая возможность национального примирения, я узнал во время процесса. Ограничусь одним примером. Замечательный русский правозащитник Владимир Осипов в судебном репортаже отметил примирительный тон моей статьи, послужившей причиной иска. «Бьют по протянутой руке», – закончил он заметку, выразительно озаглавленную «Суд в Безбожном переулке». Ее напечатала одна Очень Смелая Газета. Достаточно сказать, что в свое время она не побоялась отстаивать К. Осташвили. Но как только в ней появилась заметка В. Осипова, учредитель (его фамилия слишком мудрена, чтобы ее запомнить) пригрозил газете закрытием. Лозунг мира претил ему больше лозунга розни!

Да и во время самого судебного разбирательства в стане оппонентов нередко возникала паника, когда в перерывах я мирно беседовал с еврейской частью аудитории. Тут обозначилось два разряда: фундаменталисты в шапочках – те норовили уязвить побольнее, и нормальные, порою даже симпатичные ребята, которых приводили для численности. Помню конопатого и нескладного юношу, бежавшего, как я понял, из Молдавии. Когда я объяснял ему, что никакой вражды к евреям русские не питают, он слушал недоверчиво. Но потом быстро, по-детски улыбнулся и пожал мне руку (больше его на процесс не приводили!).

Молоденький корреспондент «Еврейской газеты», видимо, пораженный миролюбием «зоологического антисемита», даже попросил у меня интервью. Я согласился, назначил день, но он не пришел. Воображаю, как отреагировал на предложение «потерявшего бдительность» сотрудника главный редактор «Еврейской газеты»!

С самого начала процесс ненавязчиво превращался в ритуальный. Даты судебных заседаний совпадали с еврейскими праздниками: Ханука, напоминающий о том, что прикосновение «гоя» оскверняет еврейскую мудрость; грозный Пурим – торжество в память истребления 40 000 персов, противившихся иудеям; еврейская Пасха.

Надо ли говорить, что все ходатайства представителя журнала профессора М.Н. Кузнецова отклонялись. Тогда как оппонентам сходили с рук фантастические процессуальные нарушения. К примеру, московскому нотариусу И. Чернявской не составило труда заверить подпись Г. Брановера в тот же день, когда ее израильский коллега зарегистрировал подпись профессора в Израиле (для несведущих поясню: заверение подписи производится в присутствии того, чья подпись заверяется).

И все-таки процесс буксовал. Дело в том, что претензии истца к журналу «Наш современник» и ко мне были абсолютно незаконны. Статья 57 Закона о средствах массовой информации однозначно освобождает журналиста (и его издание) от ответственности в случае, если распространенные сведения, не соответствующие действительности, «являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено...» Закон предусматривает ту самую ситуацию, в которую попал я и журнал «Наш современник».

Любое, неблагоприятное для нас решение

вопроса создавало опаснейший прецедент, грозивший свободе печати. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев информация (особенно в газетах) берется из вторых рук. Наказание за воспроизведение непроверенных сведений из других изданий грозило надеть на прессу узду, лишающую ее дыхания и голоса. Допустить такое в пору декларируемой «свободы слова» власти не решались.

Но недаром к законам приставлены толкователи. Фемиду по традиции изображают с повязкой на глазах, судебный опыт заставляет меня думать, что повязка, как у лихого пирата, закрывает лишь один глаз богини.

Параллельно с моим абсолютно надуманным делом расследовалось настоящее преступление. Убийство знаменитого певца русского патриота Игоря Талькова. Весной 1992 года следствие назвало предполагаемого убийцу – В. Шляфмана. И тут выяснилось, что «привлечь В. Шляфмана не представляется возможным, так как в феврале он выехал на постоянное место жительства в Израиль ... Шляфман сейчас вне досягаемости» («Литературная Россия», 1992, № 27).

Любопытнейшая параллель: преступление совершено, но виновника привлечь нельзя – он в Израиле. Преступления не было, но русского публициста и патриотический журнал к суду все-таки привлекают. Из того же Израиля!

Да какая же это, к лешему, Фемида – вылитая Голда Меир с автоматом «Узи» наизготовку!

И все же для вынесения судебного решения нужен был хоть какой-то пунктик Закона. Найти его не могли. Заседания следовали за заседаниями, и одно время стало казаться, что процесс будет вечным. И вдруг в июне, на восьмом месяце разбирательства, напряжение круто полезло вверх. Столичная «Вечерка» опубликовала статью под истеричным заголовком «Красно-коричневые наступают, а стражи закона молчат» (1.06.92).

Организация, называющая себя антифашистский центр, воспользовавшись газетной трибуной, била во все колокола. Не сразу можно было понять, какую цель она преследовала: объявить миру о своем существовании или предупредить об угрозе «фашизма»? Хотя связка элементарна: если появляется антифашистский центр, «фашизм» найдется.

Глава центра Е. Прошечкин ни минуты не сомневался, в какой стороне его искать. Ну, догадайтесь – может быть, в Молдове, где геноцид славян возведен в ранг государственной политики? Может быть, в Прибалтике, где в Рижском горсовете рассматривался вопрос, не ввести ли смертную казнь за нарушение закона о языке, иными словами – за разговор на русском на рабочем месте? Кстати в Прибалтике, как и в Западной Украине, реабилитируют настоящих фашистов, сражавшихся на стороне Гитлера.

Нет, не эти проступающие кровью коричневые пятна привлекли внимание столичных «антифашистов». Подумаешь, убивают... Грозный перст Прошечкина нацеливается в сторону русских патриотов. Обвиняются тридцать изданий, в том числе принадлежащих Союзу писателей России. Именно с ними антифашистский центр развернул борьбу. С гордостью показывают корреспонденту «объемистые папки с сотнями документов и писем. Переписка с Прокуратурой России ...». Тут же сокрушаются: «На соответствующие сигналы (очаровательное слово из былого лексикона! – А.К.) Прокуратура не отвечает месяцами». Сетуют: соответствующий отдел Прокуратуры «по собственной инициативе не возбудил ни одного уголовного дела».

И все-таки «антифашисты» торжествовали первую победу: «Иногда ...случаются «прорывы» ... Заместитель главного редактора «Нашего современника» А. Казинцев ...» (центр придавал моей особе такое значение, что скромность не позволяет продолжать цитату). С восторгом повествуется о том, как удалось затащить в суд злокозненного патриота. «Антифашистский центр известил профессора Г. Брановера о злобной клевете в его адрес, появившейся на страницах «Нашего современника». В результате тот, будучи гражданином Израиля, обратился в народный суд Дзержинского района с иском о защите чести и достоинства» (вот в чем секрет письма с двумя фамилиями и двумя адресами. Когда антифашистский центр сочинял послание, достопочтенный ученый муж, может быть, и не ведал о кампании, затеваемой от его имени).

Я чувствовал, как оживают страницы повести о поручике Киже. Цитата, воспроизведенная из американской газеты, превращалась в роковую улику страшного преступления. Нет, сама по себе оказывалась преступлением. Разумеется, преступника следовало покарать. Немедленно – требовали «антифашисты». Срочно – вторила газета. «Надо думать, в самые ближайшие недели в этой неприглядной истории будет поставлена точка».

Даже тогда, в начале июня, не понять еще было, чем вызвана эта неприлично откровенная даже в наших условиях инструкция суду. Почему требовалось «в ближайшие недели» закончить длившееся много месяцев разбирательство? Лишь в середине июня все стало ясно.

Именно в «ближайшие недели» в Верховном Совете должны были пройти слушания вопроса «об угрозе фашизма». Требовался свежий пример «угрозы», достаточно яркий и впечатляющий. Имя «Нашего современника» идеально подходило для этой цели. Нужен был только приговор, пусть даже пустяковый, нужен был факт публичного осуждения, а уж пресса смогла бы придать ему стократно усиленный резонанс.

Действительно, судебные заседания, проводившиеся ранее раз в месяц, посыпались густо. И финал уже обозначался ... Как вдруг произошла осечка в самом Верховном Совете. Депутаты отказались обсуждать навязываемый им вопрос. Горестный вопль исторгся даже из чрева «Российской газеты» – издания Верховного Совета (25.06.1992).

Корреспондент пугал русской «национальной идеей», которая расшифровывалась им как фашистская. Еще бы: ведь это в Российской Федерации «ценности, к тому же зачастую ложные, мнимые, «самой главной» нации навязываются остальным». Не правда ли, в этом убеждает пример Чечни, откуда «самая главная» бежит, бросая квартиры и все нажитое за десятилетия? Примеры Татарстана, Башкирии, Тувы? Да и в самой Москве, затерроризированной кавказскими га-

стролерами, «мнимые ценности» представляют наглядную опасность?

Газета предостерегала: « ...За счет безработных, вконец обнищавших» (парадоксальным образом оказывается, что именно таковы реальные лики «главной нации») «будет расти социальная база героев «битвы при Останкино». Газета стращала «насилием» (со стороны «вконец обнищавших»!) и «концлагерями». И, похоже, усматривала выход в том, чтобы не медля засадить в концлагеря всех неимущих и всех патриотов. Во всяком случае, статья заканчивалась призывом к власти вспомнить, что она – власть, которой «совсем не обязательно, как жалкой слюнтяйке, вести себя с теми, кто пытается ею воспользоваться, чтобы ее же и уничтожить».

Писака кипятился. Но теперь это было его личным делом, его проблемой. Организовать парламентские слушания, протащить Закон и усеять страну концлагерями «антифашистам» на этот раз не удалось.

Соответственно и мой процесс оказался ненужным. И его быстренько свернули. Он закончился, по сути, ничем. Обвинения в злонамеренной клевете были отвергнуты.

Еще несколько выстрелов вдогонку сделал «Московский комсомолец». С досады газета обнажила связь между судом и делами в Верховном Совете. Заметка так и называлась: «НС» + ВС=». Формальным поводом послужила работа нашего адвоката профессора М. Н. Кузнецова в комиссии Верховного Совета. Но ядовитые реплики в адрес законодателей свидетельствовали о крайнем недовольстве их самостоятельным поведением.

Отмечу, пресса уделила суду немалое внимание. Запевалой выступал неутомимый «Комсомолец», старушка «Вечерка» вторила ему, старалась как могла «Экспресс-хроника». Свою лепту внес издающийся в Израиле «Алеф». Его автор специально побывал в «Нашем современнике» и запечатлел мой облик: «Я обнаружил его в одной из комнат – восседавшего под портретом царя Николая II. Казинцев оказался рослым, с поповской бородой мужчиной» (№ 423).

Никакого портрета у меня в кабинете нет, но журналист в лучших традициях соцреализма создавал типичный образ врага. Закоренелая ненависть к «попам», а также к людям, не обделенным природой («рослый» в этом контексте звучало как обвинение), должна была переплестись с неприязнью к жертве ритуального убийства – царю-мученику ...

А что же патриотические издания?.. Только газета «Русский вестник» из номера в номер публиковала судебные репортажи. Благодаря заметкам журналиста А. Козина я не чувствовал себя покинутым в неравной борьбе с силой, слишком влиятельной и многоликой. Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность редакции.

Благодарю юристов, бескорыстно помогавших нам вести процесс, – блестящего оратора профессора М.Н. Кузнецова и опытного адвоката Е.М. Семенову. Признателен также всем, кто приходил на многочисленные заседания суда. Особенно укрепляло меня морально присутствие мужественных борцов, прошедших через тюрьмы и лагеря, – В. Осипова, М. Антонова, воительниц-патриоток В. Брюсовой и ныне покойной Г. Литвиновой.

И все же я с горечью должен признать: нередко сторонники журнала оказывались в меньшинстве. Черных хасидских шапочек в зале бывало больше. Как это могло случиться – не в Иерусалиме, а в Москве, столице России, сердце православия?

После таких заседаний я звонил знакомым и просил: меня судят, приходите, пожалуйста, в следующий раз, а то мы с адвокатом затеряемся среди израильтян ... Почему я должен был попрошайничать с телефонной трубкой в руке? Разве в суде я защищал только личное дело? Смею думать, я защищал тех самых православных «гоев», которых расстреливали, морили в тюрьмах, лишали работы и хлеба, а теперь, когда они захотели сказать об этом, их стали травить законно и чинно – газетными столбцами и параграфами суда!

Да, мне не раз с пафосом говорили: «Вы думаете, это судят Вас, – это судят всех нас, это судят Россию». Но – странное дело – после патетических слов следовали обычно не предложения помощи, а требования и укоризны: «Почему Вы не собрали людей в суд? Почему не обзвонили прессу? А книга, почему до сих пор не найдена книга?».

Я обрывал телефоны. Я бегал по московским библиотекам в бесплодных поисках. Но почему же вы, возглашающие: «Судят всех нас», – пальцем не шевельнули, чтобы помочь? Готов тысячу раз согласиться: мне не хватает деловитости. Но дело литератора – слово. И тут никто не упрекнет меня в лености или малодушии. Но вы-то, умелые и деловые, отчего остались в стороне?

Во время процесса я особенно болезненно столкнулся со страшным явлением сегодняшнего дня. Назову его «атомизированностью» людей. Помните, Иван Ильин говорил о рядом-жителях, людях-атомах. Говорил о Западе. Теперь это явление пришло к нам. И в отличие от европейцев, за столетия атомизированного быта научившихся взаимовыгодной кооперации, мы безоружны перед ним. В коллективизме, в органической солидарности была наша сила; утратив эти родовые качества, мы оказались бессильными.

С человеческой «атомизированностью» я сталкивался повсюду. Когда пытался зажечь в офицерах огонь чести и действия – и видел потухшие глаза обывателей, получивших недельный паек и думающих только о том, как донести его до своих кухонь. Когда я ловил хотя бы отблеск трагедии Бендер и бойни в Останкино на лицах утренних попутчиков, жадно вслушивался в их разговоры. Они сочувствовали и переживали, но не подлинным жертвам, нет, – героям бесконечного мексиканского телесериала, первобытной муры, отснятой для индейцев Южной Америки!

Да и на самой памятной демонстрации 22 июня среди настрадавшихся людей я столкнулся с тем же проклятым явлением. Вы, конечно, слышали о событиях того страшного дня: на рассвете (как и пятьдесят один год назад) власти – на этот раз не германские, а «российские» отдали приказ о нападении на лагерь пикетчиков у телебашни. Символично – пикетчики именовали свой лагерь «СССР». Наложение символов рождало жуткую аналогию: война развязана вновь – против собственного народа. Вечером того же дня состоялся огромный митинг. Колонны

двинулись от ВДНХ к Манежу, были встречены у Рижского вокзала многотысячным отрядом ОМОНа, остановлены и избиты.

Люди рассеялись, а машины с проспекта Мира продолжали катить через площадь, не давая восстановить ряды. И тогда какая-то женщина схватила меня за руку и, крикнув: «Останавливаем движение!» – шагнула на мостовую. Я не раздумывая последовал за нею. Ехавшие в два ряда автомобили приостановились. Объехать нас сбоку они не могли: справа и слева стояли группки демонстрантов. И все-таки зазор был слишком велик, озверение водителей, долго тащившихся за демонстрацией, а теперь и вовсе остановленных, слишком сильно. В любую минуту шоферы, взвинченные ожиданием, жарой, атмосферой побоища, крови, могли решиться на прорыв. Мы с женщиной всерьез рисковали оказаться под колесами. Она поняла это и уже в крик кричала стоящим на тротуаре: Что вы смотрите, нас же задавят, присоединяйтесь!..

Когда я вместе со всеми стоял на тротуаре, ко мне подходили люди, благодарили за выступления и статьи, пожимали руки. Теперь меня отделяло от них несколько шагов. Однако сделать их и снова протянуть руку они не спешили. Я понимал: самые решительные ушли вперед. И все же ... Эти несколько шагов по ничейному пространству мостовой, шагов, которые надо было сделать самому, а не вместе со всеми, – для многих они оказались слишком трудны!

Человеческая «атомизированность» – явление слишком сложное, чтобы охарактеризовать его в нескольких словах. Я буду писать о нем (и его причинах) в следующих статьях «Дневника». А здесь упоминаю потому, что, когда почувствуешь что-то не только разумом – кожей, об этом невозможно молчать.

...«Русский вестник» после каждого судебного заседания взывал: помогите найти книгу! Ну хотя бы один экземпляр в ответ – из девяти названных нам израильтянами изданий Г. Брановера. Пусть не тот, что нужен, без цитаты. Да на худой конец пусть не экземпляр – просто письмо откуда-нибудь из Канады или Австралии («Вестник» распространяется по всему свету): не волнуйтесь, ищем.

Ни одного отклика. Примолкли «Русская жизнь» и «Нива», откуда я взял цитату. Легендарные русские миллионеры Америки, что стоило вам распорядиться найти книжонку – вы знали, что ее ищут. К вашим услугам совершеннейшие системы электронной памяти, межбиблиотечная компьютерная картотека, охватывающая земной шар. Никакого ответа. «...Это судят Россию»!

...Один экземпляр книги я все-таки получил. Не то издание, что нужно, без цитаты. И все-таки он дорог мне как знак внимания. Как овеществленный отклик на мои просьбы о помощи. Его привез из Израиля еврейский писатель, чье творчество я ценю. Он не произносил патетических фраз, просто узнал, что московскому знакомому нужна книга, – и вот она на столе у знакомого.

Я раскрыл ее и обнаружил немало высказываний, не менее оскорбительных для православного сознания, чем то, от которого отказывается Г. Брановер. Вот, например, расистская заповедь о недопустимости компромисса в сфере духа: « ...Во все времена малейшее прикосновение нееврея к еврейской мудрости, к учению Торы оскверняет и фальсифицирует это учение» (Г. Брановер. «Возвращение», Нью-Йорк, 1977, с. 248). Но довольно, воздержусь от дальнейшего цитирования. Да и какое значение имеют слова иноземного недоброжелателя? Они бессильны навредить нам. Если только мы сами не дадим им власти над душами. Мы сами ...

НАЦИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПОРЯДОК!



ГРАЖДАНЕ РОССИИ!

Стоящие у власти демократы предали национальные интересы страны, поставили на колени огромную державу. Антинародная проамериканская клика – жадная свора вчерашних брежневских прихлебателей – азартно торгует страной, ее ресурсами, разбазаривает достояние русской нации. Результатом так называемых демократических реформ стало национальное унижение, тотальное обнищание народа, избиение русских на окраинах государства.

Есть ли идея, способная сплотить русских в единое национальное целое, вдохнуть силу в такую политическую организацию, которая сумела бы навести в стране порядок, прекратить развал государства, вернуть Россию к ее историческим рубежам, положить конец разгулу мафии?

Такая идея есть – это идея Великой Русской Империи – Империи технологического и интеллектуального превосходства над всем миром! Борьба за технологическое лидерство – сегодня это единственная реальная возможность защитить нашу национальную культуру от космополитической американской агрессии, технотронного геноцида и потребительского вырождения. Национально-республиканская партия России борется за достижение именно этой цели! Мы рассматриваем нашу партиюкак последний, не сдавшийся отряд Империи погибшей и как первый легион Империи воскресающей!

Мы обязаны:

– решительно подавить политический саботаж транснационального проамериканского лобби;

– восстановить единую и неделимую державу: навсегда стереть искусственные границы как внутри России, так и между Россией и "суверенными" республиками;

– беспощадно пресечь любые преступные поползновения антинациональных и антигосударственных элементов;

– создать эффективную социальную экономику, основанную на творческом гении русского народа и национальных традициях предпринимательства;

– раз и навсегда остановить захлестнувшую наши города и веси волну ползучей азиатско-кавказской экспансии.

Сегодня клич национал-республиканцев – Нация, Справедливость, Порядок! – это первые удары нового сердца Русской Империи!

Сегодня мы нуждаемся в поддержке нации, а нация нуждается в нас – КАК НИКОГДА ДО СИХ ПОР!

Для писем: 196233, С.-Петербург, пр. Космонавтов, 86-2-87
Телефон: (812) 127-71-51 (СПб)
Текущий счет НРПР: Комбанк "Пресня-Банк" (г. Москва)
МФО 201144, код 9201142, т/с 2700742

Цена свободная

ИНДЕКС 73274

Дорогие друзья!

**Продолжается подписка на наш журнал.
До конца 1992-го и в 1993 году мы предполагаем опубликовать следующие произведения:**

Виктор АСТАФЬЕВ.
Рассказы.

Василий БЕЛОВ.
Год великого перелома
(третья, заключительная часть романа-хроники).

Леонид БОРОДИН.
Божеполье. Повесть.

Юрий ВЛАСОВ.
Документальная повесть.

Олег ВОЛКОВ.
Воспоминания.

Александр ЗИНОВЬЕВ.
Смута. Роман.

Николай КЛЮЕВ.
Каин. Поэма, извлеченная из архивов ОГПУ-НКВД-КГБ.

Олег КРАСОВСКИЙ,
основатель и главный редактор
независимого русского альманаха "Вече".
Жизнь прожить – не поле перейти.
Воспоминания о скитаниях русских людей по Европе 1945 г.

Владимир КРУПИН.
Как только, так сразу. Повесть.

Станислав КУНЯЕВ.
Сергей Есенин.
Из серии "Жизнь замечательных людей".

Владимир ЛИЧУТИН.
Новый исторический роман.

Борис МОЖАЕВ.
Изгой. Роман.

Юрий ОТРЕШКО (Ю. М. МАКСИМОВ).
Цензура. Записки профессионала.

РАК: ученые Японии, США и России – о нетрадиционных способах его лечения и профилактики.

Святослав РЫБАС, Лариса ТАРАКАНОВА.
Похищение генерала Кутепова. Роман.

Иван СОЛОНЕВИЧ.
Политические тезисы российского народно-имперского (штабс-капитанского) движения.

Борис СПОРОВ.
Письмена тюремных стен. Повесть.

Стоимость подписки на первое полугодие 1993 года по центральному каталогу 90 рублей.

Наш современник, 1992, № 10, 1-192.